

НОВЫЙ Журнал



НЬЮ-Йорк

THE NEW REVIEW Новый Журнал

Основатели М. Алданов и М. Цетлин – 1942
С 1946 по 1959 редактор М. Карпович
С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев
С 1966 по 1975 редактор Роман Гуль
С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор)
Г. Андреев, Л. Ржевский
1976 – 1981 редактор Роман Гуль
1981 – 1983 редакция: Р. Гуль (главный редактор),
Е. Магеровский
1984 – 1986 редакция: Р. Гуль (главный редактор),
Ю. Кашкаров, Е. Магеровский
1986 – 1990 Редакционная коллегия
1990 – 1994 редактор Юрий Кашкаров
1994 – 2005 редактор Вадим Крейд

Восемьдесят первый год издания

Главный редактор – Марина Адамович

Редакционная коллегия:

Марина Гарбер, Ренэ Герра, Елена Дубровина, Мария Рубинс,
Александра Смит

Ответственный секретарь – Наталья Бернадская

Редакция: Владимир Гандельсман, Наталья Гастева, Рашель Миневич

The New Review, Inc.:

T.Chebotareva; G.Glinka; M.Jordan; P.Khlebnikov; V.Kreyd;
G.Mesniaeff; A.Neratoff; I.Sikorsky; P.Tcherepnine; L.Vulfina,
Y.Vulfin, M.Adamovitch.

Обложка художника М. Добужинского

THE NEW REVIEW

№ 310, март 2023

© 2023 by THE NEW REVIEW

Рукописи не возвращаются

Перепечатка материалов «Нового Журнала» без письменного разрешения редакции запрещается. Размещение материалов «Нового Журнала» онлайн без письменного разрешения редакции запрещается.

Редакция не несет ответственность за содержание публикуемых материалов. Авторы несут ответственность за достоверность приводимых ими фактов и цитат.

THE NEW REVIEW (ISSN 0029–5337) is published quarterly
by The New Review, Inc., 1216 Broadway, 2nd floor, New York, N.Y.
10001. Periodical postage paid at New York, N.Y. Publication No.
596680. POSTMASTER: send address changes to The New Review,
1216 Broadway, 2nd floor, New York, N.Y. 10001

СОДЕРЖАНИЕ

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ИМ. МАРКА АЛДАНОВА

Леонид Левинзон – Один месяц март 5

ПРОЗА. ПОЭЗИЯ

<i>Владимир Батиев</i> – Серым по белому. Роман. Продолжение	28
<i>Валерий Черешня</i> – Стихи	117
<i>Инна Кулишова</i> – Звери Украины. Стихи	121
<i>Йегуда Амихай</i> – Точность боли и размытость счастья. Стихи (Перевод с иврита – Александр Бараш)	127
<i>Василий Львов</i> – Так я зовусь. Окончание	130
<i>Борис Фабрикант</i> – Стихи	171
<i>Валерий Скобло</i> – Стихи	177
<i>Геннадий Кацов</i> – Роберт Фрост: времена года	182
<i>Владимир Яськов</i> – Постскрипtum. Стихи	228
<i>Геннадий Садхин</i> – Стихи	234
<i>Игорь Метельский</i> – Параллельные места. Стихи	238
<i>Вадим Седов</i> – Стихи	241
<i>Хаим Сокол</i> – Стихи	244
<i>Владимир Ханан</i> – Стихи	252
<i>Борис Лихтенфельд</i> – Стихи	256
<i>Ара Мусаян</i> – Музыка, или Трубы Иерихона	258

ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

«Вести в Нью-Йорк». Письма Бориса Григорьева к Марку Вейнбауму. 1933–1938 (Публ. – Ж. Шерон)	267
<i>Г. Аляев, М. Макаров</i> – О переписке В. А. Оболенского и С. Л. Франка	299
Письма В. А. Оболенского к С. Л. Франку. 1938–1950 (Публ. – Г. Аляев, М. Макаров)	312

БИБЛИОГРАФИЯ

В. Леонидов – *А. И. Солженицын*. Угодило зернышко меж двух жерновов. Очерки изгнания; *Юлия Баландина* – *Полина Брейтер*. Исповедь счастливого человека. Письма из тюрьмы; *В. Гржонко*. Время сурка: Роман, повести; *Нина Гейдэ* – *Евгений Чигрин*. Водяные деревья. Стихи; *Римма Нужденко* – *Каринэ Арутюнова*.

Патараг; **А. Вовк** – *Горлис-Горский Ю.* Холодный Яр; **Валентина Брио** – Русская история и культура в архивах Израиля. Книга 1. От Шолом-Алейхема до Ивана Бунина 356

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

Памяти П.Н. Колтыпина-Валловского. 1933–2023 382

ОБ АВТОРАХ 385

ПРИЕМ РУКОПИСЕЙ

на конкурс «Литературная премия им. Марка Алданова. 2023»
с 1 марта до 30 июня (включительно) 2023 года.

Принимаются рукописи только от авторов, живущих вне пределов Российской Федерации.

Рукописи, присланные на конкурс, не должны быть опубликованы (в том числе – он-лайн, литературные сайты).

Принимаются только тексты на русском языке.

Жанр – короткая повесть.

Рукописи принимаются в электронном виде (формат Microsoft Word).

Электронный адрес: newreview@msn.com

Оргкомитет просит участников указывать свой обратный почтовый адрес. Итоги конкурса будут объявлены в сентябре 2023 на сайте НЖ. Лауреаты награждаются дипломами корпорации «Новый Журнал» и получают бесплатную годовую подписку на «Новый Журнал».

С историей проекта можно ознакомиться на сайте НЖ: www.newreviewinc.com (ПРОЕКТЫ. ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ИМ. МАРКА АЛДАНОВА).

Оргкомитет Премии им. Марка Алданова

ЛАУРЕАТЫ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ имени Марка Алданова

Леонид Левинзон

Один месяц март

27 декабря 2019 года

Врач одной из больниц в китайской провинции Ухань Чжан Цзисянь предупредил власти о появлении нового коронавируса.

28 января 2020 года

Всемирная организация здравоохранения исправила с «умеренного» на «повышенный» оценку риска заражения новым коронавирусом.

1 февраля 2020 года

Пятьдесят граждан Китая, прилетевших в Израиль, высланы обратно.

16 февраля 2020 года

Возле Стены Плача в Иерусалиме состоялась массовая молитва, участники которой просили остановить эпидемию коронавируса.

22 февраля 2020 года

У южнокорейских туристов, посетивших Израиль в феврале, обнаружен коронавирус.

27 февраля 2020 года

Диагностирован первый случай подтвержденного коронавируса у туристки, вернувшейся из Италии.

1 марта. Воскресенье.

Звонок:

– Игорь, здравствуйте! Сегодня ваша мама проходит комиссию.

Игорь, немолодой полноватый мужчина в очках, озадаченно спрашивает:

– А что за комиссия?

– О продлении лечения. Приезжайте, на комиссии должны присутствовать родственники.

– Комиссия именно сегодня?

– Да.

– А почему раньше не предупредили?

Молчание.

– Тали, – Игорь поворачивается к женщине у компьютера: кудрявые волосы, тоненькая шейка и удивленно-настороженные глаза

делают ее похожей на испуганного зайчика. – Тали, мне надо будет уйти.

Через час Игорь подъезжает на машине к психиатрической больнице – забор, клумбы, одноэтажные длинные дома с крупно нарисованными на фасадах цифрами.

Мать сидит на скамейке в помещении с высоким потолком и двумя длинными узкими окнами, забранными металлической решеткой. Рядом с ней изо всех сил зевает санитар. Зевая, он широко открывает рот, закрывает глаза и трясет головой. Несмотря на жару, зябко. Главное в помещении – массивная, покрытая потрескавшейся красной краской дверь. Дверь закрыта. Мать кашляет.

– Мам, ты как?

– Плохо. И вообще, что я тут делаю?

Подходит полная молодая женщина с ярко накрашенными губами и в тесном платье – мамин психиатр.

– Как у мамы дела?

– Как я говорила, мы вынуждены увеличить дозу препарата.

Мать вдруг взрывается:

– Что ты там шепчешься?!

– Беседуем о твоём здоровье.

– Глупости! Забирай меня отсюда!

У нее бледное отекшее лицо. Руки сжали алюминиевый обод ходунков.

Звонок. Игорь, задумчиво потирая плохо выбритый подбородок, смотрит на экран, где высвечивается имя секретарши.

– Тамара?

– Игорь, сейчас с тобой будет говорить Каролина.

Властный голос:

– Игорь, мне доложили, что тебя нет на месте.

– У меня мама больна.

– Я не давала тебе разрешения пропускать.

– Я закончу дела и приеду.

– Что значит «закончишь дела»? – взрывается Каролина. – Мы начинаем работу с коронавирусом!

– Начинайте.

Каролина бросает трубку.

Красная дверь открывается. Помогая встать матери, Игорь берет ее под руку. Ступеньки слишком коротки для ходунков, мать забирается с трудом. Член комиссии – немолодой, с мешками под глазами, психиатр – усталым голосом спрашивает мать:

– Сколько вам лет? Какой сейчас год?

Мать отвечает громко и точно. И вдруг срывается:

– Что за ерунду вы спрашиваете? А если я спрошу, почему вы вчера украли у меня полотенце!?

Выпала и ожидающе посмотрела на Игоря. Мол, как?.. Я правильно поступила?

«Правильно мама, правильно.» А что еще сказать?

Опять звонок. Тихий голос.

– Да, Тали...

– Каролина просила узнать, тебя сегодня ждать на работе?

– Нет.

Второе марта. Понедельник.

В Израиле выборы.

Ну, выборы. Игорь пошел, опустил листочек. Поехал к маме. Мать кутается в кофту, опасливо поглядывает по сторонам. Шепчет:

– Игорек, нагнись ко мне.

Игорь нагибается.

– Вот сейчас прошел человек, кто он такой, ты знаешь?

– Санитар. Он тут работает.

– Мне кажется, он за мной следит.

Третье марта. Вторник.

Игорь с утра едет в суд. Социальный работник сказала не тянуть и срочно оформить мамину недееспособность. Около здания суда необычайно много свободных стоянок для машины. Ах, да, коронавирус!

Студенточка заполнила бумаги, Игорь сдал их в канцелярию и вернулся на работу. И первым делом встретил секретаршу Тамару. У Тамары озабоченное лицо.

– Игорь, так нельзя! – упрекает его низенькая коренастая Тамара. – Каролина ничего плохого не хотела. Ты должен зайти к ней в кабинет и объяснить. Год назад у меня в Германии умерла лучшая подруга. Я попросилась уехать. Каролина говорит: «Не разрешаю. Это не родственница. Ты только что была в отпуске». Я объяснила, и она отпустила. Хотя потом долго вспоминала.

– Не хочу ничего никому объяснять, – угрюмо говорит Игорь.

– Ну и зря.

– Может, и зря, – Игорь поворачивает в больничную столовую.

Жирная еда наполняет неприятной тяжестью желудок, и Игорь идет к своим смешливым подружкам Майе и Лее, у которых всегда пьет чай. По пути встречает заплаканную Тали.

– Тали, что случилось?

Тали приглушенным голосом рассказывает:

– Каролина меня вызвала и спрашивает: «Ты не могла бы отложить свою операцию на следующий год?»

– Ничего себе!

– Мол, у нас коронавирус, и мы в тебе нуждаемся...

– А ты?

– Я не могу отложить. Ну честно. Я настроилась! – маленькая худенькая Тали, наморщив лоб, напряженно думает. – Знаешь, я пойду к врачу и попрошу его написать справку, что операция необходима.

Звонок:

– Мама?

– Надо мной издеваются! Когда ты меня, наконец, заберешь?

Четвертое марта. Среда.

У Тали настроение лучше. Оказывается, Каролина позвонила вчера вечером и обрадовала: «Есть выход – попроси Татьяну тебя заменить».

Татьяна, полная, тихая и очень спокойная по характеру женщина, месяц назад вышла на пенсию.

– Игорь, как думаешь, сколько заказать лабораторных комплектов для идентификации герпеса? – подбежала, запыхавшись, молоденькая начальница Рахель. Она работает в лаборатории полгода, быстро семенит коротенькими ножками и очень старается.

– Посчитаю, – обещает Игорь.

Рахель из ортодоксальной семьи и носит парик. Разговаривая, она привычным испуганным движением дотрагивается до своих волос. Проверяет, всё ли в порядке.

Радио передает новости:

«Согласно новым инструкциям, иностранцы смогут въехать в Израиль только в случае, если докажут, что им есть, где отбывать четырнадцатидневный карантин. Полностью запрещен въезд в Израиль иностранцам, прибывающим из Китая, Южной Кореи, Таиланда, Италии, Макао, Сингапура, Гонконга, Японии и Египта...»

– Да нет никакого вируса! Это всё американцы придумали, чтобы мир завоевать! – уверенно реагирует на новости еще одна их сотрудница, Элла. Элла родом с далекого Алтая, но долгая жизнь за границей не избавила ее от удивительных взглядов. Например, Элла считает, что католики – посланники Сатаны: «Даже документальный фильм про это есть!»

В конце дня Игорь сталкивается с Каролиной.

– Как ваша мама?

– В больнице.

Высокая, черноволосая и красивая, несмотря на возраст, Каролина сочувственно кивает:

– У нас в семье тоже была такая история. С тетей...

И вдруг оживляется:

– Игорь, а почему ты носишь этот значок?

– Просто так, – отвечает удивленный Игорь.

– Просто так не бывает! – говорит Каролина. – Не бывает!

Пятое марта. Четверг.

Первая смерть в Великобритании.

Каролина зовет свою лабораторию на общий сбор.

– Это война! – объявляет. – А это... – обводит рукой свой кабинет: – Штаб. А на войне как на войне. Будем работать в две смены! Нет, в три! Жаль, конечно, что Тали идет на операцию, но Татьяна согласилась выйти вместо нее.

Умудренный опытом Игорь поднимает руку:

– Мы будем тут дни и ночи напролет, нам сверхурочные заплатят?

– Я займусь, – обещает Каролина. – Итак, пробы уже прибывают.

Для работы с коронавирусом будем использовать двести шестнадцатый кабинет. Заходим туда в защитных костюмах. Смена по три человека. Двое открывают и обеззараживают пробы в вытяжном шкафу, третий записывает данные в компьютер. После инактивации вируса его изоляция и ПЦР, как обычно. Рахель, составь график дежурств.

Рахель с готовностью кивает свежим личиком, у нее много вопросов:

– Сколько ожидается проб? Как их записывать? Что с нашей обычной работой?

– А сама как думаешь? Обычная работа никуда не девается.

Худенькая, высокая, с мальчишеской стрижкой, Майя, улучив момент, шепчет:

– Ну всё, приехали! Баста, карапузики...

Ее подруга Лея прыскает. Начальница замечает неподобающее поведение:

– Я что-то смешное сказала?

– Нет, нет...

– Какой уж тут смех... – уныло говорит сидящая рядом с Игорем одышливая полная Михаль.

Седая, с коричневым морщинистым лицом, Дина вытирает ладонью вечно мокрые глаза за астигматическими очками:

– У меня и так каждый день мигрень... А теперь еще какие-то маски, костюмы...

Вечером Игорь попадает на смену с Тали и Рахелью. Молоденькая Рахель полна энергии. Блестя черненькими глазками, она смешно уговаривает себя и других:

– Нам надо всё сделать, не подвести.

Тали улучшает момент и шепчет:

– Каролина ко мне хорошо отнеслась, она сказала, что позвонит начальству, чтобы мне разрешили сделать операцию.

Шестое марта. Пятница.

В Израиле диагностирован двадцать один больной коронавирусом.

В пятницу-субботу лаборатория обычно не работает, но на войне как на войне. Вследствие чего у всех дико болит голова. Работа в защитных костюмах, предназначенных для лабораторий четвертой степени биологической опасности, не проходит даром. В костюмах жарко, потно и, самое главное, трудно дышать. А еще Игорь вчера от усталости всё перепутал. Перепутал, а потом оставался до часа ночи, переделывал. Вышли на перерыв, грузная Михаль жалуется:

– Мне тяжело. Не хочу работать с коронавирусом.

Коллеги молчат. Все устали. Никто не хочет работать с коронавирусом.

Звонок мамы:

– Игорь, какие новости?

– Эпидемия, мама.

– Эпидемия?

– Да...

– Ерунда какая-то, – недоуменно говорит мать и кладет трубку.

Опять совещание.

– Есть информация – к нам везут двести проб! – торжественно объявляет Каролина.

– Мы не можем сделать больше пятидесяти, – замечает Игорь.

– Это меня не интересует! У нас нет масок, я работаю над тем, чтобы достать маски. Вот что важно! Вы обязаны за сегодня сделать всё!

Игорь злится. Он устал, он издерган, мама в больнице.

– Вы хотите, чтобы мы тут умерли?

– Нет, я о вас забочусь.

– Что-то не видно.

– Так! – Каролина вскакивает, и в этот момент ею можно залюбоваться: стройная, яростная, глаза мечут гром и молнии. – Так, еще одно слово – и ты вылетишь с работы!

Но Игоря уже несет:

– Я что, не могу высказать свое мнение?

– Никому не нужно твое мнение! В стране эпидемия! Кто не хочет работать, будет уволен!

– Еще посмотрим!

Чуть позже к Игорю заходит озабоченная Тамара:

– Игорь, срочно к Каролине на разговор!

– Мне некогда! – сквозь зубы отвечает Игорь.

В самом конце дня, через двенадцать часов работы, Каролина меняет гнев на милость. Обещает:

– Получим робота, будет легче.

Сделали ровно пятьдесят проб. Одумалась-таки.

Седьмое марта. Шабат.

В канцелярии главы правительства состоялся брифинг: «Мы работаем как на национальном, так и на международном уровне. За последние сорок восемь часов скорость заражения выросла, один из заболевших, тридцативосьмилетний мужчина, борется за свою жизнь».

– Лея, посмотри какие запонки я хочу купить сыну.

Маленькая толстая Лея смотрит на экран:

– Маечка, запонки женские.

– Но они мне нравятся!

– Запонки женские.

– Но они такие красивые. Синие и с цветами.

– Он не будет носить.

– Но мне нравятся. Куплю.

– Ну купи. Ладно, пошли работать.

Игорю позвонила ошарашенная Татьяна. Она наобещала Каролине, что заменит Тали, догадалась рассказать мужу, и тот схватился за голову: «Ты что, не знаешь? Только через полгода, иначе пенсия пропадет!»

– Ты представляешь, – голос Татьяны дрожит. – Я волнуюсь, оправдываюсь... А Каролина равнодушно: «Ну раз так – прощай».

После неудачи с Татьяной Каролина позвонила Тали: «Подумай, серьезно подумай... Если отложишь операцию, поедешь на семинар в Берлин».

– Конечно, – реагирует Игорь. – Как Татьяна поехала... Помним, помним эти обещания...

– Я ночь не спала, – жалуется Тали. – Ночь!

Поднимает заплаканное лицо:

– Я от операции не откажусь.

Восьмое марта. Воскресенье.

В Израиле подтверждено тридцать девять случаев заражения. Глава правительства объявляет: «Мы не собираемся закрывать границы Израиля».

Лаборатория в крупнейшей израильской больнице Тель-а-Шомер ушла на карантин – заболела одна из сотрудниц. Каролина счастлива: все анализы на коронавирус переводятся к ней.

Молодая скуластая Элла на третьем часу работы вдруг начинает ожесточенно срывать с себя защитный костюм:

– Мне нечем дышать! Я больше не могу! Не могу!

– А мы? – ошарашенно спрашивают Майя и Лея. Костюмы четвертой степени защиты делают их похожими на космонавтов. – Как мы будем вдвоем?

– Как хотите!

Элла выходит в коридор, прислоняется к стене и глубоко дышит. И сразу попадает в глаза Каролине.

– Ты почему не внутри?

– Я на перерыве!

– Вернись, ты должна закончить смену.

– Я устала!

– Вернись, другие работают.

– Я устала!

– Ты должна выбрать, ты хочешь работать или нет.

– Мне эта лаборатория уже в горле стоит! – кричит Элла. – Я больше не могу! Это дискриминация!

– Если немедленно не вернешься, я тебя отправлю в неоплачиваемый отпуск!

– Отправляй!

Прислали работа для massированной обработки проб. Переоборудовали для работы с коронавирусом три дополнительных помещения. Подключился университет, выделив свою центральную межпрофильную базу. Теперь там тоже регистрируют и дезинфицируют поступающие пробы. Нагнали студентов, лаборатория сразу наполнилась смехом, шумом, всюду молодые лица.

А Игорю позвонила психиатр.

– Больница переоборудуется под нужды больных коронавирусом. Домой вашу маму нельзя. У вас две недели для перевода мамы в дом престарелых.

Девятое марта. Понедельник.

«В Израиле подтверждены сорок два случая заражения коронавирусной инфекцией. Двухнедельный режим карантина обязаны соблюдать все израильяне, возвращающиеся из-за границы.»

Игорь пытается удаленно договариваться насчет мамы. Из-за карантина нельзя приехать ни в один дом престарелых, а выбирать как-то надо. Но сразу становится понятно, что выбирать не из чего. Новых пациентов принимает только одно такое заведение, и оно не лучшее.

На работе навзрыд плачет Рахель. Все потрясены. Оказывается, Каролина заявила:

– Ты плохо работаешь! Ты должна работать в шабат!

– Но я не могу в шабат! – ахнула религиозная Рахелька.

– Мне не нужна руководительница лаборатории, которая не работает по субботам!

– Ты должна пожаловаться в администрацию больницы! – вне себя от возмущения кричит Игорь. Он очень скор на решения, его не касающиеся.

– Игорь, будет хуже! – останавливает его Майя. – Кому мы нужны?

– Мы нужны нам! Нам!

– В стране эпидемия! Ты забыл? – Лея поддерживает подругу. – Сейчас поднимать скандал себе дороже.

Легкие детские слезы скатываются по расстроенному лицу Рахельки, и она вытирает их ладошкой.

Десятое марта. Вторник.

Вообще, народу не протолкнуться. Для обеззараживания поступающих проб к имеющимся четырем помещениям добавляют еще два. Среди пришедших студентов красивая арабка Адия с фиолетовыми волосами, современно одетая, в джинсах.

– Мне так любопытно! Так любопытно! – сверкает глазами.

Адия привыкла, что все ее замечают, и насмешливо улыбается.

Привозят всё новые и новые приборы, частью экспериментальные. Молодой кудрявый техник пришел калибровать один из приборов – оглядывается, ищет защитные перчатки.

– «Лардж»? – хочет помочь ему Тали. – Если тебе нужны «лардж», сейчас принесу.

– Как ты догадалась, – вдруг масляно улыбается техник, – что у меня действительно «лардж?»

– Почему тебя сегодня так долго пришлось ждать?! – резко вмешивается Игорь.

Техник обижается:

– Ставил машину на стоянку!

– Оттуда идти десять минут.

– Я техник, а не спортсмен! – сопит от обиды, ковыряется.

Мама звонит:

– Забери меня домой.

– Мама, в стране эпидемия. Карантин.

Поражается. Она забыла, что Игорь уже говорил ей это день назад. Перезванивает через пять минут:

– А еще что нового?

– Ничего.

– Тогда что старого?

11 марта. Среда.

«Глава правительства объявил, что детские сады и школы продолжают работать в обычном режиме. Однако в высших учебных заведениях открытие учебного года может быть отложено.»

Игорь спрашивает Тамару:

– Что-нибудь известно о сверхурочных?

– Нет, – прячет глаза Тамара. – Я звоню, пишу... Это Каролина должна.

Данные по коронавирусу из лаборатории автоматически начинают передаваться в Минздрав. Штаб в кабинете Каролины заседает без перерыва. Зал около больничной столовой, раньше использовавшийся для йоги, переоборудован в склад для прибывающего лабораторного оборудования.

Стычка Каролины с Рахелью:

– Где график дежурств?

– Я не могу составить дежурства на три месяца, как вы просите! – возражает Рахелька. – Всё так быстро меняется. Я могу составить на три-четыре дня вперед.

Каролина кривится и назначает ответственным за дежурства толстого Габи.

Рахелька в слезы:

– Ну как же так? Габи не знает людей! Он вообще из микробиологии!

Вытерла ладонью щечки, попросила Игоря:

– Давай я сегодня отдежурю, а завтра ты? Не могу завтра. Хоть как-то к Песаху подготовиться.

Муж у Рахельки учится в ешиве. У них в семье есть машина, но ездит на ней муж. А Рахель из своей ортодоксальной деревни добирается до Иерусалима на двух автобусах.

Мамин звонок:

– Ты что, не понимаешь? Мне здесь плохо. Ты приедешь и найдешь мой труп.

Но Игорь не может приехать – в психиатрическую больницу не пускают. Игорь лихорадочно оформляет документы в дом престарелых.

В конце дня Каролина спрашивает:

– Игорь, сколько проб сделали?

– Сто.

– Мало. Надо двести.

– Как?

– Доставят еще одного робота.

Двенадцатое марта. Среда.

Штаб закупил в Китае огромное количество дешевых лаборатор-

ных комплектов для проверки проб на коронавирус. В них один из активных компонентов – меркаптоэтанол, ядовитейшее вещество с мерзким запахом. Теперь этот запах по всей лаборатории. Лаборатория работает двадцать четыре часа в сутки. Студенты очень стараются, выполняют по сто пятьдесят анализов за смену, ломают приборы и путаются. А раз путаются – теряются результаты анализов. Поэтому штаб назначает специальную группу проверять, кто что напутал.

А вот Тали переживает, что вынуждена уйти на операцию, Замученная Михаль говорит ей:

– Ты такая счастливая...

– Из-за операции? Можем поменяться! – взрывается Тали.

Пришли три тетки из молекулярной биологии – усталые, работающие. Стоят, ждут, куда их определяют.

– Вам заплатят?

– Не знаем, – тихо отвечает одна. – Надеемся.

– Лично я не намерен спасти страну без оплаты, – ядовито высказывается Игорь. Пять лет до пенсии ему кажутся вечностью.

– Мы спасаем не страну, а людей.

Мамин звонок:

– Не приходи ко мне!

– Почему?

– Не приходи. Придешь, когда я скажу.

Не выдержала и заплакала.

Тринадцатое марта. Четверг.

Объявили о закрытии школ и университетов.

Каролина дала интервью на радио, перед интервью очень волновалась. Бегала по лаборатории, решала, где ей удобнее разговаривать. Наконец решила, что даст интервью в окружении новых приборов, и всех выгнала, чтобы не мешали.

Тем временем новый начальник по дежурствам, Габи, написал письмо в отдел кадров по поводу оплаты сверхурочных. Каролине стало неудобно, она подключилась, начала звонить. Отдел кадров смилостивился.

Рахелька с тоской и сожалением:

– Ну почему, почему она мне не разрешала писать...

Студенты храбро разводят меркаптоэтанол. Запах жуткий.

Около штаба повесили телевизионный экран, и на нем отражается текущее состояние дел: сколько проб поступило, на каком этапе проверки эти пробы. Экран очень красивый. Хотя через две недели его перестали включать.

Каролина видит ковыляющую домой Михаль.

- А, Михаль, как дела?
- Очень устала.
- Но зато довольна! – радостно смеется Каролина.
- У Михаль больной ребенок.

Четырнадцатое марта. Пятница.

«Свыше тридцати тысяч человек находятся на карантине. Сделано более пяти тысяч тестов на коронавирус, из которых сто девять дали положительный результат. Состояние двоих больных оценивается как тяжелое.»

Рахель сорвалась: затеяла безобразный скандал с Габи. Стояла – маленькая, напряженная, – напротив толстого огромного Габи и кричала – голос тонкий, почти детский. Рахель совсем потерялась. Каролина ее обрывает на полуслове, в штаб не приглашает. Игорь время от времени дает Рахели бесплатные советы:

- Организуйвай, показывай себя нужной!
- Да нечего уже организовывать! – рыдает Рахелька.

– Майя, Лея?! – вдруг вскочила и бросилась к подружкам, согласно согнувшимся около компьютера. – Что делаете? Зачем? Нет, не это надо. Вчера много проб осталось. Надо их срочно! Габи говорит по-другому? И Каролина? Но почему?.. – взгляд лихорадочный, губы обветрены.

Подружки переглянулись:

- Рахель, успокойся.

Рахель уходит. Лея задумчиво смотрит ей вслед. Поворачивается:

– Майка, у нас дома, как ты знаешь, есть черепаха, и мы включаем ей обогрев. А вчера старшая дочка забыла. Я ее ругаю, а она: «Мам, ты что, не знаешь? Бывают и пасмурные дни...»

Каролина со свитой торжественно заходит в комнату, где работает Игорь:

– Так! – распоряжается. – Этот прибор переносим в другое помещение. Он будет предназначен только для короны.

– А что с другими вирусами? Энтеро, СиЭМВи, герпесом? – спрашивает Игорь.

Оп-па! Забыли.

Разворачиваются и уходят.

Пятнадцатое марта. Суббота.

Выходной. Первый за две недели. Игорь живет в Иерусалиме, у него даже квартира есть, жена и дочка. Утром он выходит на улицу. Такое чувство, что не две недели, а вечность прошла. Мартовский ветер, цветет черемуха.

– Игореша!

Это сосед. Живет рядом, работает поваром.

– Знаешь, Игореша, я понял, что случилось!

– Что?

– Пенсионные фонды объединились и заказали вирус китайцам. Китайцам ведь всё равно, что делать? Вирусы или стулья? Зачем? А чтобы пенсии не платить!

Игорь смеется; почему бы не посмеяться... Возвращается к завтраку. За завтраком его шестнадцатилетняя дочь, закончив с салатом, взволнованно говорит маме:

– Мама, я так тебя люблю! Так люблю! Когда ты постареешь, я отправлю тебя в самый лучший старческий дом!

Шестнадцатое марта. Воскресенье.

Катастрофа.

Оказалось, не проверили новые наклейки для нумерации поступающих анализов, и пришли дубликаты. Один рулон наклеек отдали в университет для работы с коронавирусом, другой рулон в лабораторию Каролины. Через десять дней выяснилось, что под одним и тем же номером записаны результаты анализов разных больных. Каролина рвет и мечет, ночью позвонила домой к Рахели, начала кричать:

– Ты всё проваливаешь! Ты никчемная! Не хочу больше тебя видеть!

Оказалось, именно Рахель заказывала наклейки. Рахель судорожно оправдывается:

– Я предупреждала, что нужны наклейки разных цветов! Предупреждала! Меня никто не слушал!!

Ступор. Что делать, никто не знает. Габи предлагает прекратить принимать новые анализы. Но как? Есть же срочные со «скорой помощи». Решили принимать, но не выдавать результаты, а то вдруг под одним номером опять будут записаны разные больные. Программисты тоже не знают, что делать. Наконец решили заново перепроверить. Кто положительный по-настоящему, а кто отрицательный. Нагнали студентов. Студенты днями и ночами роются в вонючих мешках, всё проклинаят.

Люди убеждены, что если бы Каролина не тянула на себя, такого бы не случилось. Университет заказал бы свои наклейки, лаборатория – свои, микробиология бы помогала, и всё было бы нормально.

Как-то Игорь в десять часов вечера проходил мимо не замечающей его, сидевшей в прострации Каролины. Зазвонил телефон, Каролина встрепенулась:

– Да?

Было ясно слышно.

– Каролина, что ты можешь сказать? – недовольный мужской бас.

– Всё хорошо, – невозможно легким голосом ответила Каролина.

– Когда закончите?

– В начале следующей недели.

– Уверена?

– Да.

– Ну смотри.

Семнадцатое марта. Понедельник.

Правительство объявило, что бюджетный сектор переходит на чрезвычайное положение. Частный сектор сокращает работу на семьдесят процентов.

Новой руководительницей по коронавирусу назначили Эйнав. Эйнав – милая барышня, докторскую степень закончила у Каролины, говорит с легким французским акцентом. Бедняжку Рахель Каролина, отстранив от коронавируса, назначила заведовать обычными вирусологическими анализами. Но сейчас обычных вирусологических анализов лаборатория почти не делает.

Игорь – на смене с Майсей и Леей. Чай. Свежий тортик.

– Я так потолстею... – говорит Игорь.

– Не парься, – хихикает Лея.

– Каролина долго пыталась нас поссорить, – вспоминает Майя.

– У нее ничего не получилось, – улыбается Лея.

– Странно, сегодня мало анализов, – Игорь смотрит на часы. – Дежурство заканчивается, а работы почти не было.

– Игорь, может подождем?

– Зачем?

– А вдруг придут еще пробы?

– Но мы же отработали?

Майя и Лея нерешительно переглядываются. Они привыкли безропотно исполнять приказы, оставаться сколько нужно, а тут – на тебе, можно идти домой.

– Мама, как дела?

– Игорь, скажи, что со мной будет?!

– Не знаю, мама.

– Думаю, что я умру.

– Мам, не говори так!

– Устала я, всё болит. Плохо себя чувствую, а конфеты не помогают.

Когда Игорь уже лег спать, ему вдруг позвонила Каролина. Игорь сонно посмотрел и выключил телефон.

Восемнадцатое марта. Вторник.

При входе в больницу начали измерять температуру.

Секретарша послала СМС: «Если Каролина звонит, отвечать немедленно! Не ответили – будут последствия. И не перезванивать! Опоздали ответить – пеняйте на себя».

– Так что она хотела? – пытается узнать Игорь.

Оказалось, Каролина решила, что если лаборант не на дежурстве, то на работу приходите не надо. Мол, клинических анализов почти нет, и можно сэкономить на зарплате. Поэтому Игорю и трезвонила.

– Но ведь так мы теряем деньги? Дежурства были дополнительной работой!

Тамара виновато пожимает плечами.

– Есть письменное распоряжение?

– Нет.

Майя взорвалась. Она вообще взрывная. Молчит, работает, потом взрывается.

– Что Каролина еще придумала! Я не собираюсь терять зарплату! Я пойду к ней! Леечка?

– Ну конечно.

– Ты с нами? – обращается к Игорю.

– Нет, – вдруг отказывается Игорь. – Не хочу с ней разговаривать, что-то объяснять. Просто не могу. Я уже полгода не захожу к ней кабинет. Буду работать, и пусть попробует не заплатить.

– Меня это не устраивает! – кричит Майя. – Лично мне нужна ясность. Мне не нужно, чтобы потом у меня вычли из зарплаты!

– И мне нужна ясность, – подтверждает Лея.

– Так не пойдешь?

– Не пойду.

– Игорь, ты просто боишься!

– Я не боюсь, я...

– Тогда вскипяти чай!

– Хорошо, – виновато кивает Игорь.

Сел удобнее, начал ждать. Недолго ждал, надо сказать. Услышал смех. О, кажется возвращаются!

– Карапузикам привет! – Майка издала помахала рукой.

– Что, что?

– Наши люди впереди телеги! Сдала назад.

Девятнадцатое марта. Среда.

Опять новые правила: «Не выходить из дома, кроме как в экстренных случаях. Общественный транспорт не будет работать после восьми вечера».

Седенькая Дина, подслеповато глядя сквозь толстые стекла астигматических очков, жалуется. Голос у нее довольно противный.

– Каролина мне говорит: «Ты ходишь с мигренью и не берешь выходные, так вот, я очень это ценю». – Ну я, понятно: «Спасибо». – «А это значит, – железно продолжает Каролина, – что ты можешь без проблем ходить на работу с головной болью, и ничего страшного не случится.»

Вечером Игорь едет к адвокату заверить мамины документы. Офис у адвоката в период короны не работает, но адвокат согласилась подписать документы у себя дома. Опасно, на самом деле: полиция останавливает машины, выписывает штрафы, но Игорю везет, и он добирается на другой конец города без проблем. Пожилая женщина встречает Игоря в маске, перчатках, оставляет Игоря стоять в дверях, опасливо берет бумаги, ставит на них печати и протирает полученные деньги влажной салфеткой.

Двадцатое марта. Четверг.

– Мама?

– Игорь, тут опасно. Я попала к японцам. Хотя... – мама раздумывает. – Причем тут японцы? Причем тут японцы, ты не знаешь?

– Не знаю.

– Ладно, ты когда меня забереешь?

– Заберу.

– Когда?

– Скоро.

– Скоро? Что-то я тебе не верю...

Игорь проглатывает внезапно возникший ком в горле.

– Мама, скажи, чем ты будешь дома заниматься?

– Телевизор посмотрю, я же всегда его смотрю. Читать вряд ли, я что-то себе ничего в библиотеке не подобрала. Ничего особенного, в общем. А что ты хочешь – старость. Старость, – повторяет. – Старость.

Двадцать первое марта. Пятница.

Умер первый больной коронавирусом.

Позвонила Тали.

– Игорь, как дела?

Выслушала и объявила:

– Я хочу выйти пораньше.

– Зачем? Студентов много. Все уже забыли, как тебя зовут.

Тали оскорбленно прощается.

Каролина опять вызверилась. Габи записал Игоря дежурить на ближайшие выходные, Игорь отказался, и Каролина его вызвала:

- Почему?
 - У меня дежурство в микробиологии.
 - Ты должен выбрать! – начала орать Каролина. – Ты должен выбрать, где ты работаешь. У меня или в микробиологии!
- Игорь не стал обострять, но работу в микробиологии не бросил. У Каролины же быстро вылетело из головы.

Двадцать второе марта. Суббота.

Новое сообщение от Каролины: «Без моего ведома никому не сообщать результаты анализов по коронавирусу. А особенно профессору такому-то!»

Каролина похудела настолько, что, кажется, дунешь – и переломится. Но это обманчивое впечатление. Энергия в Каролине так и бурлит. Каждый день она выдает новые распоряжения. В начале недели – не делать респираторные вирусы; в середине – я этого не говорила. В конце недели – я же говорила, что только по требованию врача!

У новой заведующей Эйнав не только чудесное французское грасирование, но и задорный смех. Уходит в двенадцать ночи – смеется. Приходит в шесть – смеется. Только смех нервный. Укрепились смены дежурных. Выделились заведующие сменами: Алена из гематологии – по-мужски быстрая, резкая; крикунья Ноа из биохимии, Малка – лисичка себе на уме, оказавшаяся упрямой Адиля с фиолетовыми волосами, и еще, и еще... В комнатах обеззараживания коронавируса по-прежнему работают по трое, заведующие сменами принимают поступающие анализы, готовят отчеты, распоряжаются. Везде интеркомы, мелодичные звонки раздаются каждые пять минут. В отличие от студентов первых курсов, занятых обеззараживанием, лаборанты Каролины сосредоточились на дальнейшей работе с коронавирусом, хотя и здесь инициативу начали перехватывать молодые докторанты. Выявилась проблема – недостаток приборов ПЦР, и из-за этого вспыхивают ссоры. Всем есть что делать, но каждый несет нагрузку по своему:

Полная одышливая Михаль без конца меняется сменами.

– Ну помоги... – канючит у Игоря. Через час. – Нет, не хочу, давай обратно, я ошиблась. – Звонит вечером. – Может, ты меня и утром заменишь? Ты же знаешь, у меня больной ребенок.

Игорь весело, напоказ, злится:

– Опять сломали робота? Прекрасно! Нечем работать? Замечательно! А другой робот что? Еще живой? Жаль, жаль... Потерпите, мы его сейчас быстро ухайдакаем!

Дина, вопреки подслеповатости, всегда успевает занять нужный всем прибор ПЦР.

– Дина, я же написала, что ПЦР после часа дня – мой! – кипятится Михаль.

– Я не видела!

– Как не видела?

– Отстань, не видела – и всё.

Майя и Лея лишнюю работу не берут, но свою делают истово.

– Нет, не пойдем в университет работать! Какое распоряжение? Еще чего! У нас и тут есть что делать.

Элла, которую простили, пытается реабилитироваться, за всё берется и всё проваливает.

– Так! – кричит, – кончился лизис! Надо позвонить Алле! Так, кончился меркаптоэтанол – надо позвонить Нице!

Эйнав не выдержала:

– Это не твое дело. Ты работаешь с энтеровирусом? Вот и работай!

Рахель вообще не видно, она берет вечерние и ночные смены. А еще разговаривает сама с собой. Михаль как-то подслушала: сидит Рахель за компьютером и громко говорит: «Но я же хороший работник? Да, хороший. Я вообще работаю лучше всех! Почему же ко мне такое отношение?» – ортодоксальная молодая женщина, парик, чулки, длинное платье, в двадцать семь лет – четверо детей, муж учится. Хотелось бы уволиться, но куда сейчас пойдешь?

Двадцать третье марта. Воскресенье.

Маму перевезли в дом престарелых.

– Здравствуйте, вы сын Риммы?

– Да?

– Несколько вопросов. Мы ведь вашу маму не знаем. Скажите, она сама ест?

– Да.

– Ходит?

– Конечно.

– Странно, ее привезли в инвалидном кресле.

Игорь похолодел.

– Это какая-то ошибка...

– Нет, не ошибка, ваша мама не встает.

– Но почему? – голос Игоря осел. – Когда я оставлял ее в психиатрии, она ходила.

– У нас не ходит. Хотя еще попробуем, конечно.

– Надо что-то привезти?

– Носки, теплые вещи, верхнюю одежду. А еще знаете... – смешок: – Она всё время хочет позвонить вам и набирает номер телефона на стакане с чаем.

Двадцать четвертое марта. Понедельник.

Объявлено о переносе летней олимпиады в Токио.

Опять выявились номера с несовпадающими результатами, Каролина рвет и мечет. Студенты бросились перепроверять уже дважды проверенные старые анализы. А к секретарше пришла СМС, что она должна быть в карантине. «Чушь! – рявкнула Каролина. – Я лучше знаю. Приходи на работу!»

– Штраф Каролина тоже за тебя заплатит? – угрюмо осведомился Игорь.

У Тамары задрожали губы. Игорь достал телефон и в который раз набрал номер:

– Позовите, пожалуйста, Римму к телефону.

– Минуту!

– Мама?

Мама молчит.

– Мама, ты слышишь?

– Да.

– Почему же ты не говоришь?

– Игорь, у нас ничего не получится.

– Почему, мама? Что случилось? – с отчаянием спросил Игорь.

– Тут такое место... Всё загорожено, их больше, и у них армия.

– Мамочка, мы прорвемся.

– Глупости. Еще неизвестно, с какой стороны они будут стрелять.

– Мама...

Длинные гудки.

Продуктовая сеть «Рами Леви» подарила сотрудникам больницы желтые цветы. Весна... весна...

Двадцать пятое марта. Вторник.

Лаборатория работает по двадцать четыре часа в сутки. Процесс обработки проб наладили, как швейцарские часы. Костюмы четвертой степени защиты уже не нужны – наконец, разобрались. Постоянно улучшаются процессы обработки и идентификации вируса. Вначале его обеззараживали, добавляя лизис в пробирки с пробами, потом нашли фирму, которая выпускала пробирки с уже готовым внутри лизисом. К концу месяца обнаружили, что обеззараживать вирус можно в термостате при температуре шестьдесят пять градусов, и вздохнули с облегчением. Результаты ПЦР автоматически переводятся в компьютер. А из компьютера – в Минздрав. Приборов ПЦР не два, как в начале месяца, а шесть, но всё равно не хватает. Проверенные пробы вначале замораживали в пробирках, в которых они поступали из больниц и поликлиник, потом начали переливать в

специальные платы, которые удобно хранить. Каждый этап проверки на коронавирус фиксируется отдельными компьютерными программами. А еще оказалось, что студентам платят гораздо больше, чем постоянным сотрудникам лаборатории, что обидно. За восьмичасовую смену студенты обрабатывают около двухсот анализов. Вот только мерзкие китайские лабораторные комплекты из-за меркаптоэтанола по-прежнему источают жуткий запах. Игорь терпел, терпел и взорвался. Разорался на Эйнав, та вызвала техников, техники соорудили некое подобие защиты от запахов, защита быстро пришла в негодность. В конце концов, умные докторанты напряглись и после объединенного мозгового штурма заменили меркаптоэтанол на что-то менее вонючее.

Двадцать шестое марта. Среда.

Каролину «кинули»: организовали национальный центр по проверкам коронавируса не у нее, а в больнице «Тель-а-Шомер».

На работу вышла Тали.

Красивая Адиля со своими фиолетовыми волосиками сунулась к новейшим приборам: видите ли, ей интересно, как они работают.

И вдруг начальница – туча тучей:

– Ты что тут делаешь? Уходи. Это только для моих.

Оказалось, Каролина в споре с профессором, у которого учится Адиля. Ну, она почти со всеми в споре.

Двадцать седьмое марта. Четверг.

Еще одно распоряжение правительства: «Нельзя собираться на открытых пространствах. В том числе для молитв».

К Майе и Лее в гости пришел их старый знакомый Натан. Принес конфеты, Майка вскипятила чай.

– Ну, Натан, рассказывай!

– А что рассказывать?

– Ха! Как живешь?

– Дочка у меня недавно была со своим классом в театре.

Лея удивилась:

– Так закрыто же всё!

– До короны, Лейка! До короны!

– А-а-а, понятно...

– Так вот, их класс повели на спектакль «Ромео и мама».

– «Ромео и Джульетта», ты хотел сказать?

– Нет, это современная пьеса. Не перебивайте! Так вот: Ромео – мальчик, живет с мамой, мечтает быть актером и хочет играть в школьном спектакле главную роль. Его мама болеет раком, а мальчика на роль не выбирают. Мальчик это скрывает, чтобы не

доставлять маме огорчений. Но друг привозит маму на спектакль, и она понимает, что сын обманул. Сын приходит в больницу, они смотрят на друг друга. Занавес.

– Понятно... – осторожно замечает Майя. – И что?

– Дочка хихикает: мы, мол, посмотрели, собрались выходить, а одна девочка из класса, самая дурная, сидит и плачет. Пять минут, десять минут, всем надоела. Дети ей говорят: «Может, все-таки пойдём?» – «Я же вам мешать буду?» – всхлипывает девочка. – «Не будешь, – отвечают дети, – мы наушники наденем.»

– Я в Израиле ни разу в театр не ходила, – признается Лея.

– А раньше?

– Иногда ходила. В Питере...

Натан отхлебнул чай.

– Ух, горячий! И сладкий. Так что у вас?

– Как обычно.

– Как обычно – что?

Майя начала рассказывать про Каролину, про безумную работу, про сверхурочные.

– Стоп, стоп! Не понял! – затряс головой Натан. – Еще раз: как вам платят?

– Сверхурочными, – объяснила Майя.

– Вы дежурите посменно, а платят вам не как за дежурства, а как за дополнительные часы?

– Да, – Майя переглянулась с Леей.

– Вас обманули. За дежурства всегда платят больше. Мы, например, в нашей аптеке сразу сказали, что хотим получать не сверхурочные, а дежурства, а иначе не будем работать. И нам начали оплачивать смены по этому тарифу.

Майя ахнула.

– Что же это такое!

– Стоп! Успокойтесь! Не надо так переживать. Это всего лишь деньги! – расхохотался Натан.

Двадцать восьмое марта. Пятница.

Двенадцать умерших, сорок девять в тяжелом состоянии. Три тысячи заболевших.

Игорь поехал к маме собрать для нее вещи. Вот она – квартирka в пятьдесят шесть метров, которую они вместе купили в далеком тысяча девятьсот девяносто шестом году. Мама очень любила ее. На стене отрывной русский календарь, в последние годы мама просила такие покупать, зеленый ковер на полу, легкие занавески, телевизор, старенький сервант с забытым советским хрусталем. На обеденном столе – чайник. Очень тихо. Тихо и одиноко. В большой комнате окно

полуоткрыто, и занавески, колыхаясь, пропускают внутрь солнечный свет, играющий бликами на вывезенной из России в далеком девяносто первом году хрустальной люстре – маминой тихой гордости. В спальне на прикроватном столике открытая коробочка лекарств. Торшер рядом с зеркалом.

«Мама, мы счастливо жили», – шепчет Игорь.

Открыл шкаф – и оттуда повеяло мамиными духами. Одежда на плечиках. Платья, блузки. Аккуратно сложенное постельное белье. На кровати откинута одеяло ждет хозяйку. Чуть примятые подушки. Игорь сел; сидел долго, в голове было пусто. Потом встал и, торопясь, начал собирать нужные вещи.

Двадцать девятое марта. Суббота.

Каролина попросила приехать: в очередной раз выявлены двести дубликатов с несопадающими результатами. Уже устали от этого безумия.

Когда сели обедать, Дина начала рассказывать, что в Бней Браке люди учат Тору невзирая на ограничения. Относятся к учению как к священной миссии, благодаря которой именно Всевышний оберегает свой народ, а не какие-то там марлевые повязки и дезинфицирующий гель.

– Зато раввины запрещают евреям читать Танах! – неожиданно вмешалась Элла. – Особенно пятьдесят третью главу. Вот ты читаешь пятьдесят третью главу? – посмотрела на Игоря.

– Я вообще ничего не читаю, – ответил Игорь. Ему неожиданно стало стыдно.

– И вируса такого нет! – Элла завела старую песню.

– Что-то тебя каждый раз не туда несет, – заметила Михаль.

– Вы все зомбированные! – Элла не осталась в долгу.

– А я у своего знакомого Марика в фейсбуке прочитал, – вмешался Игорь. – Марик написал, что уважает тех, кто в группе риска, а не в группе писка. Мол, коронавирус – полная ерунда, и он даже холеру в Одессе не боялся.

– Звонко!

– Игорь, – глухо спросила Лея, – ты же двадцать лет дежуришь в микробиологии? Что же ты не сказал, что нам не так платят?

– Не подумал. Ну честно... Вообще не связал одно с другим.

Тридцатое марта. Воскресенье.

Тамара рассказала.

Оказывается, Каролина решила отблагодарить своих подчиненных за работу. Вначале собралась подарить по коробке конфет, но кон-

феты уже подарила продуктовая сеть «Суперсаль». Потом придумала подарить цветы, но цветы подарила продуктовая сеть «Рами Леви».

– Судя по всему, подарит открытку, – рассмеялась Майя.

– Нет, их же надо покупать!

– Да ладно, можно одну открытку на всех.

– Зря вы так, – обиделась за начальницу Тамара. – Каролина готовит вечеринку.

– Если она продвинет меня на следующую категорию, то я вполне обойдусь без вечеринки, – язвительно сказала Лея.

– А мне после двадцати пяти лет стажа уже некуда двигаться... – объявил Игорь.

– Тогда пусть делает вечеринку одному тебе!

– Да не будет никакой вечеринки! – угрюмо сказала Майя. – Двадцать лет не делала, чего вдруг сейчас?

Тридцать первое марта. Понедельник.

Мамин день рождения.

Игорь поехал в дом престарелых передать вещи. Оказалось, что маму можно увидеть через стекло в вестибюле. Ее специально привезут из палаты для того, чтобы она повидалась с сыном.

Дом престарелых Игорю не понравился: старое, длинное здание, с грязными балконами, завешанными поношенным бельем. Находится в религиозном районе, и всё выглядит соответствующе: узкие тротуары с многочисленными рытвинами, почти нет деревьев, мусор, запруженная машинами улица.

«Где тут гулять с мамой? – подумал Игорь. – Кошмар какой-то!»

Он передал пожилой женщине в парике и блёклом платье мамини вещи. Отошел к окну, куда был вставлен интерком, и начал ждать. Было видно, как за окном в небольшом холле сидят старики, и там должна была появиться мама. Маму привезли – и у Игоря упало сердце. Она сидела в инвалидном кресле, постаревшая, безразличная, в напыленном на ее прекрасные волосы уродливом чепчике.

– Мама! – крикнул Игорь.

Мать подняла голову. Несколько мгновений смотрела на сына, не узнавая, потом по ее лицу проскользнуло понимание.

– Мама!

Игорь нажимал на усилитель звука, но напрасно. Мать не слышала, что он говорил. Она закрыла глаза, потом открыла и опять посмотрела на сына.

– Когда ты меня отсюда заберешь? – скорее не услышал, а понял Игорь по движению ее губ.

И заплакал.

20.03.2022, Текоа

ПРОЗА. ПОЭЗИЯ

Владимир Батшев

Серым по белому

*Книга первая романа-приквела**

Flashback: За пять лет до...

КАНТОН, КИТАЙ. ДЕКАБРЬ 1927

С улицы постоянно доносятся возгласы китайцев, поднимающих какие-то тяжести. Утром европейский человек Мориц просыпался под эту музыку и думал: «Когда это кончится! Когда уже не буду этого слышать!»

Его не радовала красота европейской части Шанхая, современного города с высокими домами и широкими улицами, не занимала китайская часть с узкими, извилистыми улицами – «чтобы не проник злой дух». Он вторую неделю жил в центре города, поблизости от роскошного парка, где давали прекрасные концерты.

Наконец прибыл помощник.

– Здравствуйте, Мориц, – обратился к нему человек в сером плаще и китайской шапочке. – Можете меня называть Вернером. Хотя я знаю, что вы не Мориц, а вы знаете, что я не Вернер.

Человек, назвавшийся Морицем, пожал плечами.

– Хорошо, товарищ Ломинадзе. Что вы хотели сообщить?

– Ничего интересного, товарищ Нойман, – ответил человек, назвавшийся Вернером. – Хочу показать вам хороший пистолет. Он вам нравится?

Мориц взял оружие, передернул ствол.

– Хороший пистолет.

– Возьмите его себе, – великодушно разрешил Вернер. – Здесь без оружия нельзя. Но, может, вам больше нравится маузер?

– Не нравится, он тяжелый, – отказался Мориц.

Вернер покачал головой.

– Зря отказываетесь. Здесь все носят маузеры. Для китайца маузер – как орден. Просто мода какая-то! А революционера без маузера не считают за серьезного человека.

* «Серым по белому» – приквел к роману В. Батшева «1948», НЖ, № 302, 2021. Журнальный вариант. Продолжение. Начало см. НЖ, № 309, 2022.

– И много у них этих маузеров? – поинтересовался Мориц.

Вернер махнул рукой.

– Да штук триста, не больше.

– И вы думаете, что с маузерами можно совершить революцию? – скептически произнес Мориц.

Вернер поморщился:

– В Китае всё возможно. Когда я организовывал восстание в Няньчине...

Мориц прервал.

– О, нет, нет! Не надо рассказывать про восстание в Няньчине. Я всё про него знаю. Я читал докладную. Как вы там прогадали, как вы там, простите за выражение, – просрались.

– Это я-то? – возмутился Вернер. – Да мы в два дня захватили весь город!

– Ну и чем это кончилось?

– Это – второй вопрос, – сбавил тон Вернер. – Одним словом, раз вам нравится пистолет, получите к нему коробку патронов. И давайте разрабатывать план, как мы будем поднимать Гуанчжоу.

Мориц не понял:

– Гуанчжоу... Почему Гуанчжоу?

Вернер назидательно произнес.

– Потому что мы называем его Кантоном, а китайцы называют Гуанчжоу.

– Но до него еще надо добраться.

Вернер успокоил, что билеты на пароход уже куплены.

Морицу в Китае тяжело во всех отношениях – и морально, и физически. Когда выходишь из магазина и на тебя набрасываются рикши, которые тебя заранее приметили и ждут, чтобы заполучить, а потом сидишь, развалившись, в коляске, а рикша – в одних трусах, с перекинутой через руку тряпкой, которой он вытирает пот, бежит, как лошадь, задыхается, – чувствуешь себя очень скверно. Вернер объяснял, что если сидишь, развалившись, то рикше легче везти, и вообще эта работа не тяжелее всякой другой; что нужно ездить на рикшах, чтобы дать им заработать. Но Мориц всё равно переживал.

Ему неприятны европейцы – в каждом он видел колонизатора. А приниженность и нищета китайцев ужасала. В Шанхае масса нищих, калек, со страшными болезнями, гноящимися глазами. Ночью они валяются на улицах, спят, как звери, – жаловался Мориц товарищу.

Вернер пожимал плечами:

– Как ты можешь обращать внимание на такую чепуху!

Из Шанхая эмиссары Коминтерна отплыли в Гонконг.

С собой они везли чемодан с деньгами для китайских революционеров. Кто-то из них постоянно дежурил в каюте.

Пароход остановился на несколько часов в следующем после Шанхая порту, и все пассажиры отправились на берег, чтобы осмотреть город.

Что делать нашим героям – остаться на борту и навлечь на себя подозрения? Или оставить чемодан без присмотра?

– Ничего с чемоданом не случится, – заявил Вернер. – Пойдем вместе с другими в город... За нами нет слежки, я уверен.

Мориц согласно кивнул – он проверял.

И они вместе с другими европейцами-туристами отправились на берег. Но когда вернулись на пристань, их ожидала неприятная новость. Пассажирам сообщили, что взять их на борт невозможно: скоро разразится тайфун. Корабль отправится дальше, так как он должен следовать по расписанию, их же завтра другим пароходом доставят в Гонконг. Само собой разумеется, что ответственность за багаж берет на себя пароходство.

Вернер и Мориц пришли в ужас – они ни в коем случае не могли передать свой чемодан «под ответственность» пароходства.

Что же делать?

– Надо нанять лодку, подплыть к пароходу и забрать чемодан, – предложил Мориц.

В отчаянии ходили они от одного владельца джонки к другому. Каждый качал головой и говорил:

– Я не самоубийца! Идет тайфун!

Когда уже была потеряна всякая надежда, они нашли оборванно-го владельца старенькой лодки, которая едва ли вообще могла плавать. Он согласился за большую сумму доставить их на борт, но требовал настоящих денег.

В денежном обращении Китая господствовала удивительная неразбериха, в стране имело хождение огромное количество бумажных знаков. Главными их видами были билеты, выпускаемые правительственными банками, иностранными кредитными учреждениями, коммерческими банками Китая, затем неразменные бумажные деньги провинциальных банков, мелкие купюры, заменяющие разменную монету. Каждая из этих бумажек имела свой курс.

Дело доходило до того, что отделение какого-нибудь банка не принимало по номиналу банкноты, выпущенные другим отделением того же банка. Металлическая медная монета с резко сниженным содержанием меди против установленного была обесценена. Серебряный доллар (юань) считался единственной полноценной серебряной монетой с содержанием 89-90% чистого серебра.

Вернер и Мориц ломали голову над требованием лодочника, не могли понять, сколько же он хочет, пока Мориц не догадался дать серебряный юань.

Лодочник доставил их на своей жалкой шлюпке на пароход,

который уже собирался отплывать. Чемодан остался нетронутым, но случилось именно то, чего они так не хотели, – на них обратили внимание. Впрочем, это не помешало им беспрепятственно достичь Гонконга и отправиться поездом дальше в Кантон.

В номере одного из отелей Кантона они встретились с ответственными товарищами из Кантонской секции КПК, которым должны передать деньги. Китайцы дважды пересчитали доллары, взволнованно пошептались, зачем-то вышли в соседнюю комнату для беседы, затем посланцам Коминтерна сообщили, что в ожидаемой и уведомленной сумме не хватает трех тысяч долларов.

Агенты были потрясены. Значит, в их отсутствие кто-то вскрывал чемодан. Они еще раз попросили китайцев пересчитать деньги. Сумма оставалась прежней. Тогда они потребовали позвонить в Шанхай и узнать, сколько денег было в чемодане.

Ответ из Шанхая был более чем неожиданным. Была названа сумма на две тысячи долларов меньше той, которую доставили Ломинадзе и Нойман.

– Какая же неразбериха в финансовых делах Коминтерна! – воскликнул Нойман, когда они остались вдвоем.

Ломинадзе согласно кивнул.

* * *

В дверь постучали.

– Открыто, – отозвался Нойман и накрыл пистолет своей шляпой.

Вошел Ульбрихт.

– Так, товарищи депутаты бундестага... – протянул он. – Решаете мировые проблемы, когда за углом убивают рабочих?

– Не угадал, – сложил губы Нойман. – Мы решаем, как отомстить полиции за подлое убийство.

– И что решили?

– Пристрелить полицейских. Там, где они убили нашего товарища на Bülowplatz, – он поднял шляпу, чтобы Ульбрихт увидел пистолет.

Ульбрихт одобрительно кивнул.

– Именно так. Самых ненавистных. Именно там. На Бюловплац. Застрелить сегодня же. Так? Только стреляйте им в голову! Чтобы не встали! Кто будет стрелять?

Киппенбергер сказал, что люди есть. Сейчас они пойдут в пивную, где собираются люди из партийной самообороны, и командир покажет наиболее боевых и подходящих ребят.

Ульбрихт одобрительно покивал и убежал по своим партийным делам. Он занимал должность окружного партийного руководителя.

– Одна нога здесь, другая – в другом месте, – усмехнулся Киппенбергер, кивая ему вслед.

Вечером того же дня гауптман полиции Пауль Анлауф, гауптман Франц Ленк и обер-вахмистр полиции Август Виллиг осуществляли обычное патрулирование территории по маршруту от 7-го отделения полиции на улице Hankestraße по Weydingerstraße в направлении Дома Карла Либкнехта, где им встретился обер-вахмистр полиции Буркерт.

– На Bülowplatz что-то затевается, – сказал он. – Там человек двести шумят... Я шел мимо, они на меня так злобно смотрели...

Полицейские решили возвращаться по Weydingerstraße.

Два боевика, Эрик Мильке и Пауль Вернер, которые прятались в подъезде, теперь быстро приближались к полицейским сзади.

– Ты берешь капитанов, а я обер-вахмистра!

– Есть!

На выходящей к кинотеатру «Вавилон» Weydingerstraße Виллиг заметил их. Он сунул руку в кобуру, чтобы достать свой пистолет, и повернулся к нападавшим.

В этот момент террористы открыли огонь. Они стреляли почти в упор из переданных им Киппенбергером пистолетов.

Анлауф умер мгновенно, Ленк получил ранение в спину, упал, пополз с пистолетом в руках до входа в кинотеатр «Вавилон», и затих навсегда. Виллиг, получивший одну пулю в живот, другую в руку, упал на землю, затем приподнялся и открыл стрельбу в прохожих.

Полицейские, находившиеся у Дома Карла Либкнехта, где помещались учреждения компартии, в панике решили, что речь идет о масштабном нападении, и без разбора палили во все стороны. Люди в страхе разбежались.

Когда прибыло подкрепление, площадь уже опустела.

ПРЕССА

«Меры против коммунистов в Германии»

Берлин, 10 августа.

В помещении государственной канцелярии состоялось, с участием представителей прусского правительства и германского правительства, а также префекта полиции Берлина, экстренное совещание о борьбе с коммунистами. По имеющимся сведениям, на совещании был поднят вопрос о роспуске коммунистической партии, но пока, как говорят, этот вопрос окончательно еще не разрешен и полиция будет бороться с коммунистами чисто легальными мерами. Префект полиции сообщил совещанию потрясающие подробности о боевых организациях коммунистов.

Объявлена премия в 20000 марок за сообщение сведений об организации покушения на поезд Мюнхен–Берлин. Позднее было сообщено, что премия эта увеличена до 100000 марок, из коих половину дает правительство и другую половину – железнодорожное ведомство. Коммунистическая газета «Роте Фане» запрещена на 2 недели.

«Коммунистический террор в Германии»

Берлин, 11 августа.

В конфискованном номере «Роте Фане» была помещена статья, объявляющая убийства полицейских мстью за стрельбу в коммунистов. Полицейским дознанием установлено, что со стороны коммунистов планомерно применялся террор. Убийства совершались группами членов запрещенного Союза красных фронтовиков по приказу из Центра. Тяжело раненый полицейский Виллиг сам слышал, как коммунисты стоваривались, кто из них кого убьет. Виллиг слышал слова: «Ты возьмешься за ‘свиную морду’ (прозвище полицейского Анлауфа), ты – за ‘гусара’ (прозвище Виллига), а ты – за другого». Этот «другой» – капитан Ленк – не имел еще прозвища у коммунистов, так как только в редких случаях участвовал в активных операциях. Когда Виллиг обернулся, в него были произведены выстрелы. Анлауф и Ленк были убиты. Коммунисты продолжают угрожать насилиями. Сегодня утром в квартале Вейсензе стены покрыты надписями, угрожающими смертью местному полицейскому комиссару Беккеру. На стенах одной школы огромными буквами написано: «Лейтенант Беккер, твой час пробил. Красные фронтовики принялись за тебя. Всякий убитый рабочий стоит двух полицейских». На мостовой Штрейштрассе стояла надпись: «Лейтенант Беккер будет убит из револьвера красными фронтовиками». В Шарлоттенбурге на дверях появились коммунистические афиши. Они были удалены полицией. Вскоре они заменены были другими, с припиской: «Тот, кто посмеет удалить эти афиши, испытает судьбу полицейских Анлауфа и Ленка».

«Возрождение», 11 августа 1931

ЛИДИЯ ФОН ТИЗЕНГАУЗЕН. 1931–1932

После окончания университета Лида долго не могла найти постоянного места. Пока «Робинсон и Френкель» не взяли ее к себе и она не показала, на что способна, пока она там не выложились до конца и они не признали ее способностей – *«Ах, мы никогда не ожидали, не ждали от женщины, что она способна на такое; как адвокат вы будете иметь несомненный успех, и мы вам в этом поможем, наша фирма поддерживает молодые таланты»*.

Она согласно кивала, а про себя усмехалась – ничего особенного не случилось, просто терпеливо изучила похожие дела и нашла общее в них, и сразу стало ясно, где зарыта пресловутая собака неизвестной породы, скорее всего spazirungsmischung.

Но ей хотелось какого-то большого дела.

Господин Робинсон посмеивался:

– Раз вы хотите интересного дела, то займитесь Батей.

– Каким Батей? – не поняла Лидия, потом догадалась. – Тем самым? Королем обуви?

– Тем самым, именно им.

Господин Робинсон рассказал, что обувной король обратился к нескольким адвокатам. Советский журналист Эренбург оскорбил его –

написал, что Бате удается снижать цены за счет жестокой эксплуатации рабочих и жестких методов управления.

Лидия покачала головой:

– Советский журналист... Мы будем судиться с большевиками?

Оказалось, что не так всё просто и, одновременно, ничего страшного. Во-первых, Эренбург хотя и советский гражданин, но живет в Париже. Во-вторых, статья о Бате опубликована в немецком еженедельнике. И дело будет рассматривать Берлинский гражданский суд.

Томас Батя – «чешский Форд», рационализатор производства, – ввел плановое хозяйство, заботился о своих рабочих: строит для них дома в Злине, детские сады, школы, жертвует большие суммы на церковь, заключил договор с советскими обувщиками.

– Да, и у меня обувь Бати, – призналась адвокат. – Легкая, удобная и недорогая.

Господин Робинсон показал ей папку с материалами других адвокатов, которые уже работали с этим делом.

Лида начала читать и рассмеялась.

– Что за чудак это писал? – спросила она. – Он ссылается на роман «Хулио Хуренито», чтобы доказать цинизм Эренбурга, который, якобы, в свое время служил кассиром в публичном доме. Я вспомнила! Я читала роман – не помню, правда, по-русски или по-немецки... смешной роман... На самом деле этим занимался не автор, а его герой... Это же несерьезно...

Господин Робинсон благожелательно кивал головой.

– А что серьезно?

– Серьезно то, что обувь Бати действительно не натирает мозолей.

24 декабря 1931 года Берлинский гражданский суд (19-й участок) в отсутствие обвиняемого рассмотрел иск Обувного союза Бати к Эренбургу.

Журналист обвинялся в том, что его статья в «Тагебух», № 7 за 1931 год, содержала 12 необоснованных обвинений против обувного короля.

Адвокат фон Тизенгаузен говорила в суде:

– Господин Эренбург известен своими литературными упражнениями. Он автор нескольких романов и памфлетов. Герои его произведений всё время выступают против основ современного мироустройства. Но господин Эренбург слишком увлекся выпадами против «акул мирового капитализма». В прошлом году из-за статей о Колониальной выставке его выдворили из Франции. Только благодаря своим высокопоставленным покровителям, в частности, сенатору де Монзи, большому поклоннику Москвы, ему удалось вернуться в Париж. Эренбург утверждает, что на фабриках Бати происходит – я

цитирую его памфлет – «жестокая эксплуатация рабочих». Откуда ему это известно? Когда он попросил разрешения господина Бати осмотреть предприятия, тот, якобы, ответил: «Я не показываю моих фабрик представителю враждебной державы». Значит господин Эренбург не был в Злине, не видел производства и не может утверждать то, что он написал... И я сомневаюсь в правдивости господина Эренбурга, когда он приводит ответ Бати («о враждебной державе»). Советские обувные фабрики связаны договором технической помощи с предприятиями Бати, и цифры продукции являются мерилем, которыми в СССР определяют достижения своих обувных фабрик...

Суд необоснованность обвинений признал и постановил взыскивать с Эренбурга судебные издержки, оплату Батей опровержений, а также 20 тысяч марок за каждую последующую публикацию очерка.

На новый 1932 год адвокат получила подарок от фабриканта – 24 пары обуви на все сезоны.

После этого посыпались заказы, и господин Френкель сказал, что не зря коллега Робинсон из всех выпускников ВШК выбрал эту девушку, и Лида понимающе кивала в ответ, потому что ее гонорары повышались, и никакой кризис не мешал ей профессионализироваться; она аккуратно платила налоги, и секретарша господина Робинсона сказала по секрету секретарше коллеги Френкеля, что фон Тизенгаузен заработала за 1931 год больше министра.

Перед рождественскими каникулами господа Френкель и Робинсон пригласили ее для приватной беседы в ресторан и предложили место в основном офисе в Германии, в Берлине. Они назвали размер жалования, и она сразу же согласилась, потом за шампанским они предупредили ее, что «Робинсон и Френкель» не только адвокатская контора, но и юридическое бюро, занимающееся и вопросами авторского права, и промышленностью, и некоторыми государственными проблемами. И если ей в другой фирме предложат более крупное жалование, то пусть она...

– Нет, – улыбнулась Лидия, – я хочу работать в известной и солидной конторе.

В Германии законы оказались похожими на чешские, хотя, понятно, имелась разница. Но было и проще – больше регламентации, меньше подзаконных актов. Но и бюрократизма больше, отметила она. Неделя ушла у Лидии на то, чтобы четко определить разницу в похожих законах.

И прически здесь носили другие, чем в Праге. И фасоны платьев иные. И костюм деловой женщины, в котором она щеголяла там, здесь оказался старомодным...

И, конечно, Берлин – не Прага. Хотя зима такая же мягкая.

Ну, а в быту что ее поразило и обрадовало – единый билет для

проезда на различных видах общественного транспорта. И метро, которого не существовало в чехословацкой столице! А пока у нее нет автомобиля и она не овладела умением его водить, лучше метро нет ничего в мире.

Господин Робинсон любезно знакомил Лиду с немецкой столицей.

Кто знал Берлин довоенный или кто покинул его в тяжкие для него дни падения марки, тот не имеет представления о Берлине теперешнем. Марка давно уже спасена с чисто немецкой изобретательностью и последовательностью. Забыты времена, когда цены товаров менялись даже не по часам, а по минутам. Когда каждый в жутком предчувствии надвигавшихся грозных событий старался завладеть как можно большим количеством реальных благ, истратить, разменять стремительно падающие банкноты... – забыть, отвлечься от страшной действительности.

– Трудно поверить, что такое было, – недоверчиво качала головой Лида.

– А полицейский час, когда после 11 часов вечера столица замирала до следующего утра... а по пустынным ночным улицам время от времени погромыхивал зеленый полицейский грузовик, прозванный «зеленой Минной», с арестованными при ночных облавах спекулянтами, клубными арапами, продавцами кокаина, налетчиками, ночными женщинами и прочей людской накипью, которая неизменно всплывает наверх при всех ненормальностях жизни...

Лиде было трудно поверить, что совсем недавно город вечером погружался в темноту и тишину.

Она видела столицу, живущую нормальной и полной жизнью. Валютчики и спекулянты исчезли, переменили свои специальности, приспособились к новым условиям, и темному элементу Берлина уже не запрещается вести ночную жизнь. Нувориши, тем или иным путем разбогатевшие на несчастьи разорившихся ближних, дали возможность развиваться ночной жизни германской столицы в размерах, какие и не снились доброму, экономному и аккуратному немцу прежнего времени.

Она бывала в Париже и могла сказать, что Берлин быстрыми шагами обгоняет до сих пор не превзойденный еще никем современный Вавилон – Париж. Во многих отношениях уже перегнал, уже идет впереди.

Она увидела на берлинцах и особенно на берлинках, как современная жизнь может изменить даже вековую психологию целого народа. Роскошь и модернизм ночных берлинских увеселительных мест во много раз превосходят ночные рестораны, мюзик-холлы и кабаре консервативного даже и в этой области Парижа.

И когда в конце догорающего берлинского дня прекращается работа в бесчисленных конторах, бюро, банках и мастерских, когда закрываются магазины и лавки, когда всё серьезное, деловое и семей-

ное население Берлина возвращается к своим домашним уютным очагам, ярко вспыхивают огни другого, ночного, Берлина – бесчисленные световые рекламы и вывески, открываются театры, кино, клубы, дансинги, кабаре и роскошные рестораны, могущие удовлетворить самый пресыщенный вкус, самые неисполнимые и нескромные требования.

И тогда всё это пестрое ночное население живет и движется в причудливо-неестественном свете мощных электрических лучей, продает и продается, покупает и покупается, ловко и умело обходя законы и полицейские правила.

Она стала изучать различные спорные законы и сразу же наткнулась на № 218 – запрет абортов. Она вздрогнула, когда прочитала об этом. И даже врачам запрещено. А как же, если для здоровья матери аборт необходим? Ах, еще параграф 184... Какая дремучесть, и это в 20-м веке, в культурнейшей стране Европы! Какая-то чепуха, бред... Ладно, позже разберусь, а сейчас листаем следующий том...

Когда через неделю она сообщила господину Робинсону, что займется № 218, тот вздохнул и сказал с грустью:

– Сложно... Трудно, фрау Тизенгаузен. Но одно скажу: вы станете богатой и знаменитой, вас завалят просьбами, жалобами и исками... Может, не очень богатой, но обеспеченной женщиной – точно. Но суды...

– Что суды?

– Попортят крови, вот что!

Она пожала плечами:

– Я не боюсь.

Каждое воскресенье она ходила на футбол, не болея ни за какую команду, а просто выбрасывая из организма адреналин – и потому что любила этот вид спорта. Однажды она пришла на матч с мюнхенской «Баварией», и когда матч начался, услышала фамилию левого хавбека – и сразу вспомнила: да я же знаю его, он приезжал в Прагу три года назад!

PARIS. ЮРИЙ ОЛОНЕЦКИЙ

Из пресловутой финансовой ямы, а точнее – жизненной ямы – выгацил его Кока Зуев, с которым он познакомился пару лет назад на собрании эмигрантской молодежи.

Он забыл о нем, а когда тот подошел, долго не мог вспомнить. Олонецкий был настороже, считал, что ему сейчас будут читать мораль – дескать, как могли вы, князь, упасть до клошара и т.д. Но тот никакой морали не читал, а повел его в ближайшее кафе.

Олонецкий попросил у подошедшего официанта бриошей, масла, кофе со сливками.

Зуев заплатил, потом заказал полный обед и предложил помощь. Юрий удивился подобному человеческому отношению и попросил денег.

Зуев поинтересовался, сколько и на что нужны деньги, и неожиданно для себя Олонецкий рассказал.

– Да, – согласился Зуев, – финансовая пропасть – та пропасть, куда человек может падать всю свою сознательную жизнь.

– А несознательную? – парировал Олонецкий.

– И несознательную тоже.

– Я карабкаюсь... – признался Юрий.

– Много дать не могу, – спокойно ответил Зуев, – но на первое время вот.

Он протянул два тысячефранковых билета.

– Отдадите потом. Когда выберетесь из пропасти.

На другой день Зуев помог перебраться в отель, где Юрий жил раньше. Тот расплатился с хозяином, получил назад два чемодана и воцарился снова в своей комнате, которая, на его удивление, пустовала, словно ожидая старого жильца. Она даже показалась Олонецкому более светлой и просторной.

Зуев работал ночным стражником, каждое свободное воскресенье заходил к Олонецкому; они перешли на «ты», немного выпивали, и как-то Зуев сказал:

– Пойдем, я тебя познакомлю с хорошими людьми.

– Хорошими? Чем они хороши?

– Они думают о судьбах нашей многострадальной родины.

Олонецкий сморщился.

– Николай, да кому она нужна? Какая родина? Какие судьбы?

Но Зуев возразил:

– Жорж, не надо забывать, что мы русские. В России происходят страшные вещи....

Олонецкий перебил.

– Да плевать мне, что там происходят! Мне нужна работа. Вот это меня волнует, я каждый день просматриваю объявления, каждый день хожу на биржу... А ты мне о какой-то России!

– Не о какой-то, а о нашей родине.

– Да что мне в ней? Если бы еще что-то было...

Зуев засмеялся.

– Ба! Да ты, братец, работаешь на большевиков.

Олонецкий даже сел от удивления.

– Как на большевиков? Да что ты сочиняешь!

Зуев развел руками.

– А как же? Ведь большевики всё время пишут о том, что в Париже цветы акации белой эмиграции, всякие князья и графья, только и мечтают, чтобы вернуть свои бывшие поместья и заводы...

– Тьфу на тебя! У нас не было никаких поместий и заводов. Наш отец служил в департаменте.

– Ага, в департаменте, небось в департаменте полиции...

– Да какой полиции, что ты несешь! В департаменте торговли и промышленности. Он был директором департамента...

Зув откровенно смеялся.

– Собирайся, приятель! Ты знаешь, что в Париже существует организация ночных стражников? Нечто вроде муниципальной полиции. Не знаешь? Ну да, под мосты они не заглядывают... Там служит много русских. И я служу. У нас освободилось место, будешь сторожить Париж по ночам. Платить будут, как и мне, – тысячу в месяц. Но ты, я надеюсь, не станешь из-за этого препираться?

Юрий довольно потирал руки и улыбался в ответ.

– Буду, конечно... но только с тобой.

PARIS, ОСЕНЬ 1931. МИШЕЛЬ

За много лет эмигрантского существования он ни разу не пожалел, что выбрал себе профессию шофера. Главное ее достоинство, считал Мишель, что она не однообразна, что каждое утро, выезжая на работу, ты можешь ожидать что-нибудь интересное и волнующее. Сменяются пассажиры, и всегда Мишелю с его места за воланом кажется bestолоковой и бессмысленной эта толчея, эта перетасовка людей с одной улицы на другую. Но вдруг приподнимается завеса, две-три нечаянно услышанные фразы вводят тебя, чужого и словно не существующего для пассажиров, в круг их драм, интересов, трагедии и комедии, ты делаешься молчаливым свидетелем, а порою и деятельным участником чужой и такой далекой для тебя жизни.

Мишелю кажется, что он сошел бы с ума, если бы из огня и дыма Гражданской войны попал куда-нибудь в банк бухгалтером или регистратором в какую-нибудь канцелярию. Конечно, и у шофера попадают скучные и однообразные дни. Но зато они с лихвой вознаграждаются другими, когда возвращаешься домой, усталый, но полный новых впечатлений и мыслей.

Сегодняшнее его приключение даже бывалому парижскому шоферу может показаться небанальным, и Мишелю остается только благодарить судьбу, что вышел из него невредимым...

Он хорошо пообедал к концу дня в одном из русских ресторанов, выпив при этом несколько рюмок водки. Работать после такого обеда не хотелось, но он решил постоять и подождать седака, которому было бы по дороге в его квартал.

Он подремал немного, а когда проснулся, увидел стоявший впереди своей машины изящный «Peugeot» с двумя очень миловидными дамами, из коих одна, по-видимому, и управляла автомобилем.

Как раз в это самое время мимо проходит какой-то почтенный бородатый буржуа.

Одна из дам его вежливо окликает. Во рту она держит длинный мундштук с папиросой.

– Разрешите попросить у вас спичку? – просит автомобилистка.

Но господин поглощен своими мыслями и проходит мимо, не обратив внимания на ее просьбу.

Мишель хочет рассеять свою дремоту и потому вылезает из машины и вежливо протягивает даме коробку спичек. Но та, презрительно посмотрев на шоферскую фуражку, вынимает из сумочки маленькую эмалированную зажигалку, закуривает перед самым его носом и нагло смеется Мишелю в лицо...

– Espèce d'idiot!

Шофер совершенно ошеломлен. Физиономия его в этот момент кажется такой озадаченно глупой, что они хохочут искренне и до слез.

Он только пожимает плечами и поспешно убегает восвояси. Автомобиль продолжает стоять, а женщины оглядывают прохожих. Мишель замечает, что одна из них выбрасывает только что начатую сигарету и вставляет новую.

– Что за притча? – мелькает в голове. – Какие странные особы...

В это время к ним подходит какой-то высокий и франтоватый человек лет сорока.

Они закуривают и о чем-то весело говорят. Мишель не слышит слов, но догадывается, что они приглашают его в свою машину.

Уговаривать долго не приходится, господин занимает место в машине.

Дама на руле дает ход вперед.

– Авто-амазонки! – улыбается Мишель, провожая взглядом странный автомобиль.

И тотчас же кто-то сзади трогает его за плечо. Он оборачивается. Перед ним – прекрасно одетый господин в мягкой шляпе, с бритым, энергичным и бледным лицом.

– Всё время – за этим автомобилем! – указывает он Мишелю на удаляющийся автомобиль амазонок.

Гоняться, как сумасшедшему, по Булонскому или Венсенскому лесу, после блинов и водки, Мишелю совершенно не улыбается.

Он протягивает руку к флажку, чтобы его опустить.

Мужчина кривится.

– Но, мосье... – начинает шофер, – я кончаю работу...

Тот молча отворачивает лацкан своего пальто и показывает Мишелю значок.

Перед ним полицейский инспектор.

– В таком случае – садитесь, – соглашается шофер.

Догнать амазонок удается на повороте улицы, там образовался загор.

Как и следовало ожидать, они несутся к Порт-Дофин.

– После барьера немного отстаньте! – приказывает Мишелю инспектор. – Чтобы они не догадались, что мы гонимся за ними.

В этот час на аллеях Булонского леса мало движения, и фары идущей машины ярко светятся впереди.

– Потушите фары! – просит инспектор.

Амазонки кружат по дорогам, потом выбирают место поукромнее, останавливаются, и машина тушит свои огни.

Инспектор выходит.

– Подождите здесь! – говорит он.

Но история Мишеля заинтересовала.

– Быть может, я смогу быть вам полезен, господин инспектор?— предлагает он.

– Мерси! Тогда – за мной.

Оставаясь в тени, они пробираются за деревьями почти до самой машины.

Амазонка-шофер неподвижно и молча сидит у волана. Из машины слышатся восклицания и вздохи, свидетельствующие, что парочка даром времени не теряет.

Мишелю кажется, что протекли часы.

Наконец внутри машины всё смолкает.

Дверцы отворяются, и дама соскакивает на землю.

– Готово! – говорит она своей подруге. – Теперь он будет спать часа три.

– Ты его очистила?

– Уже! Игра стоила свеч. В бумажнике у него тысяч десять.

Обе вытаскивают бесчувственное тело своего пассажира, бросают его возле дороги и спешат к машине.

– Стой! – кричит инспектор и выскакивает из-за дерева. Он вытаскивает револьвер, но женщина с силой бьет полицейского по руке, револьвер отлетает в сторону.

Мишель бросается вперед, женщина подставляет подножку, и он падает на землю.

Пока инспектор ищет свое оружие, а Мишель поднимается с мокрой травы, амазонка уже за рулем, заводит мотор, и машина трогается с места. Инспектор с револьвером в руке вскакивает на подножку, но получает сильный удар в лицо и оказывается на земле.

Он тотчас же поднимается на ноги и подбегает к автомобилю Мишеля:

– Полным ходом за ними!

Начинается погоня.

Инспектор сидит рядом с водителем, держа наготове револьвер.

Словно загипнотизированный маленьким задним красным огоньком «пежо», Мишель неотступно следует за воровками. «Пежо» поворачивает то вправо, то влево, стараясь уйти от погони.

– Отчаянные девки.. – бормочет инспектор.

В Мишеле просыпается чисто охотничье чувство преследователя, и кажется, что в тот момент больше всего ему хочется догнать этих «отчаянных девок».

На одной из аллей появляются два полицейских на велосипедах. Плохо понимая, в чем дело, они решают на всякий случай присоединиться к погоне.

Расстояние между такси и «пежо» заметно уменьшается. Инспектор целится в заднюю шину, стреляет, но мимо. Эхо выстрела гулко катится от дерева к дереву.

Полицейские велосипедисты мчатся по боковым аллеям наперез преследуемой машине. Один из них бесстрашно выскакивает на дорогу и бросает свой велосипед под автомобиль амазонок.

Но водитель не растерялась: она круто поворачивает в сторону, сбивает с ног бравого полицейского и несется дальше. Полицейский без движений остается лежать на обочине.

Инспектор решает стрелять уже не в шины, а в женщину, сидящую за рулем. Пули пронизывают тонкие стенки автомобиля, как картон, но «отчаянная девка» неуязвима. В ответ несколько пуль ударяют в автомобиль Мишеля.

Инспектор вздрагивает.

– Ах, так... – бормочет он, перезаряжая револьвер.

Сзади раздается вой мощного автомобильного рожка. За ними мчится еще одна машина. В ней несколько полицейских.

Амазонки перестают кружить, вырываются из Булонского леса и мчатся по совершенно пустому шоссе. Что-то жутко увлекательное в бешеном беге трех машин, в преследовании полудюжиной мужчин двух отчаянно дерзких и, видимо, очень опасных женщин.

Пули с обеих сторон свистят всё чаще и чаще.

От старого, честно послужившего на своем веку такси они, конечно, уйдут на своем сильном «пежо», думает Мишель. Но на их несчастье, полицейская машина имеет мощный мотор; вырвавшись на прямую дорогу, она быстро нагоняет «пежо» и, развивая скорость, обгоняет его.

– Ах, черт! – с невольным сожалением вырывается у инспектора.

Вот человеческая натура! В этот момент где-то в глубине души и совершенно бессознательно он уже был на стороне удиравших. И только потому, что слава окончательной победы от него уходила.

Из полицейской машины не стреляли, очевидно желая взять амазонок живыми. Но инспектор еще раз поднял револьвер. Вслед за глухим револьверным выстрелом раздался выстрел лопнувшей шины.

В следующую секунду «рено» Мишеля на всем ходу врезается в остановившийся «пежо». Под страшный треск Мишель теряет сознание.

Когда он приходит в себя (очевидно, очень быстро), то видит обеих амазонок с уже надетыми на их маленькие ручки «менотками». Лицо одной из них залито кровью. Инспектор лежит на земле и два полицейских приводят его в чувство.

– Эта проклятая ищейка славно расквасила свой длинный нос о нашу машину! – смеется одна из задержанных. Вторая нагло смотрит на полицейского бригадира.

– Что, выкусил?

– Помолчи! – отвечает тот спокойно.

Бригадир подходит к Мишелю, задает какие-то вопросы. В двух словах тот рассказывает, в чем суть дела.

Он ходит вокруг своей машины и горестно вздыхает. Четыре года он ездил на ней, такси 1818 GT навсегда выбыло из строя. Оно геройски погибло, его бедное такси!

Полицейский автомобиль достаточно вместителен. Полицейские бережно укладывают на мягкое сиденье еще не пришедшего в чувство инспектора и водворяют в машину обеих амазонок. Затем туда же забираются ажаны и Мишель с бригадиром.

Машина поворачивает и мчит обратно к Парижу.

Такси 1818 GT и порядочно искалеченный «пежо», крепко сцепившись, словно обнявшись друг с другом, остаются на дороге.

Уже рассвело, когда все входят в ближайший полицейский комиссариат. Там инспектора приводят в чувство. Он просит закурить и с наслаждением затягивается сигаретой. Несмотря на боль во всем теле и многочисленные кровоподтеки и царапины, самочувствие его превосходно.

Он благодарно пожимает Мишелю руку и признается бригадиру, что только с его помощью удалось, наконец, изловить этих «мерзких девок», за которыми вот уже два месяца тщетно охотились лучшие полицейские инспекторы...

– Полина Дюкло и Розали Букэ. Это о них? – спрашивает Жанна, показывая мужу маленькую заметку в газете.

Он смотрит.

– О них... Всего только несколько строчек на последней странице, а завтра Париж позабудет о них совершенно.

– Инспектор получит служебную награду, твой гаражист – страховую премию за погибший 1818 GT, а ты? – интересуется жена.

– А мне дадут новую машину... Буду надеяться, что прямо с завода... Ты о чем задумалась?

– Я думаю, какая же чудовищная жизнь могла породить таких дерзких и жестоких преступниц!

Мишель кивает.

– Внешне они очень привлекательные и одеты по последней моде, надушены дорогими духами, ноготки отполированы, покрыты розовым лаком...

Жанна укоризненно качает головой.

– Ты даже это заметил!

– Конечно. Я всё замечаю. Поэтому купил тебе пузырек такого же розового лака...

ПРЕССА

Известно, что надо делать для того, чтобы ежедневно, ежечасно разоблачать перед пролетариатом подлую ложь его врагов и его предателей. Рабочий класс Союза Социалистических Советов в лице его партии неустанно твердит это своим героическим творчеством новых форм жизни. Слишком ярким и убедительным его пример для того, чтобы пролетарии всех стран не последовали этому примеру. Думать иначе – значит утратить веру в историческое назначение рабочего класса.

А если грабители мира все-таки договорятся, если они снова сумеют обмануть пролетариат и послать его против его же авангарда, – рабочий класс Союза Советов пойдет в бой так же мужественно, как властно он вошел в жизнь, как героически начал строить свое социалистическое государство.

Это будет битва, где против армии обманутых рабов, защитников бесчеловечной власти хозяев над ними, встанет армия, каждый боец которой будет хорошо знать и чувствовать, что он бьется за свою свободу, за свое право быть единственным властелином своей страны. Этот боец и победит.

М. Горький. Рабочие и крестьяне не позволят себя обмануть.

«Красная газета» (Ленинград), 31 июля 1931

ГЕРМАНИЯ. ЗАГОЛОВКИ В ГАЗЕТЕ «ROTE FANE»

«Убийцы со свастикой»

«Бандиты-убийцы»

«Цергибелева солдатня»

«Нацисты обстреляли дом Либкнехта»

«Банда нацистов напала на красных студентов»

«Оргия смертельной травли»

(Со стороны буржуазной прессы после убийства капитанов полиции Ленка и Анлауфа)

«Нацистское логово убийц»

«Логово главарей убийц»

«Походом на квартал поджигателей войны»

«В кварталах поджигателей войны и фашистов»

«В Берлинском управлении полиции в коммунистах видят просто врагов»

«Наш фюрер: Сталин»

(Под фотографиями Сименстадта)

«Фабрики будущего Ленинштадта»

«Сегодня это еще фабрика Сименса. В будущем – фабрика Маркса»
«Сегодня это еще фабрика Вернера. В будущем – фабрика Сталина»
«Гражданская война СА против рабочих кварталов Берлина»
«Коричневые подонки-убийцы»

«*Rote Fane*»

СССР, МАЦЕСТА, ОСЕНЬ 1931

В Сочи Хайнца Ноймана ожидало приглашение в Мацесту. Он уехал с теми же надеждами, что и в прошлый раз, и вернулся столь же разочарованный. За эти недели, хотя он побывал в гостях у Сталина четыре или пять раз, ему так и не удалось завести желанный разговор о Германии, и к концу отпуска он уже не сомневался, что Сталин избегал говорить об этом. И зачем он вообще позвал Хайнца в Сочи: был ли это просто дружеский жест или в ходе этих бесед Сталин хотел понять, насколько Нойман еще годится в качестве политического инструмента.

В прошлом году Сталин в разговоре с Нойманом впервые раскритиковал его методы борьбы с нацистами. Он упрекал его в «лево-сектантской массовой политике». Тогда этих нападок Сталина Нойман не понял. У диктатора было обыкновение облачать приказы или суждения в наводящие вопросы. Во время прошлой беседы в Мацесте Хайнец пытался оправдать свою политику возрастающей угрозой со стороны нацистов. По прошествии года, в течение которого Ноймана неоднократно ругали в Коминтерне за то, что он продолжает свою «лево-сектантскую политику», Сталин снова пригласил его на беседу.

Хайнец знал Сталина и его жену Надю Аллилуеву уже несколько лет. К Наде он питал глубокое уважение. Возможно, он ее идеализировал, но она казалась ему замечательным человеком. Она была не только красива – крупное, правильное, очень спокойное лицо и глубокие темные глаза, – в первую очередь Хайнца очаровывали ее ум и простота. Надя никогда не строила из себя жену «великого Сталина». Несколько лет она проучилась в техническом институте, чтобы получить профессию. Каждый день ходила пешком на работу. Пристально следила за тем, чтобы ее детям могущество отца не ударило в голову. Кроме того, у нее всегда было собственное мнение, которое она не боялась высказывать.

Хайнец всегда верил или хотел верить, что они жили душа в душу. В Мацесте ему пришлось в корне изменить свое мнение. Когда машина в очередной раз привезла его на горную виллу, Сталин ждал его в беседке, где был накрыт стол. Едва они уселись, как в саду появилась радостная Надя с ракеткой в руке и издали поздоровалась. Сталин спросил с интересом, кто же выиграл матч, она или

Ворошилова, и Надя ответила со смехом, что в этот раз победила она. Затем она придвинула кресло к столику, села и стала слушать разговор Сталина и Ноймана. Вскоре они упомянули чье-то имя, и Надя, перебив Сталина, сказала раздраженно:

– Такой неприятный тип – мерзкий честолюбец!

Сталин сердито оборвал ее и, ничего не ответив, резко осведомился у Ноймана, считает ли он, что честолюбие – дурная черта.

Хайнца поразила внезапная перемена в Надином лице – его исказила ненависть. Он желал только одного – поскорее покончить с этой темой. Но Сталин не отступал, казалось, он очень хотел проучить Надю. Хайнец уклончиво сказал, что честолюбие честолюбию рознь и всё зависит от того, в чем именно человек хочет достичь высот. И снова Надя вмешалась в разговор, голос ее звенел:

– Речь не о честолюбии как таковом, а о конкретном человеке, которого я считаю вредным паразитом. Поэтому я его терпеть не могу!

Сталин отодвинул свой стул и повернулся к Наде спиной. Несколько минут царило ледяное молчание, затем Сталин обратился к Нойману, перейдя к другой теме, и вел себя так, будто Нади вообще не было. Она поднялась, лицо ее горело, и молча покинула беседку.

Потом они со Сталиным прогуливались по огромному саду, заросшему густым кустарником и высокими деревьями, к ним присоединились охранники. Внезапно грохнул выстрел. Один из них прицелился из револьвера в птицу, и тут всех охватил охотничий азарт. Сталину подали пистолет, и он стал стрелять.

– А вы, товарищ Нойман? – вопросительно сказал Сталин.

– У меня нет оружия, и я не охотник, товарищ Сталин.

Тот ухмыльнулся и выстрелил. Птица упала на землю.

Хайнец с изумлением наблюдал, как каждую подстреленную птицу записывали на счет Сталина, как охранники дивились сталинской меткости, обмениваясь лстивыми восклицаниями. Лицо Сталина сияло.

Наступил вечер, и всё общество отправилось играть в «городки» – старинная русская забава, которая отличается от немецкой тем, что кегли составляют определенные фигуры. Игроки подкреплялись закусками, вином и водкой, что изрядно подогревало их спортивный азарт.

Хайнец не разбирался в правилах игры и вынужден был постоянно сносить насмешки Сталина. Но он не обижался на язвительно-недобрые замечания и толковал игру на политический лад. Кегли он назначил нацистскими вождями, и как только одна из них падала, кричал, что вот и Гитлер схлопотал по башке, а вот и Геббельс – кто приходил ему на ум. Это так понравилось Сталину, что у него вырвался возглас:

– Слушайте, Нойман! Да этот Гитлер – настоящий чертяка!

Потом серьезно спросил Хайнца:

– А не думаете ли вы, товарищ Нойман, что если в Германии к

власти придут национал-социалисты, они будут заняты исключительно Западом, и мы сможем в тишине и покое строить социализм?

Нойман замер, пораженный вопросом.

Сталин снова и снова ставил свою любимую пластинку, и все подпевали:

Пейте, братцы, попейте!
А на землю не лейте!..

Уже перевалило за полночь, а игра продолжалась. Из дома к играющим вышла Надя и попросила не шуметь, так как ни она, ни дети не могут уснуть. Сталин не удостоил ее ни взглядом, ни ответом, а собравшимся велел наконец-то повеселиться вволю, вытащил револьвер и стал палить по пустым бутылкам из-под вина. Этим грехом он мстил жене за то, что она посмела возражать.

«А ведь ему не нужна революция в Германии, – неожиданно понял Нойман. – Сталин провозгласил, что сначала нужно построить социализм в своей собственной стране. А теперь он окончательно похоронил все надежды на интернационализм и мировую революцию в старом большевистском смысле; на смену пришли ядерный национализм и империалистические завоевательные планы. Черт возьми, что за дурацкие мысли лезут в голову!»

Он смотрел на Сталина, который подмигнул кому-то и снова поставил любимую пластинку.

Революции в соседних странах отныне должны свершаться с помощью Красной армии. Потому изменилась и сталинская политика в отношении Германии. Отбросив ленинские надежды на германскую революцию, Сталин изо всех сил старался такой революции не допустить.

«Конечно, – думал Хайнц, – для его целей националистическая Германия полезнее, чем коммунистическая. Поэтому он прилагает все усилия, чтобы коммунисты не смогли объединиться с социал-демократами, и даже приказывал КПГ выступать совместно с нацистами, в то же самое время разжигая всё более непримиримую вражду между коммунистами и социал-демократами. Да он просто боится коммунистической Германии! Ну, конечно, если к власти в Германии придут коммунисты, то благодаря индустриальному могуществу страны немецкая секция Коминтерна может поставить под сомнение главенство Советской России.»

На третьей неделе пребывания в Сочи Хайнц снова получил приглашение, и они снова сидели втроем. И тут Сталин задал странный вопрос:

– Скажите-ка, Нойман, а вы на самом деле мусульманин?

Хайнц озадаченно глянул на Сталина и спросил, что он под этим подразумевает.

– Не прикидывайтесь дурачком. Вы отлично знаете, что я имею в виду! Если бы вы не были мусульманином, разве стали бы вы прятать от нас свою жену?

Нойман пошел в контратаку и заявил, что в Германии принято приглашать жену вместе с мужем, но такого приглашения он не получал. Именно поэтому его жена не приехала в Мацесту. Но Сталин не спасовал:

– Да вы хуже мусульманина – вы типичный немец! И из-за этого ваша жена должна сидеть дома и штопать чулки, пока вы тут развлекаетесь. Неужели у вас, немцев, так заведено?

Надя заметила смущение Хайнца и вмешалась:

– А что, разве штопать чулки – позорное занятие? Это тоже должен кто-то делать... И все-таки, пожалуйста, привезите вашу жену, когда в следующий раз сюда поедете. Тогда мы спросим ее лично – вдруг вы домашний тиран? Как зовут вашу жену?

– Маргарет.

– Маргарита! Ага, как в «Фаусте».

Нойман с удивлением посмотрел на Сталина. Тот усмехнулся.

– Товарищ Нойман удивлен, что товарищ Сталин знает произведения Гёте. Товарищ Сталин хорошо знает художественную литературу. Не только советскую, но и классическую литературу. Даже немецкую.

ПРЕССА

«Женщина в тоге»

На днях мне пришлось быть по делам в суде.

В коридорах, бурлящих вечно движущейся толпой, мелькают черты адвокатов и адвокатесс...

Любопытное наблюдение... Из тысячи «адвокатов прекрасного пола» 999 вполне сохранили право на эпитеты – «прекрасного» ...

Вот – прославленная процессом обувного короля Бати против советского гангстера пера Эренбурга самая молодая адвокатесса фрау фон Тизенгаузен. Она женственна, изящна, грациозна, и в деловых разговорах, в том, как она озабоченно делает пометки в своих досье и постукивает карандашом, – всё то же своеобразное очарование молодой женщины. Она женщина с ног до головы, и ее черная тога – лишь один из видов модного костюма нашей современницы.

А ведь еще так недавно ворчливые скептики предсказывали, что женщина-адвокат будет говорить басом, курить скверный табак и утратит всё очарование...

Как много незаметных революций совершилось на наших глазах!..

«Футбол»

Берлинские болельщики были награждены в воскресенье прекрасной

игрой на стадионе в Вильмерсдорфе. Прошлогодний чемпион Германии берлинский спортклуб «Заря» принимал фаворитов сезона мюнхенскую «Баварию».

Берлинцы чувствовали себя завтрашними победителями – мяч все время летал на половине гостей. «Бавария» несколько раз переходила в атаку, в результате они открыли счет – 1:0. Но «Заря» отвечает прорывом Конрада Штаузе. Удар! Вратарь отбивает мяч. Новый удар – 1:1. Через пять минут баварский нападающий касается мяча рукой. Свисток судьи. Штрафной удар. 2:1 Публика на трибунах неистовствует. Баварцы наступают. Они теснят берлинцев, мяч переходит от одного игрока к другому. Людвиг Гольдбруннер отдает мяч налево. Хавбек Олонецкий принимает, с силой бьет по нему, и мяч, не встретив никакого препятствия в виде ноги или головы игрока, влетает в пустые ворота берлинцев.

2:2. Ничья.

Франкфуртцы лидируют в сезоне. Изменения в команде «Баварии» потрясли ее игроков. Лишившись своих премьеров, мюнхенцы на удивление после перерыва играли робко. Как всегда, старался Зоннеман, но его одинокие рейды к воротам соперников не приводили к результату. Игроки «Баварии» показали боязнь... ударов по воротам. На 12-й минуте Феодорини («Einheit») забил верный мяч, а через 5 минут повторил свой успех. Дело клонилось к «сухому» поражению Мюнхена, как вдруг Олонецкий за три минуты до конца игры удачно принял передачу слева и пробил издалека по воротам франкфуртцев. Счет 2:1 в пользу Франкфурта.

«Вечернее время» (Мюнхен)

BERLIN, ДЕКАБРЬ 1931

Улановский с женой обедал в ресторане. Они недавно приехали и с любопытством осматривались. В Германии они были семь лет назад, и за эти годы многое переменялось. Его назначили в Германию резидентом военной разведки.

Казалось, что давит сама атмосфера. Листки на стенах сообщали, что в таком-то месте найден убитый коммунист. Соседний листок извещал, что найден убитый национал-социалист.

Посетители в ресторане говорили приглушенно, оглядывались по сторонам. Или это им казалось?

Алексей взял газеты и в ожидании заказа стал просматривать.

Жена услышала его восклицание

– Ну, нам придется наши планы изменить!

– Что такое? – не поняла жена.

– В Вене арестованы наши люди. При обыске нашли паспорта, деньги. Значит, надо из Берлина бежать.

Она не поверила:

– Вена – не Берлин. Неужели так серьезно?

Алексей кивнул:

– Я еду на встречу со своим «контактом». Через него шла связь с

арестованными. Надо узнать, насколько глубокий провал. Если не вернётся до девяти часов, значит меня арестовали, уезжай в Москву одна.

Он вернулся очень поздно. Оказывается – провал полный.

Разведывательная группа, возглавляемая Константином Басовым (по одному из документов он был Мартином Кляйном, по другому – Альфредом Вецозолем), обосновалась в курортном местечке Баден под Веной. Советские военные разведчики, проживавшие в баденских пансионатах под видом отдыхающих, создали и обслуживали расположенную в этом курортном городке радиостанцию, которая передавала радиogramмы посольств крупнейших европейских государств, добываемые агентурой военной разведки в Берлине, Брюсселе, Праге, Берне и других столицах, в Москву. Это был первый радиотрансляционный центр, созданный в центре Европы.

У всех арестованных были фальшивые немецкие паспорта.

Что делать?

На свободе оставался Василь Дидушок. Он обратился к сотруднику немецкой контрразведки Проце. Через него советская разведка поддерживала неофициальные каналы с немцами.

– Сам я не много могу сделать, – отозвался Проце. – Но если мне даст команду мой начальник Бредов, то я попробую...

Дидушок понял намек и передал в тюрьму арестованным, что они являются немецкими агентами и выполняли задание с рейхсвером.

PARIS. ЮРИЙ ОЛОНЕЦКИЙ

Garde à vous! Fix!..

Триста лакированных плащей отбрасывали лучи фонарей.

– Внимание! Переключка!

Моросил дождь. Ночь отражалась в блестящих плащах сторожей. Она стекала по складкам вниз, в лужи.

Отблески перепрыгивали с глянцевого плаща на плащ, передавая свет от одного к следующему. И вслед неслась переключка:

– Кудаш!

– Шарло!

– Паран!

– Олонецкий!

Юрий громко откликнулся, перевел дыхание и услышал фамилию Зуева.

Нестройный гул трехсот голосов затих. Бригадиры вышли вперед.

Часы показывали восемь и три четверти.

Юрий поправил плечевой ремень и посмотрел на своего бригадира Мореля. У Мореля бритое бабье лицо. Он – полный, маленького роста. Ему уже под пятьдесят, он выслуживает пенсию.

На руках и на фуражке у него ширкие бригадирские галуны...

- ...Рожэ!
- Ренуар!
- Ростиславофф!
- Презан!

Переключка кончилась. Юрий слышит, как читают приказы, перемены в составе и в секторах.

В заключение звучит сакраментальная фраза:

– Стражники, вы свободны!..

Триста человек нестройной толпой, поправляя свои кожаные сумки и револьверные кобуры, двинулись через сквер к воротам.

– Свободны! – обращается к приятелю Зуев. – Мы с тобой всегда свободны, а? Ни пуха ни пера в первую ночь!

Уже год Зуев гуляет по улицам Парижа с 9 вечера до 5 часов утра...

При свете уличного фонаря Юрий смотрит в свою контрольную книжку:

– Сектор 27... Площадь Конкорд – улица Руаяль...

Недалеко, и ему не полагается прогонных на метро, как Зуеву. Тот дежурит где-то у Трокадеро, у Эйфелевой башни.

Олонецкий двинулся пешком под беспросветным ноябрьским парижским дождем. Казалось, что блестящие мокрые асфальтовые мостовые превратились в каток.

В сетке дождя расплылись и исчезли группы ночных стражников. Назначенные на отдаленные сектора проваливаются в освещенные и теплые недра метро.

Юрий плотнее запахнул черную, длинную непромокаемую накидку и надвинул на лоб фуражку с громадным лакированным козырьком. Под накидкой – синяя долгополая шинель поверх мундира, туго перетянутая широким кожаным ремнем. На ремне – кобура с заряженным револьвером. Стрелять (совсем недавно) его научил Зуев.

Он перешел мост.

Длинными, разноцветными, качающимися на волнах змейками отсвечивают парижские огни в темных водах Сены. «Под этим мостом я не ночевал», – улыбнулся Юрий; под этим мостом вообще никто не ночует – здесь всегда полиция.

В этот час Париж пустеет. В театрах уже подняты занавесы, в кинозалах засветились экраны.

Вот и площадь Согласия... Она кажется бесконечной с убегающими во все стороны рядами фонарей, с полированной дождем мостовой, с неясными силуэтами статуй французских городов, с круглыми бассейнами не бьющих ночью фонтанов...

Прямая широкая улица Руаяль. Она заключается величественным фасадом церкви Мадлен...

Направо в колоннадах – Морское министерство, налево – ярко освещенные окна одного из самых дорогих отелей Парижа.

Вот угол улицы Буасси д-Англа – место, назначенное Морелем для встречи.

На угловой стене отеля две дощечки: наверху «Площадь Согласия», пониже «Площадь Людовика XVIII»... Историческое имя почему-то решили оставить рядом с новым...

– Вы уже здесь? Очень хорошо!..

Приземистая фигура Мореля на кривых, но крепких ногах появилась неожиданно. Вода струями течет с его накидки и широкого козырька.

– Идем!

Морель пошел рядом размеренно и привычно. Кажется, всю свою жизнь провел он на улицах ночного Парижа.

– Вот ваш участок, до улицы Сент-Онорэ. На домах, порученных вашей охране, прибиты вот такие дощечки.

Морель ткнул пальцем в стену. Юрий с должным уважением разглядел прибитую на стене круглую, белую эмалированную дощечку с гербом ночной стражи – двумя перекрещенными большими ключами.

– ...Ключи счастья... – почему-то мелькнуло в голове.

– Всю ночь вы ходите взад и вперед по вашему сектору. Он рассчитан на пять минут в один конец. Каждый раз, придя к конечному пункту, вы отмечаете в контрольной книжке часы и минуты. Каждый раз по дороге пробуете на дверях замки и железные шторы магазинов. Если заметили подозрительное, вы звоните консьержке и составляете письменный рапорт. В случае пожара – вызывайте пожарную команду, но сами продолжайте обход. В случае надобности свистком вызываете ночных ажанов и мотоциклистов себе на помощь. В случае вооруженного нападения вы имеете право стрелять, но только в грудь. Выстрел в спину будет говорить против вас...

– Я не имею права остановиться и отдохнуть, господин бригадир?

– Имеете... Ровно от часа до часа двадцати. В это время можете присесть, если найдете на чем, и закусить, если предусмотрительно захватите с собой сэндвич. Вы поняли всё?

– Так точно – я всё понял...

– Это не удивительно, что вы всё поняли, – сказал Морель и вдруг сочувственно посмотрел на Олонецкого... – Караульная служба, поди, для вас не новость?

Бригадир принимал Юрия, как и всех русских, за бывших военных – солдат или офицеров.

Он вынул огромную трубку и начал старательно набивать ее табаком «Капораль».

Олонецкий осмелел и предложил ему сигарету «Нинас». Со времен жизни под мостом он стал носить сигареты, угощая ими того или иного нужного человека. Сам по-прежнему не курил.

Бригадир не отказался, но закурил все-таки трубку, а сигарету спрятал за ухо, под фуражку.

– Она доставит мне удовольствие завтра после обеда, – сказал он и прибавил: – До скорого!..

Он пошел проверять другие свои посты ровным прогулочным шагом, не обращая никакого внимания на дождь.

Олонецкий остался один. Первая ночь на улицах Парижа началась.

Он зашагал, добросовестно выполняя все предписания Мореля.

– Новичок?! – окликнул насмешливый голос.

Юрий обернулся. У настезь раскрытой и ярко освещенной громадной дубовой двери отеля дежурил вахтер.

В пальто великолепного сукна, с золотыми галунами и вензелем на кепи, двадцатилетний парень смотрел на него с насмешливым сочувствием...

– Почему вы угадали, что я – новичок?

Шассер расхохотался.

– Во-первых, старина, ты слишком добросовестно хватаешься за все засовы и замки. Так вы все делаете в первый день вашей службы. Во-вторых, ты говоришь мне «вы», тогда как все ночные люди говорят друг другу «ты».

– «Ночные люди?».

– Ну да... все мы, кто не спит ночью, когда весь Париж спит: ажаны, шоферы, уборщики метро, вахтеры-шассеры, ночные стражники, рабочие ночных экипаов, клошары и уличные девушки...

– Вы... то есть ты... ты их считаешь в нашей компании?

– Конечно, старина! Это тоже профессия – не из последних и даже гораздо выгоднее многих других...

Он хотел поболтать, но, шурша шинами, к подъезду отеля подъехал громадный «Ролс-Ройс».

Шассер, на ходу раскрывая гигантский дождевой зонтик, бросился высаживать клиента.

Юрий пошел дальше. Он уже запомнил каждое здание, каждую дверь на своем пути. Поворачивая за угол Руаяль, каждый раз напевал себе под нос:

– Иду к «Максиму» я!..

Да! Там, за углом, был «Максим».

Красный, бархатный, прилично-скромный и шикарный, всемирно прославленный «Веселой вдовой»... Кто не помнил, кто не знал, да и Юрий тоже неоднократно слышал:

Иду к «Максиму» я,
Там ждут меня друзья...
Веселые певицы,
Но вы со мной, девицы, –
Додо, Лоло, Кло-Кло...

Он представил театр: шикарные ложи, вечерние туалеты дам, бордовый занавес, офицер (Зуев, не иначе!) опаздывает, садится, извиняется, улыбается и ждет начала оперетты...

У подъезда «Максима» стоял одинокий высокий пожилой швейцар в вылинявшей красной фуражке и в мешковато сидящей на нем ливрее.

Немного в стороне, положив кипу вечерних газет на мраморный круглый столик, прислонился, наклонив на бок непропорционально большую голову в помятом картузе, маленький пожилой человек. Он посмотрел на проходившего Юрия грустными слезящимися глазами. В старом летнем пальто он ежился и прятал руки в карманы.

Швейцар посмотрел на часы.

– Готовься, Пико, – сказал он покровительственно-насмешливо. – Театры кончаются. Сейчас начнется...

Когда Олонецкий возвращался назад, улица оживилась. Гудели клаксоны, почти сплошными рядами плыли частные машины и такси. Торопливой рысцой бежали пешеходы к красным маякам метро. Веселящийся Париж разъезжался по домам и ресторанам, по дансингам и ночным кабакам.

Высокий швейцар то и дело подбегал к остававшимся у ресторана автомобилям. Он открывал дверцы, высаживал прибывающих, ловко принимал чаевые и опускал в свои бездонные карманы монеты и бумажки. И после каждого клиента он неизменно повторял:

– Э – вуалья...

– Энтра!.. Труазьем!.. – заливался пискливым бабьим голосом Пико.

Он совал в самый нос газету входящим в ресторан господам, но никто на него не сердился... Он был вещью, принадлежностью «Максима», как мраморные наружные столики, как искусственные пальмы в кадках у входа...

Юрий вернулся к отелю – знакомого вахтера уже не было. В двенадцать часов ночи массивная дверь закрывалась и до часу ночи оставалась открытой только маленькая дверца. В час запиралась и она, и на фасаде все фонари, кроме одного, тушились.

У маленькой двери стоял теперь высокий сгорбленный старик в ливрейном фраке, коротких панталонах, черных чулках и башмаках с пряжками. Видимо, предупрежденный вахтером, он посмотрел на Юрия поверх очков и сурово спросил:

– Это вы – новый стражник?

– Да, я...

– Ага... – произнес старичок и пошамкал губами: – Я – ночной дежурный, – прибавил он, – но, конечно, дежурю внутри и имею право дремать в кресле...

Он словно хотел подчеркнуть свое превосходство.

– Это приятно – дремать в кресле, – любезно отозвался Юрий. Он говорил искренне, ибо в тот момент подремать в кресле казалось ему верхом блаженства.

Старичок не обратил на его слова никакого внимания.

– У нас, – сказал он, – полагается давать стражнику ужин... Вы сами понимаете, что на нашей кухне к концу дня кое-что остается... Так вот, что вы хотите: бутылку вина или пиво? Ваш предшественник, Дюжардэн, брал пиво, но вы можете выбирать.

– Я бы хотел вина...

– Хорошо. Ровно в час я вынесу ваш ужин...

– Мерси.

Он скрылся за дверь. Олонецкий решил, что швейцар не причисляет себя к сонму «ночных людей», ибо говорил «вы».

Дождь продолжал лить. Париж снова опустел. Теперь только изредка проносились по площади отдельные автомобили. Спешили опоздавшие на метро пешеходы.

У «Максима» вытянулся длинный хвост частных машин. Шоферы или дремали, завернувшись в дохи, или болтали друг с другом, раскуривая бесконечные трубки...

Ровно в час ночи старичок вынес ужин – бутылку белого вина, большую булку и тарелку с холодной курицей. Юрий удивился – такого пира в холодную дождливую ночь он не ожидал.

– Вот там, – указал старичок, – есть загородка для шоферов. Там стоит печка. Я ее растопил. Вы будьте любезны – всю ночь подбрасывать уголь. Тогда я смогу не выходить. В мои годы это прямо опасно... ужасная сырость...

Олонецкий обрадовался – хоть чем-то отплатить старику за роскошное пиршество, которое тот ему приготовил.

Он вошел в пристройку. Снял мокрую накидку, с наслаждением развалился на скамейке и протянул ноги к огню.

Бригадир говорил, что на еду положено двадцать минут. За эти минуты надо и отдохнуть, и поужинать... Ужин в час ночи у теплой печки на площади Конкорд! Какая гадалка могла предсказать такое удовольствие полгода назад, когда он валялся, завернутый в брезент, под мостом у цементных складов? Ночная жизнь Парижа, фантастическая и загадочная, принимает новичка в свои таинственные объятия, – мелькнула мысль. Спасибо Зуеву!

Курица из кухни отеля оказалась великолепной. Белое вино «не ординэрно» – и грело, и бодрило. Чтобы быть счастливым, человеку нужны только резкие переходы от лишений к блаженству... И – наоборот... Что еще необходимо для счастья?

Он почувствовал чей-то пристальный взгляд. Он поднял голову.

Прижавшись лохматой головой к решетке, воспаленными, голодными глазами жадно следил за каждым куском и глотком оборванный,

грязный и страшный на вид человек. Не с ним ли рядом ты коротал августовские ночи под небом Парижа?

Пусть же и он «перейдет от лишений к блаженству»...

Юрий отломил бродяге кусок хлеба и курицы и стал смотреть, как тот жрал, почти по-звериному.

– Гардьен!..

Опершись на велосипед, у решетки стоял щеголеватый молодой помощник бригадира.

– Здесь! – ответил Юрий, вскакивая, и, подойдя, отрапортовал, подавая ему контрольную книжку: – Господин су-бригадир, в секторе 27 никаких происшествий не случилось...

Помощник бригадира сделал пометку, посмотрел на бродягу и строго сказал:

– Это запрещено!.. Гоните их всех, без разбора, в шею!..

Бродяга уже скрылся, унося с собою, как премию, пустую бутылку. Наверно, сдаст ее в магазин или продавцу масла, мелькнуло в голове Юрия.

– Слушаюсь!

Он поднял воротник шинели и снова вышел под дождь.

«Максим» светился зеркальными дверями. Из полумрака на свет фонаря вышел Пико. Он предложил сигарету.

– Не правда ли, холодно?.. – спросил он, чтобы завязать разговор.

– Очень холодно... – вежливо согласился Юрий.

– Послушай... – осторожно начал Пико, – я дам тебе хороший совет... Во время разъезда ты старайся болтаться около ресторана. Иные тут так «намокнут», что суют на чай всем, даже ажанам.

– Спасибо, Пико, – ответил Юрий, – но это не особенно удобно.

Тот с искренним изумлением посмотрел на Юрия. Его маленькие глазки слезились.

– Вот те на! Неудобно взять деньги, когда их сует тебе пьяный толстосум? Да ты чудак, старина!

Пико был явно к нему расположен. Юрию не хотелось выделять себя в глазах «ночных людей».

– Я приду «поболтаться».

– Вот и прекрасно!.. А я тебе принесу «Энтран». Многие бросают его, выходя из ресторана.

Олонецкий углубился под сень голых деревьев Елисейских Полей. На одной из скамеек сидели рослая женщина и тщедушный господин. Он хотел пройти мимо, но было уже поздно. Его высокая фигура в полицейской накидке спугнула спутника женщины. Он столкнул ее с колен и быстро стал удаляться по садовой дорожке. Женщина гневно двинулась навстречу Юрию. Она была почти такого же роста, как он, и преградила дорогу.

– Старый верблюд! Идиот и каналья! – сказала она в сердцах. –

Если ты хочешь мешать нам работать – поступай в «буржуа», а не в ночную стражу!

На вид ей было немного за тридцать – жгучая брюнетка, с южного типа лицом, она была еще очень недурна собою.

Олонецкий отстранил ее

– Прости меня! – сказал он, – я не хотел тебе причинить никаких неприятностей...

– Не хотел... не хотел... – передразнила она Юрия. – Ты мог пойти и по другой дорожке... А теперь – спугнул клиента!

– Но, моя красавица, это мой сектор – я вообще не имею права в жизни выбирать дорожки...

Она немного смягчилась.

– Ты еще молодой парень. Запомни на будущее, мой кролик! Если хочешь жить со всеми нами в мире – не мешай работать. У нас есть только одни враги – «буржуа», а и вы, и ажаны, и даже – мотоциклисты – наши друзья.

– Кто же такие эти «буржуа»?

– Да ты совсем новорожденный ребенок! —она звонко расхохоталась. – Это агенты полиции нравов. Они в штатском.

– Но если билет у тебя в порядке, чего же тебе их бояться?

Но в этот момент раздался крик:

– Спасайся! Эй ты! Большая Генриетта!

Юрий обернулся. Одна из товаров показывала Генриетте за угол. Она помчалась от Юрия прочь с легкостью, неожиданной для ее фигуры. За нею быстрыми шагами пошел человек с брюшком, в котелке и с рыжими висячими усами по моде.

На углу стоял ажан. Он дружелюбно улыбнулся Олонецкому.

– «Буржуа» начинают свою охоту! – высказался он.

...Под колоннадой маленькая, белокурая, сильно наруганная женщина остановила Юрия:

– Куда прошел «буржуа»?

Он указал направление.

– Ты не видал Большую Генриетту? – спросила женщина Юрия, как своего давнишнего приятеля.

Он ответил ей в тон:

– Как же, видал... Я только что с ней разговаривал. За ней погнался «буржуа».

Она взглянула на Юрия не без нежности.

– Мне тебя жалко, мой мальчик! Сегодня так холодно... Проклятое твое ремесло!

– Но ведь тебе еще холоднее... в шелковых чулках и открытых туфельках... И твое ремесло не легче...

– Что ты, что ты! Я время от времени могу погреться с клиентами в кафе... А ведь ты шагаешь всю ночь.

Из деликатности Юрий не сказал, что не поменялся бы с ней местами...

– Ты женат? – вдруг неожиданно спросила она.

– Нет. Я еще молод для этого...

– Тогда – послушай... Мне пришла блестящая идея... Мы оба работаем ночью... Отчего бы нам не «пожениться»? Ты переедешь ко мне. Это даст нам обоим экономию. Большую экономию. Закончив работу, мы будем возвращаться вместе, и уж как я хорошо буду ухаживать за тобой, мой милашка! *Ca sole?*

Сердечный порыв у нее явно соотечелся с заманчивой мечтой о скромной экономии. Олонецкому не хотелось ее сразу разочаровывать, он ответил, что предложение заманчивое, но он всё же должен подумать.

Женщина послала ему воздушный поцелуй и пошла искать Большую Генриетту.

Дождь прекратился, ему на смену пришел небольшой мороз. Мороз лучше дождя и сырости. Да и морозец-то, в сущности, смехотворный по сравнению с теми, что пробирали Юрия до костей, когда мальчиком гулял с гувернанткой по Петрограду...

– Здравия желаю!

Юрия приветствовал молодой лейб-казак Столетов. Без накидки (она у него была положена через плечо, как скатка), в великолепно пригнанной шинели, затянутый ремнями «по форме», в коричневых кожаных перчатках и «по-кавалерийски» мягкой фуражке, – он показался не ночным стражником, а офицером неведомой армии.

– Уж полночь! – произнес Юрий. – Разве вы начинаете так поздно?

– С двух до семи. Это – монмартрский сектор.

– Там, небось, не очень спокойно?

– Да... оживленнее, чем у вас. Но зато и веселей. Ночь проходит незаметно. А апаши на самом деле существуют?

– Существуют... Но правду сказать – измельчали они здорово. В самом начале один ко мне было сунулся. Я его от витрины отогнал, а он ножом стал грозить... Я нож вырвал, а ему руку вывихнул... Поди, говорю, камрадам своим покажи, что тебе казак сделал... Так с тех пор на мой сектор ни один не показывается и «казачьим» его прозвали...

Он пожал протянутую руку и, высокий, стройный и сильный, пошел ко входу в метро.

В третьем часу ночи Олонецкий открыл железную калитку и замер от удивления. За печкой, протянув к раскаленному железу стройные маленькие ножки, с заплаканным очаровательным личиком, согревая дыханием посиневшие от холода пальцы, сидела девушка лет шестнадцати, почти девочка.

– Откуда ты, прелестное дитя? – невольно вслух произнес Олонецкий и подошел к ней.

Она испуганно подняла на Юрия свои большие заплаканные глаза.

– Не гоните, мосье! – умоляюще сказала она. – Я замерзну там, на улице...

– Но почему же ты не идешь домой, глупышка?

Он погладил ее по волосам (шляпка лежала на коленях).

– У меня нет больше дома... – она вдруг заплакала навзрыд.

Так, подумал Юрий, сейчас будет рассказана душеспитательная история про злодея-отца или злую мачеху, про то, что ее выгнали из дома, что она первый раз пошла на панель...

Он почувствовал себя в положении более чем глупом. Женские слезы и истерики вызывали у Юрия всегда состояние, сходное со столбняком. Он сел рядом, обнял ее за теплые плечики и поцеловал в щеку.

Она прижалась к нему.

– Нет больше дома... – повторила она. – Я вторую ночь на улице... Я ничего не ела сегодня...

– Разве у тебя нет родителей, детка?

– Есть отец... Раньше он любил меня. Но после того, как женился на мадам Пулайэ, он всё делает ей в угоду. У нее мелочная лавка, и она командует. Я поссорилась с мачехой, и они выгнали меня из дома.

– Но сама ты разве нигде не работаешь?

– Неделю назад уволили... Сказали, что я медленно работаю, и взяли другую. Но я могу работать!..

– Ну вот что, – сказал Олонецкий, – сейчас ты закусишь вместе со мною. У меня есть хлеб и остался кусок курицы. Ночь можешь просидеть здесь, но прячься за печкой, чтобы тебя не увидел мой бригадир...

Закусив с явным аппетитом и выпив стакан вина, девушка усе-лась на колени Юрия и запустила руку ему под рубашку...

Потом она заснула на скамейке, а он полубовался ею и вышел на мороз, раздумывая, что делать с ней дальше.

Он ходил по бульвару, отсчитывая нудные четверти часа, заглядывая в окошко на свою неожиданную гостью, и она казалась ему маленькой, замерзавшей на морозе ласточкой. Сравнение несколько сентиментальное, решил он, но кто скажет, что оно не верно? Таков ночной Париж!..

– Ты будешь «болтаться» или нет? – спросил Юрия Пико, и в голосе Юрий почувствовал обиду на отвергаемую дружбу и предлагаемую поддержку. – Разъезд начался...

Олонецкий задержался на тротуаре, в полосе ярко освещенного фонарями ресторана.

Дверь поминутно отворялась, и из ресторана выходили мужчины и богато одетые дамы, плотно и вкусно поужинав, распив не одну бутылку шампанского...

– Et – voila! Et – voila!... – торжествующе восклицал высокий швейцар, и карман его ливреи оттопыривался, поглощая всё новые и новые часевые.

– Мне везет сегодня... – радостно шепнул Пико и показал едва начатую, великолепную гаванскую сигару. – Маркиз де Шампарелль так «нагрузился», что выплюнул этот окурок, словно кусок марципана! – и он по-детски радостно и залиристо смеялся.

– Тебе везет, Пико! – согласился Олонецкий.

...Из ресторана вывалилась шумная компания. Кричали и визжали разодетые и сверкающие бриллиантами три дамы, и к одной из них упорно лез целоваться чернявый южноамериканец в дорогом дорожном пальто. Юрий загляделся на эту группу.

Южноамериканец заметил Юрия и, бросив свою даму, подошел к нему.

– А... господин ажан... – сказал он враждебно и пьяно глядя на Олонецкого, – блюстителъ нравов... может быть, вы хотите запретить аргентинцам целоваться? И это называется у вас, у французов, – либертэ, фратернитэ и эгалитэ?..

– Я не ажан, мосье, а ночной стражник, – вежливо и сдержанно ответил тот, – и префект Парижа не запрещает целоваться, даже в метро... Целуйтесь сколько хотите!..

– А ты – симпатяга! – вдруг сразу перешел тот на «ты». – И тебе надо дать на чай... Постой же!..

Он вытащил из кармана две скомканные бумажки – одну сотенную и одну тысячефранковую. Долго соображал, которая меньше, потом закинул сотенную обратно, а тысячную протянул.

– Довольно с тебя будет и этой... – сказал он.

«Он дает мне за то, что я разрешил ему целоваться и показался симпатичным, тысячу франков. Эту сумму я зарабатываю за целый месяц утомительным шатаньем в дождь и холод!»

Пико был прав – чтобы иметь «шанс», надо было «болтаться».

В голове Олонецкого застучало: «Взять от пьяного 1000 франков ‘на чай’? Завтра он протрезвеет и приедет к командиру... А один из параграфов устава стражи строжайше запрещает ‘пур-буары’. И могу ли я нарушить этот параграф и испортить безупречную репутацию всех русских, что служат со мною и морально отвечают друг за друга?..»

Он колебался.

Пико отчаянно жестикулировал и подмигивал. Но он прозевал свой «шанс»...

– Что ты делаешь? Ты с ума сошел?.. – подбежал к аргентинцу его товарищ. – Эту тысячу мы лучше пропьем в «Взбесившейся корове»!..

– Но я хочу... Я хочу дать ему на чай! – упрямо и капризно сказал аргентинец.

– Я дам ему... я дам ему десять франков... это ему совершенно

достаточно! – ответил приятель, торопливо сунув бумажку, и увлек приятеля к автомобилю, в котором уже давно ожидали его и Додо, и Лоло, и Кло-Кло...

Пико горестно посмотрел на Юрия.

– Ну чего ты раздумывал, когда тебе улыбнулось такое счастье?! Такое счастье надо хватать!..

– Ты прав, Пико... Стратегия учит нас, что порыв не терпит перерыва, а великий Суворов говорил, что «фортуна имеет голый затылок»...

Но Пико не понял изречений, хотя они и развивали его собственную мысль...

Ночь была ясная и лунная.

Олонецкий смотрел в небо, где звезды неожиданно исчезли, их закрыло нечто длинное и толстое, похожее на огурец. Оно отблескивало матовым свинцовым цветом.

Юрий толкнул Пико.

– Пико, что это?

– Где? – не понял тот, потом догадался: – А, это... Луна? Нет...

Цеппелин!

– Цеппелин? – не поверил Юрий.

– Ну да... Пятнадцать лет назад, в войну, они часто налетали, бросали бомбы на Париж...

– А этот... Немецкий цеппелин?

Пико пожал плечами.

– Не знаю. Не всё ли равно? Может, немецкий, а может, и наш...

– Слава Богу, что он не бросает бомбы, как пятнадцать лет назад, а, Пико?

Пико засмеялся.

Юрий пошел в свою конуру, к теплу, к печке.

«Ласточка» выпалась, согрелась и, видимо, ждала Юрия.

Он протянул ей десять франков.

– Как тебя зовут?

– Мадлен...

– Ну, конечно, Мадлен... Так вот, возьми, Мадлен, это тебе на обед. И если не поладишь с отцом – приходи завтра опять.

– Я тебе понравилась? – лукаво поинтересовалась девчонка.

– Понравилась. Но запомни мой совет: ни в коем случае не броди одна по ночным улицам Парижа. В твои годы это очень опасно...

Она сказала «мерси» и, приподнявшись на носки, поцеловала Юрия так, как будто он ее «ами», какой-нибудь юный продавец из «Галери Лафайет» или «Прэнтам».

– До свиданья, ласточка!

В третьем часу ночи у «Максима» появились две старомодные извозчичьи пролетки. Старые костлявые лошади были заботливо накрыты мохнатыми попонами.

На высоких козлах с длинными бичами в руках восседали какие-то древние мужи, одетые в извозчицьи ливреи и цилиндры, и уверенно и терпеливо ждали.

Олонецкий с удивлением смотрел на этих извозчиков прошлого, на эти тени Второй Империи... Но, очевидно, и они играют какую-то свою, определенную и всеми признанную, роль в этой фантастике ночного Парижа.

Пять часов... Еще темно, но скоро рассвет... Юрий вздохнул с непонятным облегчением, пошел в штаб стражи. Сдал оружие, контрольную книжку и подал рапорт дежурному инспектору. Потом тихо побрел в свой отель, мечтая о крепком сне, спасительном сне без сновидений.

Первая ночь нового стражника на улицах Парижа окончилась.

ДОКУМЕНТЫ

НАЗАРЕТЯН – СТАЛИНУ ОБ ИЗДАНИИ СБОРНИКОВ ВОСПОМИНАНИЙ ИНОСТРАНЦЕВ О ПОЕЗДКАХ В СССР

3 декабря 1931 г.

Тов. Сталину (лично)

За последние два года в СССР побывало огромное количество иностранных делегаций, уехавших от нас с хорошими впечатлениями.

Имеется большое количество выступлений, речей, отзывов их об СССР и социалистическом плановом хозяйстве. Выступления, речи, отзывы исходят не только от иностранных рабочих делегаций, но и от писателей, специалистов, научных деятелей и т. д. Всё это, однако, рассыпано по странам, по отдельным журналам, газетам.

Я думаю, что было бы очень ценно для популяризации СССР и нашего грандиозного социалистического строительства поручить соответствующей организации собрать этот огромный материал об СССР в один хорошо изданный иллюстрированный сборник и издать его на иностранных и русском языках и показать всем СССР по отзывам самих иностранцев.

С коммунистическим приветом

Назаретян *3.12.31 г.*

Резолюция Сталина: Правильно. В ПБ.

BERLIN, ЯНВАРЬ 1932. ДЕПУТАТ РЕЙХСТАГА КИППЕНБЕРГЕР

Узколицый, прилизанный, гладкий, прекрасно одетый человек пришел к генералу Бредову. Генерал ласково смотрел на него. Как приятно иметь дело с интеллигентным человеком – не скажешь, что коммунист. И коммунист, видно, не простой, а связанный с Москвой (впрочем, они все с ней связаны в той или иной степени).

– Давно мы с вами не виделись, господин Киппенбергер, – ласково пожимал ему руку генерал.

– Давненько, господин генерал, – если не ошибаюсь, когда рейхстаг утерждал бюджет. Не буду долго задерживать – у меня

маленькая просьба по делам нашего с вами комитета в рейхстаге, буквально личного характера.

– Не может быть, чтобы у коммунистов были личные просьбы по государственным делам, – улыбался генерал. – Особенно к такой, как у вас говорят, акуле империализма, как я.

Оба смеялись, поддакивали друг другу, прощупывали собеседника.

Так просто Киппенбергер бы не пришел, размышлял генерал, ему что-то надо и за это он готов платить. И платить ту цену, которую назначит генерал.

Так и оказалось.

– Дело чепуховое, но без вас решить его трудно, генерал. Трое-четверо моих знакомых, можно сказать даже друзей, деловых людей, как говорят в Америке – бизнесменов, арестованы в Вене. А они работали с вами...

– Как с нами? Со мной? – сделал невинную мину Бредов.

– Не лично с вами, но с вашим сотрудником. Проче – ведь ваш сотрудник?

Генерал промолчал.

– Да, ваш сотрудник. Я знаю, что Проче имеет влияние... или лучше сказать – большой вес в венской полиции. Помогите.

Генерал был недоволен.

– Не понимаю, чем могу помочь.

– Дайте приказ Проче освободить моих знакомых.

Генерал на секунду задумался. Приказать Проче добиться освобождения арестованных просто. Но что потребовать взамен от Киппенбергера?

– Там что-то серьезное?

– Да нет, генерал. Это – как гвоздь: он мешает вам, сейчас вы не замечаете, что он мешает, но через какое-то время вы наступите босой ногой на него... Зачем он вам? Вырвете гвоздь – и дело с концом.

Генерал слушал, кивал головой, соглашался: гвоздь надо вырвать.

Бредову сразу стало понятно, что в Вене схватили пресловутую «руку Москвы» (за руку! – усмехнулся он каламбуру, и настроение улучшилось); он не хотел конфликтов с Советской Россией. Киппенбергер, несомненно, связан с русскими, думал генерал. Но он же приличный человек, мы с ним вместе заседаем в комитете рейхстага. Ну, придут коммунисты к власти – и что? Он занимал пост начальника военной разведки – буду руководить разведкой и при коммунистах... Не может же Киппенбергер шпионить против собственной страны... – наивно думал генерал, не понимая, что коммунистическая доктрина не только позволяет, но и заставляет шпионить против своей страны.

Он много знал о Советской России – благо, его старый товарищ и коллега полковник Оскар Нидермайер несколько лет занимал пост военного атташе в Москве.

Австрийские власти не захотели раздувать скандал и просто выслали из страны всех арестованных советских шпионов.

Басова наградили орденом.

А Дидушока арестовали.

Следователь бил его и спрашивал:

– Почему ты пошел к немцам?

– Ну как же, – оправдывался Дидушок, – это же наши товарищи... Как же я мог их оставить в беде, как бы я мог их предать...

– Ты уже предал их, когда пошел к немцам!

– Но их же освободили.

– Это не имеет никакого значения! Мы разберемся, почему и как их освободили. Почему ты пошел к немцам? А? Значит, ты был раньше с ними связан? Значит, они тебя раньше завербовали? Не так ли?

Дидушок хорошо знал систему, поэтому подписал протокол, получил 10 лет и был отправлен на Соловки.

FRANKFURT AM MAIN, ФЕВРАЛЬ 1932.

ЛИДИЯ ФОН ТИЗЕНГАУЗЕН

Торговый город купцов, ремесленников, банкиров, ростовщиков – вот что такое город на Майне!

Никогда этот город не был центром политической жизни, был самым нормальным из многих городов Германии. Никого не удивит, но внимание уделит.

Но вдруг город оказался в центре скандала, скандала всегерманского. Оказалось, что здесь живет женщина-врач Зауэр, которая делает аборт. То есть нарушает §218.

Обвинили – слушайте! слушайте! – коллеги-врачи. Не просто коллеги, а возмущенные коллеги! Защищать женщину-врача в суде взялась женщина-адвокат Тизенгаузен. Неизвестная во Франкфурте в широких кругах. Но когда судейские чиновники услышали ее фамилию, то сразу же заскребли в толстых затылках, потому что вспомнили два скандальных дела, в которых ясно звучала эта фамилия. Скандал с ИГ Фарбен-индустрии и скандал с чешским обувным магнатом Батей. Непонятно, почему после столь громких и – прямо скажем, денежных – дел адвокат опускается, именно опускается, до такого мелкого дела.

Лида остановилась в «Франкфурт-хоф», самом уважаемом отеле Франкфурта. Да и где ей было останавливаться? Ее положение

заставляло тратить деньги на шикарный отель, на приемы и на подачи лизоблюдам.

Номер понравился – светлый, просторный, с удобствами. Но какой-то звук раздражал.

Она посмотрела в окно – площадь с фонтаном, полицейский гонит оборванца, из такси вылезает толстый господин в серой шляпе. Что-то капает. Она прислушалась, подошла к умывальнику и улыбнулась: это не кран капал, время капало в часах.

В тот же день она посетила доктора Зауэр.

Сорокалетняя шатенка с прекрасными зубами (зубы – первое, что всегда замечала в женщинах Лида, ругая себя за свои плохие зубы и успокаивая привычной отговоркой – «приеду в Америку, сделаю зубы, как у звезд Голливуда») и усталым лицом огорошила адвоката:

– Меня обвиняют в том, что я не совершала!

Лида успокаивающе похлопала ее по плечу (ей не впервой слышать аналогичные речи!). Но женщина стряхнула ее руку как ненужную поддержку.

– Фрау фон Тизенгаузен! Я не оправдываюсь, а прошу вас посмотреть журналы регистрации пациентов за три последних года.

Она читала журналы, истории болезней и понимала, что здесь не обошлось без доноса конкурента.

– У вас много врагов?

– Понятия не имею, – пожалала плечами женщина.

– Может быть... в семье... Знаете, так бывает – молодой человек добывается руки дочери, а когда ему отказывают, пишет в полицию донос, что мать девушки его обокрала... или оскорбила...

Фрау Зауэр сжала кулаки.

– Нет, не может быть.

Лида наклонилась, посмотрела ей в лицо. Лицо потемнело от воспоминаний.

– У вас дети...

– Дочь. Четырнадцать лет. Но какие женихи? Что вы! Она грезит авиацией...

Лида не поняла.

– Простите...

Женщина покачала головой, смахнула с лица невидимую паутинку.

– Ах, детские мечты. Хочет быть летчиком, авиатором, тьфу, ну, летчицей, разумеется, как эта американка...

– Амалия Эрхард, – подсказала Лида.

– Вот! Именно как Амалия Эрхард! Посмотрите в ее комнате – все стены увешаны фотографиями аэропланов и разных пилотов... Книги читает только про авиацию, фильмы смотрит – только про них, повадилась ходить на аэродром, со всеми перознакомилась.

Записалась в кружок парашютистов – слава Богу, ее по малолетству не допустили к практической части... Мы с мужем не знаем, что делать...

Лида понимающе кивала головой и сочувственно вздыхала в ответ на вздохи доктора.

– Значит, с этой стороны всё в порядке... Простите, конечно, не всё в порядке с девочкой. Но, дорогая моя, ребенок должен перебеситься, а? Пусть увлекается авиацией, ладно. Через год она станет увлекаться песенками Мориса Шевалье и станет собирать его пластинки, а еще через год – модными юбками и жакетами от французских модельеров.

– Вы думаете? – не поверила Зауэр.

– Уверена. А ваши коллеги... не могли они сыграть роль подстрекателей?.. Вас обвиняют еще и в нарушении §184. Этим параграфом воспрещается всякая, даже врачебная, пропаганда противозачаточных средств.

– Я знаю. Коллеги... Да, есть такие! Даже социал-демократы!

– Социал-демократы? А вы разве коммунистка? – удивилась

Лида.

– Бог миловал, что вы! Понимаете, в Штутгарте, когда началась свистопляска с доктором Вольфом, арестовали доктора фрау Кинеле, я ее знаю, мы вместе учились в университете. Ее обвинили – коллеги и, кстати, социал-демократы, что она делала аборт с целью обогащения! Бред! Я не знаю большей бесребреницы, чем она. И при чем здесь коммунисты? Я никогда не разделяла их идей. Вы, наверно, подумали, что социал-демократы всегда воюют с коммунистами? Нет, я от коммунистов далека... Я закурю, вы не против? – она достала портсигар, протянула Лиде.

– Я почти не курю, – призналась та. – Считайте, вообще не курю.

Зауэр вставила сигарету в длинный мундштук, чиркнула спичкой.

– Я тоже почти не курю. Но сигарета успокаивает нервы.

FRANKFURT AM MAIN, ФЕВРАЛЬ 1932. ОЛЕГ ОЛОНЕЦКИЙ

Весенние птицы запели в феврале. Олег Олонецкий отметил, что город Франкфурт на реке Майн отличается от его, как он уже привык добавлять, родного города Мюнхена на реке Изар. Здесь не было зимы! – догадался он, сравнивая неумолимо с Мюнхеном, где прожил 10 лет и где зима наступала, как и в России, выпавшим в декабре снегом и заканчивалась в марте сосульками и лужами на тротуаре. Товарищи по футбольной команде «Бавария» также испытывали недоумение, понятное для людей, привыкших к иной погоде в феврале.

Удивление не оставляло, когда они вышли на зеленое поле стадиона, где их ждали старые противники – местная команда «Айнхайт». Олег рассматривал голые руки деревьев и зеленую траву, что не скла-

дывалось в голове в единое, называемое холодным баварским словом «февраль», – может потому, что перед глазами наплывал заснеженный Мюнхен и крыша писчебумажной лавки, накрытая толстым одеялом снега, – он видел ее каждый день, подходя к своему окну.

«Наверное, в России такой же снег», – думал он, но почти не вспоминал, – только скрип саней по наледи проспекта, только холодный снежок в руках, перед тем как кинуть его в гимназического приятеля. Но что помнилось от петербургской зимы – холод, промозглость, мерзость погоды, от которой прятался только в теплой квартире, и выходить на улицу не хотелось.

Несмотря на теплые одежды, в которые одевали Олега, отправляя в гимназию, пронизывающий ветер постоянно напоминал о зиме. Детей буквально кутали перед выходом из дома. Мать твердила, что к петербургскому климату надо приспосабливаться, поэтому обоих детей с раннего детства обливали с утра холодной водой и повторяли неизвестно откуда вычитанную поговорку: нет плохой погоды – есть плохая одежда.

И, разумеется, мама оказывалась права. И Олег, и младший Юрий лишь однажды простудились, но простуда скоро прошла – и дело не в докторах, а в закаливании организма. Олегу нравилось умываться холодной водой. Когда он стал постарше, товарищи завидовали его здоровому румянцу, и он с легким презрением отвечал, что холодная вода не только закаляет, но и делает красивым, и хохотал своим словам, так что спрашивающий не понимал, то ли он серьезно, то ли шутит. Он не знал, в каком английском или французском журнале мать вычитала поговорку, но был ей благодарен. Почему он вспомнил мать? Ах, да, зима...

После одного из посещений цирка он упросил родителей купить ему гири – пораженный виденным на арене, где чемпион небрежно перекидывал гири, как перчатки, – из руки в руку; он возжелал стать таким же сильным.

Олег считал занятия политикой глупым делом. Может, не глупым, но не своим. Он оказался равнодушным к проблемам, бушевавшим вокруг. Спорт – вот чем должен жить современный молодой человек. Мотоцикл, бокс, футбол – вот приоритеты сегодняшнего дня.

А завтра будут новые приоритеты – парашют, автомобиль, джиунджитсу. А послезавтра – трети.

Родителей не удивляло настроение старшего сына. Однажды отец поинтересовался, как Олег отнесится к последним выборам. Тот недоуменно пожал плечами.

– Папан! Я спортсмен. А спорт вне политики. Мне абсолютно безразлично, кто победит и какой партии сочувствуют мои товарищи по футбольной команде – коммунистам или социал-демократам. Хотя едва ли кто сочувствует коммунистам.

– Может, сочувствуют, как ты выразился, наци?

– Наци? – Олег удивился. – Не знаю. Я прочитал обе программы, они очень похожи – наци и коми. И те, и другие требуют пересмотреть Версальский договор... Долой Версальское иго!

– Это коммунисты так говорят.

– Коммунисты? Может быть. А наци кричат: «Долой оковы Версаля!» Разница – нуль.

Отец поморщился.

– Нет, они еще требуют уничтожения привилегий. И у аристократов, и у крупных землевладельцев. А коммунисты требуют уничтожения всей буржуазии, всей аристократии, и офицерства тоже...

Олег усмехнулся.

– Наверно, обычная пропаганда. Ты же знаешь, папа, что в пропагандистских листовках всегда приукрашивают и преувеличивают! Ну, сам рассуди, папан, как можно требовать уничтожения землевладельцев – по-нашему, крестьянства?! Они же производят хлеб насущный. – Он усмехнулся. – То же самое зерно для пива. У нас в Баварии – пшеничное пиво, в соседних землях – ячменное. Но производят его крестьяне. И Германия – не Россия, здесь не может быть революции, подобной в России, немцы – другие люди...

Олег служил в туристической фирме.

Он и здесь показывал себя спортсменом, в свободное время беседовал с сотрудниками только о мотогонках, боксерских поединках и футбольных матчах, благо в фирме работали еще несколько молодых людей, которые, как и Олег, не увлекались политической болтовней, предпочитая спортивные новости. Начальству не могло не нравиться его поведение. Нравилось начальству и то, что он играл в мюнхенской футбольной команде.

Ничто и не толкало на разговоры о политике в туристической фирме. Экскурсии, лекции по истории искусств, туристические маршруты по Рейну на самом современном пароходе.

– Господа, мы вам предлагаем прекрасный маршрут по Рейну. А если этого мало – то дальше по морю. Прекрасное путешествие по Северному морю. Вы с дамой? Тем более. Нет ничего более интересного и увлекательного, чем путешествие с дамой на пароходе. Романтическая прогулка стоит недорого. В наше время социальных катастроф и кризисов эта поездка запомнится надолго, поверьте мне.

Олег собирался стать профессиональным футболистом. Он играл за «Bavaria» левым полузащитником.

В туристической фирме с ее рутиной ему было скучно. Все попытки предложить новое, реорганизовать устаревшее и заменить современным упирались в твердое нежелание начальства что-то менять. Олег перестал вкладывать в работу душу и вложил ее в фут-

бол, которым увлекался со студенческих времен. Его приятель играл за «Баварию», он помнил Олега по студенческой команде, замолвил слово хозяину, тот разрешил тренеру попробовать Олега. Тренеру Олег понравился, и он включил его в состав запасных, изредка выпуская на поле.

Родители активно выступали против спортивной карьеры старшего сына, но ничего с ним сделать не могли, тем более что он стал получать в клубе деньги за игры.

Младший, Георгий, тоже внушал не надежды, а только опасения: он занялся политической деятельностью, вступил в Национальный союз молодого поколения (будущий НТС), участвовал в многочисленных эмигрантских собраниях, но жил далеко от родительского ока – в Париже.

Перед матчем с «Айнхайтом» напился левый полузащитник, и тренер поставил Олега – и не пожалел.

На улице сосед по дому, полицейский Мюллер, встретил отца, спросил:

– Господин Олонецкий, это ваш сын играет в «Bavaria»?

– Да, господин комиссар. На левом крае...

– Передайте, что я его поклонник. В воскресном матче с «Айнхайтом» какой он гол забил с подачи моего тезки Мюллера! Крученный! Почти с центра поля! Под верхнюю штангу! Голкипер даже не шевельнулся! Весь стадион аплодировал!

Будущий начальник Гестапо пожал отцу руку и пошел разгонять несанкционированный митинг национал-социалистов.

* * *

Олег заметил девушку, и тут же поправил себя: молодую женщину, – когда в передышке, отходя к своим воротам с центра поля, бегал глазами по трибунам – просто чтобы глаза отдохнули. Она активно болела во втором ряду – кричала, махала руками, кажется, даже свистела – то есть являла тип типичной активной болельщицы «Баварии». Потом, когда команда уходила с поля, она крикнула что-то, он догадался – непосредственно ему, даже показалось, что назвала по имени. Но могло и послышаться.

А когда в отеле «Франкфурт Хоф», где жила команда, она подошла к нему, он не удивился – попросит автограф, решил хавбек.

Отель «Франкфурт Хоф» – один из самых известных и фешенебельных заведений в Германии. Конечно, не берлинский «Адлон», но и не хуже его. Здесь постоянно останавливаются знатные персоны, богачи, министры и коронованные особы. В отличие от «Адлона», франкфуртский отель славился своей кухней, оркестром и певцами, что регулярно выступали перед публикой. В отеле имелся небольшой, но хорошо оборудованный зал для заседаний, кабинеты для

переговоров и деловых встреч (автор романа тоже пользовался в свое время этими услугами. Правда, происходило это почти через сто лет после того, как встретились его герои).

– Вы Олег? – неожиданно спросила незнакомка по-русски.

– Олег, – удивился он.

– Вы меня, конечно, не помните, – продолжала она, внимательно рассматривая Олонецкого.

У нее какой-то знакомый акцент, думал он, прислушиваясь к ее словам, – так говорят по-русски прибалты. Да, только у них такое протяжное «э». Конечно, она не баварка, баварца я узнаю по первой фразе, я сам почти баварец, десять лет...

– К сожалению, нет, – подтвердил он.

– Я – Лида. Мы с вами танцевали... Целый вечер танцевали!

И она засмеялась. Он действительно не помнил, когда танцевал в последний раз.

– Вы приезжали к нам в Прагу по студенческому обмену...

Да-да... Он стал вспоминать ту поездку. Руководителем группы был Ширах, соревновались с чехами в пиве и в футболе... И танцевали! Да-да!

– Три года назад, – вспомнил. – Да! Вы... вы... – он рылся в памяти. – Ваша фамилия... Фон... фон...

– Фон Тизенгаузен, – любезно подсказала она, улыбаясь.

Он облегченно выдохнул.

– Ну конечно, Лидия фон Тизенгаузен! Как поживаете, Лидия? Вы же русская!

– Не-е-ет, – хитро отвечала она. – Я русская немка из Латвии.

– Всё равно русская!

Оба улыбались друг другу, как старые знакомые.

– Я редко говорю по-русски. Не знаю, как вы. Немецкий у меня постоянно, я ведь работаю в Германии. Правда, еще английский. Но никак не русский.

Олег уцепился за слово:

– Вот как? Английский? Do you speak English?

– Yes, Sir.

– А здесь как вы? Вы здесь работаете?

Она кивнула.

– Вообще-то я живу в Берлине. А сюда приехала по делам.

– По делам? Как по делам?

Лида пожала плечами. Неужели непонятно.

– По делам. Я защищаю одну женщину, которая живет во Франкфурте.

Олег не понял.

– Как так *защищаете*?

Лида снова посмотрела на него, как на ребенка.

- Я – адвокат.
– Адвокат? Никогда не подумал бы. Никогда у меня не было знакомых адвокатов.
– Вот и появился. Что вы улыбаетесь?
– Хотел пригласить вас потанцевать в какой-нибудь дансинг.
– Олег, я устала за день и проголодалась.
Олонецкий вздохнул.
– Признаюсь, я тоже после игры хотел бы отдохнуть. А про дансинг – шутка.
Она кивнула.
– Идите отдыхайте. Я пойду в ресторан – говорят, здесь хорошая кухня...
Олег расправил грудь.
– Я иду с вами. Не могу допустить, чтобы такая красивая женщина, к тому же адвокат, голодала.

Они пошли в отельный ресторан, где им указали столик в углу, и пока садились и листали меню, Олег думал, что хорошо бы проверить романчик с Лидой.

– Нашу встречу надо отметить! – решительно заявил он.

Лида посмотрела на него искоса. «Никак, решил приударить за мной футболист, – почему бы и нет, я женщина свободная, обязательств у меня ни перед кем нет...»

– Да-да, – подтвердила адвокат, улыбаясь футболисту, – обязательно надо отметить.

– Шампанским, – заключил он.

– Французским, – уточнила она.

– Другого не бывает, – согласился он. – Вот смотрите, французы – наши вечные враги... Извините, не наши, а Германии. Отняли у нас Эльзас и Лотарингию... Не у нас, разумеется, у Германии... Спорная территория – Саар... Но какое у них шампанское! А сыры! А коньяки!

– А женщины! – подзадорила Лида.

Олег согласно кивнул.

– Хорошенькие! – он повернулся к подошедшему официанту и сделал заказ. – Вы что будете есть?

– Рыбу и салат.

– Я – тоже. Отметим встречу, отметим...

– Только без пошлости, ладно?

– В каком смысле? Что вы имеете в виду под пошлостью? – насторожился Олег.

– В прямом – без пошлости, – улыбалась Лида.

Олег понял.

– Мы здесь натамбуемся вволю, – кивая на оркестр, перевел он стрелки разговора.

– Надеюсь.

Надежды оправдались. Подобно тому, как три года назад они лихо отплясывали в Праге, так и теперь они не пропустили ни одного танца, так им было хорошо и спокойно. Когда закончился очередной танец, Олег набрался смелости.

– Пойдем ко мне?

– А может, лучше ко мне? – предложила Лида.

– Нет, лучше ко мне.

– Почему лучше? Ты разве один в номере? – сразу перешла границы женщина.

– Нет, с товарищем, но он сегодня не ночует, у него свидание в городе...

Лида сморщила нос.

– Свидание не свидание, а вдруг придет... нет, пойдем ко мне, у меня номер-люкс...

Утром, совсем неожиданно для самого себя, Олег Олонецкий сделал Лидии фон Тизенгаузен предложение.

Он не мог объяснить себе ни тогда, ни позже, почему он так поступил. Но после первой ночи с этой женщиной почувствовал, что она ему необходима.

Она – ему показалось – отстранилась от него.

– Олег, я очень хорошо к вам отношусь... к тебе отношусь... С тобой хорошо... Но...

– Мне наплевать на ваши прошлые романы, на всё, что было. Я хочу видеть вас моей женой.

– Это невозможно, Олег, – отвела Лида глаза.

– Почему? Что вас удерживает?

– Есть одно препятствие, дорогой друг..

– Какое? – нахмурился Олег.

Он ожидал чего угодно, но только не того, что услышал:

– Дело в том, что я хочу уехать в Америку.

– Как в Америку?

– Так. В Америку. Мне здесь неинтересно.

Он сжал ей руки.

– Как неинтересно? Лида! Вы повторяете мои слова! И мне здесь тесно! И мне здесь скучно! Я всю жизнь мечтаю уехать туда! – закричал он, и она бросилась ему на шею. Или он заключил ее в объятия...

– Вместе будем осваивать Новый Свет!

– Завоевывать!

Они всмотрелись друг в друга.

– Но сначала, наверно, надо выполнить матримониальные обязательства перед обществом...

И то, о чем они оба подумали, но вслух не произнесли, – дальше

следует неприятное для двух взрослых людей объяснения с родителями.

Лида вздохнула.

– Отложим разговоры на неделю. Хорошо? Вдруг ты передумаешь.

– Я не передумаю.

– Или я передумаю.

– Ни в коем случае! – вскочил он.

Лида согласно кивнула.

– Тогда неделя – пауза. Мне надо будет съездить в Ригу, оповестить родителей.

– А мне – моих.

– Позвони мне.

– У тебя есть личный телефон? – удивился Олег.

Лида объяснила.

– Личного еще нет, но в конторе есть. Меня позовут, когда ты позвонишь. Контора моя – адвокатское бюро «Робинсон и Френкель».

– Евреи?

– Почему ты спрашиваешь? Ты антисемит?

– Боже упаси! – махнул рукой Олег. – Но наци нападают на еврейские фирмы.

Лида хохотнула.

– Да, тут мне не повезло. Вдвойне не повезло! У меня один хозяин – еврей, а другой – гомосексуалист. Наци ненавидят и тех, и других. Мечта нацистов – разгромить их. Но пока Бог миловал.

– Пока, – серьезно повторил Олег. – Живем в такое время...

Лида сухо ответила.

– Поэтому надо уезжать из этого времени.

Олег кивнул.

– Согласен. В другое время – в Америку. Другой континент, другое время... Мы песенку пели *«Ах, Америка – это страна, где гуляют и пьют без закуски»*.

– Никогда не слышала.

– Вообще, русские, наверно, сочинили. Только у русских пьют под закуску.

Лида не согласилась.

– Почему? Мы в Чехословакии всегда пиво пили со шпекачками.

Олег оживился.

– Помню, помню шпекачки. Они похожи на наши сардельки.

– Похожи, но вкуснее, – не согласилась будущая жена. – Значит, договорились. Через неделю ты мне позвонишь в бюро. У меня впереди два суда... И здесь я по делу. Фальшивые документы, понимаешь? Дело тоже слушается в Берлине... Сложное дело...

Она замолчала.

Олег встал.

– Насчет нацистов – не беспокойся. У меня есть приятель. Со студенческих времен. Он крупный чин у нацистов. Фон Ширах...

– Тоже фон? – не поверила Лида.

– Да. На удивление, из приличной семьи. Правда, давно не виделись, года два, если не больше... А в студенчестве – не разлей вода, вместе прогуливали, вместе в футбол, вместе по пивным... Тогда я футболом всерьез и увлекся... Лида, в марте у меня игра в Берлине. Мы и раньше увидимся, но в марте игра... Надеюсь, мы раньше всё оформим...

– Да, – согласилась она. – Если ничего не случится.

– Чепуха, – не поверил Олег. – Ничего не случится.

– Да. – Лида посмотрела в упор. – Ничего не случится. Если за неделю ты не передумаешь брать меня замуж, то ты мне позвони. И я поеду к своим... подготовить...

– Договорились. Я позвоню.

PARIS, ФЕВРАЛЬ 1932. ЮРИЙ ОЛОНЕЦКИЙ

Какой отвратительный климат в Париже!

Вчера к утру сразу потеплело, весь день шел дождь, а сейчас ревет ветер, разрывает белые облака за Эйфелевой башней, гонит бесконечные тучи, и они снова и снова плачут над площадью Конкорд...

И Большая Генриетта, и белокурая Симона, терпеливо ждущая согласия Юрия на наш «брак по расчету», жмутся под сводами галерей, спасаясь от дождя и ветра. На клиентов сегодня рассчитывать трудно, значит о заработке – не мечтай!..

Но Симоне неожиданно улыбнулось «счастье». Ее увлек какой-то мрачного вида, высокий и худой господин в темных очках. Предварительно он подвел ее к свету фонаря и долго, словно покупая рабыню, рассматривал бесцеремонно ее лицо, фигуру и ноги.

– Симоне сегодня везет, – не без дружеской зависти вздохнула Большая Генриетта.

Юрий посочувствовал ее неудаче и философски заметил, что, очевидно, господин в темных очках предпочитает женщин хрупкого телосложения.

Вдруг резкий, непереносимый запах ударил в нос. Так пахнет немывое годами, большое человеческое тело, грязное, гниющее тряпье, гнилые несъедобные отбросы. Показалось, что омерзительная вонь проникает в самые поры тела.

Олонецкий повернул голову.

Мимо быстрым, деловым шагом, подняв высоко породистую седую голову в старомодной шляпе, свалывшуюся в грязный блин, в рыже-зеленой, заплатанной и почти истлевшей пелерине, с громад-

ным пакетом под мышкой, шлепая какими-то совершенно невероятными опорками, шла высокая и худая старая женщина, распространяющая вокруг себя отвратительный, душающий запах...

Так воняло из берлоги Шарля под мостом, вспомнил Юрий.

– Старуха-Вонь! – с суеверным ужасом прошептала Большая Генриетта и спряталась за колонну.

– Почему же ты ее так боишься? Разве она может причинить кому-нибудь зло?

– Нет... но мы все ее боимся... У нее дурной глаз, и если она на тебя пристально посмотрит – берегись! И, к тому же еще, меня она принимает за свою покойную дочь Генриетту...

– Она – сумасшедшая?

– Я не знаю... Однажды она посмотрела мне в глаза, схватила за руку и потащила в аллею. Я так испугалась, что не имела сил вырваться. Она называла меня своей дочерью, своей Генриеттой, спрашивала, почему я не плачу о моем маленьком дорогом брате Роланде, который был такой умный и красивенький, так хорошо учился в лицее, а потом ушел на войну, писал такие нежные, такие ласковые письма, а потом был убит... И тело его повисло на проволоке и долго разлагалось под дождем, потому что его не могли снять и похоронить. И когда приехала она за ним, ей отдали скелет в лохмотьях мундира и в офицерском кэпи и сказали, что это – ее сын. А потом умерла Генриетта – она была рослая и сильная девушка и все-таки получила по наследству от отца туберкулез... Она рассказывала всё это и хватала меня за плечи, смотрела в глаза и спрашивала, зачем я, ее Генриетта, убежала от нее и, больная, хожу под дождем по бульварам? И она плакала, и слезы текли по грязным щекам и оставляли на них черные полосы... Я вырвалась от нее и убежала, и потом меня, конечно, постигло несчастье – меня поймали «буржуа» и на месяц заперли в Сен-Лазаре... Нет, нет, ты пуще всего берегись, чтобы она не заглянула тебе в глаза – а то она примет тебя за своего Роланда!

Рассказ о Старухе-Вонь произвел на Юрия сильное впечатление. Он не мог забыть старого, породистого лица, заросшего грязной корой, прядей серых, свалывшихся волос и ее страшного запаха...

– Пико! – спросил он мимоходом. – Ты знаешь Старуху-Вонь?

– Я знал ее, – ответил Пико не без гордости, – когда она была владелицей особняка на бульваре Сен-Жермен...

Быть может он и прихвастнул, бедный Пико.

– Она была богата, старина, очень богата! И у нее были такие прекрасные детки! Но похоронив их, она отдала всё свое состояние на сирот войны, и с тех пор никто не знает, где она живет, но каждый может увидеть ее ночью на площади Конкорд и на Елисейских Полях...

– Какая печальная история, Пико!

– Увы! – согласился Пико, – к сожалению, на свете гораздо больше печальных историй, чем историй веселых!.. Ну, начинай «болтаться», старина, да не прозевай, как прошлый раз, своего счастья!..

Но «болтаться» не пришлось. Из ресторана вышел высокий, представительный, замечательно породистый молодой человек. Он, по-видимому, много выпил, но совсем еще крепко держался на ногах. Пико сунулся к нему со своими газетами.

Молодой человек вырвал из рук Пико всю пачку и бросил газеты в уличную грязь.

Пико жалобно пискнул и кинулся собирать свой подмоченный товар. Кутила оттолкнул его ногой и бросил ему стофранковый билет.

– Не смей собирать! Я купил у тебя все эти газеты!

Пико был ошеломлен.

Он сдернул свой картуз и обнажил свою смешную, яйцевидную, голую голову.

– О, мерси, месье, мерси! – залепетал он в радостном возбуждении.

Кругом уже толпились выходившие из ресторана клиенты, шоферы и ночные рабочие, чинившие мостовую напротив Морского министерства. Никто из них не видал, какую сумму заплатил молодой человек за газеты.

– Грязный иностранец! – крикнул один из рабочих, с ненавистью посмотрел на кутилу и полез на него с кулаками.

Сильно нагрузившийся, полнокровный, коренастый француз сбросил на руки своей дамы цилиндр и черную накидку на шелковой лиловой подкладке, засучил рукава фрака и в полном восхищении поспешил на помощь рабочему.

– А ну-ка дай ему! – закричал он. – Они думают, что здесь они в своих деспотических королевствах, а не в свободной республике, где все равны, свободны и все братья друг другу!

Кутила остался очень доволен таким оборотом дела. Он отступил на шаг, стал в позицию и мощным ударом бросил француза на землю. За французом во фраке полетел и рабочий.

– Вот вам фратернитэ!.. – сказал надменно кутила. – И социалисты, и капиталисты теперь в одной куче! А ну – еще кто?..

Но к нему уже тянулись десятки кулаков. Женщины кричали, плевали в него и улюлюкали.

– Скоты!

– Вы бы хоть дам постеснялись! – взвизгнул какой-то благообразный старичок сенаторского типа.

– Дам? – захохотал кутила. – Этих ночных фей? Держу пари, что у вас тут половина женщин не лучше этих!..

Это было уже слишком. Началось грандиозное побоище...

Олонецкий вынул свисток, и резкий, пронзительный свист огласил немую тишину площади Конкорд.

Через несколько минут кутила уже был окружен мотоциклистами и ажанами, и сражение поневоле приостановилось.

– Вам придется отправиться в комиссариат, месье! – сказал полицейский бригадир.

– Хорошо! – ответил кутила и иронически улыбнулся. – Вызовите мне такси!

Бригадир рассердился:

– Вы во Франции, – сказал он, – а потому вам придется отправиться не в такси, а пешком.

Толпа снова негодуя загудела.

– Хорошо, – сказал кутила добродушно, – но, может быть, вы мне дадите ваш велосипед. Я его не сломаю...

– Прошу без шуток, месье, – сухо сказал бригадир. – Но если при вас есть бумаги, я могу вас отпустить после составления протокола.

Кутила вынул визитную карточку и сунул ее в нос бригадиру.

Юрий заглянул в нее через бригадирское плечо. На ней стояло имя известного принца одного из королевских домов Европы.

Отдав свою карточку бригадиру, принц окликнул проезжавшего мимо конного извозчика и отбыл в неизвестном направлении.

Пико ликовал.

– Там оставалось всего десять газет, старина!.. Из них шесть я подобрал под шумок – еще вполне годятся для сдачи Ашету... а он дал мне 100 франков! По 25 франков за одну «Энтран»!.. Это же колоссально!!!

Подвыпивший принц, повернув за угол бульвара Мадлен, вероятно уже забыл о Пико, а Пико будет вспоминать о нем всю свою жизнь...

Как легко ближнему оставить след в нашем сердце...

Ласточка уже пятую ночь проводит у печки. Глаза ее заплаканы, она молчалива. Просить прощенья у мачехи она всё еще не желает. За печкой ее, к счастью Олонецкого, ни разу не заметили ни бригадир, ни инспектор.

Зато заметил ливрейный старик и неодобрительно покачал головой, хотя и стал после этого выдавать Юрию двойную порцию жаркого и хлеба...

Но сегодня Юрий чуть было не нарвался. Инспектор Планар подошел слишком близко к решетке. Рапортуя ему, Юрий закрывал своей спиной маленькую, испуганную фигурку Мадлен. И Планар ее, конечно, все-таки заметил бы, не закричи Юрий неестественно взволнованным голосом:

– Смотрите, смотрите, господин инспектор! Этот сумасшедший несется прямо на фонарь!

Действительно, маленький «Ситроен» несся прямо на передовой фонарь площади Конкорд. И, конечно же, налетел на него. Фонарь охнул и как-то смешно повалился на мостовую.

А «Ситроен» сделал скачок в сторону и остановился.

Из него выскочил круглый и веселый человечек. С радостным изумлением посмотрел на поверженный в прах фонарь и проговорил:

– Ах, чтоб тебя!

И когда подбежавший инспектор засвистел, он сказал с чувством глубокого достоинства:

– Свистите... Свистите как можно громче, господин полицейский! Пусть все соберутся и увидят, как я чудесно спасся и как этот каналья-фонарь поплатился за свое ротозейство!..

«Доблестный фонарь не только погиб сам, но и спас меня от большой неприятности», – подумал Олонецкий.

Когда он вернулся к своей печке, Мадлен уже не было. Птичку вспугнули, она улетела. «Как мимолетное виденье»...

ДОКУМЕНТЫ

ПРЕЗИДИУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 февраля 1932 года
О ЛИШЕНИИ ГРАЖДАНСТВА СОЮЗА ССР
С ЗАПРЕЩЕНИЕМ ВЪЕЗДА В СОЮЗ ССР РЯДА ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ
ЗА ГРАНИЦЕЙ В КАЧЕСТВЕ ЭМИГРАНТОВ И СОХРАНИВШИХ ЕЩЕ
СОВЕТСКИЕ ПАСПОРТА

Президиум Центрального исполнительного комитета Союза ССР постановляет:

Лица, поименованные в нижеследующем списке, проживающие за границей в качестве эмигрантов и сохранившие еще советские паспорта, за их контрреволюционную деятельность лишаются союзного гражданства с запрещением им въезда в Союз ССР по документам иностранных государств:

1. Абрамович-Рейн Рафаил Абрамович,
2. Аронсон Григорий Яковлевич,
3. Аронсон-Каплан-Рубинштейн Анна Яковлевна,
4. Айзенштадт-Юдин Исай Львович,
5. Биншток Григорий Осипович,
6. Бронштейн-Гарви Петр Абрамович,
7. Бронштейн-Гарви Софья Самойловна,
8. Бронштейн Зинаида Львовна,
9. Бронштейн Або Аронович,
10. Верещагин Иван Павлович,
11. Волин Всеволод Михайлович,
12. Волосов Борис Исаевич,
13. Гоффенберг Иосиф Соломонович,
14. Гуревич Борис Львович,
15. Гурвич-Дан Федор Ильич,

16. Грюнвальд Евгения Ивановна,
17. Гурвич-Цедербаум-Канцель Лидия Осиповна,
18. Доманевская Ольга Осиповна,
19. Дюбуа Анатолий Эдуардович,
20. Израиль Ефим Львович,
21. Ладыженский Иван Иванович,
22. Монозон-Шварц Соломон Меерович,
23. Новаковский Яков Соломонович,
24. Николаевский Борис Иванович,
25. Носков-Ардонев Петр Васильевич,
26. Пескин Матвей (Мордух) Абрамов,
27. Порш Николай,
28. Потресов Александр Николаевич,
29. Потресова Екатерина Александровна,
30. Рейн-Абрамович Роза Павловна,
31. Рейн-Абрамович Марк Рафаилович,
32. Седов Лев Львович,
33. Седова Наталья Ивановна,
34. Троцкий (Бронштейн) Лев Давыдович,
35. Шифрин Александр Михайлович,
36. Шишкин Матвей Дмитриевич,
37. Югов-Фрумсон Арон Абрамович.

Председатель ЦИК Союза ССР
М. КАЛИНИН
Секретарь ЦИК Союза ССР
А. ЕНУКИДЗЕ

Сообщение ТАСС

5 марта, в два часа десять минут дня, на углу Леонтьевского переулка и улицы Герцена было произведено покушение на советника германского посольства г. Твардовского, схавшего из посольства домой. Злоумышленник сделал несколько выстрелов из револьвера и причинил г. Твардовскому две раны – одну небольшую наружную на шее и ранение кисти левой руки.

Подошедшими сотрудниками ОГПУ стрелявший был обезоружен и арестован. Задержанный назвался Иудой Мироновичем Штерном. Следствие производится ОГПУ усиленным порядком. Г-н Твардовский проехал с места покушения в Кремлевскую больницу, где ему оказана медпомощь

Немедленно по получении сообщения о покушении зам. народного комиссара по иностранным делам тов. Крестинский и зав. отделом Центральной Европы НКВД прибыли в больницу и выразили сожаление находившемуся там германскому послу г. фон Дирксену и самому г. Твардовскому.

«Правда» (Москва), 1932, 6 марта

Сообщение ТАСС

По сообщениям следственных властей, стрелявший в советника германского посольства г-на фон Твардовского И. М. Штерн принадлежит к группе террористов, выполнявших задания неких иностранных граждан.

По признанию Штерна, покушение имело целью вызвать обострение отношений между СССР и Германией и тем способствовать ухудшению международного положения СССР.

Следственные власти рассчитывают закончить следствие в ближайшие дни.

Состояние здоровья г-на фон Твардовского.

Советник германского посольства г-н фон Твардовский провел ночь с 6 на 7 марта удовлетворительно. Температура 6-го вечером – 38, пульс – 84; 7-го утром температура – 37,5, пульс – 80. Сделана перевязка, операционная рана в хорошем состоянии. Самочувствие г-на фон Твардовского хорошее. (ТАСС).

«Правда», 1932, 8 марта

Сообщение ТАСС

По сообщению следственных властей, арестованный по делу о покушении на советника германского посольства г-на фон Твардовского И. М. Штерн показал, что он произвел покушение в соучастии с неким Сергеем Сергеевичем Васильевым по заданию некоторых польских граждан. Васильев арестован. Окончательно выяснилось на основании показаний Штерна, что он хотел убить не г. Твардовского, а самого германского посла г. фон Дирксена, так как, по его мнению, именно такой акт мог вызвать соответствующий внешнеполитический эффект, и Штерн был уверен, что он стреляет в г. фон Дирксена. Предварительное следствие заканчивается, и дело передается в прокуратуру для направления в суд. Дело будет слушаться в Военной коллегии Верховного суда СССР.

«Правда», 1932, 11 марта

Сообщение ТАСС

Господин фон Твардовский 15 марта выписался из Кремлевской больницы. Ввиду нормального хода заживления ран в дальнейшем сообщений о состоянии здоровья даваться не будет.

«Правда», 1932, 17 марта

BERLIN, ЗИМА И ЛЕТО 1932. АРТУР

Он стал изучать Маркса, Энгельса и Ленина и в нем произошел «духовный взрыв». Ему стало казаться, что на каждый вопрос есть ясный ответ. Сомнения отошли в область далекого прошлого, относились к тому бесцветному миру постыдного неведения, в котором существует непосвященный.

31 декабря 1931 года он совершил главную ошибку в своей жизни – послал письмо в ЦК КПГ, заявив о желании вступить в партию.

Вскоре он получил ответ с предложением поговорить. На встрече его обласкали и посоветовали не становиться официальным членом какой-то парторганизации, но работать в подполье. Ему выдали партбилет на имя Ивана Штейнберга, и с тех пор начались

регулярные явки, встречи, на которых Артур (он же – Иван Штейнберг) сообщал информацию, собранную в кругах издательства «Ульштайн».

Партийное руководство пыталось использовать служебное положение Артура – иностранного редактора изданий концерна, получить через него доступ к информации, которой располагали сотрудники, вхожие в дипломатические круги.

В качестве иностранного редактора он имел доступ практически ко всей конфиденциальной политической информации, стекавшейся в этот мозговой центр Веймарской республики.

Его помощником стал двадцатилетний Эгон, сын вышедшего в отставку посла. Разница в возрасте между ними была невелика, молодые люди подружились. Артур ежедневно вел с парнем политические беседы. Через две недели Эгон зашел уже так далеко, что готов был служить Делу. Его отец принимал у себя в доме членов Генерального штаба и дипломатов, и Артур поручил своему молодому коллеге держать ухо востро и докладывать всю представлявшую хоть какой-то интерес информацию, в особенности относительно «подготовки Германией и другими империалистическими странами агрессии против Советского Союза».

Несколько недель всё шло как нельзя лучше, но потом юного Эгона настигли угрызения совести, и однажды после бессонной ночи он предъявил Артуру ультиматум: он должен раскрыть нашу предательскую деятельность, а иначе застрелится. Он написал подробное признание на имя генерального директора издательства, однако вручить письмо может лишь с согласия Артура.

Артур засмеялся.

– Чистейший вздор! – заявил он парню. – Даже с точки зрения закона мы не совершали ничего криминального.

– Я застрелюсь, – ответил Эгон.

– Мы разве похищали военные секреты или торговали государственными документами? Ты всего-навсего передавал мне салонные сплетни, которые мне нужны как иностранному редактору, чтобы ориентироваться в обстановке...

– Нет, я готов быть марксистом или социалистом, но передавать информацию агентам иностранной державы – совсем другое дело. Это измена, и неважно, являемся мы шпионами в строгом смысле слова или нет. Я застрелюсь.

– Ты дурак, – прогнал его Артур, но Эгон отправился к начальству, и на другой день Артура, не поднимая шума, уволили.

Он стал членом ячейки берлинской колонии художников и литераторов на Лаубенхеймер-Плац, которая состояла из двадцати человек и была крайне необычной. Артур принимал участие во всевозможной партийной пропаганде, в собраниях ячейки с их обычным

монотонным единогласием, в борьбе против социал-демократов как «социал-фашистов», а также и в частых стычках с нацистами.

Он погрузился в работу ячейки с тем пылом и самозабвением, как когда-то в семнадцать лет вошел в дуэльную студенческую корпорацию в Вене. Он жил в ячейке, с ячейкой, для ячейки.

Он был не один, он нашел тепло товарищества, которого жаждал. Его потребность принадлежать чему-то была удовлетворена...

В ту весну и долгое, душное лето 1932 года коммунисты то и дело затевали стычки с нацистами. В Берлине почти каждый день с той или другой стороны кто-то погибал. Полем боя стали пивные, маленькие прокуренные кабачки в рабочих районах. В одних встречались нацисты, в других – коммунисты. Ошибиться при выборе пивной значило угодить в лапы врага. Время от времени нацисты обстреливали «сборные пункты». Это делалось в отменных традициях чикагских гангстеров: банда штурмовиков медленно проезжала в автомобиле мимо пивной, стреляя в посетителей сквозь стеклянные стены, а затем, резко нажав на газ, скрывалась из виду. У коммунистов было намного меньше машин, чем у коричневорубашечников, поэтому акции возмездия осуществлялись на ворованных или одолженных у сочувствующих автомобилях.

Осуществление акций брали на себя члены Союза красных фронтовиков, объединения коммунистов-ветеранов войны.

Как-то утром в дверь постучали, к нему пришел Шлендер из районного партийного комитета и с ним – двое незнакомых товарищей. Они поздоровались, и Шлендер поинтересовался:

– У вас, кажется, есть автомобиль.

– Да, – кивнул головой Артур, – вон, стоит под окном.

Пришедшие посмотрели в окно.

– Который? Красного цвета?

– Красного.

– Нам нужен ваш автомобиль.

Артур пожал плечами и достал из ящика стола ключи.

– Пожалуйста.

Автомобиль периодически забирали совершенно незнакомые товарищи, а спустя несколько часов возвращали, – он не задавал вопросов, объяснений не предлагали. Маленький открытый «фиат» красного цвета совершенно не подходил для налетов, но других автомобилей в ячейке не было. Так единственный уцелевший осколок буржуазного прошлого теперь служил делу пролетарской революции. Артур и сам нередко садился за руль, развозил брошюры и листовки, выслеживал машины нацистов, прикрывал своих.

Среди членов Союза красных фронтовиков, реквизировавших автомобиль для партизанских вылазок, попадались порой довольно зловещие типы с берлинского дна.

Об их приходе Артура предупреждал телефонный звонок или устное сообщение из районного комитета. Почти не случалось, чтобы один и тот же человек появился дважды. Если миссия казалась относительно безопасной, ему самому приказывали сесть за руль. Они медленно проезжали мимо пивных, наблюдая сквозь стеклянные витрины за сборищами нацистов, или же охраняли свою пивную, когда информатор в стане нацистов предупреждал о запланированном нападении.

Это Артуру меньше нравилось: они караулили возле пивной, выключив фары и не заглушая мотор. Как только появлялся чужой автомобиль, раздавались щелчки – спутники снимали револьверы с предохранителя, а водителю ласково советовали:

– Убери черепашку.

Ему дали инструкции на случай, если полиция возьмет машину на заметку во время какой-либо акции: тогда он должен сказать, что ее угнали, и он нашел ее в безлюдном переулке.

Время от времени проносился слух, будто нацисты собираются напасть на «Красный квартал» – подобные налеты на дома, где проживали коммунисты, случались и ранее. Объявлялась боевая тревога, люди из Союза фронтовиков несли дежурство.

В одну из таких ночей в тесной квартире Артура засели чуть ли не тридцать человек с револьверами, свинцовыми трубами и кожаными дубинами, словно остатки разбитой армии...

Через пару месяцев он стал догадываться о некоторых подводных течениях под безмятежной с виду поверхностью. Он заметил, что личные отношения внутри ячейки не то чтобы порицаются, но и не приветствуются, а то и навлекают подозрения во «фракционности». «Фракционность», то есть попытка создать собственную политическую группировку, – тягчайшее партийное преступление, и если двое или более товарищей начнут часто общаться и во время общих дискуссий будут отстаивать одну и ту же позицию, их непременно обвинят в формировании тайной фракции.

В школах-интернатах и монастырях любые личные отношения воспринимаются как скрыто-сексуальные, а в коммунистической партии дружба кажется подозрительной с политической точки зрения. Партийная лояльность подразумевала прежде всего безусловное подчинение, в том числе и отречение от друзей, уклонившихся от партийной линии или по иной причине навлекших на себя кару. Почти того не сознавая, Артур привыкал контролировать свои поступки, слова и мысли.

Он узнал:

всё, что скажет на собрании ячейки или в частной беседе, даже товарищу женского пола, чья голова покоится на его подушке, – попадет на заметку и когда-нибудь обратится против него;

отношения с другими членами ячейки определяются не наивным доверием, а «революционной бдительностью»;

его долг – докладывать о любой еретической реплике;

промолчать было бы преступлением против партии, а отвращение к подобному кодексу чести – всего лишь проявление сентиментальности, мелкобуржуазных предрассудков;

обыкновенная порядочность, верность, правила «честной игры» отнюдь не являются устойчивыми законами бытия – они лишь эфемерные порождения капиталистического общества и царящей в нем конкуренции.

В античности был свой кодекс чести, при феодальном строе – другой, при капитализме – третий, и каждый раз правящий класс пытается навязать его в качестве вечного закона. Абсолютных законов этики не существует; каждый класс, приходя к власти в процессе исторического развития, приспособливает так называемые «законы» к своим потребностям. Революция – не игра в крикет. Цель оправдывает средства – таков ее принцип, а главный метод – метод диалектического материализма...

Однако фанатическая приверженность партии не могла помрачить разум Артура настолько, чтобы он перестал замечать наиболее нелепые явления новой среды. Он видел, что инструкторы, направляемые районным комитетом на партсоборания, понятия не имеют о событиях, выходящих за узкие пределы борьбы рабочего класса, стачек, демонстраций и работы профсоюзов. Они не знали и знать не хотели, что христианско-демократический канцлер Брюнинг действительно не приемлет Гитлера и что существует разница между британскими консерваторами и немецкими нацистами, а с точки зрения партийных функционеров демократия являлась «скрытой формой диктатуры капитализма», а фашизм – «открытой формой»; что же до «классового содержания» обоих режимов – они полностью совпадали.

Позднее и на его долю выпадет услышать, как лектор из России станет утверждать, будто *мода на чрезвычайно длинные стихотворения в Германии 20-х годов служит идеологическим отражением валютной инфляции, потока обесцененных бумаг.*

Артур постоянно будет наткаться на такого рода советскую чушь, но уговорит себя, что это всё пустяки, трогательное проявление энтузиазма, избытка сил отсталого народа, пробуждающегося после столетий бездеятельности и угнетения. Нельзя ожидать от «отсталых масс», чтобы они тут же сравнялись по образованности с бывшим редактором концерна Ульштайнов.

Всё, что его не устраивало, можно будет списать на:

«пережитки капиталистического прошлого»,

«неизбежные перегибы революции»,

«временные трудности».

Если человек, не имеющий подобного опыта, спросил бы Артура, как могли интеллигентные люди приспособиться к причудливым зигзагам партийной линии, он бы ответил, что каждый образованный коммунист, от членов Советского политбюро до участников французского «литературного кружка», вырабатывал собственную тайную философию, призванную не объяснять факты, а отделяться от них. Можно придумать различные обозначения для этого умственного процесса: двойное мышление, контролируемая шизофрения, мифологизация, десемантизация смысла, – но психологическая суть останется всё той же, и без этого объяснения портрет нашего героя в роли «товарища» останется незавершенным.

Литературные, художественные, музыкальные вкусы тоже подвергались обработке. Высшей формой музыки признавалось хоровое пение, ибо здесь индивидуализму противопоставляется коллектив. Именно эта идея привела к неожиданному возрождению греческих хоров в авангардных коммунистических драмах 20-х годов. Хотя отдельные персонажи не изгонялись вовсе с театральных подмостков, их следовало наделить «типическими чертами» и полностью обезличить.

По тем же правилам создавалась и коммунистическая проза. Героем романа становился не отдельный человек, а некая группа людей – партизанский отряд эпохи Гражданской войны; деревня, преобразуемая в колхоз; работники завода, сражающиеся за выполнение пятилетнего плана.

Трудно было смириться с феноменами из области языка и стиля. После выступления на собрании, в котором несколько раз прозвучало слово «спонтанный», расположенный к Артуру Шлиндер намекнет, что впредь было бы лучше обойтись без этого эпитета, ведь «спонтанные проявления революционного духа» входят в теорию Троцкого о перманентной революции.

Они выходили с собрания вместе и по дороге продолжали спорить.

– Лексика – не политика, – пытался объяснить Артур. – А вы всюду хотите проявить непонятную «революционную бдительность».

Они стояли возле пивной.

– Ну что, – спрашивал Шлиндер. – Доспорим за пивом? Или зайдем в бар?

Артуру захотелось почесать затылок, он не знал, что ответить.

– Кажется, русский бар. Написано по-русски «Канарейка».

Шлиндер согласно кивнул.

– Ну конечно, какой-нибудь белогвардеец содержит...

Артур бывал в «Канарейке». Совсем недавно, с одной милой барышней...

Бар являл собой неотъемлемую часть берлинской деловой жизни. Публика собиралась – от ультрареакционных монархистов до строго марксистских меньшевиков и анархо-коммунистов, которые ссылались на Кропоткина; от фанатичных православных до евреев самого ортодоксального толка; от подстрекателей-погромщиков до писателей, которые колебались между совершенно аполитичной, антибуржуазной эстетикой и эстетически реакционной, но политически революционной активностью. За всеми строго следили, а нередко и использовали в своих целях советские агенты.

Напарник кивал на пивную:

– Или все-таки по кружке хорошего пива.

– Согласен, но каждый платит за себя.

– Разумеется, – напарник тянул его за рукав. – Вы еще колеблетесь?

– Да, вместе с линией партии.

Собеседник серьезно посмотрел на него.

– А вот этого делать я вам не рекомендую.

– Колебаться вместе с линией партии? – улыбался Артур.

– Остричь подобным образом.

– Вы совсем не понимаете шуток.

– Я не понимаю шуток в адрес партии.

– Вы говорите о партии, как о невесте, которую оскорбляют и за чью честь вы готовы постоять.

– Я говорю о партии, Артур. Вы с вашим мелкобуржуазным происхождением и воспитанием не имеете права так шутить.

Они продолжали стоять у дверей пивной.

– Шлиндер, а если бы я имел пролетарское происхождение, я имел бы право шутить и остричь?

Шлиндер надменно глядел на него.

– Пролетариям и в голову никогда не придет смеяться над своей партией.

Артур оглядывался по сторонам.

– Знаете, Шлиндер, мне расхотелось пить пиво. Всего хорошего.

Он быстро шагнул прочь, не оглядываясь на ухмыляющегося Шлиндера, который скривил гримасу вслед уходящему, словно передразнивая его, и решительно потянул на себя дверь пивной.

Одна особенность партийной дисциплины оказала на Артура сильное и долговременное влияние – это культ пролетариата и презрение к интеллигенции. Интеллектуалы, происходившие из среднего класса, были в партии людьми второго сорта, им об этом постоянно напоминали. Интеллигентов терпели поневоле, поскольку в переходный период партия нуждалась в инженерах, врачах, ученых и литераторах – выходцах из дореволюционной интеллигенции, но

они заслуживали не больше доверия и уважения, чем так называемые «полезные евреи» в гитлеровской Германии, которые надевали в качестве отличительного знака нарукавную повязку и получали небольшую отсрочку, покуда не перестанут быть полезными и не разделяют судьбу своих сородичей.

Для коммунистического режима социальное положение родителей и прародителей столь же важно, как для нацистского режима – расовая принадлежность. Соответственно, интеллигенты родом из среднего класса всячески тщились придать себе облик пролетариев: носили свитера грубой вязки, выставляли напоказ грязные ногти и общались на жаргоне.

Для компартии Германии последнее лето Веймарской республики стало переходным периодом: она готовилась уйти в подполье и занималась перегруппировкой кадров. Хотя ячейки продолжали функционировать, членов ячеек тайно распределяли по пятеркам, причем предполагалось, что члены одной группы не подозревают о составе другой.

На самом же деле, поскольку все жили в одном доме, то прекрасно знали, какая пятерка в чьей квартире собирается. В ночь, когда горел рейхстаг и Геринг нанес смертельный удар коммунистической партии, пятерки рассыпались, и сложная конструкция подпольных групп по всей Германии обвалилась.

Способность немецких коммунистов к критическому анализу оказалась до такой степени подавлена, что никто не осознал страшной подоплеки избранной тактики: подготовка к долговременному подпольному существованию в виде децентрализованных групп означала, что вожди заранее смирились с неизбежной победой нацизма, а разделение партии на маленькие группы указывало, что партия не намерена открыто, с оружием в руках, сопротивляться гитлеровскому перевороту.

Артур ругал себя и ругал всю дорогу, пока не вышел на площадь к театру.

Спектакль он видел, помнил и зонги из него:

Меня научили в школе
Закону «мое – не твое»,
А когда я всему научился,
Я понял, что это не всё.
У одних был вкусный завтрак,
Другие кусали кулак.
Вот так я впервые усвоил
Понятие «классовый враг».

Из театра выходила довольная и нарядная публика. Высокая

молодая женщина громко сказала своему спутнику, пожилому господину в котелке:

– Все уши прожужжали: Брехт, Брехт! А что на самом деле? Чистая коммунистическая пропаганда. «У одних был вкусный завтрак, другие кусали кулак». Тьфу! «Классовый враг!» Тот, у кого бутерброд с колбасой, уже классовый враг!

Артур услышал ее слова, и ему захотелось спорить. Он раскрыл рот, как женщина повернулась анфас – и он узнал известного адвоката фрау фон Тизенгаузен.

– Как... как вы можете... фрау Тизенгаузен... Вы – прогрессивная женщина, защитница прав женщин...

Лидия удивленно повернулась.

– Быть защитницей прав женщин не означает восторгаться коммунистической пропагандой, – она отвернулась к своему спутнику. – А где такси, господин Френкель?

Тот показал на машину. Они сели в машину и уехали, а на освободившемся месте остановился «форд», откуда вылез костлявый человек; он протянул своей спутнице руку, помогая вылезти из автомобиля.

– Я вас приветствую, Берт, – помахал рукой Артур знакомцу.

– Не узнаю... Хотя, тьфу! Привет, Артур! Это Артур из газеты «Фоссише рундшау», – он пояснил своей спутнице, актрисе Елене Вайгель. – Помню, вы мне рассказывали о банковских махинациях...

– Вас давно не было видно, – заметила Вайгель.

– Да, я работал корреспондентом. Почти два года в Париже.

Вайгель улыбнулась.

– И как Париж?

– Париж всегда Париж, – тоном завсегда парижских кафе, профессионального бульвардье ответил Артур, и Вайгель засмеялась.

– Здравствуйте, Елена, здравствуйте, Брехт, – раздалось справа, и к ним подошел театральный критик Карл Баумгартен в плаще и кепке. – С Артуром мы сегодня виделись...

– Но, увы, я теперь не сотрудник концерна «Ульштайн».

– Он теперь наш сотрудник, – обнимая Артура за плечи, произнес критик (из одной партячейки с Артуром).

Брехт понимающе кивнул – еще одного привлекли коммунисты.

– Приходите вечером к нам, не пожалеете, у нас сегодня гость из Москвы – писатель Третьяков.

– Никогда не слышал.

– Вот сегодня и услышите.

– Он член партии? – влез Баумгартен.

Вайгель посмотрела на него смеющимися глазами.

– Разумеется. Вы разве не знаете, что из Москвы не отпускают за границу не члена партии? Третьяков переводит пьесы Брехта на русский. Для театра Мейерхольда.

– Никогда не видел театра Мейерхольда, – признается Артур. – Правда, что-то читал.

– А этот Мейерхольд – член партии? – подает голос Баумgarten. Вайгель хочет расхохотаться. Брехт тоже еле сдерживается.

– Мейерхольд – коммунист. Вы разве не знаете, что в Москве театром не может руководить не большевик?

Баумgarten глубокомысленно кивает.

– Это совершенно правильно.

Артур вспомнил слова зонга из «Трехгрошовой оперы»:

А Джонни хотел в трехтысячный раз,
Чтоб шутки и смех, и проказы.
Но только в армии нет проказ.
В армии есть приказы!

От Гибралтара до Пешавара орудий гром, как сон...
А если черная, желтая, лиловая человечья масса,
человечье мясо
потребует ответ,
из него наделаем котлет!

И Джонни разорван, и Джимми нет,
И Джорджи в воронке сгинул.
Но только кровь не меняет цвет,
У смерти всё тот же стимул.*

ВСПОМИНАЕТ ТРЕТЬЯКОВ

Воздух – синь от сигарного дыма. Синее бывает только духота вагонов для курящих в берлинском метро. Сдвинув кольцом низкие стулья, сидят люди, а в центре кольца большая пепельница. Туда каплет сигарный пепел. Телефонный аппарат на длинной привязи передается, как сахарница, из угла комнаты в угол, по принадлежности, и первый раз при передаче люди гремят стульями, шуршат подошвами и говорят любезности, пока путаница проводов перемещается по комнате, подобно такелажу гибнущего парусника.

Беседа идет в круговую. (Так пьют грузины.) Ровным голосом, не допуская чрезмерных движений и интонаций, выщепиваются из черепных реторт немецких интеллектуалов – экономистов, критиков, политиков, фельетонистов, философов отстоенные суждения на тревожные сегодняшние темы; никто не позволит себе прервать другого, пока не дожурчит последняя капля его речи.

* Перевод автора.

Я удивлен.

Формулы познания – это хорошо, но где же формулы действия?

Товарищ Берт Брехт, подымитесь с вашего низкого кресла на точных шарнирах коленных суставов. Перестаньте на секунду пить сгущенный ликер умозаключений. Почему эти люди здесь, а не в ячейках, не в гуле митингов безработных? Почему в здешнем дымо-словии и словодымии мне почудилось слово «штамтиш политик»?

В каждой пивнушке есть свои завсегдатаи. У этих завсегдатаев есть свой стол – «штамтиш». За этим столом они пьют пиво и разговаривают о политике. От пива наживают слоновью печень. От разговоров – полную отвычку от политического действия.

– Вы человек Советского Союза и прямого действия, – отвечает Брехт. – Вы не понимаете, до чего германскому интеллектуалу нужна познавательная формула. Над немцами любят смеяться за их преувеличенное уважение к приказу и говорят, что каждый параграф устава они готовы считать категорическим императивом Канта. Отсюда – анекдот о том, что никогда немцы не сделают революции, ибо для этого надо занять вокзалы, а как их занять, если нет перронных билетов? На немецкую голову неотразимое гипнотическое влияние имеет логическая формула. Важно правильно построить логическую цепь, и немец не шелохнется, подобно курице, которую приложили клювом к prevedенной по столу меловой черте.

Старый лозунг о том, что Германия – страна мыслителей и поэтов, «денкер унд дихтер», – давно заменен саркастической сентенцией о мыслителях и палачах – «денкер унд хенкер».

Но пыхнув ядовитейшей черной сигарой – того фасона, который курил Карл Маркс, Брехт прыскает пальцами правой руки вверх и говорит:

– В формуле слово «денкер» я предлагаю переделать на «денкес». Германия – это страна «денкесов». – И поясняет: – «Денке» – фамилия преступника, который убивал людей в целях утилизации трупов. Из жира убитых он делал мыло, из мяса – консервы, из костей – пуговицы, из кожи – кошельки. Он поставил это дело на совершенно научную ногу и был крайне удивлен, когда его, поймав, присудили к смертной казни. Во-первых, ему было непонятно, почему на фронте можно безнаказанно расходовать, и притом бессмысленно, без всякой дальнейшей утилизации, тысячи людей, а ему нельзя практично распорядиться каким-то десятком? А с другой стороны, почему так негодуют господа судьи, прокуроры и адвокаты? Ведь он пускал в переработку только людей второго сорта, так сказать, утили, двуногий балласт. Он никогда не делал портфелей из генеральской кожи, мыла из сала фабрикантов или пуговиц из черепов журналистов.

– Я полагаю, – продолжает Брехт, – что лучшие люди Германии, судившие Денке, недостаточно учли в его поведении черты подлинно

германского гения. А именно – методичность, добросовестность, хладнокровие и умение подвести под всякий свой акт прочную философскую базу. Не казнить его должны они были, а дать звание доктора философии «honoris causa».

И Брехт, возвращаясь к прерванному разговору, начинает плести тончайшую сеть контраргументов.

Присутствующие улыбаются, они привыкли к островам и силлогизмам хозяина.

Размышления Третьякова прерывает сосед.

– Товарищ Сергей, прочтите роман Фейхтвангера «Успех». Там есть инженер Прекль. Он написан с Брехта, – тихо произносит Артур.

– Прочту, – кивает Третьяков. – А вы, Артур, не хотите приехать к нам?

– В Москву? – удивляется Артур.

– И в Москву, и в другие города. Я могу организовать вам поездку по Советскому Союзу. Сможете написать книгу очерков – впечатления иностранца от поездки по Союзу, а?

– Конечно, я согласен, но как практически...

Третьяков отмечает все сомнения.

– Вы напишете книгу. Нет, не впечатления иностранца, такое было... Буржуазный репортер с предвзятым мнением приезжает в страну трудящихся. Как? И под влиянием увиденного становится другом Советского Союза. Как? Идет? Я организую поездку через Международную ассоциацию революционных писателей.

– Согласен!

Поскольку Артур еще числился либеральным журналистом (Ульштайны не стали распространяться о причинах его увольнения), партия решила воспользоваться этим камуфляжем. Было решено: он отправится в Россию, чтобы под видом буржуазного репортера написать цикл статей о Первой пятилетке. Он заключит договор с литературным агентством Карла Дункера – оно бралось размещать очерки в двух десятках газет различных европейских стран.

Однако проходил месяц за месяцем, а визу не давали.

Надо было на что-то жить. Выплаченную Ульштайнами компенсацию за расторжение контракта он отослал родителям в надежде, что им этого хватит на два-три года, то есть до окончательной победы Революции. Себе он оставил деньги лишь на проезд до Москвы, ибо легкомысленно полагал, что, как только партия даст согласие на поездку в Москву, он тут же получит визу. К счастью, он ухитрился довольно дорого продать в «Мюнхнер иллюстрирте цайтунг» детективный рассказ с продолжением, а помимо того продолжал печататься – теперь уже в качестве внештатного корреспондента – в «Фоссише цайтунг».

Уволить разоблаченного агента коммунистов и, тем не менее, позволить ему неофициально работать на фирму – таков был один из приятных парадоксов столь презируемого Артуром буржуазного либерализма.

Как-то во время карнавала он встретил своего приятеля по редакции «Фоссише цайтунг», Ройтера. Тот был какой-то растерянный.

– Что с тобой? – удивился Артур.

– Понимаешь, пошел я на танцульки и подцепил высокую, красивую блондинку, ты же помнишь, я таких люблю...

– Молоденькая?

– Лет двадцати. Шикарная девица! Без комплексов, просто брызжет радость. На груди – вот такая здоровая брошь в виде свастики, я сначала на нее и внимания не обратил. Ну, просто – идеальная Hitler-Mädchen Дивного Нового Мира. После танцев уговорил ее пойти ко мне на квартиру. Она с готовностью пошла, отвечала на все мои авансы, как вдруг, в кульминационный момент, приподнялась на локте, выбросила правую руку вверх в фашистском приветствии и, задыхаясь, простонала: «Хайль Гитлер!» Меня чуть удар не хватил. Представляешь? А она разясняет, что они с подружками торжественно поклялись «всегда вспоминать нашего фюрера в самые священные для женщины моменты».

Артур только покачал головой в ответ на рассказ.

Вторая история как нельзя лучше дополняет первую.

Руководитель ячейки, Альфред Канторович, пригласил Артура и, как он выразился, «товарища женского пола» выпить чаю в его квартире. Они сидели втроем. Темноволосая тоненькая девушка – Артур видел ее впервые – могла показаться привлекательной, если бы не неряшливость в одежде и странно отсутствующий взгляд. Она не участвовала в разговоре, даже не прислушивалась. Внезапно она попросила Канторовича:

– Выгляни из окна, проверь, там ли он. Только осторожно!

Канторович из-за занавески обозрел улицу.

– Никого там нет, – успокоительным тоном сказал он.

– Когда я входила в дом, он прятался за фонарным столбом, – настаивала гостя.

Она говорила тихо, отрешенно, тусклым, невыразительным голосом. Канторович объяснил Артуру, что товарищ Хильда попала в беду – ее уже много дней преследует какой-то человек, но из ее слов Канторович не мог понять, полицейский или кто-то другой.

– Совсе не полицейский, – всё тем же безучастным тоном перебила его девушка.

– А кто же? – не понимал Артур.

– Он из Bezirksleitung (из районного комитета партии).

– Как так? – не понял Канторович.

С большими усилиями – девушка то и дело смолкала, застывала неподвижно, и у нее стекленели глаза – они вытянули из нее запутанный рассказ: дескать, человек из районного комитета (то есть непосредственное начальство в партийной иерархии) хотел переспать с ней; она отказала ему; тот обвинил ее в каком-то преступлении против партии и теперь повсюду преследует, хоронясь после наступления темноты в подъездах и за фонарями.

Артур с Канторовичем попытались обсудить ситуацию, помочь Хильде, но она утратила к ним интерес. Девушка ушла в себя, смотрела в сторону остановившимся, неподвижно-пристальным взглядом. Она сидела за столом в жесткой, застывшей позе, словно окаменела. Затем верхняя губа приподнялась, обнажив зубы и десны, и на лице проступила гримаса, похожая на оскал. Две-три слезинки выкатились из уголков глаз и медленно поползли по лицу, но девушка не всхлипывала, не давала никакого выхода своим чувствам. Гримаса, напоминавшая оскал мертвого кролика, не сходила с ее лица. Они поняли, что латентная паранойя перешла в острую форму, девушка помешалась. Они усадили ее в такси, и Канторович отвез Хильду в больницу.

Это страшное и жалкое зрелище еще долго преследовало Артура, особенно в моменты душевной тревоги. Наверное, несчастная девушка так или иначе была обречена на психическое заболевание, даже если б и не вступила в коммунистическую партию, но сам мотив ее безумия характерен для той обстановки, в которой она жила. Несомненно, в ее истории была какая-то крупная истина, которая затем обросла болезненными фантазиями. В иные столетия мания преследования обращалась на дьяволов и инкубов, но для бедняги Хильды Сатана принял обличие «парня из районного комитета», разоблачающего ее «проступки» перед партией.

Он бы и доньше ждал визы, если бы в Берлин из Москвы не возвратился Йоганнес Бехер. Он был поэтом, но кроме того – любимчиком партийных верхов и председателем Международного объединения революционных писателей. Узнав о проблемах Артура, он заулыбался и обещал помочь. Через две недели у Артура в паспорте стояла долгожданная виза.

MÜNCHEN, МАРТ 1932. ОЛЕГ ОЛОНЕЦКИЙ

– Тизенгаузены – не такой старый род, как наш, но очень известный. Роман, как ты считаешь?

– Да, еще с Петра Великого на русской службе...

– И вообще, маман, у Лиды хорошее приданое – имение в Литве, рядом с Васильчиковыми. Но ты не подумай, что я из-за приданого... Она очень хорошенькая...

– Все девушки хорошенькие. На то и молодость, чтобы парням головы кружить. Сколько ей лет?

– Двадцать один исполнится.

– Как твоему брату.

– Кстати, как там в Париже наш оболтус?

– А это какие Васильчиковы? Илларион Сергеевич? Предводитель дворянства Ковенской губернии?

– Да, октябрист, депутат Государственной Думы.

– Твой брат скоро заканчивает Сорбонну.

– Долго ума-разума набирается.

– Жена Иллариона Сергеевича из Вяземских.

– Маман, я же не на Васильчиковых хочу жениться... А на Лиде фон Тизенгаузен.

Улыбка тронула губы матери.

– Если память не изменяет, то у Васильчиковых две дочери, но еще маленькие. А Тизенгаузен мы совсем не знаем.

– Я тебя познакомлю с ними. В лице Лиды со всем родом Тизенгаузен. Сегодня же дам телеграмму, и она придет.

– Даже так? Дашь телеграмму, и она примчится к полужнакомому молодому человеку?

– Маман, не к полужнакомому, а к жениху.

– Я предполагала, что одними разговорами не кончится. И вы с ней уже...

– Маман, ну какое это имеет значение!

– Лариса, если он решил, сделает обязательно. У него мой характер. Это не Юрка, который весь в тебя. Пусть женится, пришла пора.

– Она закончила университет в Праге, она адвокат в Берлине...

– Женщина-юрист? Девушка...?

– Хочу на ней жениться.

– Мы с отцом понимаем, что ты взрослый, ты закончил университет, у тебя приличная служба...

– Да, маман, разумеется, не завтра, но скоро. Не хочу долго ждать. К тому же, как человек благородный, ты понимаешь, не могу обманывать девушку, которая мне нравится... очень нравится...

Отец слушал молча, потом засопел.

– Я согласен. Лариса, у него мой характер, раз решил, то делает. Это не Юрка, которому можно что-то внушить. Тем более, Тизенгаузены – старинный и уважаемый род. Если его избранница согласна связать судьбу с нашим... хмм... отпрыском. Хотя, какой он отпрыск? Здоровый мужик. Тьфу, прости, Олег, за грубость. Мужик! Тьфу, вырвалось... Но ты – взрослый человек, Олег. Однако твоя работа... Может, подыскать что-то посерьезнее... посолиднее? Может, в банке?

Олег вздохнул – старые пересуды, старые привычки, старое

представление о жизни. Но не доказывать же родителям, что сегодня 1932-й, а не 1910 год! Ему даже захотелось погладить отца по руке, как в детстве, чтобы успокоить.

– Ты же знаешь, что я собираюсь уехать в Америку.

– Ах, «Америка – это страна, где гуляют и пьют без закуски!» – передразнил отец.

– Дело не в закуске. Просто в Германии мне не развернуться. Да и в Европе тоже...

Отец засмеялся.

– О-го-го-го! Ему мало старушки Европы для размаха! Вот что значит русский человек! – повернулся к жене. – Лариса, смотри – никакие эмиграции русского человека не исправят и не испортят! Ему масштаб подавай! Эх, раззудись плечо, размахнись рука! – он обнял сына за плечи.

Олег вздохнул, но решил объясниться с отцом.

– У меня большие планы, папан. Я их обсуждал с некоторыми государственными людьми... Очень влиятельными людьми, и они...

Отец заинтересованно поднял брови.

– С кем ты беседовал?

– Ну, например, с референтом бывшего канцлера Брюнинга. Потом с секретарем фон Папена.

– Ого! И ты с ними...

– Да, папан. Я предложил им свою программу.

– А они?

– Они ничего не поняли. Они сказали: ваши потребности превосходят наши возможности. Ваши идеи могут реализоваться лишь при больших инвестициях, то есть нужны большие вложения. Хотя, папа, это чепуха... Они просто не поняли!

Отец секунду молчал, потом осторожно поинтересовался.

– Это какие же такие твои потребности...

– Я хочу быть новым Куком.

Отец вздрогнул и моргнул.

– Кем? – не расслышала мать.

– Куком, маман. Знаете агентство Кука? Международное туристическое агентство? Я считаю, что они работают плохо, некачественно, подозреваю, у них убытки. Я придумал совсем другую схему работы. Не буду тебя посвящать в подробности. Или Ллойд... Международные перевозки по морю – слышали, наверно... Они тоже немного занимаются туризмом... Ты даже не представляешь, как наше турбюро, где я работаю, отстало от жизни! Да разве оно одно? Я же изучал всех! Каменный век, папан. Они даже не читают специальных американских журналов о туризме. У американцев есть десяток журналов о туризме. Да если бы только американских! Даже большевики занялись туризмом! В Москве выпускают туристический журнал «Вокруг света».

Большевистский прокурор, кровавый Крыленко пропагандирует горный туризм! Я читал. А если даже большевики обратили на туризм внимание, значит, там деньги! Живые деньги, папа! Их можно быстро заработать... А у нас в Германии всё в зачаточном состоянии.

Отец прервал тираду.

– Если ты хочешь организовать собственную фирму – пожалуйста. Начинать надо с маленького...

Олег прервал.

– Прости, папан, я не согласен. Начнешь с маленького, маленьким и останешься.

– Для большого нужны большие деньги, тебе правильно сказали.

– Да, я понимаю, потихоньку-полегоньку и постепенно. Но мне этого мало. Я не могу ждать. Мне надо быстрее.

– Но куда тебе торопиться?

– Куда бы ни было, но хочется большого.

– А большое только в Америке? Правильно я понимаю? – отец улыбался.

– В Америке.

– Начали с женитьбы – закончили опять Америкой. Давай вернемся к твоей избраннице...

RIGA, МАРТ 1932. ЛИДА

– Я решила выйти замуж.

– А как же твои планы об адвокатуре, юриспруденции...

– Они остаются при мне.

– Ты уходишь в семейную жизнь?

– Мой муж разделяет мои планы и устремления.

– Кто он? Надеюсь, не русский и не латыш. Чех?

– Князь Олег Олонецкий.

– Значит, не немец. Жалко. Русский. Не советский?

– Да, русский. Не советский, а русский. Он закончил университет в Мюнхене. Работает в туристической фирме.

– Олонецкий... Олонецкий... Кто его родители?

– Отец служил директором департамента в министерстве.

– Нам, вероятно, надо познакомиться с его родителями?

– Откуда я знаю? Мое дело сообщить вам о своих матримониальных планах. Я вообще собиралась поставить вас в известность по факту, но Олег настоял...

– И вы уже наметили день свадьбы?

– Да. Через два месяца. После свадьбы мы отправляемся в свадебное путешествие в Америку. И там останемся жить.

– Что ты говоришь!

– Мама, ты знаешь, я всегда мечтала уехать в Америку.

FLASH-FORWARD

Фату невесты на свадьбе Олега и Лиды будет нести немецкий родственник, семилетний Ганс Дидрих Тизенгаузен. Через пять лет он поступит в морское кадетское училище. С началом Второй мировой войны молодой офицер будет переведен в подводный флот, а в 1941-м назначен командиром подводной лодки U-331.

25 ноября 1941 года тремя торпедами Тизенгаузен потопит в районе Тобрука (Северная Африка) английский линкор «Бархэм». Лодка будет атакована судами сопровождения, получит тяжелые повреждения, но сможет уйти от погони и вернуться на базу.

7 декабря 1941 года Ганса Дидриха наградят Железным Крестом 1-го класса, а 27 января 1942 года – Рыцарским крестом. За «Бархэм» Бенито Муссолини наградит Тизенгаузена высшей военной наградой Италии – Золотой медалью за храбрость.

17 ноября 1942 года лодку U-331 потопят. Тизенгаузен и еще 15 выживших членов команды окажутся в плену – в лагере для военнопленных в Великобритании, а затем три года в Канаде.

PARIS. МИШЕЛЬ

Мишель просыпается от боли. Неизвестно откуда она пришла. Он не может повернуть голову – болит шея. То ли его продуло, когда он ожидал клиентов, открыв окно автомобиля, то ли подушка лежала плохо и надавила на шею. Но боль не уходит, хотя он знает, где она. Он стонет и, словно в ответ на сигнал, слышит голос Жанны – она проснулась.

– Миха, что с тобой?

– Шея болит, – поясняет он. – Больно повернуться.

Жанна встает.

– Где болит, покажи.

Он показывает. Она осторожно трогает шею, и Мишель от боли вздрагивает.

– Надо растереть! – решает жена и уходит на кухню. В шкафчике стоит пузырек с водочной настойкой.

Она возвращается, зажигает свет и помогает мужу сесть на кровати. Тот стонет от боли.

Она осторожно трогает его шею.

– У тебя здесь опухло. Я сейчас разотру.

– Что это? – подозрительно кивает Мишель на флакон.

Жанна успокаивает его.

– Это мать моя делает настойки на водке. Она для желудка, но годится и в твоём случае. Я разотру...

– Хорошо, – соглашается Мишель. Ему больно, он на всё согласен.

Жанна растирает ему шею.

– Это от подушки.

– Да?

Мишель уже на работе – неужели придется пропустить рабочий день? С больной шеей не много поработаешь.

– Зачем ты взял маленькую подушку! – выговаривает Жанна.

– Я думал, мне будет на ней удобнее спать, – оправдывается Мишель. Неужели дело в подушке, а не в открытом окне? Тогда рабочий день не пропадет...

Жанна заканчивает растирание.

– Ничего подобного, всю жизнь спал на своей подушке, а теперь что придумал, – по-домашнему ворчит она.

Мишель поворачивается и стонет от боли.

Жена идет к шкафу, она его запирает, чтобы моль не проникла. Не будешь носить теплое пальто весной. Открывает его, что-то ищет и возвращается с теплым зимним шарфом и благодарит Бога, что не запрятала шарф куда-то подальше, тогда его пришлось бы долго искать. А мужу больно. Ее мать связала им с мужем по теплому шарфу из козьей шерсти, и она с благодарностью лишний раз вспоминает мать. В этом шарфе Мишель зимой всегда сидит за рулем. В машине прохладно, пассажиры курят, надо часто проветривать кабину.

– Вот что тебе надо, – заявляет она и наматывает толстый шерстяной шарф на большую шею. – Как тебе?

– Хорошо, – кивает Мишель, – и снова боль.

– Какое хорошее лекарство, не хочешь попробовать на язык? Может, тебе выпить рюмочку?

– Какая гадость, – морщится Мишель.

– Никакая не гадость, – возражает Жанна. – Когда у меня болит желудок, я выпиваю маленькую рюмочку.

– И помогает? – улыбается Мишель.

– Конечно, помогает, ты же знаешь, у меня никогда не бывает запоров.

Он морщится, но осторожно ложится в постель. Жанна помогает мужу.

– Да, за все годы, что мы с тобой живем, никогда не было.

Маленькую подушку она уже заменила привычной. Голове не больно, да и шея как-то утихомирилась.

– А у тебя желудок плох, потому что ты на работе не то ешь, да и выпиваешь со своими коллегами какую-нибудь дрянь, «Кот де рён», например.

– «Кот де рён» вполне приличное вино, – сквозь закрытые веки не согласен Мишель.

Жанна гасит свет.

– Может быть, но не тот сорт, который подают в шоферском бистро.

Он чувствует ее тело, Жанна обнимает его. Мишель про себя соглашается, что в шоферском бистро подают самый дешевый сорт вина.

– Я знаю, чего ты испугался, – шепчет она. – Ты испугался идти к врачу, платить деньги. А все врачи только и мечтают, как бы вытянуть деньги из пациента, придумают кучу болезней и выпишут дорогие лекарства.

Мишель слушает и знает, что жена права. Хотя русский доктор Алексинский, которого он посещал последний раз, совсем не такой, как французский врач, у которого Мишель лечился в прошлом году. Тогда у Мишеля разыгрался ревматизм. Неожиданно разыгрался и неожиданно через полгода исчез.

– И кучу денег платить за ненужные лекарства.

– Точно, – соглашается Мишель. Но, с другой стороны, какие лекарства нужны, а какие нет?

Может, ревматизм прошел не от лекарств, а оттого, что он стал ездить на другом автомобиле, с более удобным шоферским сиденьем, «Ситроен МГ-5».

– Кредит за машину выплачиваем, – дополняет Жанна.

– Кредит, – подтверждает муж. – Да! Забыл рассказать. У нас новый хозяин в гараже. Старый хозяин, который бывший дипломат, продал гараж.

– В каком смысле продал?

– Так и продал.

– Ваш дипломат?

– Ну да, бывший дипломат. Продал гараж французу.

– Ты его уже видел?

– Конечно. Вчера приходил, знакомился с шоферами. Француз как француз. С лысиной. Усы, как у Клемансо. Серьезный мужчина. Заявил, что ничего менять не станет. В отличие от русского, он – профессионал.

– В каком смысле?

– В прямом. Подошел к моей машине и говорит: «‘Ситроен’ этого года, шестая модель». Потом подошел к машине Орландо: «А это, говорит, ‘Ситроен’ двадцать девятого года, с большой решеткой для багажа». Орландо кивает: так, хозяин, «Ситроен» двадцать девятого года, совершенно верно, 65 лошадиных сил. Потом повернулся к Крузо: «Вы сейчас приехали?» – «Да», – отвечает. – «У вас коробка передач барахлит. Я не ошибаюсь?» – «Не ошибаетесь.» – «Так что же вы к механику не обращаетесь?» – «Не успел еще, я только что приехал.»

У Жанне не всё ясно.

– А что будет делать теперь русский дипломат?

– Не знаю. Наверно, кроме гаража у него есть еще какое-то дело.

Спи.

– Сплю. Как твоя шея?

Мишель прислушивается к боли – она затихла, точнее, отошла подальше от того места, куда он уложил голову.

Утром шея продолжает болеть.

Мишель смотрит в домашнюю аптечку. Он не бродяга и не безработный, у него есть домашняя аптечка. А в ней таблетки, которые в прошлом году дал ему русский врач Алексинский. Хороший врач – таблетки помогают, когда у Жанны болит голова. Может, и сейчас помогут.

Жанна не знает, как помочь мужу. Он посылает ее в кафе на углу – позвонить в гараж, сообщить, что сегодня он болен.

Сам достает сигарету, открывает окно и чиркает спичкой.

Жанна придет и будет сердиться, что он курит в квартире, – обычно она выгоняет его курить в туалет на лестнице между этажами. Но сегодня Мишель болен, и Жанне не стоит обижаться и сердиться на мужа.

PARIS, МАРТ 1932. АРТИСТЫ И ПОЭТЫ

Войдя в кафе «Ле Боле» в неуточное для них время – в десять утра, поэты Поплавский и Горгулов увидели сидящего в одиночестве за столиком известного киноактера Петра Батшева.

– Вот кто нас захмелит! – громко объявил Поплавский и бросил-ся на стул рядом с актером. – Давно вас не видел, Пьер. Говорят, ваша последняя картина пользуется большим успехом.

Батшев пожал плечами.

– А как ваши успехи, Борис? – перевел стрелку разговора Батшев. Ему не хотелось говорить о своих ролях, и не из-за суеверия, а просто не любил. – Да снимите вы свои черные очки.

Очки тот носил, кажется, для оригинальности. Еще у него имелся эспандер, с которым он редко расставался. Приходя в кафе или в компанию, начинал его растягивать, чтобы все видели, какой он спортсмен.

– У меня скоро выйдет книга. Кстати, вы не знакомы? Павел Горгулов, мой друг. Пишет под псевдонимом *Павел Брэд*. Скажу вам честно, то, что он пишет – бред сивой кобылы.

– Но-но! – грозно сдвинул брови Горгулов.

– Извини, Пашка. Не кобылы, а мерина. Петр, мы сейчас не при деньгах, но за мной не пропадет, вы же знаете. Не угостите нас стаканчиком вина?

Поплавский снял очки, повертел их в руках и сунул в карман пиджака.

– С удовольствием, – любезно ответил актер, прекрасно зная, что денег у Поплавского никогда не бывает. Но не ссориться же с завсегда-тремя, тем более поэтами...

Горгулов бормотал что-то. Его не слушали, хотя послушать надо было бы.

– Последние твои стихи, Борис, хорошие, но нет в них огня, так я скажу тебе, дружок, огня нет, – слышал я поэму этой, как ее? – ну, жены этого, из контрразведки, Марины, ну да, Эфрона, про Перекоп, про войну, – вот где огонь горит, и как такой талант Эфрону достался...

– Ты про Цветаеву, что ли? – спросил Поплавский. – Я ее стихов не люблю, ритмы ломают, любит ассонансы, придумывает что-то...

Актеру стало скучно от литературных разговоров, он смотрел по сторонам. Но по сторонам не оказалось ничего интересного. Всё знакомо и тускло.

– Я про огонь, про огонь! У нее пламя, Борис, пламя горит, душу съедает. И знаю почему, знаю, дружок... Это судьба, судьба-злодейка...

– А при чем здесь контрразведка? – не понял Поплавский.

– Ха! – фыркнул Горгулов. – Я ведь с Сережей давно знаком, ой давно, знаешь, как его перекосило, когда меня увидел в университете? Мы с ним в Карловом университете вместе учились – я на медицинском, он на юридическом. Кажется... О, как его перекосило, он потом пять лет меня избегал. А знаешь, почему? Я его по войне помню. По Гражданской. Он в Осваге служил, в Осведомительном агентстве. Вы думаете, Осваг только листовки выпускал? Хе-хе. Я бы ему сказал: вспоминайте, вспоминайте, Сережа, вы не только подписи под плакатами ставили: «Бей еврея-большевика!», я бы ему сказал – вспомните капитана Копейкина, – нет, не из «Мертвых душ», а из Освага, начальника вашего, и поручика Харузина, с которым вы пьянствовали, да, того самого Харузина, что позже застрелил генерала Романовского, не разлей вода вы с ним были, пока между вами кошка не пробежала, да, кошечка с черной косой, хе-хе...

– Так что же ты не сказал? – усмехнулся Поплавский и отхлебнул из стакана.

Горгулов смешался и смутился.

– Да зачем говорить... А Осваг – это и контрразведка. Сережа в ней себя нашел. Призвание свое нашел! Он комиссарам иголки...

– Что же, он всю войну прослужил в контрразведке? – недоверчиво переспросил Поплавский, предвкушая, как расскажет эту историю в кругу поэтов, и снова выпил.

– Не знаю, в строю не служил, точно, у Деникина служил. При Врангеле его перевели в другое место.

– Плохо иголки загонял? – захохотал Поплавский, пуская дым из ноздрей.

– Тьфу, – остановил Горгулов и выпил. – Не за то. Темная история: важный большевик сбежал из-под ареста в его дежурство. Не помню...

Поплавский не донес стакан до рта.

– Эге-гей, Павел! Постой. А откуда тебе подробности известны, а? Ты сам, случаем, не в том же застенке служил? – захохотал поэт.

Глаза Горгулова сверкнули.

– Не служил, но знаю. Я врач. Я диагноз на расстоянии могу поставить.

У Бориса заблестели глаза. Он толкнул локтем задумавшегося артиста.

– Не слушай его, Петр, никакой он не врач. Он – абортмахер.

Горгулов приосанился.

– Да! – воскликнул он. – Я хорошо делаю абортыв! Ко мне в Чехословакии очередь стояла, девчонки из Праги приезжали...

Поплавский расхохотался и толкнул Петра в бок, дескать, слышал.

– Ну что ты врешь. Что ты врешь. Ты же Милке Лагарп делал, она чуть не померла... Мне рассказывал Злобин. И этой... как ее? Рогальской... Скажешь, не было? Было, братец. Было... Да ты – коновал! Тебя к живым бабам подпускать нельзя...

Горгулов нахмурился и грозно взглянул на обидчика. Ему стало неудобно перед Петром.

– Да что ты болтаешь! У меня в Прашеве, знаешь, какой кабинет был? Очереди стояли...

– Что ж они здесь не стоят? – засмеялся Поплавский.

Горгулов удивился.

– Будто не ясно. Французы! Не дали разрешения на практику. А иначе – стояли бы в очередь, как в Чехословакии...

– Ну-ну, – продолжал Борис. – Говорят, ты одной бабе в Бордо так аборт сделал, что она уродом осталась на всю жизнь...

– Врут, – твердо сказал Горгулов. – Точно – врут. В Бордо – не помню, я там и жил всего ничего. А Милка? Она когда обратилась? Ты знаешь, сколько у нее месяцев было? То-то. Не один-два. А целых пять! Ты понимаешь, хотя бы, что это не живчиков выскребать, а огромный плод? Почти кесарево. Не знаешь, а лезешь с комментариями...

Петр сглотнул и замотал головой.

– Хватит вам. Что за гинекологию развели. Нашли о чем – об убиенных младенцах...

Поплавский подхватил.

– Точно. Развели. А с Пашкой всегда так – он или про свои фиалки начинает, или про абортыв. А, Паш? Победит фиалка машину или машина фиалку?

– Конечно, победит, кто же сомневается.

– Ты еще про судьбу скажи! – подзадоривал Поплавский и подмигивал артисту.

– А что? – нахмурился Горгулов. – Переломить судьбу очень

важно. Ну, кто мы здесь? – Никто. Эмигранты. Метеки. Третий сорт. Скажешь – судьба? Главное – сменить роль. Из игрушки судьбы стать ее властелином. И уже не будешь третьим сортом...

Артист встал. Ему стало скучно с поэтами.

– Извините, друзья, мне пора...

– Деловое свидание, а? Или женщина? – хохотнул Поплавский.

Батшев подмигнул ему и положил на стол деньги за вино.

– Хо-хо-хо! – ответил тот. – Желаю успеха.

А когда киноартист вышел, повернулся к приятелю.

– Вот, Пашка, что значит артист. Ничего не сказал, только улыбнулся, сделал жест – и целая история перед глазами! Не зря он такой популярный. Все девчонки сохнут по нему. А ты говоришь – третий сорт...

Горгулов скривился.

– Он разве не женат?

Поплавский вытер рот тыльной стороной ладони.

– Женат. Дениз зовут жену его, француженка.

– Хорошенькая? Тоже актриса?

Поплавский на секунду задумался.

– Так себе. На любителя. Актриса? Не уверен. Если и актриса, то из тех, кто играет «кушать подано».

Горгулов хихикнул. Поплавский смотрел по сторонам и неожиданно встал.

– Пашка, ты допивай вино, а я бегу отсюда – кредиторы пришли, меня ищут, видишь двоих в серых шляпах, я побежал...

И он исчез, словно не было его.

Павел Горгулов с удовольствием допил остатки вина.

Когда он поставил стакан и поднял глаза, то перед ним на том месте, где пару минут назад сидел Борис, почему-то оказался недавно упомянутый Сергей Эфрон. Человек, который притягивал его непонятным, загадочным образом, что Горгулов не мог объяснить.

Он подозвал официанта и заказал бутылку вина и сыр.

– Вы разделите трапезу со мной, Павел Тимофеевич?

Тот только согласно кивнул.

– За ваше здоровье!

– И за ваше тоже, – согласился Горгулов.

Они выпили.

– Я недавно перечитывал вашу книжку и в очередной раз убедился, насколько вы правы.

Эфрон змеем-обольстителем вился вокруг Павла Тимофеевича.

– Только глупые и самонадеянные люди могут не понять вашей теории, Павел Тимофеевич. Вы абсолютно правы – фиалка выше машины и должна ее победить. Кто это поймет? Только те, кому фиалка ближе. А французы? Тьфу на них, вы же видите... Вас в Праге

и Чириков, и Бем примечали, а тут какой-то Адамович ярлыки раздаёт: этот талантлив, тот бездарен, этот – хороший, а тот – никудышный...

– Педераст, – зло пробормотал Горгулов.

– Наверное, не без этого, – согласно кивнул Эфрон. – Но я о другом. Кто из нынешних мог построить столь ясную и правильную систему соотношения подлинного и ложного? Кто увидел в противоречиях нашего времени главную беду – противоречие между живым человеком и бездушным механизмом? Вы, Павел Тимофеевич. Ведь фиалка – это образ...

Горгулов нахмурил брови.

– Нет-нет! Фиалка – есть фиалка. Нежный цветок под... под...

– Под колесами цивилизации, да?

– Именно так! А машина – всё темное, вся адская смесь городов и заводов, фабрик и автомобилей!

Горгулов слушал и пыжился, его распирало от гордости.

– Именно так. Совершенно точное определение. Я давно понял, что вы – необыкновенный человек.

– Это когда же? – полюбопытствовал поэт.

Эфрон неожиданно изменил тон. Он любил такие актерские штучки.

– Мы ведь с вами давно знакомы. Не припоминаете? Я вас допрашивал в 19-м году под Орлом, в контрразведке. На вас донесли, что вы большевикан... красный агент...

– Это вышло недоразумение! – заволновался Горгулов.

Эфрон успокаивающе улыбнулся.

– Ну конечно недоразумение. Тогда же мы с вами это и выяснили. Но я уже тогда понял, что вы не такой, как все... Что вы – особенный человек. Вы, кажется, тогда служили фельдшером? Это сейчас вы врач. По крайней мере, говорите, что врач. Меня это мало касается.

– Да, я врач.

– Да-да, конечно, – согласился Эфрон. – Мы же с вами в одно время учились в Праге...

Горгулов вздрогнул и отшатнулся.

– Вы что же, следили за мной?

Эфрон засмеялся.

– Да что вы! Совпадение. Иду как-то по коридору, вижу некто мало знакомый, но явно известный мне когда-то, идет навстречу из соседней аудитории. Ба! – это же Павел Тимофеевич Горгулов! Но я к вам не подошел. И вот теперь вы в Париже. А вокруг одни противные французы... Не так ли?

– Да-да! – воскликнул Горгулов. – А французы отказали мне в праве на работу!

Эфрон согласно кивнул.

– Французы – они такие. Мы их спасли во время Великой войны, а они благодарные...

– Да-да! Неблагодарные!

– Их никто не учил... Прочитать их как следует, тогда поймут... Надо суметь возвыситься над судьбой.

– Да-да! Переломить судьбу, вы правы! А французы... Их надо прочитать! А то они к нам, как к третьему сорту, относятся... вон, мне разрешения на врачебную практику не дали, а сами...

«Кажется, много елая, – мелькнуло в голове Эфрона, – надо убавить.» Он подлил собеседнику вина. Тот кивком поблагодарил за заботу.

Горгулов думал: вот, Эфрон, – нежадный, неглупый человек, боевой офицер... хотя нет, не боевой, в контрразведке служил, большевикам под ногти иголки, наверно, загонял...

А собеседник словно подслушал мысли Павла Тимофеевича.

– Я же вам, Павел Тимофеевич, иголки под ногти не загонял... Да и какие иголки! Ха-ха-ха! Большевицкая пропаганда. Это большевики людей пытали...

ПРЕССА

Вы, интеллигенты, «мастера культуры», должны бы понять, что рабочий класс, взяв в свои руки политическую власть, откроет перед вами широчайшие возможности культурного творчества.

Посмотрите, какой суровый урок дала история русским интеллигентам: они не пошли со своим рабочим народом и вот – разлагаются в бессильной злобе, гниют в эмиграции. Скоро они все поголовно вымрут, оставив память о себе как о предателях.

М. Горький. С кем вы, «мастера культуры»? «Правда» (Москва), 1932, 22 марта

ГЕРМАНИЯ, 1932. ЗАГОЛОВКИ В ГАЗЕТЕ

- «Безобразные налеты коммунистического сброда»
- «Красная смерть продолжает бушевать»
- «Большевицкое дно в Берлине»
- «Коммунисты стреляют в национал-социалистов»
- «Представители русского советского Иностранного легиона»
- «Красные хотят гражданской войны»
- «Красные бандиты-убийцы»
- «Скотские зверства красных монстров»
- «Бандиты Гёрзинга»
- «Марксистская бойня: 8359 убитых и тяжело раненых национал-социалистов»
- «Член Гитлерюгенда Герберт Норкус заколот коммунистами»
- «Кровавая травля марксистского Железного фронта»
- «Московский генерал кавалерии Тельман»
- «Красное убийство в Верхней Силезии»

«Красные выродки»
 «Рейхсбаннер – шайка убийц»
 «Коммунисты хотят гражданской войны»
«Фёлькишер Beobachter»

BERLIN, МАРТ 1932. ЛИДА

– Слово предоставляется адвокату. Фрау фон Тизенгаузен, прошу.

– Несмотря на параграф двести восемнадцатый, несмотря на запрет, в Германии производится миллион аборт в год, из них лишь шесть тысяч попадают в лапы суда. Двадцать пять тысяч женских трупов складываются в год к подножию параграфа двести восемнадцатого. Это умершие от неудачного аборта.

– Позор! – закричали в зале женщины.

– Восемьдесят тысяч женщин возвращаются ежегодно в семьи изувеченными абортom... Презервативы мало известны в рабочей среде и довольно дороги, и в условиях невысоких доходов семьи аборт являлся единственным выходом.

Председатель постучал молоточком.

– Frau фон Тизенгаузен, пожалуйста, ближе к делу.

– Frau доктору Зауэр предъявили список восьмидесяти семи якобы прерванных ею беременностей. При проверке этих фамилий девять из них оказались принадлежащими мужчинам. Шестьдесят три принадлежат женщинам старше шестидесяти лет, которые обращались к врачу по проблемам своего здоровья, связанным с климаксом, а пятнадцать вообще не существуют.

В зале раздался смех, кто-то захопал в ладоши.

Но прокурор не унимался.

– Мы разберемся с этим списком. Но я продолжаю настаивать: пропаганда противозачаточных средств – преступление.

«Первый тайм выигран», – подумала Лидия и резко ответила:

– Нет, это гуманность. Поставьте себя на место женщины, у которой шестеро детей. Свидетель Бухгольц! Вы утверждаете, что фрау доктор Зауэр делает аборт. Откуда у вас такие сведения? Ах, вам их рассказал тот, которого вы не помните. А не вашей ли рукой написано это письмо? Ах, у вас плохо со зрением... Господин судья, прошу предоставить свидетелю очки с самыми сильными стеклами. А не ваш ли счет в банке пополнился на сумму три тысячи марок? Вы первый раз об этом слышите? Ах, у вас проблемы не только со зрением, но и со слухом...

Краем глаза она видела Олега, сидящего в третьем ряду, коричневые рубашки в первых рядах, которые ждали только сигнала, чтобы начать скандал, устроить драку и сорвать процесс. Но она им не даст этого шанса.

– Со свидетелем Бухгольцом мы разберемся...

– Мы рассматриваем здесь чрезвычайно серьезный вопрос о праве женщины и государства на жизнь неродившегося ребенка. В большинстве стран он решен отрицательно, и лишь в некоторых случаях, признанных медициной неизбежными в целях сохранения жизни матери, жизнь неродившегося ребенка приносится в жертву. В нынешней России этот принцип, как и вообще многое другое, подвергался коренной ломке, и там аборт – не только узаконенная и разрешенная операция, но еще и всячески поощряемая. Откровенно говоря, я так и не знаю, какая «идеологическая база» подведена под это узаконенное самоистребление, ведь тут важно не только то, сколько детей количественно будет истреблено, но и в какой степени это отразится на здоровье целого поколения матерей вообще. Не хочу, однако, вдаваться в подобные рассуждения на эту тему, для меня лично вполне ясную, но столь сложную и большую тему, конечно, не нам с вами и не здесь исчерпать. К тому же, поднимая вопрос, господин прокурор не высказывает своего мнения.

Прокурор загремел со своего места.

– Не надо приводить примеры из России! Вы оправдываете преступление, – повторил прокурор. – Может быть, в лице того, который по вине противозачаточных средств не родился, мы потеряли спасителя Германии.

«Вот ты и попался», – обрадовалась Лидия.

– Спаситель Германии уже есть, – отрезала она и повернулась к залу, где на первых рядах сидели штурмовики, ожидающие сигнала для погрома. – Не правда ли, господа? Вы же знаете имя спасителя страны?

У Олега подскочили вверх брови, когда он услышал этот издевательский вопрос будущей жены.

– Да! – крикнули из первых рядов. – Спаситель Германии – Адольф Гитлер! Он уже пришел!

Кричащий зааплодировал, и все штурмовики принялись аплодировать, и прокурор поперхнулся, и председатель суда хотел что-то возразить и поднял свой молоточек, но штурмовики уже встали и хором проскандировали здравницу своему вождю, вытянув вверх правую руку.

Она села в свой новенький «Порше» и отправилась в рейхстаг – в нем депутатами – около 30 женщин. Они должны понять и поддерживать. Тем более, что Лидия знакома с Кларой Цеткин. Той много лет, она старейший депутат... Клара смотрела на Лиду усталыми глазами и в ответ на ее рассказ посоветовала обратиться к социал-демократическим женщинам-депутатам.

– Я старая защитница абортов. И я старуха. Но мое обращение будет одиозным. Однако если соци подадут запрос, то, я думаю, наша фракция поддержит.

Мимо шел незнакомый депутат.

– Хайнц! – позвала его Цеткин. – Мы поддержим запрос об отмене параграфа 218? Это – Хайнц Нойман, – представила его Лидии.

– Фон Тизенгаузен.

– А! – кивнул тот головой. – Слежу за вашим процессом, фрау адвокат. Конечно поддержим, – сообщил он Кларе, извинился и направился к группе депутатов, курящих в стороне.

Довольная Лидия уже уходила, когда на лестнице появились нацисты. Впереди шел крупный полномочатый мужчина.

Увидев Лидию, он остановился.

– Не может быть! – громко произнес он. – Фрау Тизенгаузен, – пояснил он окружающим.

– Фон Тизенгаузен, – с дежурной улыбкой поправила она.

– Неважно, дорогая. Как вы отбрили этого дурака-прокурора! А?! – он обернулся к сопровождающим. – Она так и сказала на весь зал: «Спаситель Германии уже пришел!»! Так держать! Вы молодец!

Он наклонился, поцеловал ей руку и быстро пошел дальше.

Кланаясь ей, с улыбками вслед пошли и другие депутаты в коричневых рубашках, перепоясанные ремнями.

«Кто же это? Знакомое лицо...» – гадала Лидия, пока шла к машине, и вдруг хлопнула себя по лбу ладонью.

– Да это же Гёринг, председатель фракции национал-социалистов в рейхстаге. Ну и влипла я в историю с этой защитой на процессе!

И тут же подумала: а откуда я знаю фамилию Нойман?

30 августа старейшая депутатка Клара Цеткин открыла заседание рейхстага. Она произнесла боевую коммунистически-антифашистскую речь, в конце которой выразила надежду открыть вскоре, как старейшая депутатка, первый съезд советов Советской Германии.

Президент рейхстага национал-социалист Гёринг в нарушение регламента поставил на голосование вотум недоверия правительству, который и был принят 512 голосами против 42 (немецкие националисты). Это был самый большой триумф совместной игры коммунистов и национал-социалистов.

За этим последовал роспуск рейхстага.

МАРТ 1932. ФУТБОЛ

Он вошел в азарт, увлеченный борьбой за мяч, потому не сразу почувствовал предательский удар, а когда ощутил боль, то мяча уже не было, и сам он лежал на траве, а когда хотел по привычке вскочить, боль бросила его назад. Он не поверил и хотел встать, и снова боль повалила, а к нему уже бежали товарищи по команде, тренер помог встать на четвереньки, но он снова упал.

На поле выбежали двое запасных, они подняли Олега, забросив его руки себе за плечи, и он запрыгал вместе с ними на одной ноге.

– Плохо, – утвердительно произнес один из них.

– Ему саданули по колену, прямо в наколенник, я видел, – отозвался другой.

– Видел – кто?

– Конечно. Это Дрейцер, он на такие штуки специалист.

– Ну, мы ему сделаем коробочку, – предложил первый.

– Ох, – вздохнул Олег.

– Держись, хавбек, – добавил второй.

Его положили на стол в раздевалке. Врач потрогал колено, и Олег закричал.

– Вызывайте санитарную машину, – приказал врач, – ему надо в больницу.

В машине почему-то оказалась Лида, которая сидела рядом и жалостливо гладила его по голове.

Звонок в дверь удивил Ларису Владимировну, но она решила, что это муж, который, вероятно, забыл ключи, и спокойно пошла открывать – прислуга сегодня выходная.

За дверью стояла молодая шатенка с серыми, нет – с голубыми, нет... все-таки с серо-синими глазами приятной наружности.

– Добрый день, Лариса Владимировна. Простите за вторжение. Я – фон Тизенгаузен. Лидия! Вы, наверно, слышали обо мне.

Олонецкая-мать удивленно смотрела на нее, потом кивнула.

– Дело в том, что я привезла вашего сына.

Лариса Владимировна вздрогнула.

– Простите... что значит – привезли? Как привезли?

Несчастье вошло в дом, и мать сразу почувствовала его приход.

– Олега. На машине. Он внизу... У него травма. После операции...

– Это футбол? Разумеется, футбол! На машине? На автомобиле?

Откуда вы приехали?

Но Лидия уже выходила из квартиры.

– Не волнуйтесь! Ему лучше...

У самых дверей стоял новенький «порше» с открытой дверью, из которой показались сначала ноги, потом костыли, потом сам Олег.

– Вот, маман. Мой личный шофер. Познакомься. Понравился тебе мой шофер? За полдня домчала меня до Мюнхена. Прямо из Франкфурта. Какой автомобиль, а? Да не пугайся, ничего страшного.

Он болтал, а у матери отлегло от сердца, и она уже ласково смотрела на незнакомую женщину... Хотя как она могла еще смотреть на нее? Покажите мне свекровь, которая бы так не смотрела на невестку, что привезла ее сына за полтысячи километров.

Они стали подниматься по лестнице.

– В больнице не хотели его отпустить. Им только деньги нужны... Я сказала, что в Мюнхене врачи не менее квалифицированные, чем во Франкфурте.

– Маман, мы выехали в семь утра. Лида, я сам... я сам...

– Опирайся на перила, пожалуйста.

– Да, теперь месяца на два я вне игры.

– И слава Богу!

– Ты, маман, не права.

Лида хотела сказать, что два месяца – минимум, может и полгода он не сможет играть. Но сказала другое.

– Лариса Владимировна, не верьте ему. Врач сказал, что повреждение мениска очень серьезное. Еще одна такая травма, и он станет инвалидом.

Мать с испугом посмотрела на Олега.

– Пугает, маман, пугает! – засмеялся тот. Но нога подвернулась, он выронил костыль, ойкнул, Лида подхватила его.

– Это ты всех перепугаешь, – продышалась она.

«Конечно, они всю сожительствовают, так, кажется, называется, – подумала Олонецкая. – Но почему бы и нет, – она вдруг резко оборвала себя, – Олег – здоровый мужик, она – девка в соку... Бабенка, как говорит Роман.»

– Вы не устали?

– Что? – не поняла Лида. – А, вы про машину. Устала. Я честно вам скажу, Лариса Владимировна, впервые такое расстояние покрыла, гнала на предельной скорости, только столбы мелькали... Я машину всего месяц назад купила.

Потом две женщины говорили обо всем на свете, а довольный Олег дремал на диване, изредка открывал глаза и с удовольствием смотрел на обеих.

– Лида, у вас есть служанка? Вы пейте чай, пейте...

– Конечно, Лариса Владимировна. Приходит женщина. Убирает, гладит, стирает, да, конечно, наоборот – стирает, потом гладит. Готовит обед. Несчастливая женщина.

– Почему?

– Четверо детей. И муж год без работы. И ее уволили. Она убирала в строительной фирме. В прошлом году было сокращение женщин, мужа которых работают. Чепуха полная. Сначала зарплату на 20 процентов сократили, потом ее. И тут мужа уволили – кризис, говорят. Она никакая не коммунистка, и муж у нее самый обычный рабочий. И я ничем не могла ей помочь! Сколько же безработных в стране... А я все-таки адвокат опытный...

– Трудная работа для женщины...

Лида удивленно посмотрела на свекровь.

– Трудная? Не уверена. Когда я выступала в деле фабриканта Бати

против советского журналиста, там всё ясно и понятно. Я выиграла дело и получила свой, поверьте, очень хороший гонорар. Вот сейчас у меня дело с концерном ИГ «Фарбениндустри». С точки зрения гонорара – еще лучше, чем у Бати. Но с другой... Дело в патентах, а разобраться в них – ой как сложно! На заводах, конечно, химия. Вредное производство, доплата за вредность... Ах, что я вас заговариваю подобной ерундой! Какое же у вас голубое небо! Не то что в Берлине. Небо – чудесное, а ведь только март месяц! Ни облачка. В Берлине небо серое, всегда в облаках. А у вас... Малиновки поют. Зелени много. Я по городу ехала – чистота, фонтаны, порядок... В Берлине тоже порядок, но Мюнхен... Правда, признаюсь вам, Лариса Владимировна, я впервые в Мюнхене. В Нюрнберге была, во Франкфурте, в Штутгарте...

– Как вам Штутгарт?

– Замечательный город! А Франкфурт меня просто очаровал. Но Мюнхен... Мы свадьбу будем здесь играть...

– Ну конечно не в Берлине! – отозвался Олег.

– А что вы будете делать с автомобилем, когда...

– Уедем в Америку?

– Да.

– С собой возьмем. Или продадим. Не бросать же. Еще не решила. Если переходить на новую жизнь, то и автомобиль нужен новый. Но я к своему «порше» привыкла. Привезем в Америку. Будем выделяться среди американцев автомобилем. Едва ли у них много европейских моделей.

Мать покачала головой.

– Я понимаю Олега. Послушав вас, могу сказать – два сапога пара.

Олег подал голос:

– Нет, маман, есть еще одна поговорка: муж и жена – одна сатана.

Лида благоразумно согласилась и добавила:

– А когда Олег научится вождению авто, купим вторую машину, «форд», наверно. Пусть у него будет американская модель.

Лариса Владимировна слушала и молча соглашалась с невесткой – небо в Мюнхене действительно голубое, просто они привыкли и не обращают на небо внимания.

– Лида, вы и в США будете заниматься адвокатской практикой?

Лида посмотрела на нее с удивлением.

– Ну конечно, я ничего другого не умею! Конечно, сначала придется пойти в чужую контору, но я и в Германии так начинала, наберусь опыта, через год-другой-третий открою собственное дело. Потом я хочу детей. Лучше двух, как у вас, Лариса Владимировна. Мальчиков или девочек, как получится. Найдем кормилицу... У меня подруга вышла замуж за американца, живет на Западном побережье, она мне

часто пишет про свою жизнь, описывает американский быт. Я его знаю. По письмам, но знаю... У нас есть деньги – Олег, наверно, говорил, нам должно хватить на первое время, пока не встанем на ноги.

Олег подал голос.

– Это ее приданое, имение...

– Родители его продали. Рядом с Васильчиковыми.

– Ну да, Илларион Сергеевич...

– Да, у них две девочки, я их хорошо помню.

– И я получила очень хороший гонорар, я выиграла одно дело...

Олег снова влез:

– С концерна ИГ «Фарбен»!

В дверях послышался скрежет ключа – пришла служанка.

Хозяйка вышла к ней.

– Матильда, – позвала Лариса Владимировна. – Подготовьте пустую комнату для фрау графини фон Тизенгаузен.

Служанка вздрогнула – о, еще одна высокопоставленная, не иначе, особа. Ей будет что рассказать своему другу Ульриху, пусть знает, у каких людей она служит.

– Извините, госпожа, а фрау графиня...

– Да, она невеста моего старшего сына.

– Я у фюрста работаю десять лет, – сообщила служанка Лиде, – Это очень приличный дом. А ваша швигермуттер, фрау графиня, превосходная женщина. За десять лет я ни разу не слышала, чтобы она повысила голос.

– Не сомневаюсь, – с улыбкой поощрения ответила Лида. – Вы замужем, Матильда?

– Нет. Еще не нашла достойного человека.

Лида согласно кивнула.

– Да, приличного человека в наше время трудно отыскать... – и чуть не обругала себя за расхожую пошлость. Но служанка ничего не сказала, она была вся погружена в событие, участником которого невольно стала.

– Фрау немка? Рихтиг дейч?

– Да.

– У вас прекрасный хойдойч, я потому и подумала, что вы чистокровная немка. Я рада, что князь Олег женится. Нельзя же все время играть в мяч, а на службе протирать штаны!

«Эге, это ты услышала от кого-то из родителей Олега», – подумала Лида, но ничего не сказала.

– Старший князь говорил, что лучше бы князь Олег пошел работать в банк или в солидную фирму.

– Мы разберемся с его работой, – улыбнулась Лида.

PARIS, 6 МАЯ 1932. МИШЕЛЬ

Машина заворчала, вздрогнула, принимая пассажира, словно недовольная.

Пассажир просто надувался от каких-то своих мыслей. Мишель несколько раз бросил на него взгляд через плечо.

– Да, – произнес тот по-русски, поймав взгляд шофера, – вы везете знаменитого человека.

Мишель улыбнулся.

– Вероятно, – ответил он. – Я не знаю вас, господин, но понимаю, что вы русский, – перешел на русский.

– Да, – отвечал по-русски пассажир. – Я знаменитый поэт Павел Брэд. Брэд – через «э». Не читали моих произведений?

– К сожалению, нет, – вежливо отозвался Мишель. Он вообще почти не читал стихов. Он не понимал их.

– Прочтете, – объявил пассажир. – Я подарю вам свою книгу.

– Буду вам благодарен, – наклонил голову Мишель.

Пассажир достал из кармана книжку в зеленой обложке.

– Павел Брэд, как вы понимаете, – это мой псевдоним. Я – Павел Горгулов. В этой книге мои идеи. Человечество запомнит мое имя.

– Да, конечно, – согласился Мишель, снижая скорость на повороте и почти не слушая излияния пассажира. «Ну да, – вдруг понял он, – на бульваре сегодня книжная ярмарка И Павел Брэд едет туда, будет давать автографы поклонникам.» – Где остановиться? Бульвар большой.

– Мне всё равно, – откликнулся пассажир. – Там книжная ярмарка...

«Точно я догадался», – удовлетворенно подумал Мишель и затормозил, увидев свободное место.

Но на тротуаре стоял полицейский, который знаком показал Мишелю, что это место занято, и махнул рукой в сторону – дескать, ищи там место для остановки.

– Наверно, ваши книги здесь продаются? – зачем-то спросил он.

Горгулов вылезал из машины. Его карман оттопыривался.

– Книги? Да. Наверно. Продаются. У меня встреча с французскими писателями... Ха-ха! И не только с ними! Хо-хо... Вот вам на память...

Поэт протянул Мишелю книжку, затем достал кошелек, вытянул из него стофранковую бумажку, подождал, пока Мишель отсчитает сдачу, и протянул десять франков на чай.

– Не забывайте, кого везли!

– Благодарю, господин Брэд, – уже в спину уходящему произнес Мишель.

«А ведь в кармане у него револьвер – только он может так оттягивать карман, – мелькнула мысль. – Но это не мое дело, зачем он носит в кармане оружие.»

ПРЕССА Допрос Горгулова

«Горгулов в Сантэ»

После допроса Горгулова судебный следователь распорядился заключить его под стражу в тюрьму Сантэ. Кроме того, следователь назначил переводчиков для перевода найденных у Горгулова документов, в том числе дневника. Следователем сделано распоряжение об освидетельствовании Горгулова в состоянии умственных способностей через врачей-специалистов Сейлее, Роге де Фюрсака и Жениле Перена.

«Показания Пеетри»

Министр обороны Пеетри сообщил журналистам, что президент был в состоянии произнести несколько слов. У него раны на виске и за ухом, и, кроме того, пуля в теле. «Я стоял около президента, – заявил Пеетри, – который рассматривал какую-то книгу. Вдруг между мною и им просунулась рука с браунингом. Раньше, чем я мог себе дать отчет в происходившем, раздалось два выстрела и затем еще три. Гишар и я схватили руку, державшую револьвер, но дело уже было сделано. Думер упал нам на руки, не произнеся ни слова, Пеетри добавил: ‘Надо надеяться, что врачам удастся его спасти’.»

«Официальный бюллетень. 5 час. вечера»

В Президента Республики попали две пули, одна – у основания черепа, другая – в правую лопатку. Сильное кровоизлияние. Состояние резко выраженного шока. Произведены два переливания крови.

«Бюллетень. 21 час 30 мин.»

В Президента Республики попали две пули. Одна пуля, пробив область под черепом, вышла через щеку. Вторая попала подмышку и вышла за плечом, вызвав сильное кровоизлияние. В 18 часов, когда потрясение улеглось благодаря переливаниям крови, хирурги произвели сшивание артерии, которую пуля совершенно разорвала. Температура 37,2. Пульс 120. Положение по-прежнему серьезное. Подписали: профессора Госсе, Кюнео, Абрами, Окинчик, врачи Феликс Рамон, Попп, Цанк и военный врач Талеймар.

«Допрос Павла Горгулова»

Перед комиссариатом Сен Филипп дю Руле на площади огромная толпа: в комиссариат привели стрелявшего в Президента Республики Павла Горгулова. Часть журналистов пускают в комнату, где ведется допрос. Между двумя полицейскими перед столом, где сидят следователи, стоит стрелявший.

Огромный детина, средних лет. Толстое крестьянское лицо. Бритый. Широко выдается вперед «обезьяний» подбородок. Глаза серые, блуждающая улыбка. Нечесанные, растрепанные, коротко остриженные волосы. На правой щеке огромный распухший синяк; на левой – подтеки. Стоит в расстегнутом пальто, без воротничка, в белой открытой рубашке, на которой кровь. Глазами своими и всеми словами производит впечатление сумасшедшего. Таково ощущение у всех присутствующих. Отвечает на сравнительно неплохом французском языке. Горгулов говорит слегка нараспев, монотонным голосом. Не смот-

рит никому в лицо. Глаза его то блуждают, то устремлены вверх. Мгновениями на лице его бессмысленная улыбка. Видимо, не понимает всех вопросов. Повторяет по несколько раз то же самое, словно одержимый навязчивой идеей. От начала до конца его заявления являются сплошным бредом. «Я писатель, я журналист и комбатант, – говорит он, смотря вверх. – Родился 31 июня 1895 года. И я не только поэт, но и доктор медицины пражского факультета. Живу во Франции уже 4 года. Жена моя швейцарка. Она живет в Монако и ничего не знает. Псевдоним мой Поль Брэд. Знают меня, да, знают меня все, все. Я, Горгулов, написал роман ‘Сын’, и я написал другой роман – ‘Казак’. Я романист и поэт. В Чехословакии меня все читают. Да, меня читают в Чехословакии. Я написал ‘Тайну скифов’, история предков русского народа.»

«Книжка Горгулова»

На столе следователя записная книжка, найденная при Горгулове; маленькая тетрадь в зеленом твердом переплете. На первой странице печатными буквами по-русски выведено: «Доктор Павел Горгулов» и затем по-французски написано: «глава русской национальной фашистской партии, который убил президента республики». На других страницах – бредовые стихи о России.

Следователь спрашивает, помогал ли и кто Горгулову, кто его сообщники? По несколько раз задает тот же вопрос.

Горгулов нараспев отвечает: – Да, да, была. У меня организация. Создал ее в Праге в 1930 году.

Следователь: – А сколько вас было человек?

Горгулов: – О, много. Тридцать, сорок человек было. Все собирались на моей квартире, в Монако. Я – глава русской национал-фашистской партии. Я демократ, республиканец, фашист, а не монархист. Но мне изменили и со мной плохо обращались. Ужасно! Изменили и никому нельзя доверять!

Следователь: – Изменили тогда, когда узнали, что вы решили убить президента?

Горгулов: – О, нет, никто не знал об этом. Но раньше мне изменили. Секретарь мой, Петр Крючков, в декабре написал мне письмо. Он мне изменил и сознался, что изменил, потому что служит во французской полиции и потому что деньги зарабатывает у Рено. И друг его, Адшанов, тоже мне изменил и тоже меня обидел. Грустно, что люди такие...

Следователь: – А где живут ваши соратники?

Горгулов: – В Праге, там все меня читают. И в Париже сторонники.

Следователь: – Но где живут они?

Горгулов: – Где – кто, изменники они.

«Почему стрелял Горгулов»

Горгулов: – Я знаю, вы меня приговорите к смерти. И я умру. Спокойно умру, как умирают солдаты. Безмерно велик мой идеал. Против господина Думера я ничего не имею. Но я хотел протестовать, потому что я поклонник Муссолини и я поклонник Хитлера. Но они мне ничего не платили, и коммунисты ничего не платили. Всё я сам сделал. Я не хочу, чтобы коммунизм возторжествовал... А Франция хочет работать с большевиками. Вот я и решил помешать... Да, я люблю Муссолини и Хитлера. Я протестую против французского государства... Молюсь Богу, чтобы он помог мне умереть как солда-

ту. Никто, никто ничего не знал, хотя все за мной шпионили... и жена тоже.

Комиссар Фо Па Биде задает Горгулову вопрос по-русски о том, где он служил во время войны.

Горгулов: – На войне служил, подпоручиком русской армии. Дрался против немцев и против турок. Я врач.

Фо Па Биде: – Вы были врачом или офицером на фронте?

Горгулов: – Я был врач-офицер. Я воевал как врач.

Фо Па Биде: – А где вы были во время гражданской войны?

Горгулов: – Служил у Врангеля, офицером-врачом.

«Возрождение» (Париж), 9 мая

В Париже начался судебный процесс над русским эмигрантом П.Горгуловым по обвинению его в убийстве президента Франции Думера.

Я никак не мог попасть на этот процесс. «Известия» мне не давали билета. Я пробовал получить его от французского журнала «Вю», но ему не разрешили. Министр народного просвещения распорядился, чтобы мне выдали карточку – «Сюрте» перехватила. Всё же я попал на суд как личный гость председателя суда и благодаря этому попал не на места журналистов, а на место рядом с председателем и сидел на трибуне. Рядом со мной сидело несколько очень почтенных французов, которые оказались друзьями убитого президента. Общество очень странное, некоторые журналисты начали показывать на меня – их это страшно возмущало.

Смешно, что Чебышев, который пишет в «Возрождении», написал статью, где было сказано: «Некоторые неправильности процесса в суде – на эстраде почему-то сидел представитель Москвы – Илья Эренбург».

Очевидно, как кассационный повод, что я Дрейфусу нашепывал что-то. Когда я в первый же вечер вышел с заседания суда очень голодный, ибо целый день я не мог выходить, так как не имел билета, – думаю: сейчас пойду в кафе, выпью кофе, напишу статью, – в это время подходит молодой человек и говорит: «На каком основании вы сидели на эстраде?» Я говорю: «На основании распоряжения председателя суда». – «Вы лжете, – сказал он, – следуйте за мной».

*Илья Эренбург, специальной корреспондент
«Известия» (Москва), 25 июля*

...Я стал писателем-общественником в результате поездки в Советский Союз и в значительной степени освободился от сентиментальности; я познал действительность.

Майкл Голд

Сейчас я как раз разезжаю по Советскому Союзу и собственными глазами вижу чудеса пролетарского энтузиазма. Я вижу грандиозное строительство социализма. Я вижу, как под руками пролетарской диктатуры расцвела богатая отсталая Средняя Азия. И теперь знаю лучше, чем когда бы то ни было, что наша первая обязанность – это *не допустить* нападения обанкротившихся капиталистов на Советский Союз...

Юлиус Фучик

(Окончание в следующем номере)

Валерий Черешня

* * *

Стена, знакомая до трещин,
больничный двор, и две фигуры
прижавшихся к ограде женщин, –
невзрачная клавиатура
душе для ежедневной гаммы,
чтоб пальцы чувств не забывали
партию сдержанной печали:
пустынный двор, листа дрожанье
на выступе оконной рамы...

ДЕРЕВО

Вере Дановской

Послушай, невозможно написать,
как дерево... послушай, невозможно,
оглянешься, вздохнешь неосторожно,
и можешь вновь и вновь припоминать
тот город маленький от дома до вокзала,
сухую пыль, песчаную дорожку
и дом пятиэтажный, где стояла
такая тишь, как у лесной сторожки,
где в полутемной комнате жужжала
большая муха, тыкаясь в подушку,
где мы с тобой раздетые лежали
не только потому, что было душно.
А ближе к вечеру, на узеньком балконе,
ты пробавлялась болтовней ненужной,
и был вдали пейзаж, как у Джорджоне,
окутан синей дымкою воздушной.
Я понимал и чувствовал вполсилы,
и нас оставил ангел наш, хранитель, –
собрались тучи и заморосило...

И вот тогда я дерево увидел.

ЕЩЕ ОДНО ДЕРЕВО

А может, это было в том, другом,
где набережной выгиб за углом
пятнает воду полузыбкой тенью,
не тронув светлую проплешину течения,
где воздух разреженной и пустей,
и с чем-то белым – утрами, ночами ли,
омытый еженощными печальями
едва-едва проснувшихся людей.

И, как у плачущих, слегка просветлено
его неповторимое лицо:
оград железных слипшиеся веки,
тугой асфальт разглаженного лба,
улыбкой губ бесстрастная Нева
умело окаймляет острова,
вбирает непрославленные реки
и медленно течет в полукольцо
мостов его, надбровных дуг его.

И только даль везде и несравнима,
та даль, что бережно творит из ничего
до суеврия любимое лицо,
та даль, что создана для вечных расставаний
или возвратов вечных к ней одной,
где улица теряется на грани
существования меж небом и землей,
где ты была, когда сжимала руки
и говорила: «горе мне с тобой!»,
и дерево, принявшее все муки
большого города, касалось нас листвою.

Оно росло затравлено и криво...
Послушай, невозможно написать,
как были мы небрежно суетливы,
как примелькалось чахлое создание...
И только в жестком свете расставанья
смогли его увидеть и узнать.

ГИЛЬГАМЕШ

тема и вариации

1

Ночью, пока смотреть
рано еще глазам,
он примеряет смерть
к жизни своей пазам.

Тесно, не втиснуть в паз,
слишком она из другой
оперы, той, что нас
музыкой манит немой:

там ни пауз, ни нот
не прозвучит нигде, –
лишь запеканка забот
о посмертной еде:

грудой в гробнице лежит
с привкусом сытого сна
пища, – прекрасна на вид,
жаль, что из глины она,

а в спелёнутый рот, –
страшен голодный мертвец, –
ветер пылью плюет,
плоской пустыни певец,

сколько б ее ни ел
сытости нет как нет...

в жуть Гильгамеш смотрел,
в смерти своей беспросвет.

2

Я превращу тебя в труп, –
будет родным твоим больно,
в горе терпение губ
дрогнет движеньем невольным...

Это – потом, а сперва
станешь ты злым, всё выдавшим,
неба сухая стерня
разум исколет.

Пропавшим
даром: не ведая жить,
длить день за днем в упоенье
больше тебе не скрепить
душу.

А смерть в отдаленье
жадностью тысячи ртов,
ждущих желанной поживы,
подстерегает твой рёв,
рёв, оглашающий нивы.

3

Нужно себя учить быть землей, быть прахом, –
ведь это тебе предстоит.

Без страха,
вслушиваясь в свои бессловесные недра,
учишься легкому языку трав и ветра,

легкому, потому что родному.

Потому что
звуки его, летящие мимо, но кучно,
словно стреляет великий безумный мастер,
вдруг озаряют коротким игольчатым счастьем,

им и живешь.

Но втискиваясь в страницу,
держишься всем существом за пойманную синицу,
и лишь отпустив, опустев, благословя,
обретаешь летящего косо и вдале журавля.

Санкт-Петербург

Инна Кулишова

Звери Украины

* * *

Пока портной в Британии и США
лишь начинает швы сшивать на танках,
идет по Бородянке не спеша
последний кот, последний в Бородянке.
Там больше нет мышей, червей, листва
едва шуршит под лапами. У двери
в далеком громком городе Москва
сидит его двойник, молчит и верит.
Хотя о нем его хозяева,
похоже, в суете не вспоминают.
Но помнит кот. А в Бородянке ва-
лит снег, и кот почти что год блуждает.
И ищет взглядом, еще ищет он.
Его двойник у двери просто замер с
расстройством ожидания. О портном
еще бы не забыть, пока есть хаймарс.
Соедини, спаси, Портной, в конце.
Там в Бородянке ж вроде предки Меня,
убитого гб и рпц,
родились, а в Москве вся суть в замене.
Здесь в Бородянке каждый шаг кота
свят, свят и пуст, как там того, другого,
сиденье у двери. Но пустота
ползет под хвост, Портной, скажи хоть Слово.
Январь 2023

* * *

Убитые улицы. Бойня, стихия,
собака стоит, и глаза голубые,
и гладишь ее, она не шевелится —
ты гладишь, ты гладишь, ты гладишь, о лица
собачьи, глотавшие метры разлуки
и пепел, какой не осилили руки.
Возьми, нет, не хочешь, хоть хлеба какого,
собака, в которой нет места живого.

И ты, повстречавшийся пес одичавший,
в чьих карих глазах вижу то, что не вижу.
Кого им просить, Авва Отче, из чаши
какой допивать краснобурую жижу.

Мы где сейчас, пес? Грузия, Украина?
Где хлеб наш, и плоть наша тоже едина.
Что видно, собака, глаза голубые,
стоим мы, не мертвые и не живые.

Январь 2023

* * *

Поглаживаю тебя Украина по мокрой кровавой спине
со свальной шерстью
кровь у хвостика кровь на лапках на мордочке из носа в рот
течет как у маленькой кошки еще котенка
вчера встреченной в тбилисском дворе
Ешь ешь кошечка
Ты согреваешься в подвалах зализываешь раны
Братик твой умер?
На тебя обрушиваются люди с криками и подошвами
камни стены которых пинали ракеты
Но получится что тебя поглаживая
словно старший брат всаживая
напевы в клумбы твои сгоревшие в шерсть
твою спутанную кровающую кожу нет я бессильная в стороне
стоящая замутненная шорами ничего не помнящей
памяти где живут все мои любимые
Я писала об этом писала
слизывая соленые буквы со щек
но что же делать
если день привязан ко дню
как упряжь к лошади
оторвавшейся от колес и бегущей
бегущей бегущей по полям горам предгорьям
в кровь бока морда в кровь
невозможно остановить
Свободной и раненой свободной и раненой
как же мне тебя напоить накормить
скачущая вольная окровавленная моя
Я пишу об этом пишу
повторяюсь до неприличья как мои
сновидения перепрыгивающие диагнозы
Кто там есть или здесь не могу проснуться не могу

проснуться не могу заснуть
Буквы из гортани хлещут блевотиной
Звери не плачут истекая кровью
Украина имя раны которую не зашить
Метафоры слишком интеллигентны для беды
и бескровны
Снился мне сон месяца три назад про Грузию
Говорили мы со вторым ее президентом Шеварднадзе
Он всё мучился переживал как помочь стране что же делать
И во сне я ему сказала отнесите к ней как к бездомной собаке
А еще снилась женщина плачущая иудейка потерявшая пса
Попроси у другого Бога говорю ей Они в первый раз выполняют
желания Но только в первый
У кого ж просить нынче Все боги запрошены О зверях как о
раненых ландшафтах убитых или о раненых как о
зверях бездомных
Мне всё равно потому что другого откровения мир не давал
а вы думали апокалипсис это что-то из Голливуда
нет всего лишь боль и распад и их степень
растягивает тело как в пыточной до размеров души
если все же ее каждому скинули по заниженным ценам

Январь 2023

* * *

под деревом ме
ньше снега мо
жно чуть поспать
негде просить е
ды но что остается мне
ем что с кустов давно
опало свое говно закопать
это ль не благодать
вот мое не
бытие
шерсти клочки ше
рсти не расти душе
расти но не найти де
нь теплые руки до
м где я теперь где
мне все равно за что
грязных дорог брод
не перейти туда

люди мои ушли
туда
люди мои ушли
бро
сили здесь да
же не тронули съесть
бы что ши
банут покачусь в овраг
словно небо он весь
враг овраг
всё у меня не так
с тех пор как
с тех пор как
Снег не па
дает на ше
ю хорошо не бьет
нынче никто
не судьба есть судьба
кто
я собака кот
не припомню уже

Январь 2023

* * *

И вот животные станут цвета земли
словно двигается сама почва
И стоаргусовые глаза ее как нули
подоженные тем светом почва-
ток неживущих жизнью плюет в замри
и идет на тебя разорванная в клочья
Мати моя не моя Україно твои
это твои необузданные разноцветные очи

Декабрь 2022

* * *

На окраине деревни
на разметной полосе
возле черемшины древней
кот заботился о псе

То кузнечика приносит
то пучок травы под мо
рду подвинет Безголосье
Птиц убили а пятно

на боку у пса подсохло
и засыпано землей
холм двугорбый и осока
этот мой а этот мой

Свой у каждого и рядом
обгоревший кот и пес
и никто вокруг не рад им
Ветер вновь пургу понес

Засыпает снегом пылью
лепестками бывший сад
Кот и пес как Божьи гири
на холмах хозяев спят

Май 2022

* * *

Пока запотевают стекла, дрозд
поет.
Зима кончается. Как прост
ее уход.

Уже пылится, будто в стороне,
трава.
Чего не скажешь о войне,
ее глава

ползет и множится многоголо
ого
в окно сквозь стены в пух и прах и в кро
и ничего

Жрет всё жрет всё жрет всё жрет всё жрет всё
горе
лый запах лиц из них ползет
тел тел тире

Как дрозд поет на южной стороне,
уход
зимы. Чего не скажешь о войне,
она же вот.

Вольна красна больна и тъма
и тъма
за нас цепляется Зима
будь здесь зима

Выходит некто на порог,
одет
в небытие, почти как Бог
и этот свет.

Спросить бы, что же сделать для
дрозда,
пока война, пока земля,
пока беда.

Февраль 2023

* * *

Кровавым подшерстком закат на виду
у мира честного. От мира иду.
Где звери, деревья, трава и родня
за псевдостолом ожидают меня.

А я спотыкаюсь и падаю в темь.
Где звери, деревья и горестно тем,
кто больше не ждет, и оттуда глядят
глаза пустоты, развернувшись назад.

В них нет алфавита, ни звука, ни сна.
Молчанье кривое, как бог, допоздна
сидящий на псевдостоле, а за ним
смывают следы, кто телами храним.

И я поднимаюсь и глажу закат,
и руки в крови, протекающей в сад,
где звери, деревья, трава и родня
за псевдостолом ожидают меня.

Декабрь 2022

Тбилиси

Йегуда Амихай

Точность боли и размытость счастья

Перевод с иврита Александра Бараша

Йегуда Амихай (1924, Вюрцбург, Германия – 2000, Иерусалим) – поэт, прозаик, драматург. Предки его жили в Баварии со Средних веков. В 1936 году семья переехала в подмандатную Палестину. Во время Второй мировой войны Амихай служил три года в Еврейской Бригаде в британской армии (записался добровольцем после окончания школы), затем (также добровольно) – боец Пальмаха (десантник) во время Войны за Независимость. Закончил Еврейский Университет в Иерусалиме (литература и библистика). Автор 13-ти книг стихотворений, двух романов, собрания рассказов, а также детских книг и пьес. Переведен на сорок языков. Среди английских переводчиков – Тед Хьюз; поэт дружил с У.Х. Оденем. Тексты Амихая включены в школьные программы и университетские курсы в разных странах. Он – лауреат Премии Израиля (1982) и множества других израильских и международных премий, несколько раз был номинирован на Нобелевскую премию.

Йегуда Амихай совместил язык своего религиозного бэкграунда, молитв и Библии (он вырос в религиозной семье) с современным разговорным ивритом. Такой тип «разнородной чувствительности», «смешанный образ языка», как он это называл, был для него органичным – и новаторским для израильской поэзии той эпохи.

Одна из важнейших черт поэзии Амихая – почти физическое ощущение воспоминания. Он говорил: «Я могу подхватить, поймать любой момент моей жизни и оказаться почти физически прямо там». Тут тоже есть корни в еврейской традиции: существует талмудическое высказывание, что «нет ничего, что раньше или позже в Библии», что значит: всё, все события, присутствуют, существуют всегда, в настоящем времени, прошлое и будущее сходятся в нем в одной точке – особенно в языке.

Я надеюсь, что это произошло и в переводах, предлагаемых вашему вниманию.

Александр Бараш

ИЗ ЦИКЛА «ОСЕНЬ, ЛЮБОВЬ, РЕКЛАМА»

1.

Взгляд, поднятый вверх, чтобы увидеть, есть ли облака, что у него на пути? Стены, балконы, одежда и тоска, вывешенные сушиться, окна, крыши и ностальгия, небо. Открытая ладонь тянется проверить, есть ли

капли дождя. Эта рука самая простодушная,
самая верящая, она молится
больше всех, кто молится в домах молитв.

2.

Я хочу петь песню хвалы всему, что остается
здесь с нами и не покидает, и не скитается, как перелетные птицы,
и не убегает на север или на юг и не поет «Мое сердце на востоке,
а я на западе, на самом его краю»*. Я хочу петь хвалу деревьям,
которые не сбрасывают свои листья – и страдают от жары летом и
от холода зимой, и я хочу петь хвалу людям, которые не сбрасывают
свою память – и страдают больше, чем те, кто отбрасывает всё.
Но больше всего я хочу петь песнь хвалы тем, кто любит,
кто остается вместе в радости и в печали и в радости.
Создать дом, создать детей, сейчас и в другие времена.

3.

Потому что любовь должна быть слышна, а не прошептана:
чтобы услышали и увидели, она должна быть без маскировки,
должна бросаться в глаза, кричать, смеяться в полный голос,
быть шумной рекламой заповеди «плодитесь и размножайтесь»:
радостной и прекрасной «плодитесь» и трудной,
мучительной «размножайтесь» –
заповедь человеческого рода, сладкая оболочка горькой жизни.
Любовь – это слова и цветы,
которые притягивают насекомых и бабочек,
и она же – цветочный принт на женском платье.
Она – это нежная кожа бедра, и нижнее белье
до глубины души, и верхняя одежда до неба.
Она – пиар, она – сила притяжения человека и земли,
она – сила тяжести земного шара и сила
легкости всего божественного. Аллилуйя.

* «Сердце мое на Востоке, а я на Западе, на самом его краю» (בְּרֵעַם יוֹסֵב יִבְנֶאן חַרְוֵמֵב יִבֵּל) – первая строка одного из самых известных стихотворений Йегуды Галеви. Йегуда Галеви – поэт, философ; жил в Испании в конце XI – первой половине XII веков.

ИЗ ЦИКЛА «ТОЧНОСТЬ БОЛИ И РАЗМЫТОСТЬ СЧАСТЬЯ.
ПРИСУТСТВИЕ НОСТАЛЬГИИ ВО ВСЕМ»

1.

Царь Саул бросился на свой меч в последней битве в Гильбоа и сразу погиб. Мы так же падаем на наши тонкие и острые души в начале жизни, а умираем только через семьдесят или восемьдесят лет. И наши жизни трепещут все эти годы, и каждое чувство и каждое движение вызывают глубокую боль, но мы привыкли к боли и иногда называем ее – ощущением жизни, даже радостью. А душа, приносящая жизнь, убивает нас, в конце концов, и остается, как меч.

2.

Точность боли и размытость счастья. Я думаю о точности, с которой люди описывают свою боль в кабинетах врачей. Даже те, кто не умеет читать и писать, всегда точны: это тянущая боль, а это раздирающая боль, а это как пила, это жжёт, это острая боль, а это тупая. Это здесь, вот тут. Да. Да. Счастье размывает всё. Я слышал, как говорят после ночи любви и после праздников: «Было замечательно, я чувствовал себя как на небе». И даже космонавт, выйдя в открытый космос, воскликнул только: «Прекрасно, чудесно, у меня нет слов». Размытость счастья и точность боли. Я хочу описать смутное счастье и радость так же точно, как острую боль. Боль научила меня говорить.

Перевод с иврита – Александр Бараш

Василий Львов

– Так я зовусь:

про.....*вокация!*
дол.....*говато!*
же.....*манно!*
ни.....*черта не понятно!*
е.....*вразийство!*

Всё то тяжелое, что было в нашей домашней жизни, казалось тем легче, чем хуже становился наружный мир. Миры эти, впрочем, не были изолированы друг от друга, и в моем, домашнем, вставали те же проблемы государств и границ.

На фоне общей войны во мне обострялась моя внутренняя, развязавшаяся еще в детстве, когда я начал осмыслять себя – когда на поле эгоцентризма во мне схлестывались себялюбие и нелюбовь к себе – то гордому, то слабому духом, то люциферовски-амбициозному, то непредпримчивому, то щедрому, то завистливому, то набожному, то безбожному, то послушному, то неверному, то чистому, то порочному, то заботливому, то жестокому, то соболезнующему, то над смертью самых близких не плачущему – мои разум и чувство были слепы, глухи друг к другу, и разум тяготился от неуверенности в поданных, как монарх на троне, а чувства, когда прорывались наружу, грозили гибелью не только самодержавной власти разума, но и всей моей державе. Тщетно разум рвался командовать:

Body Politic

- ...слова должны сопровождаться гармонией и ритмом.
- Как же иначе?
- Но мы признали, что в поэзии не должно быть причитаний и жалоб.
- Да, не должно.
- А какие же лады свойственны причитаниям? Скажи мне – ты ведь сведущ в музыке.
- Смешанный лидийский, строгий лидийский и некоторые другие в таком же роде.
-
- А какие же лады разнеживают и свойственны застольным песням?

- Ионийский и лидийский – их называют расслабляющими.
- Так допустимо ли, мой друг, чтобы ими пользовались люди воинственные?
- Никоим образом.

Платон

Я из моей державы изгнал
 баюкающий ионийский –
 лишь взор сомкнешь, опять шторма –
 и пагубной печалью отягченный
 лидийский лад.
 Муштрую чувства!
 Над головою звезды, а в сердце счастье – вот закон!
 Эй! Чувства! На па-а-
 рад!
 Я сам себе Платон.

Война во мне лишь усугублялась по мере возмужания; животные страсти, расходившиеся с моими идеалами, осаждали меня. Бывали в этой войне затишья, но она – моя палестина, мой карабах, мой донбасс – никогда во мне не прекращалась. Внешние конфликты были прообразами, исполнинскими макетами внутренних; я тоже заключал с собой перемирия, вел завоевательные кампании, строил и обрушал стены... Пока не понял: ошибался французский король: не государство – это я, но наоборот: я – это и есть государство, а лучше, без слова «господарь», я – это *res publica*, *common wealth*, соединенные штаты.

А коли так, я стал учиться распознавать в себе автономии, о которых, как о самостоятельных административных единицах, задумывался не больше, чем российский школьник о субъектах, прости господи, федерации.

Когда-то мне казалось, что умов двое:

Заходит солнце-ум:
 он всё решает разом –
 выходит месяц-разум:
 он мрачный одному;

один – муссон, потоп,
 другой – глухая заводь;
 один был создан плавать,
 другой – чтоб рыть окоп;

один из двух заводит песнь –
 и сразу же второй подхватит,

в двухместной их ума палате
распространив сию болезнь;

один начнет за упокой,
второй тотчас за здравье кончит;
один гортанно захохочет –
второй уже ревет рекой;

под крышей общею ютятся,
как должно старому супругу,
живут, друг другом тяготясь,
и тяготея друг ко другу.

Так, Великобритании пришлось признать Соединенные Штаты – слишком далеко, когда в одном краю империи уже рассвет, а в другом еще сумерки – twilight's last gleaming...

В эпохи междоусобиц между моими умами мне мерещилось, будто мир мой рушится, – так чувствовал себя лоялист, вынужденный поддержать Кромвеля, или верноподданный британской короны, присоединившийся к войне за независимость североамериканских колоний. То были минуты отчаянья.

Уик-энд

Товарищ! Гляди
В оба!

Блок

слева –
бывшее

справа –
будущее
как быть?

слева –
грянувшее

справа –
грядущее
куда ж грясти?

слева –
ставшее

справа –
станущее
а посередке –
стонущие
о чем? к кому?

слева –
 кос
 справа –
 крив
 посередь
 – инфинитив
 финитив, финитив, финитивушка...
 тот, что слева –
 давнозорок
 левый глаз, ленивый глаз
 тот, что справа –
 дальнозорок
 ну! вперед! быстрее!..
 споткнулся!
 вот те раз!

«Пал я, бедный, жертвой зренья!
 Боже, дай мировоззренья!
 чтоб с умом единоголазно
 было бы мне всё подвластно!» –

рассуждал так один звездочет –
 как собьется, так снова начнет,
 пред собою зря –
 только вот зазря,
 глядь – придет заря
 и насмарку его умозрения!

...а вокруг моих тревожных циферблатов
 полдень-полночь во всех странах-поясах –
 на часах!

миг! и день на ночь сменился!
 ночи день опять приснился!
 «ахти-ах!»

а меж тем...
 меж тем поспешно-постепенно

облетал мой взор,
 как осенний лес,
 словно сеть, узор
 проступал древес –

двух пустых тяжелых дуг...
что в душе свершилось вдруг!

навернулось горько море –
зренье застила вода –
и торчат memento mori
костяные обода –

«ба-ба-бах! бах-бах!» –
бьется маятник в висках!
просто страх!

от чаянья к отчаянью, отчаливай, отчаливай – конец,
но лишь конец недели...

отчаяние – проигрыш, прогон,
а после – воскресенье, выходной,
день-выход, -выдох, -хохот, день-замах,
зажмурившись парить на воздухах!

И потом, как у Толстого: всё вдруг для меня перевернулось, и то, что было по правую руку, стало по левую, а что – по левую, вдруг оказалось по правую, – и тогда радостное озарение снизошло на меня: необходимость признавать другой ум – моя свобода, мое спасение от одиночества.

Sensus communis

Держава нашего внимания растет благодаря стремлению к другому, как росли европейские империи благодаря великим географическим открытиям.
В. Л., «Зеркало заднего вида», «Новый Журнал»

Пробудившись и отверзшись человеком,
озирался одиноко
ум;
до всего, простерши длань, желал коснуться:
поднесет к звездам длань –
даль,
к другу поднесет ладонь –
отделен;
но другого, как себя, пожалев,
ошую стал одесную, прав – лев,

и сознал, что человек не одинок
и сознал, что человек не одноок,
не немой нырок
к бездонью,
не хлопок
одной ладонью,
ибо,
когда правая рука Бога встречается с левой, –
для обеих это событие.

А однажды, перечитывая «Преступление и наказание», я вдруг сообразил, что умов больше, чем двое; в себе, например, в разные минуты я ощущал: ум-супер-эго; ум-радио; ум-сознание (не путать с разумом – о том, что это разные умы, пишет в эпилоге к «Войне и миру» Толстой); ум-страсть (умов этих столько же, сколько и страстей); ум мышц (см., например, «Футбол» Заболотцкого); ум групповой, стадный; ум-IQ (в мире Бенгáма переоцененный); ум-интуиция; ум-полиглот; ум-оракул; ум-мудрость; чужой ум; ум-техне (tech-savviness of digital natives); ум об уме... Разумею под умом движущий человеком алгоритм – резон: «В чем ваш резон?» В этом смысле ум – ум как повестка – есть и у наших чувств, включая и страсти.

Так, одна из наиболее властных среди страстей, особенно у мужчин, – похоть. Похоть с точки зрения традиционной морали преступна (проливать семя мимо – грех, достойный смертной кары), а между тем она и сама норовит перейти границы, установленные законом (миф о Библиде, полюбившей брата Кавна); но что если похоть обращена на того, с кем ты имеешь связь по закону? И не всё ли равно, следуешь ли ты закону по совести или по пути? Очевидно нет, если это высший закон, ведь можно с сознанием убийцы законно убить животное на охоте или же без этого сознания, не согрешив мысленно, но преступив закон, ненароком убить человека. Преступна похоть или нет, – довольно и того, что она выхолащивающа. Но не потому, что сущность ее дурна. Это был бы эссенциализм – каким уродился, таким и получился, ничуть не лучший, чем обвинение того или иного народа в неизбывных, первородных грехах, как будто народы извечны, как скалы, когда не вечны и скалы. Нет, похоть опасна тем, что животное чувство, выходя из границ, нарушает *raх humana*. Человеку непредсудительно бывать животным, – если, конечно, эта автономная область внутри человеческого *body politic* не постарается установить в этом государстве верховную, единоличную власть.

(Вообще же, верховная, единоличная власть – это ужасно, это такое одиночество! «Вот почему я никогда, / Нет, никогда не буду правителем!» Бог же никогда не был одинок, он и до сотворения нас был наедине с собой, что отражено в Троице. И мы, созданные по образу

и подобию Божию, так же, по сути, структурно, не являемся одинокими.

Тело средневекового христианина, как и его государство, страдало не от морали как таковой, но от корпоративного авторитаризма власть имущих, национализировавших эту мораль в виде госмонополии и, вопреки этой морали, снаряжавших крестовые походы – против внешнего и внутреннего врага.)

Итак, похоть дурна не самой своей животностью, но насилием этой животности над нашим человеческим образом.

И что же, когда ты всё же предался похоти? И дальше мучить человеческий свой образ, когда ты к нему, а вернее, *в него* вернулся? И дальше пытаться наказать его за то, что творил не он, а животное начало – вопреки ему? Категория преступления человеку нужна не чтобы налагать наказание, а чтобы *не преступать*. В переводе «Преступления и наказания» у Constance Garnett слова Раскольников «Я преступил» так и переведены: «I overstepped». Не согласен; нужно бы «I trespassed» – это же слово использовано в англоязычном «Отче наш»: «And forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us» («И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим»). «Trespass» в современного английского имеет оттенок территориальный, связанный с отношениями собственности – табличка “No Trespassing!” – «Посторонним вход воспрещен!» Потому здоровая животная страсть лишь тогда становится похотью, когда претупает границы образа человеческого. И точно так же разум человека грешит тогда, когда отказывает телу в празднике, как у мужа леди Чаттерлей, парализованного ниже пояса. В результате сих посягновений нарушается общественный договор, и тогда граждане этого государства, имя которому – Человек, – превращаются в пленников, заточенных в тюрьме народов.

Вот как славно я размышлял, как вдруг Россия напала на Украину.

Помню разговоры того времени один на один со своими студентами: с девушкой из провинциального города в европейской России, бойфренд которой с трудом выбрался из Украины в Чехию; со студентом из Донецка, старше меня, молчаливо-сдержанно реагировавшего на объявления, призывающие помочь Украине, – Западной Украине, в его понимании: студент этот с горькой иронией лишь улыбался – почувствовали ли теперь, с чем моя мама там, в Донецке, жила всё это время?

Было еще много других бесед; самая из них памятная – с девушкой из Западной Украины, перевезенной в детстве в Штаты. Она была моей студенткой еще в прошлом семестре – курс по русско-английскому переводу, любовно запоминала русские слова и выражения, была одной из первых в группе, в которой были и носители русского.

Зимой 22-го она снова записалась ко мне – на курс классической русской прозы, а потом исчезла.

Этот курс был для меня труднее и важнее всех прочих. Читать гуманиста Пушкина в оригинале со студентами, сталкиваться с историческими реалиями Российской империи и совсем при этом не думать, не говорить о политике у меня, несмотря на все мое изпиндемонти, не получалось – как, наверное, не получалось у какого-нибудь культурного немца, преподававшего Гёте где-нибудь на Западе, в том числе и еврейским студентам, в конце 30-х годов.

В последние дни февраля мы со студентами как раз читали Гоголя. Комментарии излишни – это как если бы я, будучи англичанином, читал Свифта или Джойса с ирландскими студентами по курсу английской литературы – и вдруг английские войска вторглись бы в Дублин. На неделе, когда разразилась война, мы как раз работали над «Старосветскими помещиками» – разбирали текст, учили наизусть отрывки, писали стилизации. И вначале, а тем паче с войной, мне важно было показать студентам, как Гоголь выстраивает антисреду петербургскому миру – нашему миру, реальность которого автоматизована, виртуальна, отчего ей так недостает гуманности, а главное – смерти, вернее, доказательства жизни смертью, когда вместо всех этих теней: майора Ковалева с его носом, Акакия Акакиевича с его шинелью, всех этих безтелесных шляпок, усов и платьев, разгуливающих по Невскому без своих хозяев, получаешь Ивана Ильича – живого человека, с физической болью, с дурным запахом медленно, неприлично умирающего тела, чтобы читатель, пройдя этот путь с Иваном Ильичом, мог жить земною жизнью, а не только влачить свое существование неощутимо, точно аккаунт.

И еще я убеждал студентов – и себя с ними заодно – в том, что русская культура больше, чем Россия, что русская культура принадлежит украинцам, белорусам, казахам и всем тем, кто читает по-русски, – ничуть не меньше граждан с российскими паспортами. Мне принципиально важно было научить студентов видеть «лишнюю щекотурки» речь Гоголя, когда вместе с ними я читал отрывки из гениальной книги Андрея Белого о нем:

Гоголь <...> смеется над усилиями бюстителей чистоты языка втиснуть язык в грамматику... <...> являя украинца, не овладевшего грамматикой «москалей» и мысленно переводящего на русский с родного наречия, что доказали биографы, – украинца, пишущего «послать по художнику» (вместо «за»); Гоголь доказывает: революция языка может обойтись без соблюдения всех грамматических чопорностей, потому что язык – в «языке языков»: в мощи ритмов и в выблесках звукословия, или в действиях опламененной жизни, – не в правилах вовсе; звукопись, переходящая в живопись языка, есть выхватившееся из вулкана летучее пламя.

Воистину, Гоголь изменил русло русской литературы, которая после него, как Днепр – в Черное море, как Волга – в Каспийское, навсегда влилась в литературу мировую.

Под конец семестра мне еще раз случилось говорить об этом со своей студенткой из Западной Украины, естественно, по-английски. Она, наконец, вышла со мной на связь: надо было как-то закрывать курс, – а она, рассказывая, едва сдерживала слезы, и, конечно, не из-за курса. Мне кажется, она понимала и даже принимала кое-какие из моих доводов – тех же, что привожу здесь; вернуться на занятия я ее не просил – видно было, что она физически не может не то что слушать курс – говорить о русской литературе на русском языке, в то время как российские солдаты убивают ее соотечественников. В итоге она сдала несколько работ, требовавшихся для оценки, и среди них печально-красивую стилизацию «Старосветских помещиков», написанную по-украински. Мне очень хочется верить, что когда-нибудь она еще захочет взять в руки лучшие из книг, когда-либо написанных по-русски.

Русская культура – часть мировой и в качестве таковой может жить даже и без русского языка – так говорил я студентам после начала войны и не кривил душой, потому что всегда придерживался этого убеждения, сыздетства наученный мамой – вот он, мой Оксфорд, мой Ватикан, моя Гаага, моя Мекка, – что читать нужно не отечественную литературу, а хорошую; и потому, говоря это, я не опасался того, что мои внуки, возможно, не смогут читать Пушкина – значит, смогут Шекспира или Пираделло – лишь бы читали великое. Но та незаменимая ценность, что я сообщал культуре, – неважно, русской ли, – была, как теперь понимаю, именно русской моей чертой – пресловутым логоцентризмом, или, по-славянски изъясняясь, любословием.

Можно было бы успокоиться на том, что беда русской культуры в автократах, которые засели в Кремле и хотят присвоить ее себе вместе с остальными богатствами страны. Богатства эти Кремль использует в своих интересах; еще на Олимпиаде в Сочи, под рукоплескания иностранных гостей Кремль сумел сделать из русской культуры языческий идол, и немудрено, что с началом войны многие срывали на этом идоле злость. Кремль извлек выгоду из того и другого.

Но ясно было, что это не всё. Пару месяцев я наблюдал за ожесточенными спорами о русской культуре; нетрудно было заметить, что в них участвовали, в основном, сыны Совдепии, боготворящие русскую культуру или занятые богоборчеством, – не то что «бездушные» англосаксы, которых и родная культура, в отличие от политики, не особо-то волнует – культура в русском понимании, то есть прежде всего умение отличать ямб от хорея, а не стоять в очереди. И я пришел к выводу: преступление российского государства, развязавшего большую войну в Европе, послужило поводом, чтобы обрушиться на

ту цивилизацию, для которой поэт всё еще больше, чем поэт, а язык – предмет всенародного культа. Нынешняя война – лишь повод для *столкновения цивилизаций*, как называл это Хантингтон, и столкновение это мы наблюдаем не только в Украине, но и во всем мире и прежде всего на Западе.

Только это не столкновение «старого» и «нового» – величины переменные. Много чего архаичного возвращалось и возвращается в нашу жизнь: примитивизм в живописи; обесценивание письменности – когда можно надиктовать, и чтения – когда можно прослушать текст; отношение к полигамии как норме и вообще уход от единичности, от абсолютов, что видно в английском по вытеснению единственного числа множественным и по переходу неисчисляемых существительных в исчисляемые: *businesses, behaviors, experiences*, – кое-что из этого калькируется и в русском... Старое – хорошо забытое новое. Нет, не в «архайке» дело – в несвоевременности. Миф о прошлом, об империи девятнадцатого века, например, оказался для России так же пагубен своей несвоевременностью, как и миф о будущем коммунистическом обществе. Российская власть не застряла в девятнадцатом веке (историк без труда укажет тысячу отличий) – она припеваючи живет в двадцать первом. Горе-кремленологи по старинке сосредоточиваются на том, что говорит диктатор, и упускают из виду, как он это говорит – не с точки зрения риторики даже, но – *по какому каналу связи*. Говорит же он *in absentia*, виртуально, – таким же виртуальным головам, как он сам, чтобы потом миллионы так же виртуально взирали на всё это по телевизору. Тем простительней убийства и разрушения – *in absentia*: их легко принимать, легко терпеть, им легко не верить; они почти не ощущаются.

В «Жизни Климса Самгина» один из героев, Томилин, говорит: «На большинство людей обилие впечатлений действует разрушающе, засоряя их моральное чувство. <...> вообще все люди, перегруженные опытом, – аморальны». Золотые слова фарисея! Мы столько видим ужасов, что далеко не везде и не всегда испытываем потрясения перед убийством, злодейством, унижением, как то требуется от нормального, здорового человека. Категорический императив внутри нас постигает нечто вроде эректильной дисфункции. Эмпатия или скоротечна и случайна, или болезненно-привередлива. Особенно часто сталкиваются с этим люди, оказавшиеся в сетях, особенно социальных. Вопрос об этике здесь привходящ, это прежде всего проблема информации, информатики. Так называемые цифровые гуманитарии, *Digital Humanists*, уже давно ею занимаются. Краеугольный камень их дисциплины и, одновременно, камень преткновения – проблема больших данных: ни одного человека не хватит, чтобы впустить всё написанное или даже один процент всего написанного в поле своего внимания. Отсюда, применительно к лите-

ратуре, вырастает проблема «великого нечитанного» – «the great unread» (термин Маргарет Коэн, активно использовавшийся Франко Моретти). По аналогии давно бы уже пора говорить о «the great unfelt» – «великом нечувствованном».

Великое нечувствованное должно бы стать одной из важнейших проблем современных гуманитарных наук, и, конечно, совершенно закономерно противоречие: в эпоху великого нечувствованного социальные ролики и катехизисы «новой этики» требуют от нас не симпатии, а именно эмпатии, не терпимости, а присяги: *do not just tolerate the other, celebrate them*, – как если бы от мужа, борющегося с соблазном прелюбодеяния, сразу потребовали celibата.

Иисус призывал возлюбить ближнего, как самого себя, – величайший подвиг для человека; скоро от нас этого будут требовать на корпоративных тренингах, – речь, разумеется, о тех ближних, которые заслуживают любви, а не о сеющих предрассудки злопыхателях.

С другой стороны, несчастный Ницше призывал любить дальнего, но это уже нюансы: любить ближнего, дальнего ли – сегодня это так же просто, как и ненавидеть, ведь расстояние в нашем мире виртуально: не оттого ли ближний сегодня так далеко, что дальний так близко?

В противовес среде, в которой у человека по несколько аккаунтов с сотнями друзей, индивидуальное и «моногамное» общение глубоко интимно, особенно общение с книгой. Каждая книга – подвиг, каждое от души идущее проявление эмпатии – чудо. Потому в мире логоцентризма существуют святые и даже блаженные (страданием они заслужили себе право неприлично вести себя на людях) – потому в мире логоцентризма существует канон. Не тот канон, который закрыт, не может меняться и сплошь традиционен. А тот, где число книг ограничено: где нет великого нечитанного, нет и великого нечувствованного, но лишь великое читанное и великое чувствованное. Это, конечно, дискриминация, то есть отбор: если проблема современности – гиперинфляция чувства, проблема логоцентризма – его дефицит.

Меня упрекнули в голословности, – что ж, я рад обратиться к самому слову. Именно в языке, как и всегда, ощутимее всего проявляется борьба цивилизаций, включая и нынешнюю, – между логоцентризмом и... как бы это сказать... блогцентризмом?

Большие перемены угадываются в малом. Когда видишь, как прописные буквы вытесняются строчными, понимаешь: монотеизм и другие «моно», а с ними и «нуно», отмирают (русское «Вь» с большой буквы – вялая реакция); когда видишь, что вместе с отчествами люди манкируют и пунктуацией, понимаешь: былая табель о рангах отходит в прошлое. Туда же отходит и бережливость логоцентризма. Так, краткость уже не сестра таланта – не путать краткость с формат-

ностью, растяжимой от логлайна до лонгрида; краткость старомодна, как накрахмаленный воротничок и брюки со стрелкой на школьном учителе, как его поджатые губы, остроумные, но непонятные намеки и птичий язык завуалированных цитат из классики; больше того, краткость – элитарна, а потому эксклюзивна... Нет, так не скажешь – хорошо звучит... Неинклюзивна – вот.

«Инклюзивность» настораживает меня в первую очередь стилистически, например, режиссер(ка) – никогда так не назову Муратову, Варду, свою жену-кинорежиссера, – хотя уж лучше «режиссерки», чем фанатички и мракобески, ополчившиеся на плохой фильм Учителя; но, как сказано у классика, если других нет, то никаких и не почитайте. (N.B. Написав «режиссер(ка)», я использовал именно скобки – несвободный знак; постмодернисты использовали бы здесь forward slash – старомодно говоря, косую черту, столь же открытую к изменению окончаний, как новая этика – к смене полов.) И дело не в том, что из полудюжины феминативов выдернули один и теперь неоригинально его копи-пастят; просто для прижимистых логоцентриков это так же глупо и избыточно, как в известной сцене из пайтоновской «Life of Brian»:

Francis: <...> that it is the inalienable right of every man –
Stan: Or woman.

Francis: Or woman... to rid himself –

Stan: Or herself.

Reg: Or herself. Agreed. Thank you, brother.

Stan: Or sister.

Francis: Thank you, brother. Or sister. Where was I?

Reg: I thought you'd finished.

Francis: Oh, did I? Right.

По той же причине я не люблю говорить «давайте пойдём», где можно – «пойдемте», и мне плохо от стечений родительных, отдающих машинным переводом с английского, – из научной статьи: «Метафора актуализации образа пространства». Прямо, как у Довлатова: «За успехи в деле многократного награждения товарища Брежнева орденом Ленина – наградить орден Ленина орденом Ленина!»

(Подумалось: что если переход от модернистской поэзии к той, которая наступила после, можно проследить по падежам? В модернизме неоспоримо главенство творительного падежа: «планетами, приметам, притч рытвинами» модернист подходит к миру со своей азбукой и прокручивает мир через мясорубку творительного падежа, подвергает его, как у Овидия, насильственной метаморфозе. Что же тогда приходит на смену логоцентричному модернизму – родительный падеж? Слова в родительном падеже напоминают собой string –

строку в компьютерной программе, где одно нанизывается на другое, тогда как творительным падежом не нанизывают, а вытесняют. Вот характерный для современной поэзии отрывок из Скидана:

Синие зеркала холмов,
лопасти, львиные пасти солнца.
Вереска власяница, задравшись, обнажает
ступню; что он зрит?
Кипариса веретено – в коленях
Мойры склоненной.
Полоска пепла на лбу.

Или современной русской поэзии вообще присуща всяческая притяжательность, отчего в ней и главенствует прилагательное – как понимал его Митрофанушка, то есть как нечто, к чему-то прилагающееся? Но довольно – надо же что-то оставить лингвистам на кандидатские да докторские.)

Коротче говоря, в языке, несмотря на велеречивость, я *fiscal conservative*. Нет, я не консерватор даже – скорее экстремист, отчего одинаково нежно люблю и Тредьяковского, и Хендрикса. Помню, как несколько раз переводил на русский название книги – «*The Sensus Communis, Synesthesia, and the Soul*»; по мере того, как вникал в книгу, сокращал, сокращал – осталось «Сочувствие». Мне и сейчас кажется иногда, что, хорошо задумавшись над word, можно разрешить все проблемы world'a. Это, конечно, логоцентрическая утопия, но в отдельных случаях работает, у Веселовского, например. Читая его «Историческую поэтику», отдыхаю душою. Конечно, язык изменился, и это нормально, это даже хорошо (если не меняется, значит мертв), но всё же грустно, что и синтаксис так затвердел, и словообразование – как много Веселовский пользуется приставками, падежами, сколь образно пишет (и без пошлого импрессионизма) – взять хотя бы знаменитую фразу о том, что «мотивы снуются в сюжеты». Я представляю себе ласточек, из найденных где попало веточек вьющих гнезда. Даже будь Веселовский неправ, – а он прав, – его бы всё равно было душещепительно читать, как замечательного критика и мракобеса Константина Леонтьева, потому что видно, как через язык, подвижный и образный, растёт мысль автора. Пишут ли сегодня литераторы так, чтобы через пятьдесят и сто лет их было интересно читать? Нет, и не ошибаются, потому что сама постановка вопроса у меня – каноническая, логоцентричная. Канон, конечно, никуда не денется, только он сам деколонизирован... Оговорился: деканонизирован.

Отягчен эдакими мыслями, я, случалось, тосковал, например, когда, пытаясь очаровать студентов, как профурсетка, преподавал им Фета и понимал, что не могу передать всего своего восторга, – и опа-

сался, что я, заодно с Фетом, им смешон; тогда я чувствовал себя бонной в брюках. Наконец чувство это стало мне особенно горько: я был без работы, ждал иммиграционных документов и воображал, что я – гонимый историей византиец. Об этом я написал стихи, которые летом 2021-го читал в «Русском самоваре» в присутствии – чуть не сказал Гаврилы Романыча – Романа Аркадьевича, Каплана. Тогда я предварил стихи исторической справкой:

Знаменитая скульптура – четыре бронзовых коня, изваянные, быть может, самим Лисиппом, с XIII века украшают базилику Сан-Марко в Венеции. Туда венецианские крестоносцы из разоренного ими Константинополя пригнали бронзовых скакунов как трофей. Коням этим повезло уцелеть, ведь прочие византийские сокровища меркантильные венецианцы просто переплавили в слитки. В 1453 году Византия пала вновь и окончательно. Исход образованных греков, наводнивших собой итальянские города, способствовал Возрождению.

А сейчас я дал бы еще эпитафию, из Бродского – того самого: «...столько мертвцов / Вне дома могут бросить только греки». Вот это стихотворение:

Я сын Византия –
 без виз
 и в нарушение всех заветов
 живу условно, как дефис,
 среди торгующих венетов.

Язык гомеров мой
 им – говор,
 чудной, что речи Гераклита,
 и Одиссея очень скоро
 здесь обрядили б в одессита;
 он преуспел бы: индекс боли
 возрос как раз; чтоб брал народ,
 под стих, приравненный к девизу,
 ее пускают в оборот, –
 хоть тысячи четырехсот
 пятидесяти третьей доли
 того не знают, что de visu
 мы, сцилл знававшие... шш! тише:
 не будем портить эпикризу,
 мы эллин-резиденты, слышишь?
 У них везучести Везувий весь город затопил вконец –
 зачем же нашу птицу-тройку на свой повесили дворец?

Я не успел напечатать этих стихов, когда они могли вызвать хоть какое-то сочувствие, в том числе и у меня, автора. Теперь же (пока что?) вопрос, которым заканчивается стихотворение, не очень-то актуален (много где тройку уже демонтировали), а ироничное противопоставление Одиссея одесситу не считается, когда при слове «одессит» все мысли о важнейшем – ныне украинском – городе русской культуры, русского языка, который вместе с этой культурой и вместе с этим языком обстреливается российской армией...

Я не центрист, но я логоцентрист. В сердце я предан лингве франке как таковой: не только английскому и русскому повезло с Джойсом и Гоголем, но и наоборот, и не стоит удивляться, что Кафка писал на немецком, а не по-чешски. Но когда началась война, невозможно было целиком отделить русское от российского, в том числе и в себе самом, и что-то неприятное, инцестное в этом было. После нескольких недель с начала войны во мне родилось четверостишие, не оставившее меня месяц, пока наконец не написались стансы, в которых мне яснее, чем если бы я писал статью, представилась созависимость русского языка и российского государства:

на наречьи goethe
 лают пулеметы,
 на наречьи пушкинъ
 в дом стреляют пушки –
 нет осталось синекур!
 оккупирован домен!
 пусть, не ждя армагеддона,
 гёте – в weltliteratur,
 пушкин – в «перевод» ченстона
 маркий рубль несли: в обмен, –
 не сработал vpn!

вам свезло, шекспир, рабле, –
 пусть себе свистят шрапнели,
 на военном корабле
 пусть галдят полишинели –
 ваше слово, то есть бог,
 цело средь земных тревог –
 спите с миром, джон и жанна!

вы успели – ваш язык
 избежал левиафана
 и при этом не изник
 с откровеньем иоанна.

Многих, и небезосновательно, раздражит, что во время войны, на которой гибнут и калечатся люди, – другие люди, как я, распространяются о языке. Признаю свою узость. Скажу лишь, что каждый взаимодействует с миром на свой лад. Кто-то мерится с миром войной (только я не воин), кто-то мирится мицвами, как это называется в иудаизме, – бескорыстными деяниями... Не преуменьшаю силы добрых деяний! – и если чем могу... но это не мой путь, к нему не лежит мой русский ум, самозабвенно «в мистической купаясь мгле», – потому ли, что я вырос в стране, где от рабства еще не успели перейти к гражданскому обществу, а те социальные институты, которые хоть как-то действовали, пришли в запустение и не коснулись меня; потому ли, что я всегда жил в своих мыслях и нематериальные факты культуры были для меня осязательнее социальных, реальнее их; потому ли, что «толстовство» представляется мне эскапизмом (в том числе от толстых: слишком сложны), а подвижничество, если искренне, – той стадией, когда язык слов уже не волнует так, как он волнует меня – и, вероятно, тех, кто эти мои слова всё еще читает?..

Бывают эпохи, когда главный вопрос – «что делать?» или «кто виноват?», и я не вполне доверяю этим эпохам – быть может, и здесь сказывается многострадальная мудрость крепостных моих предков? Не доверяю, потому что вопросы эти не отвечают на вопрос по существу, вернее, о существе, о субстанции, – фаустовский вопрос: «Кто ж ты?»

Я слишком жаден, чтобы класть жизнь на какое бы то ни было дело, не ответив на этот вопрос, и я слишком идеалист, чтобы считать, что труд делает меня человеком, которого я хочу в себе познать. Уж если таким, каков я есть, меня сотворило безделье... О, не стремитесь избавиться от печи, если не хотите потерять с ней и душу!.. И потому я отвечаю на этот вопрос именем, которое мне некогда – «мне некогда!» – дали. Так я наиболее чистосердечен, когда стремлюсь связать себя и мир вне себя.

Я, так сказать, человек слова – филолог (наилогоцентричнейшее из званий), и, раз уж представители моей деноминации мечтают вывести мир – нет, не из себя (в чем, правда, нередко преуспевают), как делал то Беркли, но из осязаемых, реальных слов (так пифагорейцы мечтали вывести мир из чисел), – то и я, по инерции, ищу исток – ищу точку сингулярности: так уж воспитали меня в монотеистическом нашем монизме...

Ну а что если мир возник в нескольких местах одновременно и лишь потом сошелся в точку мировоззрения? Что если мир – перекресток? Но не смею из своей метафизики лезть назад – к физикам. Хотя одного из них я бы спросил:

Эй, ответьте, астрофизик,
мне на чи-сто-ту
про пустоту! про пустоту!

Ну скажите, астрофизик,
только на-пря-мик –
как мир возник! как мир возник!

Докажите, астрофизик,
прямо набело,
что зло есть зло! что зло есть зло!

О, решите, поскорее, на коленке, так,
чтоб сгинул мрак! чтоб сгинул мрак!

Что здесь сказать! Лишь то, что мой метод, как писал поэт, – начинать сначала, а раз слово для меня не условно, раз слово для меня, *словянина*, – житнетворчество... Вспоминаю, как мои соотечественники, особенно за рубежом, общучивают каждый слог, каждый звук, стоит только подслушать – часто пошло общучивают, и всё же: вижу в этом творческую словоохотливость нашего народа... Раз так, то естественно, что прежде этики у меня всегда была поэтика. Не потому «прежде», что поэтика лучше («лучше» – это уже этика), но потому, что поэтика *раньше*: как порождение мира из слова, world из word.

В Америке иначе: здесь прежде всего политика, и смеяться над политикой, отказываться от всякого участия в ней, ссылаться на то, что политика – суета сует, сговор, ни к чему не ведущая игра, – такой же моветон, такой же симптом социального аутизма, как спросить жителя той земли, где поэт больше чем поэт: «Что ж это вы носитесь со своими поэтами, ведь всё, что они понаписали, – выдумки, ни к чему конкретному не ведущие? Конечно, красиво написано, увлекательно, но что с того?»

С мифотворчества, с имяславия (так называлась прелестная ересь Флоренского и Лосева, воспетая Мандельштамом), с имябожия все начинали; все – значит, поэты – первые метафизики, как величает их Вико. И вот, до того, как люди научились вычитать себя из мира – анализом, человек-поэт научился себя в него вчитывать, вошедши в мир, по завету Бахтина, творцом – вместо гусиного «га-га-га» подставляя «Г – глаголь», вместо коровьего «му-у» – «М – мыслете», вместо «чирик-чирик» – «Ч – червь» (не потому ли «чирик» питается червями? Но не стану эпигонствовать, я не Хлебников – Львов). Знакомым с эстетикой и философией известно: культура – игра, культура – вживание. Ономастика – игра в имена, астрология – игра в звезды, человечество – игра в слова: «Что такое день иль век / Перед тем,

что бесконечно? / Хоть не вечен человек, / То, что вечно, – человечно». Я смотрю в зеркало и вижу, как «на холсте каких-то соответствий»

подозрение, удивление, сомнение, озаренье бороздят чело-века. Вот нам еще одна игра, как стих, берущая за исходную точку природой оброненную закономерность, чтобы затем вернуться к уже наново открытому и прочувствованному смыслу: взгляните на складки на лбу, перерисуйте их на лист бумаги – получится иероглиф вашей личности.

Забавно было бы также посмотреть, соответствует ли этот иероглиф какому-то китайскому, и тогда, по мере того как меняются с годами начертанные на лбу знаки, можно было бы следить за тем, меняется ли ваше слово; можно даже попытаться повлиять на него, например, возлюбив ближнего.

*Но бойтесь тех, кто лишен своего знака: перед вами может оказаться *tabula rasa* – и в умственном отношении, и в нравственном.*

Культура – живание в жизнь как речь, с которой мы к ней обратились, культура – подоржание – прошу простить: подражание другому. Именно подражание, а не копирование. Вернее, даже так: подражание именно, а отчуждение, дегуманизация, абстракция – исключение, подтверждающее правило, как «Черный квадрат» – первые три стиха Священного Писания.

Этимология, легенды об именах-героях, бросивших вызов безъязыкой природе, – первый сюжет человечества. Нет, это не нарциссизм (нарциссизм наступает позднее, когда, как учит нас миф, чело-века увлекает эхо); нет, это желание отплатить природе, отплатить миру взаимностью – в объятьях любви или схватки, ведь познание природы начинается с выяснения отношений между природой и человеком. Слово же – первый закон; только Адам, нарекая животных, вероятно, полагал, что сам выступает законодателем, между тем как строил тюрьму грядущим народам, своим потомкам, не случайно народ по-славянски – язык.

Когда-то и я веровал в попен-омеп, названье-призвание, умозря

Звѣздное нѣбо

в начале было снова –
слепящ исток!

окрест –

звѣздъ

благовест!

разверзлась звѣздна –
 снов пола,
 словам – снованье,
 звѣздне – пла-

пле-,

поле –

полы-

мя!

из звѣздъ епанчи,
 из звѣздных пучин

почин

учинился –

впочин веков,

везде,

воочь,

вовек!

язык словен

ночи ловец

из звѣздъ извлѣкъ,

очин лучин

из звѣздъ иссѣкъ –

очиться!

отнелиже печенег –

годин возница

(отнял иже

слов ковчег) –

вертопрах – месяцелов –

не возвратится,

что словим,

то и славословим

и суесловим то –

как много, много, много, много, много,

ах, как же много, много, много слов!

не словишь всех!

в снованьи

снов,

в слоняньи

слов,

дотоль,

где речь звѣздится, –

где

отыскать словидца?

По-прежнему верю, что первый логос, первый голос – не всякий звук, даже не тот обезьяний, которым наши пращуры завывали, трещали и чирикали по образу и подобию, но самовитый, самоцельный звук – был Бог, *Pater noster*. Вот только лингвистика Соссюра убедительно говорит о том, что наименования случайны и произвольны – как писал Джойс, «*paternity may be a legal fiction*». И не одно отцовство сомнительно, но и любые *родословные*. Россиянам, к примеру, так часто нравятся подкалывать Украину, вероятя, происходит от имени северных наемников, руси, дословно «гребцов», и что этим же словом финны звали шведов. А Гватемала, например, была так прозвана тлашкальтекским народом (территория современной Мексики), приведшим конкистадоров к тамошним майя. Мы все – чья-то *украина*. Прав был Хлебников, когда сказал, что в точном смысле слова «провинция», то есть завоеванная земля, не Киев, а Петербург.

Не так ли же обстоит дело с нашими именами? Я не уверен. В первых, человек, в отличие от страны, *реален* и, если будет Страшный суд, судить будут исключительно физических лиц. А во вторых, имя человека – *наинтимнейшее*, ведь по имени человека может окликнуть Бог. Тем более удивительно, что авторство имени, кажется, не принадлежит Богу. Или всё же есть божественное провидение в соссюрловском произволе, с которым играем в имена? Но и произвол наименований рано или поздно становится традицией, и тем разительней его столкновение с произволом новым, явным – достаточно посмотреть, как невыговариваемо назвал своего ребенка Илон Маск – X Æ A-12. Между тем авторство имени, как правило, не принадлежит и самому имяреку – отдельные случаи «самозванства», как у Надежды Дуровой или Кассиуса Клея. Попутно хочется спросить: когда имярек внеположен своему имени, находится ли он снаружи или внутри его? Внутри, когда общается с другими, и снаружи, когда наедине с собой? Или наоборот?

Всё реже имя, как в ветхозаветные времена, является обетом между родителем и Господом. Здесь можно было бы пуститься в мистическое рассуждение о тех, кто носит не свои христианские имена, о тех, кто, по сути, не наречен. Являются ли таковыми с точки зрения церковного канона все некрещенные? О, логоцентризм! Но я вспоминаю прекрасных людей, которые живут в Штатах и носят имена, казалось бы, напроць лишённые этимологии, внутренней формы слова, сюжета. Например, Chelsea. Это, скорее, место, чем имя; это ближе к «прописке» древних времен – Аристотель из Стагиры, Иисус из Назарета... Или такие имена, как Уокер. Это уже ближе к фамилиям, таким, как Купер (бондарь), Смит (кузнец) – названо по функции. Здесь можно было бы нещадно вышутить этот принцип, но это скорее пристало устному творчеству, а главное,

такие шутки слепы к истокам имен у народов, так сказать, «с историей», и, наконец, шутки эти сводятся к отрицанию, значит, непониманию. Не могу и не хочу думать, что люди без этимологии лишены благодати.

Но есть две цивилизации, два мира – старый, давний, – и новый, дивный. Дивный новый мир свободен от слов – и от снов тоже. Кстати, Маклюэн говорил о постепенном исчезновении бессознательного в нашем мире, до неузнаваемости преобразованного электричеством; в электрическом мире происходит экстериоризация того, что являлось фактом внутреннего мира. Как не остается у человека *privacy* в частной жизни (телевизор, телефон, «умные» часы, «умная» бытовая техника), так уходят у него сны, и я замечал, что мне больше снится снов, когда я реже посещаю социальные сети. В таком случае цензура, в целом столь же привычная культуре, сколь железу – ржавчина, может иметь большие последствия, чем прежде: раньше было когда заскучать – в долгой дороге, сидя дома в пустой комнате... В награду нам давались сложные, полноценные, глубокие сны; теперь же мы почти не бываем наедине с собой в истинном смысле слова, и не угрожает ли сегодня цензура лишить нас бессознательного, открытого великим художником модернизма Фрейдом?

Логоцентризм мира давнего – гравитационное поле; он – и необходимость для тех, кто вращается в этом поле, и положительная свобода – свобода должествования, возникающая при переосмыслении необходимости, ведь сила тяготения позволяет сформироваться и удержаться небесным телам – высказанным, выраженным, «в слове явленным» ценностям. И, конечно, тела, под силу этого поля подпадающие (подпадать – быть субъектом), живут инерцией его сюжетов – орбит. Живущие на границе этого гравитационного поля почти не слышат трансцендентальной музыки его сфер, хотя есть среди них те, которые подвизаются на экзистенциальный подвиг, – создать свою словосферу, но едва ли им удастся кому-то ее навязать – естественное желание тех, с кем говорит Бог, – см. у Достоевского: «Бросьте ваших богов и придите поклониться нашим, не то смерть вам и богам вашим!» Последним таким шансом было общество масс, то есть общество с каким-никаким канонem.

С точки зрения мира давнего, назвав человека Василием, ему дают судьбу, хрестоматийный пример – трактат Флоренского об именах. С точки зрения мира дивного, то, что Василий зовется Василием, – чистая случайность. Предел подобной случайности показан Хаксли в «Дивном новом мире» – в обществе будущего существует перечень имен и фамилий знаменитых людей, которые, как сказал бы особо продвинутый москвич, случайно шаффлятся, когда нужно назвать кого-то: Helmholtz Watson, Bernard Marx и т.д. Правда, важно, чтобы имя звучало как имя: даже не зная смысла имени, мы, если это не

совсем чужеродный язык, чувствуем именной узор (bespoke по-английски, сшитый на заказ), чувствуем, что это – имя, потому так нелепо выглядит, если не знать, что это криптограмма, имя X Æ A-12. «Бедный ребенок!» – хочется вскричать моей *славянской* душе. Но дивный новый мир и не гонится за абсолютными ответами, в отличие от давнего, а назваться в Америке (в отличие, скажем, от Германии, где имена новорожденных одобряет ЗАГС) можно, как угодно.

В Штатах Василием я являюсь для русских, с которыми шапош-но знаком, – и для администрации. По-английски я всегда звался Basil'ом, но это другая история и не для русского языка... А вот сюр-нэйм мой в Штатах почти не выговаривают... Нэйм-хак: трижды кряду сказать «Volvo», почти как моя университетская почта – vlвов@... В пандемию от скуки я, бывало, фантазировал: вот получу права, куплю себе Volvo, заявлюсь в Department of Motor Vehicles, и встанет перед работниками отдела транспортных средств (сообразительностью что в DVM, что в МВД не славятся) – встанет перед ними нелегкая задача – не многим легче, чем отделить воды морские от тверди небесной или взять Киевскую Русь и... как в известном анекдоте, который я так любил рассказывать студентам, когда вел курс российской истории: в России говорят: «киевская РУСЬ», а в Украине – «КИЕВСКАЯ русь».

Каюсь! что столько раз, путешествуя, гнушался немецкой речью, тут же припоминая немецкому языку Вторую мировую, – между тем как любимые мои писатели и композиторы – немцы. Что с предубеждением смотрел на монголов в Иволгинском Дацане, помня за ними нашествие тринадцатого (!) века – разумеется, не как очевидец помня, но из книг и кино, особенно же из «Андрея Рублева», – ведь живем мы той историей, которую помнят, а не той, которая была – недаром мы в массе своей так хорошо «помним» Ивана Грозного и очень скверно – «тишайшего» Алексея Михайловича с *бунташным* веком... Правда, потом я с этими монголами фотографировался – они, кажется, со всеми любят фотографироваться, но для меня это был знак внутреннего примирения, почти катарсический.

И, наконец, за то каюсь, что до тех пор, пока не побывал в Стамбуле, обольщался «греческим проектом» Потемкина и Екатерины – отвоевать у турок Константинополь. Но каюсь не за мальчишескую тоску по легендарным империям и не за предрассудок как таковой («Предрассудок – он обломок / Правды давней», – писал Борагынский). Ведь за эти мечты я, не знавший битв книжный ребенок, не проливал и никогда не желал пролить ни капли крови, своей или чужой, зато благодаря им еще в детстве успел пропустить сквозь себя романтический реваншизм исторических реконструкций. Ведь для того, чтобы пропускать это через себя, и существует *игра* и прежде всего игра художественными образами – искусство. Для того

художники и разыгрывают сражения в «магическом театре», – чтобы умерить в себе чингисхана. И вот почему те, кто спрашивают с культуры нравственность, не понимают культуры, в то время как другие, которые хотят похоронить ее в русском или каком ином музейном ковчеге, не смущаются тех чиновников, которые этими музеями руководят... Интересно, выводил бы Бродский этику из эстетики, если б бежал из фашистской страны? Что если коммунизм – наказание за пренебрежение красотой, а фашизм – за упивание ею, фетишизм? Недаром фетишизм и фашизм звучат так похоже. И не оттого ли так неприятно, как при ощупывании в военкомате, мне было, когда я смотрел на изображение обожаемого мною Хлебникова и красиво выписанные отрывки из его стихов на стенах «Шереметьево», где незадолго до от этого схватили Навального и отправили в тюрьму?

Что же культура? Она – полигон: для заблуждений, пороков, обид, – чтобы тем самым, как во сне, вытеснять их. Можно судить о человеке по его снам, но нельзя по ним судить его.

Верлибр

Правы были монахи, стиравшие
с пергамента стихи Вергилия.

Виктор Шкловский

Невольница
галер;
чужие
голоса;
описок,
глоссаллелей
сейм
и табор чинный –
в начале
слово
за словом,
слова,
слова,
слова
я вывел
в паводок
и, яко лис,
юля,
меж силою и кривдой, проскользя,
благословил на хадж сей насрединный...
...глас,
заводненный,

как Макондо,
 бачит,
 и мачтовые лясы
 точат слух...
 ...свободный стих
 не может быть свободным,
 а свободно лишь само стихотворение.

Главным же образом я за то каюсь, что, сам того не замечая, глядел на историю наполеоном, что прельщался историей, будто мне вверено было блюсти ее. Помню, как поражен я был в тринадцатом году (последний год, когда я ездил в Крым), когда прочитал «An Horatian Ode upon Cromwell's Return from Ireland» – «Горациева ода на возвращение Кромвеля из Ирландии». В середине семнадцатого века Кромвель жестоко подавил восстание в Ирландии, о чем ирландцы до сих пор хранят черную память; в Англии же, при том, что после смерти лорда-протектора вырыли из земли (прямо как того диктатора у Абуладзе в «Покаянии»), – в Англии Кромвель остается фигурой заманчивой и – как Сталин, как иные тираны – привлекательной даже для тончайших мыслителей и писателей, среди которых был и Эндрю Марвелл – автор оды. Когда-то Марвелл являлся лоялистом, им он отчасти остается и в оде, но вместе с тем принимает новый порядок вещей как несправедливостью установленную справедливость:

Though Justice against Fate complain,
 And plead the ancient rights in vain;
 But those do hold or break
 As men are strong or weak.

Nature, that hateth emptiness,
 Allows of penetration less,
 And therefore must make room
 Where greater spirits come.

В моем переводе:

Хоть право ропщет на судьбу,
 К дедам вотще стремя мольбу,
 Но брэнна правота,
 Коль силы лишена.

Природа – недруг пустоты,
 Она блюстититель густоты,

Но и она теснится,
Где мощный дух явится.

Не тот ли же это интеллигентский детерминизм, о котором говорила Н. Мандельштам, – неверие грамотных и исполнительных людей, забитых жизнью?

Я вспомнил об этих стихах, когда случился Крым – имею в виду аннексию – ту, вторую, нехорошую.

«А что, была хорошая?»

В этом вся соль вопроса – соль на рану, потому как аннексия восемнадцатого века (именно аннексия, а не «присоединение» – тогда в выражениях не стеснялись) – это событие другого исторического периода, несходство сходного, как выражался Шкловский, и, если сейчас я колеблюсь, тогда я оценил бы эту аннексию положительно и был бы прав, то есть находился бы в рамках тогдашнего права, по логике Марвелла. И наоборот – беру пример из того же века: будь я современником Петра Великого, тем более, незнатного происхождения, я, вполне возможно, проклинал бы его как антихриста. Но когда я смотрю на Петра с точки зрения того языка и культуры, которые важнее для меня большинства прочих благ, я восхищаюсь им и тогда, когда ужасаюсь его злодеяниям, потому как лишь в его России эти язык и культура могли появиться. На Петра я взирю не как на человека, но как на явление природы. В эстетике это известно не как чувство прекрасного, но – возвышенного, the sublime, как восторженно-жуткое оцепенение, точно перед цунами.

И вместе с тем параллели между завоеваниями восемнадцатого века и нынешними рейдерскими захватами не могли не смутить меня. Дело не в том, что кое-кто из моих знакомых, эка невидаль, оказался *крым дё ля крым* – здесь, кроме случайных сожалений и обид, у меня не было терзаний. Терзания были оттого, что я не хотел, порицая одну аннексию, тут же осудить и другую, а там и всё царствование Екатерины, а с ней и дело Петра, а там и всю историю самой воинственной и, вместе с тем, самой гуманной цивилизации – европейской. Потому не хотел, что всему свое время – судьба, как пишет Марвелл; потому что мир грешен; и потому, что без войн не выстроилась бы та европейская цивилизация, в которой, вопреки всему, людям, как правило, лучше живется, чем вне ее. Оттого Украина после 1991 года и стремилась к евроинтеграции, несмотря на все противодействие со стороны России, забывшей, в свою очередь, что и она, Россия, часть именно европейской цивилизации, в чем легко убедиться, если читать историю России и прочих древних европейских стран с момента их возникновения.

К интеграции стремился и я – все эти «восемь лет» и даже больше – к интеграции с самим собой, желая примирить свои

Разум и чувство

Я часто сталкиваюсь с тем, что мой разум и чувство обманывают друг друга. Оба повинны друг перед другом, и оба правы по своему.

Разум существует вне времени, он вечен, ему принадлежит истина. Чувство конечно, ему принадлежит правда.

Истина внеэтична, потому что этика требует от человека определенной позиции, для которой необходимо занять место во времени. Этика ограничена, истина, иначе природа вещей, – безгранична.

*У разума нет своей меры. У него нет богов, ведь он столько раз перевидал за историю человечества. С точки зрения разума, то есть *sub specie aeternitatis*, все боги – миражи, все правды – каприз или фанатизм.*

Мудрец способен увидеть истину лишь мельком. Она ужасает. Но он должен помнить: правда тоже существует.

Человек – дитя времени. Он не мелодия, но всего лишь нота, и его долг – играть хорошо, пытаясь понять, в меру своих сил, куда движется fuga бытия; fuga, которая, по сути, не имеет конца, хотя и может когда-то прекратиться.

Разум сам по себе чреват страшными преступлениями. Чувство само по себе опасно тем, что предотвращает вчерашние преступления, совершая завтрашние. Чувство становится легкой добычей ироничной истины.

Что до меня, то я постараюсь развивать интеллект в своих чувствах и чувствительность в разуме.

Ни разуму, ни чувству не дано управлять собой, поэтому они должны управлять друг другом.

Идеал человека – быть совершенным инструментом, понимая партитуру бытия и зная, где вступить, а где прекратить играть.

Надо было начать преподавать историю, чтобы осознать: история – это всегда история болезни, – как минимум, биполярное расстройство личности. Как-то после занятия со студентами у меня об этом сочинилась эпиграмма:

Здесь блага нет, здесь нету льгот,

Предмет – «История. Анамнез».

Кто помнит всё – тому «зачет».

А как же мы?

А нам – «нез.».

Вместе с тем, меня слишком часто посещает мысль: не лучше ли было нам не знать истории? Израиль и арабский мир, например, от этого бы только выиграли, как выиграли бывшие крепостные в России. Предвижу возражения и многие разделяю: в России нам не хватает своего Фредерика Дугласа – раба, ставшего свободным человеком и написавшего об этом, чтобы грядущие поколения не забывали. Но после убийства несчастного Джорджа Флойда, когда у нас в Нью-Йорке и по всей Америке проходили митинги с лозунгом «Black Lives Matter», – как жаль, думал я, что в Штатах по цвету кожи сразу видно, у кого предки, скорее всего, были рабами, и как хорошо, что в России этого нет, потому что хозяева и господа были одной расы (что, конечно, не менее больно, не менее стыдно).

Ловлю себя на том, что звучу так же покровительственно, как Мустафа Монд в «Дивном новом мире», и не иду дальше. Из великого трекнижия (анти)утопия Хаксли – самая умная, самая страшная, потому что самая притягательная: сначала она пугает, затем начинает увлекать, как адвокат дьявола, и вдруг трогает сердечной болью за страждущих людей, за слезинку ребенка, – как у Великого Инквизитора, который, преисполнившись христовой любовью, восстал на самого Христа, за что Христос и поцеловал его, возвращая Иудин поцелуй.

Но поскольку всё это – мечтания, и всегда найдутся те, которые будут манипулировать историей, самое полезное, что можно сделать, – знать эту историю лучше и не уничтожать негативов. И, если уж вдохновляешься историей болезней, историей предвзятостей, вдохновляйся ей как сугубо художественным произведением, а не руководством к действию.

Действуют деятели – политики. Они принимают на себя великий грех, убивая и обирая чужих, чтобы защитить и прокормить своих. Честный политик, если он не неудачник, – это великий инквизитор, несущий свой крест. Как ужасно быть на этом месте! Когда приходится выбирать между смертями и жизнями! Человек, в котором теплится еще душа, скорее бы проявил слабость, пытаясь ускользнуть от страшного выбора, как недавно ушедший от нас Горбачев, – один из лучших правителей России, потому что расхотел быть правителем. Подумать только! И я, желая быть идеальным инструментом, мысленно подставлял себя на лобное место, где Петр рубил стрелецкие головы. На эшафот, на котором по приказанию Кромвеля казнили Карла Первого. О, сколь ужасней быть казнящим, нежели казнимым! Чтобы потом казниться всю жизнь! Всего этого я долго, слишком долго не понимал, зато теперь мне ясно:

Н.В.

Я нота, вышедшая из строя,
 отчаивающаяся и тщащаяся понять
 в этом нескончаемом потоке,
 когда по ней не ударяют,
 какой она тональности –
 о, которой-бы-нибудь!
 Ну а там что же? По новой муки модуляций?
 Мне говорили в детстве: «Nota bene!»
 И говорили: «Nota male!» –
 на мне играли.
 Но только век не предпочту
 я экзерсисам экзекуций
 гам глупых атональных гамм.
 Тогда я попрошу, маэстро,
 когда замрет твоя рука,
 чтобы мне выделили место
 на ХТК.

ХТК – вот еще один пример канона. Интересно, имеет ли сегодня кто-нибудь серьезные претензии к Баху? Ведь нацисты ставили его даже выше Вагнера. Что уж говорить о книгах, написанных на наречь Пушкина и Гёте?..

Книг мне очень жаль, и неважно, какая у них национальность. Заставлять их отвечать за дела отцов, их написавших, или детей, их не читавших, на мой взгляд, несправедливо. В моей голове под дождь и звуки шарманки – раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три – звучит песенка:

ЖАЛОБНЫЕ КНИГИ

	книги
вериги	
мысли	
	книги
вериги	
смысла	
	книга
верига	
	мысли
и смысла	
	иго

~ ~ ~

книги
 княгини
 книжницы
 книги
 интриги
 капризницы
 книги
 страницы
 книги
 блудницы
 странницы
 и бесприданницы

~ ~ ~

книги
 расстриги
 мысли
 книги
 улики
 выси
 книги
 расстриги
 книги
 улики
 книги
 интриги
 книги
 столики
 книги
 калики
 в выси

~ ~ ~

книги
 страницы
 странники

~ ~ ~

навеси
 изгнанники

Всё же Уайльд прав: нет моральных и аморальных книг – есть либо хорошо, либо плохо написанные. А каждая хорошо написанная книга – это еще один шанс прожить жизнь, не расплачиваясь за это временем, чтобы решить, как ты хочешь жить, пока жив. Ведь треть своей жизни я уже оставил позади.

1/3

Изжита треть,
Я стал стареть
Помалу.

Я стал мудреть,
А кровь кипеть
Устала.

Надев на жердь
Земную твердь,
Ее вращало,

Чтоб посмотреть
На круговерть,
Первоначало.

Закинув сеть,
Уселась смерть
Ждать клева.

Стой, дай допеть
Мне
 и созреть
К улову.

Готов стерпеть,
Что мной владеть
Навечно станешь,

Но правда ведь –
Прошу, ответь, –
Ты не обманешь?

С тебя, о смерть,
Хочу посметь
Взять слово:

Дай разглядеть
Лицо успеть
Другого.

Но пока я репетирую разговоры с вечностью, я, при всей моей

внеморальности, должен признать, что сразу почувствовал, как война призвала мой язык к ответу за его историю. Ведь родина русского языка и культуры – Россия: как раз в языке-народе из бесчисленных противоречий жизни и ткется тот разговор, в котором из всех алгоритмически-возможных сочетаний, заложенных в словаре, из всех лингвистически-возможных приемов образования речи, путем исторического отбора возникает традиция – история голосов (преимущественно безымянных, потому что их много, и лишь в самых ярких местах поименованных) – история голосов, сливающихся в споре, спорящихся на разрешение общей боли – особыми, со стороны непонятными оборотами, сложными, часто, казалось бы, ненужными правилами, причудливыми исключениями, которые только и хранят историю: на ровной дороге без поворотов водители засыпают и разбиваются... Лингвисты называют это узусом. Существует даже гипотеза Сепира-Уорфа, утверждающая, что особый строй языка не только отражает реалии своего народа, но сказывается в мировоззрении этого народа, обнаруживая для него одни краски бытия и скрывая от него другие... Вообще узусов у народа множество, не только в языке; узус есть и у того, как люди данного племени организуют свое общество, строят города, едят, занимаются любовью, грешат и каются, трудятся и ленятся... Оставаться в этом разговоре в такие исторические моменты, как нынешний, особенно тяжело, но лишь оставшись и столкнувшись с испытаниями, припасенными именно для этой исторической почвы, можно снискать освобождение – не бросать в мучениях грешника, попавшего в чистилище у Достоевского – или у Данте, Шекспира, Расина, Гете, Ибсена, – но пройти с ним его путь, ибо страдает он затем, чтобы мы, ужаснувшись этому видению, пробудились и стали лучше.

Так, мне был сон, грустнейший в моей жизни: отсутствие близких, как если бы они не существовали, – не смерть даже, но несуществование: пустые комнаты с надувными матрацами, скитания... Всё это, конечно, восходит к детству...

в комнате; почти без света
дррр! дребезг циферблата,
 иерехонь из красной трубки:
 «?!!» «...почти...» «?!» «...сей...»

ЧАС

.....
 в комнате почти нет света,
 циферблат, трубка, потолок, мебель –
 комната, комната, комната!

по левой стенке коридора
 смотрят книжки, чашки, блюда –
 туда-то, снилось,
 к огням из-под моих зрачков
 меня утаскивают руки...
 но это было раньше,
 да и вообще есть что-то
 карикатурное
 в этих
 картинах,
 так что как будто и нестрашно –
 но *этот* путь...
 я не прошел – я шел им –
 вот, иду:
 мне так же ощутим
 полупопятный ход
 и темь в конце
 обшарпанностью двери;
 ошую-ощупью – тупик,
 тогда на несколько шагов
 сдвигаюсь вправо,
 нащупал ручку –
 белый свет:

я дернул занавеску –
 пустота, отбрасываемая ванной плиткой,
 и тут как тут как там как здесь –
 никто, ничто, ничей!
 и что, что через пять минут вернулись
 они, оне –
 я подглядеть успел, я заглянул, я видел!

и вот, теперь, по мере убыванья
 в *моем* кругу,
 теперь, когда с поспешностью такой же,
 с какой растет дитя,
 теперь, когда уходят:
 день ото дня, час от часу и свет
 со света этого уходит тоже –
 туда, в ту сторону света, где дементры
 в объятья заключают персефон, –
 теперь, когда по нашу сторону света
 усекновению подвержен тот,
 который сам Урана оскоплял
 (что механизм его коловращений

осекся, вхолостую пробежав,
он тщится скрыть и переводит стрелки),
теперь (мне чувствуется так)
я перед циферблатом вновь, разбитым
чужою математикой на части:
я в комнате, и от меня выходят
не всё, не сразу, но необратимо,
и я тогда, волнением гонимый,
проверить должен:

 снова коридором,
до двери дохожу, оттуда вправо –
полоска света – занавеска – кафель...
стерильный кафель... больше – ничего!

 там – я тут

 я тот – вот я

схожусь со мной в параде лет:

я оборачиваюсь:

этот детский плач,

мой плач,

был нужен – так я верю – для того,

чтоб к усыпленью приучить меня,

ведь на руки меня уж не поднять,

как кроме вчетвером...

и весь тот миг,

который нескончаемым казался,

я не один был – в едине с собой,

а значит, с остальными: кто-то вышел,

другой вошел, за ним войдет другой –

от перемены места сумма сумм

их всех в душе моей не упадет,

во мне здесь каждый каждого найдет,

как ими найден я, *sinergo sum*.

И в конце того сна вдруг осознание: это бес искушает – мороком небытия, отчаянья... И вдруг радость: яблоко Адама и Евы – несварение желудка! Когда-нибудь, воскреснув после Страшного суда, человечество посмеется. Выяснится – выснится, что история оказалась причудливым сном Адама, объ-Ев-шегося накануне яблок.

Так, проходя через самое страшное, становишься свободен. Не оказываешься – становишься. Свободу нельзя присвоить, нельзя пленить, но ее можно увидеть сквозь приоткрытую дверь, надо только развернуться.

Тревожная мысль меня навещает: не укрылся ли я от этого пути, оставив отчизну? Очень возможно. У меня нет однозначного ответа, но я точно знаю, что не оставил той метафизической России, которую, даже живя в Риме, не оставлял Гоголь, и я не оставил всех узусов российской действительности, живущих во мне и в моих близких.

И ужасов тоже не оставил – они нет-нет да и вырывали меня из моего затворничества: когда я видел фотографии детей в киевском метро – в городе, где работал в молодости мой дедушка и где живут наши друзья, где я однажды ребенком и сам гулял по улицам; когда смотрел на кадры из Мариуполя и читал репортажи из больницы, спасавшей людей во время осады; когда встречал в ленте снимки из Харькова, откуда во время прошлой большой войны бежала женщина, родившая впоследствии отца моей жены; когда слышал сводки из Чернигова, где, только что пережив ковид, с христианским смирением и украинской удалей пережил российские бомбардировки отец маминого мужа; и когда, как и все в апреле, я замирал перед фотографиями из Бучи... Мне нечего сказать. Самая праведная, обличительная риторика здесь всё равно будет лжива.

Не этим я жил большую часть дневной своей жизни, но случались сны: я иду по местам, одновременно напоминающим мне Brighton Beach Avenue и Первомайскую улицу, захожу в универмаг и покупаю пельмени в рыже-белой коробке с деревянной ложкой, смотрю – а вместо «Останкинских» написано: «Мариупольские»...

Как мне толковать этот сон? С самого начала, как и почти все мои родные, я был против Путина, даже писал против него статьи (тоже мне доблесть, из Москвы-то), не вставал, когда он входил в зал, если только память не льстит мне (он дважды оказывался со мной в зрительных залах). Формально, по крайней мере в этом, биография моя чиста. Но я, например, уже после Крыма оказывался за одним столом с людьми, работающими на ВГТРК, и ел, и пил с ними. Мне вспоминается тот сон с хороводом, в котором все мы пляшем: и те, кто работал на режим, и те, кто выступал против него. Это похоже на пищевую цепочку. Страшные мифы Древней Греции всплывают в моем уме – все эти пиры, на которых ни о чем не подозревающие гости едят человечину.

Грех этот общ. Общ и стыд. Но нельзя скрываться за общностью, и бесполезно призывать к покаянию целый народ – во множественном числе: за народ, за народом скрываются единичные люди. Обращаясь и к миллионам, говорить всегда нужно лишь с человеком. Потому что от стыда не меняются – бегут; меняются от вины – пока она не искуплена, пока человек не отслужил этой повинности, нет ему любви, нет ему радости, нет благодати, нет радужности бытия. Не в пример греху и стыду вина не может быть общей. Вина, наипаче в беспримесном своем виде, не будучи смешана со стыдом, не отво-

дит глаз, но, напротив, с пристальным ужасом вглядывается в содеянное. От вины не убежать. Вина – интимное, экзистенциальное переживание, синонимичное личности. Стыд – еще не раскаяние; Адам и Ева именно устыдились, здесь не было искупления, человечество ожидало, ожидает еще долгое раскаянье – рас-Каин-ье. Вина, за которой после искреннего страдания наступает извинение, – это уже Новый Завет, по-прежнему для большей части человечества новый, неизведанный. Мы всё еще язычники, или, быть может, мы вновь теперь язычники, раз упустили на этом витке своего развития шанс на спасение. Чтобы каждый из нас, в отдельности, мог спастись – вполне конкретно, даже вне разговора о рае и аде, но здесь, на Земле, – надо для начала осознать: несмотря на особенно нелепую для Европы в двадцать первом веке, особенно несоразмерную в своей глупости, анахронизме, бесполезности и жадности жестокость российского правительства, вся история человечества – у всех народов, у всех племен, всех цветов, без исключения – вереница буч и мариуполей. Первородный грех – не теологический концепт, а неоспоримый исторический факт. Все мы, так или иначе, сообщники «цивилизации», хотя тем, кто обороняет свои жилища в не начатой ими войне, дается отсрочка от взысканий.

Но не для того я это говорю, чтобы в общей истории утопить преступление, в котором хотя бы как очевидцы, не сумевшие, не посмевшие восстать против тирании, замешаны я, мои соотечественники. (А кто теперь мои соотечественники, и не приобрел ли я с американской свободой и все те грехи, которые по наследству перешли этому обществу?) Говорю я это для той поры, когда многими десятилетиями – спустя или тому назад – в середине прошлого века или в середине нынешнего – призрак всесторонней, непритворной правоты и праведного гнева вдруг обуюет меня и моих соотечественников. Тогда-то и нужно будет вспомнить о *своей* вине, устремиться к *своей* вине ради спасения – нет, не врага, но собственной души. Когда наступает такой момент, за «мировой душой» – за всяческими эгрегорами, симулякрами, соборностями и прочими профсоюзами – не спрячешься, и тогда человеку надо особенно зорко следить за собственной душой, которой угрожает ненависть – самое страшное, что истощает душу человека, – как обратная сторона неверия в нее.

Я однажды спускался в этот ад.

Медленно обсыпаются стены серого, словно сырая глина, дома, и становятся видны замурованные в нем преступления. Шагает к двери грешник, чтобы за ней скрыться (в преисподнюю?), но по дороге думает он вовсе не о себе, а рыщет, рыщет глазами по руинам, чтобы найти в них и лишний раз унижить, смерить стыдом самое сокровенное, уродливое, болезненное из жизни другого грешника, которого нет сейчас рядом, но которого первый грешник всю жизнь

истово ненавидел и с которым они и сейчас, когда мир рушится, – один, сживая себя со света, второй уже откуда-то с того – продолжают мысленно спорить и проклинать друг друга. Уже переступая через порог, первый грешник, представив себе полное взаимной злобы лицо второго, успевает плюнуть – это последнее, что он успел сделать... последнее, что он успел сделать... последнее, что он успел сделать... Сон повторяется, как трек на repeat'е, как binge – по кругу – по кругам ада.

Проснувшись, я еще не успел осмыслить увиденное, как мне сами собой пришли слова: «Ад – это другие люди». Посмотрел источник – оказалось, Сартр, из пьесы «За закрытыми дверями»! Пьеса очень короткая; вся суть ее в том, что вместо дантовской геенны – вот это зрелище так зрелище! – три грешника на веки вечные заперты друг с другом в гостиничном номере, и обоюдная ненависть душит их, мучает их пуще всякого телесного истязания. Это и есть ад – когда с небывалой чуткостью –

Ятаган? Огонь?
 Поскромнее, – куда как громко!
 Боль, знакомая, как глазам – ладонь,
 Как губам –
 Имя собственного ребенка –

с чуткостью матери один человек ненавидит другого; ад – это когда ушла последняя радость и даже злорадство, потому что ни на что нет уже больше сил, кроме ненависти, которая высосала из грешника душу, до вакуума.

Именно этим – в лоб, по-роммовски – меня особенно поразил когда-то финал «Иди и смотри», недаром Элем Климов озаглавил свой фильм словами из Апокалипсиса.

Вторая мировая, Белоруссия, карательная спецоперация нацистов. Подросток Флера видит одно зверство за другим, и далеко не самая леденящая из сцен – та, где навалены тела только что еще живых Флериных матери и крохотных сестер-двойняшек, над которыми жужжат мухи... Проходя через сущий ад – не дантов, скорее, шаламовский, – нежный мальчик всего за несколько дней превращается в старика – выцветают не только его волосы, но самый взгляд. Момент наивысшего напряжения – когда партизаны входят в только что живьем сожженную, садистски изнасилованную деревню. Уцелевший чудом Флера присоединяется к партизанам; нужно как можно скорее отходить, фашисты сейчас вернуться, но сначала надо расправиться вот с этими тремя, их только что отловили. Спорят, что с ними делать. Если б только можно было предать их смерти много раз подряд!.. Решают сжечь заживо (так же, как только что они

сожгли целую деревню, – око за око), но кто-то среди людей, глядя на пленных, вдруг не выдерживает и как саданет по ним автоматной очередью. Делать больше нечего – разочарованные, люди уходят; окликают Флеру, а он стоит как вкопанный. Ему нечем, не на ком выместить непомерную боль и «черную злобу, святую злобу». Флера сжимает в руках винтовку, которую в начале фильма отрыв в братской могиле и вырвал из окоченелых рук у мертвого нациста (эстафета); ту самую винтовку, с которой в начале фильма его и приняли в партизаны, о чем прознали фашисты, – винтовку, из-за которой наказали его родную деревню, убили мать, сестер... Флера с этой винтовкой прошел все эти ужасы, не выронил он ее и тогда, когда убежал от артобстрела, и не утопил, по горло пробираясь через болото, и вот он, видевший то, после чего на этом свете живут, как на том, – вот он плетется, сжимая эту винтовку, идет, как контуженный – он и есть контуженный, только контужена у него прежде всего душа, и вот Флере попадает под ноги портрет Гитлера... В это мгновение всё зло мира сошлось в этом недочеловеке, в этом исчадии ада, в этом чудовище, которое не заслуживает жить, которое не заслужило явиться на свет и должно издохнуть в жесточайших мучениях, что только можно и нельзя себе вообразить. Тогда Флера наводит на Гитлера винтовку и стреляет Гитлеру в самое лицо, – и тут мы видим кадры из хроники: с каждым выстрелом вместе с Гитлером всё, что он сделал, как будто стирается, аннигилируется: выстрел – и нет нацистских маршей; выстрел – и Гитлер никогда не приходил к власти; выстрел – и не было ефрейтора, участвовавшего в Первой мировой; выстрел – и нет Гитлера-школьника –

и вдруг появляется маленький Адольф на руках у матери. И Флера не стреляет.

Флера мог бы вспять повернуть историю, чтобы всего этого не было, – лишь один спуск курка, но Флера не выстреливает, и именно тогда в одном лишь шаге останавливается от гибели.

Чтобы спастись, надо помнить, что каждый из нас в шаге от гибели, – тогда со слезами благодарности можно радоваться тому, что твоя душа – существует. Мне открылось это, когда я сидел один у окна в темном самолете и читал «Исповедь» Толстого. Оля со спящим Леовой сидели отдельно, а я то и дело отворачивался от книги на два различимые тучи.

В самолете я всегда люблю сесть у окна и очень не люблю, когда его закрывают, закрывая глаза на четырьмя-минейное чудо – человек летит по воздуху. Это особое чувство, а тут еще самолет подбрасывало, и я с тем большим волнением и любопытством поглядывал за борт.

Когда я снова обратился к книге, на страницах VII-й главы, в которой Толстой на разные лады повторяет столь нелепую для меня

мысль о бесцельности жизни, – дикую, я бы даже сказал, мысль, особенно с тех пор, как не стало двух моих родных людей и у меня родился сын, – я на страницах этой седьмой главы сделал запись: «Я лечу в самолете, и мне трудно поверить в реальность за окном и что я отделен от смерти лишь этой вот тонкой стенкой. Extra muros...»

То было важнейшее мое переживание за долгое время; месяц спустя оно утвердилось, когда мы снова летели всей семьей и я испытал абсолютную эфемерность времени и полета над океаном: заботы о быте съели и полет, и океан, и время. Как и тогда, я всякий раз напоминаю себе: важно не забывать, особенно когда мне плохо, что я и мы – все в нашем картонном домике, составленном из уюта и всевозможных треволнений, отделены лишь тонюсенькой стенкой от чего-то такого, что может в одно мгновение сломить этот домик. Но отделены не только и не столько от животной смерти – отделены от человеческой (сверхчеловеческой?) жизни.

И вот всё это подводит меня к мысли: удивление, по сути своей, глубоко неатеистично. Таков остраненный взгляд на мир. Он не довольствуется объяснениями науки, этой знайки и круглой отличницы; остраненянин слишком хорошо чувствует, что всякое «как» само по себе не может являться ответом-откликом, и потому продолжает недоумевать, совершенно по-толстовски: «Как же?! Да ведь...» Это остранение начинается с того, что человек, подобно набоковскому Цинциннату Ц., вдруг понимает, что вокруг него картонные декорации – иллюзорность по большей части безоговорочно принимаемого нами человеческого общежития. Сначала мертвая вода отстранения, которое развенчивает и развинчивает мир (деконструкция оперы или православного богослужения у Толстого, физической любви между людьми у Марка Аврелия); затем живая вода остранения – Пьер в плену у французов или мольеровский Сганарель. В ответ на науку своего хозяина: «Я верю <...>, что дважды два – четыре, а дважды четыре – восемь» (вот уж тебе и «верю» – «believe in science», а ведь Базаров умнее: «Значит, вы верите в одну науку? – Я уже доложил вам, что ни во что не верю»), – в ответ на эту науку Сганарель возражает Дон Жуану:

Что бы вы ни говорили, есть в человеке что-то необыкновенное – такое, чего никакие ученые не могли бы объяснить. Разве это не поразительно, что вот я тут стою, а в голове у меня что-то такое думает о сотне всяких вещей сразу и приказывает моему телу всё, что угодно? Захочу ли я ударить в ладоши, вскинуть руки, поднять глаза к небу, опустить голову, пошевелить ногами, пойти направо, налево, вперед, назад, повернуться...

Тут Сганарель падает, и наука в лице Жуана смеется над ним... Но только потом Дон Жуан падает сам, когда земля разверзается под

ним и его утягивают за собой черти. Но, конечно, это не аргумент для науки, и, конечно же, в мире с ядерным оружием этого не может быть, потому что не может быть никогда.

Чему же именно дивится Сганарель? Несоответствию между тем, как тело его функционирует, и тем, как это же тело – да как же это оно? – стоит только захотеть, его слушается. (Позднее, конечно, человек недоумевает: как так? Тело не слушается меня и даже помыкает мной?) Иными словами, Сганарель дивится несоответствию между данностью тела и неисповедимостью воли; можно было бы волю объяснить «с глаз долой – из сердца вон», но это не влияет на чувство воли. (Толстой называл это сознанием человека, глубоко личным, и противопоставлял разуму, который общ – как обща логика.) Удивительно именно это чувство воли, а стоит науке усомниться в чувствах, да еще в таком чувстве, фундаментальном для нашей человечности, сразу возникнет вопрос: как же это тогда ваша наука говорит, что опирается на чувственно явствующее? Нет, в лучших своих проявлениях наука Дон Жуана должна бы служить удивлению Сганареля.

Сганарелевское остранение возникает тогда, когда ощущаешь его, упираясь боком в стенку автоматизированной жизни, быта. Остранение это хорошо известно тем, кто растил детей, одним локтем погрязнув в быте, другим – касаясь бытия. Родителям, как и человеку, который беспрерывно летает на самолете, равно как и художнику, который умеет своим восприятием и в своем восприятии приостановить прекрасное мгновенье, – всем им известна субъективность времени и условность, договорность, хрупкость всякого места, ведь место – это (временный!) компромисс между материальным (не приравнять к «реальности») и человеческим (не приравнять к «субъективности»). Время временно, место перемещается, вещь вечна – но не в значении вечности, а в значении *веча*, и если место – временно как наместничество, то вещь залетна как весть.

Свято же место пусто не бывает. Поэтому, когда место, признанное святым, обвиняют в том, что вот оно пусто, а не свято, – как какой-нибудь только что с самолета сошедший турист в Храме Гроба Господня, – оно, это место, действительно таково, ведь со-бытия, которому причастен был бы этот турист, не состоялось.

Бог не находится в каком-то определенном месте. Во-первых, пассивный залог здесь неуместен: это Бог тебя находит и нисходит на тебя; во-вторых, определенное место – это тобой определенное, а это не твоего ума дела, и в-третьих, зачем Богу находиться, когда он, может быть, и не терялся? Если Бог вездесущ, то он *негдесущ*, а не вот-вот сейчас и не вот здесь вот, ведь он не среда (и даже не суббота), а неуловимый, как дуновение, переход между средами. Как прием, а не голая конструкция, Бог, который суть дух, вмещает в себя место, перемещаясь. Мы же наивно сидим на павианьих наших

задах, смотрим в окно и думаем, что раз мы со своею наукой выстроили этот самолет... Говорят, человека создал труд. Но славянский мой дух отказывается с этим мириться.

Сознание нача́лось с осознания,
что можно б мне совсем того не делать,
что делаю, долбя об камень камнем;
что деланье не всё необходимость,
а прихоть, значит воли торжество.

Сознание – уяснение самовластья,
божественнейшей воли выбирать,
съесть иль не съесть, зажарить иль сварить,
направо ли, налево ли пойти,
хотя еще не скоро мы смекнули,
что пригвождённы тягою к земле, –
а это мысли страшные рождает:
пускай сознание – сын альтернативы,
зазор меж единицей и нулем,
меж минусом и плюсом – но как вдруг
оно свобода рыбки застекленной
и то, что объявляется простором, –
лишь более вольготная тюрьма?

Природа прирастает до прерода
себя самой же в самоё себя.
Сознание – ее побочный сын,
сознание – убегающее тесто;
как дрожжи, разрастается природа –
вначале ширясь просто по земле,
затем до звезд пытаясь дотянуться
и для того прибегши к человеку.

Что человек? Квашня из категорий –
от жара прометеева огня,
любви питаюсь медом и гордыни,
растет доисторическая хтонь,
прорвать пытаюсь тело клейковины –
от жадности, но тут затвердевает
страдалец поминальным пирогом.

Сознание по себе само не диво –
не диво то, что тесто дрожжевое
само собою лезет через край, –

а диво, что дивимся на него;
пусть хтонь – существования причина,
но бытия причина – это Бог,
всещедрый произвол из ниоткуда,
синоним острающего чуда,
языческую дрожжевую хтонь
пресуществивший в хлеб наш днесь сверхсущный,
и столь же глад чудесный утолив –
не сытости, но радости воздушной.

Нет, самолет действительно выстроила наука – не Бог, но люди бы не стали ничего строить, не почувстуй они тонкой стенки между собой и миром – тогда-то на них и снизошло остранение. Но Мария испугалась и поспешила стать Марфой...

Такова мета-Марф-оза бытия в быт, необходимая затем, чтобы затем снова претворять воду в вино, а вино – в кровь. (Вину – в кров.) Когда мне плохо, когда я нечуток, когда понимаю, что душа моя в опасности, я всё ишу этой стенки, потому что стена – доказательство того, от чего она ограждает. Как доказательством свободы украинского народа и будущей свободы российских народов является кремлевская стена. Как доказательством сокровенно-личностного смысла является для человека его имя: для тебя – твое (подставь сам), для меня –

Посвящается Николаю Львову

Борис Фабрикант

* * *

Живой войны бессмертный полк детей,
Смешной, плаксивый, нежный, золотой,
Без маршей, флагов, лозунгов, властей
Идет, невинный, за другой чертой.

Не вырастут, одежда не нужна.
Лишь песня колыбельная слышна,
В ней вой сирен и самолетный гул,
Под эту песню смертный полк уснул.

Им жизнь и смерть уже не различить,
Не знать судьбу ушедшую на слом.
Ты б смог, Господь, глаза не отводить,
Встречая их за взорванным углом?

* * *

Куда же ты Господи смотришь мимо
Не успеаешь ко всем
Имя твое всеу имя
Не помогает совсем

И наступают ордою бесы
По образцу создавал
Их отлови из земли и леса
Поодиночке в подвал

Воя и взрывов над ними не надо
Пусть прислонясь к стене
Вечно сидят среди мертвого хлада
В голоде и тишине

Чтобы над ними светлые лики
Наших убитых святых
Плыли не видя их сопли и крики
До неземной высоты

Боже детей оживи и сразу
Имя свое назови
Помнишь первым случился Лазарь
Маленьких оживи

* * *

Там птицей сбитой влёт
Ключами дом звенит
Он больше не живет
Разорванный кричит

Еще плывет тепло
Но не поднять крыла
Калитку как перо
Уже сожгли дотла

И крикнуть не кричит
И клин не развернуть
Он в шутку был убит
Не долетел чуть-чуть

* * *

Свет какой над землей! Звезды свечек
Поминальных горят, не сгорают.
Это время стоит и не лечит,
Так живые себе говорят.

Слово «здравствуй» на месте прощанья
Как билетик – дожить до тепла.
На земле не осталось прощенья,
Лишь любовь не сгорает дотла.

Долго утро над городом тлеет,
Зажигает огни над стеной.
Горе глубже, но вечность мелеет,
Чтоб детей не накрыло волной

* * *

Жадно жалит густая крапива
В полосе неживой темноты,
Пробираюсь то прямо, то криво,
А хотел бы взлететь, с высоты

Увидать, вся цветными полями
Так красиво покрыта земля,
Что по ней бьют цветными огнями
Самолет, вертолет, с корабля.

Мне б сестру, чтоб крапивной рубахой
Превратила друзей в лебедей.
Мы б летали по небу без страха
И спасали убитых людей.

Не считая, спасая повсюду,
Чтоб детей удавалось укрыть.
Я умру, эту сказку забуду.
Им ее никогда не забыть

* * *

Вдруг возникает странный миг,
Как будто заново сложилось
Всё то, к чему давно привык.
О, Господи, скажи на милость,

Что это брызнуло вдали,
В небесной тверди, где окошко?
И расстояние земли
От неба сдвинулось немножко.

Как будто этот странный день,
С разбитым утром, необычен,
И сводит створки набекрень,
Из счёта вычтен.

Вернулись новые слова,
И звезды, словно сквозь дерюгу.
Но жизнь идет, как жернова,
Всегда по кругу

* * *

Опадет листва, рассыпет давнее,
Ветер унесет и хлопнет ставнями,
Как на старте выстрел в никуда.
Здесь подъезды записными книжками
Про места, где бегали мальчишками,
А потом умчались навсегда.

Не догнать, не захватить за хлястики,
Растворились детские ужастики,
Поцелуи разбросал вокзал.

До свиданья, все мои хорошие,
Оглянись, увидишь, мячик брошенный
До сих пор на землю не упал

* * *

С растопыренными крыльями
С опадающим пером
По шоссе с автомобилями
Босиком идем пешком,

Сверху дождь и снег, и молнии,
Снизу сбитое зверьё,
Веют птицы с виду вольные,
На ноге кольцо своё.

А толпа ползет потеряя
Друг о друга до дыры,
Было время, было пёстрое,
Только сплыло до поры.

Жизнь игрушка самодельная,
Подгоняли на глазок.
Слышишь, песенка смертельная
День и ночь стучит в висок

* * *

Там серебряной нитью прошиты
Сорок буковок на просвет.
Свет дымится, судьба позабыта,
Уплывают закат и рассвет,

Словно сбитые бревна скобами,
По течению выются плоты.
Ты про жизнь расскажи нам словами
Этой плещущей чистоты,

Ты про жизнь расскажи без обмана,
Если знаешь, откуда начать.
Но начало мы помним туманно,
А конец не хотим вспоминать

* * *

От погоста до погоста,
Где хранилища судьбы,
Перейти по жизни просто,
Только много лет ходьбы.

По тропинке через мостик,
За причалами затон.
Мы идем на праздник в гости,
Возвращаемся потом.

Птицы чёрточкой на небе
Как пометка «не забудь»,
Это о насущном хлебе,
Или просто что-нибудь.

И застенчивые звезды,
Как следы дневных забот,
Говорят, еще не поздно,
Всё до свадьбы заживет

* * *

Оставленное матерью пространство
Как призрак пребывает в тишине,
Невидимое мною постоянство
В природе вспоминает обо мне,

Мы вместе понимаем долю жизни,
Отдельные слова и странный жест.
Две лодки на качелях плавно виснут
По обе стороны, там хватит мест.

В одну и ту же реку на рассвете,
Где солнце очень медленно встает,
Вступают осторожно только дети,
А мама к ним на лодочке плывет

* * *

У окна подсвечник ханукальный,
За стеклом Крещение в стране.
Долгий путь, веселый и печальный,
Открывался в этой тишине.

Скрип упругих, длинных, звонких вёсел,
Славный порт, суровый древний храм
В праздничных огнях красив и весел,
Свечи, хор и сытый шум и гам.

И закатной кровью плещет море,
Масла в иудейском храме нет.
Бог не принимал участия в споре,
Только сохранил в ладонях свет.

И плывет история по датам,
Оставляя на причалах след.
Знает Бог, с чем мы придем когда-то,
Угадает, праздник или нет

Лондон

Валерий Скобло

* * *

Мне отец говорил, что война – кровь и грязь,
И другие отцы – своим детям.
Мы не верили: странно... какая же связь
Между нашей Победой и... этим?

Я не верил: война – это подвиг в бою,
Враг бегущий, знамена теряя.
Над могилой отца я в молчанье стою –
Умер папа 9-го мая.

Вижу снова – тоскливая жгучая боль –
Как сгущается сумрак над миром
В повторении вечном. Не скажешь: Уволь!..
Взять бы сил, чтоб не стать дезертиром

В этой новой войне. Как последний редут
Эта вечная фраза отцова.
Вот и новых детей на закланье ведут,
Чтобы кровью замазать их снова.

Разве скажешь Создателю: «Нет, не сейчас,
Дай дожить... убери этот морок...»
Принимай Божий Мир безо всяких прикрас,
Без условий и без отговорок.

Принимай... отвергай, как он есть – целиком,
Под оркестр, под военные песни.
Слышишь залпы салюта – и падай ничком.
Умирай... и с рассветом воскресни.

Мне отец говорил... я не верил ему.
Как всё это кончается скверно.
Нераскаянный, я погружаюсь во тьму,
Где его я не встречу... наверно.

АНТИВОЕННОЕ

В саду есть место не для всех.
Вот яблоня теснит орех,
А слива в угол жмет малину –
Но не стреляет клену в спину.

Рябины ствол из огнемета
Не поразит жестокий кто-то:
Ни клен, ни елка у сарая –
Им мысль и не придет такая.

В крыжовник не пулянут ракету,
Чтобы призвать его к ответу.
Свой как-то усмиряют норов
Без грозных нот... переговоров.

...Теснят, но не считают лишними.
И сосны не воюют с вишнями.

* * *

Те, кто уехали раньше и ныне –
Рай там, чистилище, ад.
Тамошний хлеб, может, горше полныни –
Нет, не вернуться назад.

Пусть потекут реки медом и млеком.
Нету земли позади.
Надо совсем быть пустым человеком,
Чтобы их ждать. И не жди.

Вот не летают уже самолеты,
И не идут поезда.
Что тут кручиниться? Что же ты? Что ты?
Завтра поймешь всё... о, да!

Завтра дойдет, что и эта разлука
Самой последней сродни.
Нет, не большее других эта мука:
Все мы на свете одни.

Не из гранита, нет, не из стали –
Мне ли судить бедолаг?
Те, кто уехали, те, кто остались,
Главный свой сделали шаг.

СЕННИК

Я сенник свой воздвиг
из сучьев, палок, веток,
Он высоты достиг второго этажа.
На мой прямой вопрос
он дал мне сто ответов.
Я перед ним поник, от дерзости дрожа.

Он в сумраке стоит
в тени, в углу участка,
Где ежики живут, и белочка гостит.
Он слушает меня, но говорит нечасто.
И больше шепотком,
весь мрачноват на вид.

Переживет ли он?.. Меня уж это точно.
А дальше наплевать...
а дальше – тишина.
Стишок он мне послал,
но это не нарочно.
Твердит он мне навзрыд:
сума, тюрьма, война.

* * *

Я никогда не стану политиком или военным:
Они – на одном, а я совсем на другом берегу,
Не стану ни депутатом, ни военнопленным,
А эзком – это запросто... это, пожалуй, смогу.

Если я вижу зверя, в него из ружья не стреляю,
Да и ружья не завел я – гори всё со всех сторон.
И вот, например, сегодня я подхожу к сараю,
Говорю негромко: крысы, подите отсюда вон!

Мне и спилить березу – не то чтобы дело простое.
Всё же она хоть и дерево, тоже ведь Божья тварь.
В отличии от многих, я знаю, чего я стою,
Невелика и цена. Подойди ко мне – и ударь.

НЕ КЛЯНИСЬ!

...не клянись вовсе: ни небом... ни землею...
ни головою твоею не клянись...

Матф., 5, 33-36

Присягни не кому-нибудь там –
Государю, чья суть не загадка:
Воплощению миропорядка.
Вон смотри – сколько слуг по кустам.

Присягни – говорим – присягни!
Не падет с головы его волос.
Мы в один его славили голос...
Трон его освещают огни.

Он – стена, всякой смуте отпор,
Воплощенье Закона и Власти.
Столько стражей... отборные части,
И у каждого – острый топор.

Присягни – и ступай со двора,
Не убудет с тебя от присяги.
Ты не лучше других: выпив браги,
Прочь иди, избежав топора.

.....

А Господь говорит: не клянись!
Ни стране не клянись, ни народу.
Верным будь лишь Ему год от году,
А от клятвы любой уклонись.

Пусть не требуют клятвы твоей
Самый главный начальник армейский,
Маг халдейский и жрец арамейский –
Все угрозы по ветру развей.

Пусть в оковы тебя закуют –
Для тебя эти клятвы запретны.
Для Того, чьи Заветы бессмертны,
Позабудь и тепло, и уют.

Укрепляй в себе утренний свет,
Ты рожден быть небесною птахой.
Ни в узилище, ни перед плахой
Не клянись. Помни этот завет.

* * *

Тот, кто пляшет весь день и поет,
Не замыслит дурного для власти.
Глуповат, может быть, он отчасти,
Но не полный совсем идиот.

Эту власть пережить хочет он,
Ничего в этом нету дурного.
И всегда таковых было много.
Он совсем в эту власть не влюблен.

Потому подпеваает весь день,
Оттого и готов к подтанцовке.
Но движенья его так неловки.
Не наводит он тень на плетень.

Это всё у родимых корыт
Знали все, но боялись огласки.
...И ансамблями песни и пляски
Весь Советский Союз был покрыт.

Санкт-Петербург

Геннадий Кацов

Роберт Фрост: времена года

метеорологическая проза

The woods are lovely, dark, and deep,
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,

And miles to go before I sleep.

*Robert Frost, Stopping by Woods
on a Snowy Evening*

Слова предисловия

В этом театре все пьесы написаны для одного актера.
Он одинок. Он неподвижен.

Он застыл в каком-то неопределенном месте, через которое проходит время. В этом времени всё неразрывно, всё вместе и сразу: горы и долины, реки и моря, конец пути и перспектива, день и ночь.

Через это место течет прошедшее время. Здесь всё возможное произошло, и всё окружающее давно состоялось. Здесь звёзды светят только потому, что они светили когда-то, в далеком прошедшем.

Миллионы и миллиарды прошедших пьес назад.

И вот он пошёл. Он чувствует шум зала, ему становится душно, он ощущает жар прожекторов и его пробивает пот. Он попадает в место, которое ослепляет, в котором есть верх и низ.

Через которое течет время настоящее.

Он идет между верхом и низом. Спускается в долины, поднимается в горы. Переплывает реки и моря. Находит тупики и погружается в ландшафты, которые постоянны в одном – они всё время меняются.

Меняются недели. Недели собираются в десятилетия. Он идет, учится, влюбляется, размножается, сталкивается, теряет, находит, проходит, уходит. В этом месте всё и только – настоящее, вместе со временем.

Здесь всё однажды, один раз, навсегда. Здесь звёзды светят потому, что они существуют, что они появились и есть.

И вот он попадает в место, в котором одинок и неподвижен.
Он застыл в неопределенном месте, через которое проходит время. Время будущее. Кроме него и завершенного сценария пьесы там нет ничего вообще.

Потому что будущее – это где тебя не будет.

Только одиночество. И то, что единственное одиночество – это и есть там, где и когда тебя нет, – это открытие настолько ярко, значимо и однозначно, что ни прошедшее время, ни настоящее уже не имеют значения.

Для того места они равным счетом ничего не значат.

И это сразу и навсегда успокаивает.

И с этим жить уже нельзя.

#гюставфлобер

Дождь начался с мелких капель, и маленький мальчик, выбежав на дорогу, собирает капли в ладони, смотрит вверх и счастливо улыбается. Дождинки словно задумываются перед тем, как упасть в ладонь. Они замирают в сыром воздухе, пауза длится так долго, что в зазор между каплей и раскрытой ладонью можно разглядеть и Александрийский маяк, и колоннаду храма с застывшей на пьедестале колонной Помпея, и регулярные городские застройки с парадной Библиотекой. Капля падает на поверхность ладони и растекается по ней акварельной лужицей, в которую погружены призраки затонувших в Александрийской бухте жилых кварталов, катакомбы Ком-эль-Шукафа юго-западной от Помпейской колонны, и пепел Библиотеки – она носила бы имя греческого поэта Константиноса Кавафиса, если бы не пожар, – не история, не пожар истории. Мальчик не понимает своей сопричастности этим странным городу и миру, но ему радостно оттого, что в Александрии идет дождь, что в центре эллинистической вселенной есть жизнь, и она прекрасна. И в ней не одиноко, потому что падают капли, и дождь всё еще продолжается.

Перед ливнем на небе появились торжественные громадные облака, и Рим утонул в сером тревожном воздухе. Альбий Тибул во второй элегии назвал этот город Вечным, и ливень прекрасно понимал, с чем он имеет дело. Он ударил мощными семью потоками по холмам, залил жилища на Палантине, Виминале и Целие, источив камни храмов на Капитолии и Квиринале, сравнив с поверхностью Тибра Авентин и Эсквилин. Ливень завис над Сервиевой стеной, став ее продолжением, и подобно водопаду, застыл в вертикали. С центра Форума это выглядело гигантской плоскостью аквариума, за которой облака нависли тяжелыми грязно-синими кораллами. Над ними появился акулий плавник, как предвестие акулы, и его контур был освещен короткими неоновыми вспышками. Вслед за ними гром

выбрасывал ужасающие звуки мощностью в сотни симфонических оркестров. Плавник акулы озарял на мгновение небо, и оно заглатывало городки Марсового поля, вдоль Апиевой дороги, за Порта Капена, подбирались к вечному Пантеону и топило в сплошных ливневых струях грандиозные римские термы. Тот, кто был свидетелем этих осенних мистерий, ощущал свою малость и свою, в то же время, неявную роль в сей нескончаемой пьесе. Купол Собора Святого Петра стал зеркальным, отражая игру великанов-лицедеев, и можно было любоваться этим часами, сутками, всю жизнь, постепенно осознавая связь собственной малости с невероятных размеров Колизеем, который был всего лишь отражением небесного Колизея, как и весь Рим, ставший отражением высшего Града.

Снег опустился на Пирнит и Пендели, уже занес вершину Эгалео и подобрался к Имитосу. Ветер нанес сугробы на мраморные ступени Парфенона, выбелил Акрополь, одел в саван Афины Парфенос, отчего статуя Фидия только выиграла в серебряных январских лучах. Молодая афинянка из Керамика бросалась снежками в низкорослые оливы, чьи ветви напоминали праздничные белоснежные гирлянды. Казалось, что все Афины, все жители полиса – в гостях у случайной для этих мест метели. И будто гости собрались за накрытым шуршащей скатертью столом, и сейчас начнется пир, возникнет театральное действие, в котором юный бог Дионис сделает людей счастливыми, Тантал расплатится за все земные прегрешения, Сизиф, сын бога ветров Эола, примет кару, и богам не за что больше будет никого наказывать, а Афины Палладу предстоит безгранично любить за воинские утехы. И какое счастье, что есть на свете Афродита – прекрасная, золотоволосая богиня любви и красоты. От этого становилось на душе спокойней, и чувство защищенности афинян не покидало.

Зной стоял везде уже несколько недель, торжественный и печальный, как памятник Неизвестному солдату. В который раз вспомнилась фраза Флобера: «Богов больше не было, и еще не было Христа, это единственный момент, между Цицероном и Марком Аврелием, когда человек был одинок». В жару, на солнцепеке, куда и не выйти по своей воле, одиночество неиссякаемо и лишь увеличивается, торопясь за столбиком ртути в термометре. Август испепеляет, оставляя ожоги и руины. Миражом появляется на опаленном небе маленький мальчик: он радуется дождю – этому майскому явлению счастья на земле. Мираж мутнеет, подергивается мелкими волнами. И исчезает. Никогда не будет этого мальчика, и того дождя в детстве не будет, и всё это уйдет навсегда с чьей-то ушедшей памятью. Когда-нибудь. Тот самый мальчик, конечно, не догадывается, что это и есть

одиночество. Единственный момент, когда человек был одинок. И будет. Мальчик еще не представляет, что этот момент теперь продлится в вечность.

Р. Мороз-1.

Очевидно, поскольку дед Р. Мороз умер 29 января, в его судьбе всё так сложно и сложилось. Принято думать, размышлять в саду в полуденной беседке, беседовать полулежа полусшепотом у вечернего камина про то, что смерть всегда подводит итог, ставит предел жизни, служит чем-то вроде точки в конце последнего предложения. Но это вряд ли. Ее служба, как и всякого секретного агента, в другом, поскольку смерть – само финальное предложение с предваряющими его абзацами и есть, сама и есть предложений фактурно-лингвистическая суть. Она выстраивает части речи в том частном порядке, который называется для шахматных фигур «шахматным», а для фигур смертных, лицемерно, «волей свыше». И тот, кто умирает весной или летом, оглядывается в последнюю минуту, будто участником марафона на пройденную дистанцию, видя счастливые знаки и утешительные совпадения, родных и близких в тепле и уюте, все вехи и даты своей биографии, как покорную стаю улетающих вслед за «бабьим летом» птиц: на райский юг, подальше от атмосферных осадков подступившей адской осени. Проще простого.

зима зрителям в зал в растерянности: нашли крайнюю?

А тот, кто умирает осенью или зимой в свои 88 лет, еще не осознает свой выбор, не готов представить, что тягомотина эта – по причине морозного, мертвого сезона твое пролетевшее прошлое: смерть детей во младенчестве, дети, покончившие собой, и дети, сошедшие с ума, и дети, умершие при рождении внуков, и жена, не пережившая инфаркта, и бездонное вирджинское болото Гнетущее, не принявшее в свою трясиину, поскольку еще предполагались в грядущем жуть и пустота расставаний с самыми близкими. Великие смертные, покидавшие этот мир зимой – Генри Джеймс, Фицджеральд, Стейнбек, Сэлинджер, Джозеф Хеллер, Апдайк, Джойс, Беккет, Элиот, Достоевский, Бродский – испытывали угрызения совести, страдали от свойственного им высокомерия и самомнения, по-обывательски кашляли от простуды и не могли заснуть натошак, тряслись от ледяного утра, последнего в своей жизни, и никто не подошел к ним и не расстегнул пуговицу на стянувшем горло вороте рубашки.

по простой причине: уходили в зимний сезон.

Так птица влетает в сизое январское облако, расплывшееся на полнеба, когда до нее интуитивно доходит, что облако это не перелететь, его мёрзлая взвесь не дает привычно размахивать крыльями, они теряют эластичность, становятся всё неуправляемей и

обособленной от дрожащей от ужаса птичьей бкшет (*ненамеренно соскочил палец на киборде вправо на одну букву, прошу прощения*) тушки.

Если воспользоваться взятым из физики принципом суперпозиции, то это означает, что умри Р. Мороз весной, в его Книге жизни не было бы юношеской печальной главы про болото и ставших биографией двадцати трех суток в поисках самоубийства. И дети остались бы целы, и с супругой Элинор Уайт они умерли бы в один час, в один день – то есть в ее День 20 марта, когда Элинор и скончалась от инфаркта. Весной. Правда, тогда Р.Мороз отправился бы в лучший, по мнению очевидцев и, естественно, по свидетельским показаниям, из миров в возрасте неполных, без недели, 64-х лет – уже с тремя «пулитцерами» без последнего, четвертого, и не дожив до самоубийства сына.

зима подмигивая играя в «четвертую стену»: как ни крути и ни передергивай – значит, зимой.

Январь

Часа четыре идет снег. До полудня он еще разминался, сбивался из одиноких белых катышей в полупрозрачные полоски на плотно сбитых досках балкона. Бледные просвечивающиеся под ветром оборванные линии на буро-коричневом.

Затем снег стал сыпать по-настоящему. Торжествуя, подтягивая пеший аръергард и всадников на белых конях из резерва. Уже предвидя победу, оиущая ее холод на вкус и, растекающуюся по всем поверхностям одновременно, белую кровь на запахах.

Только одного не мог предположить торжествующий сегодня снег: пока он падает, захватывая мосты, телеграф, парки и жилые районы, температура воздуха неуклонно поднимается.

Сейчас, когда белая конница, сверкая шапками, галопом влетает в город, в пять часов вечера температура – минусовая по Цельсию и около 28° по Фаренгейту. Но после заката, уже в семь вечера – 34°, в 10 часов вечера – 39° (плюс два по Цельсию), в полночь – 43°, а в 6.49, в рассветный час, – 48° по Фаренгейту.

И уже в 10 часов утра снег ожидает массовое, страшное поражение, после которого будет не оправиться, не выжить, исчезнуть навсегда – 54° по Фаренгейту.

Это крах. Это уничтожение всей пехоты, всей конницы. Всего личного состава армии.

Это означает, что все орудия, оружие и итыки будут плавиться и исчезать прямо на глазах. Это – пропажа всего провианта, всех тыловых служб и войск спецобеспечения.

54° по Фаренгейту в 10 утра – это крушение планов и надежд, катастрофа всей военной кампании и гибель главнокомандующего с генштабом и документами под грифом «Совершенно секретно».

В конце концов, это дождь вместо снега, что не только поражение, но и предательство по отношению к тем, кто верил в снегопад и в победу многочасового бурана.

Но сейчас, в пять вечера, падающий неизменно снег ничего о своем ближайшем будущем знать не может. Он сыплет, не ослабевающая, и знает, что победа – за ним.

То, что в ближайшие часы наступит потепление, уже после заката, в январе –

нелогично, труднообъяснимо, противоречит житейским опыту и правилам.

Это парадоксально и, в конце концов, способно подорвать веру в Зиму. Как писал Кьеркегор: сатира – это насмешка человека над природой, юмор – природы над человеком.

Похоже, чувство юмора природа не теряет и по отношению к снегопаду. О чем ему предстоит узнать через считанные часы.

Р. Мороз-2.

Отчего же! Мы все это прекрасно помним по его краткой биографии, по школьным учебникам и хрестоматиям университетского курса, по рассказам изыскателей и журнальным подборкам, которые не всегда о высших материях, но и болотных топей не чужаются с их сероводородными испарениями, с их выделениями метана из болотных же архидей и пузырьками с летальным газом при каждой неустойчивой кочке.

Мы помним, что если бы жили и 29 января умирали в пригороде Бостона – к примеру, в массачусетском Салеме, в самом заповедном и готическом уголке Новой Англии, то главным для каждого из нас стоял бы вопрос: ты потомок ведьм, сожженных на кострах, или из тех, кто эти костры старательно выкладывал по принципу каменной печи? То есть учитывая сквозняк, образуемый разницей между температурой огня и давлением воздуха, и естественным поддувом ветра. Но мы не из пуритан, учинявших домострой (слава создателю, и не из скандальных филадельфийских квакеров), и не из ковбоев, находящих простую утеху в Техасе при набрасывании лассо на бычий рог или стреножа строптивного коня. Мы не формально фермеры из Нового Гемпшира, и если унылое болото Гнетущее распространилось от Северной Каролины до Вирджинии, то мы понимаем: где бы еще сводить счеты с жизнью от неразделенной любви, почему бы не утонуть, как не в таком утопическом, мрачном месте.

Осенью 1894 года Р. Мороз получил очередное *нет* на предложение о женитбе от барышни, с которой учился вместе еще в школе. Предложение было не длинное, без вводных предложений, повторов и слов-паразитов, не настолько лаконичное, как ответ, но не вызывавшее скуку длиннотами и излишней комплиментарностью. Такое

предложение, которое можно даже процитировать по памяти: «Элино́р, хочу жить с тобой, воспитывать наших детей и любить тебя до последнего дня. Ты и есть моя дестинальность – судьба. С богом, с надеждой и с любовью, твой Р. М.».

Получив уже не в первый раз ответ *нет*, – мол, поскольку стремлюсь закончить Университет имени Святого Лоуренса, да и для прочного брака пока недостаточно у нас финансов, навязчивый жених с многолетним стажем уходит в тоске из дома. Мы знаем, что несколько дней он добирался до вирджинской части болота Гнетущее, с идеей пропасть там навсегда. От места встречи с Элино́р, Р. Мороз пошел, куда глаза глядят, и вышел к железнодорожным путям. Он проследовал мимо своей станции, сел на поезд на следующей станции и вернулся домой, чтобы сразу отправиться на ж/д вокзал. Утром 6 ноября 1894 года он купил билет на поезд до Бостона, откуда выехал в Нью-Йорк, где сел на торговое судно, идущее в Норфолк, Вирджиния. Выйдя в Норфолке, Р. Мороз пошел в сторону деревни Глубокий Ручей, до которой было около семи-восьми миль пешком от станции. Если дальше идти, спотыкаясь, вдоль канала, то это – самый короткий путь к болоту, названному в этих краях Гнетущим.

Чтобы уже никогда и ни к кому не вернуться назад.

Осень выдалась холодной, и болотные химеры скулили от простуды, а местные водяные, подражая волчьему вою, пугали суицидального одиночку по ночам. Днем мертвые листья ползли по рыжему хрустящему мху, кучами подбрасываемые ветром под кусты орешника, заметая голубику и карликовые березки, проросшие на отложениях влажного торфа, а под ним разлагался уже которое многолетие озерный ил сапропель.

Р. Морозу было двадцать лет – самый цветущий возраст для романтиков и самоубийц. Это ведь известный некуртуазный жест в романтизме: покончить с собой, и пусть она, неразумная, отказавшая и тем самым неверная, будет наказана на всю жизнь. Пусть она страдает днями и ночами, перебирая в одиночестве пряжу днем и письма ночью, в муках непощения взбивая мокрую от слез подушку. Умереть так, чтобы она, живая, при таком наказании завидовала ему, безвременно усопшему.

Мы всё понимаем. И сентиментальные страдания юного Вертера (к замужней, в его случае, фройля́н), и массу романтических казней в писаниях самого экзотического свойства, когда герой загоняет себя в сюжет, из которого выпутаться не может – только погибнуть: ушльв в океан, бросившись под поезд, разогнав автомобиль перед стеной, дубом, или, с не меньшим ущербом, ожидая под яблоней и сев с остриженной головой под крупными твердыми яблоками, облив себя бензином перед зданием местной пожарохраны и медленно поднося горящую зажигалку к волосам на груди, сорвавшись с обрыва, выпив

яду, наглотившись антидепрессантов, вроде фенозепама или реланиума, оторвав себе череп резким ударом в челюсть снизу, вспоров осколком бутылочного стекла вены и представив себя в заполненной водой ванне сообщающимся с ней сосудом, проколов сердце ножом stainless steel для резки бумаги и увидев себя Маратом, просипевшим: *A moi, ma chère amie!*, отказавшись от воды на пять дней, и на столько же от дыхания, пробив висок молотком, выйдя в центре Гарлема с плакатом «Факниггерз», открыв во время полета дверцу аварийного выхода в самолете, бросив в ванну, наполненную водой и собой, что-нибудь из включенных в сеть электроприборов, разорвав себе сердце от страха, раздевшись донага и обледенев на морозе, добравшись до Дамаска с израильским паспортом, втиснув голову в микровейв, в канистру из-под майонеза, повесившись в дверном проеме, намотавшись в поисках голодного дикого гризли и, наконец, выйдя безоружным перед ним в апреле на тропе в Йосемитском национальном парке, выпав из окна мансарды под изломанной черепичной крышей, позволив ротвейлеру себя загрызть, удавившись газом, бесшумно выпускаемым безинжекторной горелкой, начав угрожать игрушечным пистолетом издали полицейским, плотно придавив себя упавшим платяным шкафом, намазав тело мясным фаршем, сразу связать себя в подвале и быть съеденным крысами, выстрелив в висок, разогреваясь перед финальным щелчком курка игрой в «русскую рулетку», подобрав металлический прут такой длины, чтобы дотянуться до проводов линии высоковольтной передачи, подавившись куском ромштекста, а то и аквариумной рыбкой, изысканным сэппуку, вспоров живот ритуальным кинжалом, или приложив все к солнечному сплетению – в случае дружески расположенного к самураю кайсякунина, расположенного рядом с мечом для обезглавливания, то есть вроде бы силою трагических обстоятельств уйдя из жизни, что еще мучительней для намеченной жертвы неразделенной мечты.

Но – надо же! – из такого разнообразия видов и способов покончить с собой, Р. Мороз выбрал позднеосеннее болото.

Небезопасная игра по обмену ролями: жертва суицида делает жертвой и передает вину причине своего суицида. Так озадаченный клоун Эрос покидает арену, на которой появляется безрадостный ряженный Танатос. Он будет рыдать, вспоминая, на какие беды обрёл его компаньон, и уже не улыбнётся до конца представления.

Занавес

Февраль

Погода с утра – врагу не пожелаешь.

Температура около 0° по Цельсию. Серое набрякшее небо. Промозглый, гриппозный воздух.

Похоже, именно такое состояние природы называется мразь.

Снег неуверенно опускается на землю, налипает на обледеневшие ветки и, «впав в ничтожество» (Тэффи), размокает до невротического состояния лужи.

Понятно, афганец в такую погоду афганскую борзую на улицу не выгонит, хотя и птица-голубь на голову не капнет: голуби прячутся на карнизах домов, поглубже под укрытие крыши.

У Ролана Барта: «В акте чтения постоянно сменяют друг друга две системы: посмотришь на слова – это язык, посмотришь на смысл – это литература».

Не знаю, сколько снега сегодня обещают метеорологи, но идет он с утра с какой-то неослабевающей яростью, будто напáдает его на катастрофические два фута. Ветер с воем подхватывает снежинки, разбивает их об окна, стирает об асфальт, протаскивая по цепкой его поверхности.

Ты – снег. Ты несешься сверху на Северное Нью-Джерси и на Нью-Йорк по соседству, падаешь ангелами на Новую Англию. Ты белый, яркий, праздничный. Ты – коллектив в белом, визжащий от счастья и страха на «американских горках». Ты – белый танец, перескакивающий с крыши на крышу.

Ты – снег, и всё небо в колких, с ума сошедших от бешеного полета точках, – это ты. И засыпанные дороги, дома, кусты и деревья, балконы с летними креслами и столами, еще не ставшие массивными белоснежными кубами, шарами и прочей небесной геометрией-утварью – это ты, снег.

И тебя выпадет 60 см. Так рождаешься, взрослеешь, влюбляешься, путешествуешь автостопом, куражишься, смеешься до упаду над анекдотами, спускаешься с горных зимних спусков, катаешься на санках детей, пьешь виски до утра, читаешь запоем, смотришь свою «Татарскую пустыню» под леденящую музыку Морриконе, проживаешь жизнь, надеясь, что недаром, не пустяк, что свою – и выпадаешь в холодный и темный параллелепипед, примерно два метра на метр. Выпадаешь в свой 2x1, как снег – в свои предстоящие 2 фута, что и есть 60 сантиметров.

Ничего сентиментального. Напротив: зимняя проза жизни.

#паульцелан

Свет заполняет пространство целиком и сразу. До рассвета любые контуры едва различимы. По ним можно догадаться, что у ночи есть хищная глубина и скрытый объем, однако с первым солнечными лучами свет распадается на несколько видимых слоёв.

Он становится низом, с росистой травой, еще разобранными конструкциями кустов, сразу распаренным асфальтом, тонущими во влажности транспортом и пешеходами, беличьими фигурками с орешками и пролетарскими муравьями на их ежедневных стройках,

мелким сором и крупными предметами, вроде мусорных корзин, небольших киосков или уложенных в стопку деревянных брусков в соседнем дворе.

Свет – скорее машинная смазка для всех предстоящих в дневное время родственных связей, кинематических связей и передвижений, нежели сливочное растопленное масло, покрывшее черный ломоть земли.

Свет превращается и в золотистую августовскую середину, в тающую на жаре бисквитную начинку из ромового крема с кусочками грецкого ореха, фундука, бабочками из варёной сгущёнки, вкраплений из шоколадных домов и вылепленных, словно настоящих, деревьев из окрашенной карамели, с привкусом апельсиновой цедры и ванили.

И свет заполняет аквамарином верхний слой, по которому плывут гигантские взбитые сливки и фигуры из заварного крема, пышнотелые и в своих метаморфозах меняющие формы. Там же застывает парящий орел, накрывший тенью и город, и летнее утро. А дальше свет упирается в черный куб. Он зависает над орлом – и леденеет, застывая в потоках из черного хрусталя, в которых мигают крошечные, удаленные на бескрайнее дно, морские звёзды. Их мириады, они излучают другой свет, но его холод не касается слоёв сегодняшнего утра.

Утро пройдет, день пройдет. С закатом всё снова исчезнет, растворится, как сливки в черном кофе. Растает, растечется, как заварной крем в августовском палящем эное.

– Сейчас-то ты понимаешь, что всё, выше написанное, всё, что уже состоит из воспоминаний, впечатлений и букв-насекомых на белой поляне экрана, – и есть четвертое измерение. В нем, в отличие от обычного мира трехмерного, ничего никогда не меняется. Всё подробно описано, зафиксировано раз и навсегда, произошло, случилось, – и ради этого, вероятно, рождены искусства. Ты только представь: четвертое измерение и есть запись того, что происходит в трехмерном мире. Оно питается реалиями и состоит из описаний предметов и событий: в литературе, музыке, фотографии, изображениях в красках и грифелем, в хореографии, компьютерном виртуале. Оно нуждается в (погу)стороннем наблюдателе и его единственная, должно быть, цель – пятое измерение: прочтение кем-то записей и воскрешение их в памяти.

– Ты хочешь сказать, учитель, что запись о зное и засухе, равно как обо всех сразу египетских казнях; запись о дожде, равно как о мистическом всемирном потопе; запись о снегопаде, равно как о ледниковом периоде, который длился миллионлетиями, – всё это, руко-

творно либо природно, записано в расчете на зрителя и слушателя, на его впечатления и память?

– Это я и хочу сказать. Пятое измерение и есть то, что остается после чтения, прослушивания, просмотра. Так же пища преобразуется в энергию, в жиры, в кал, в глюкозу. Дома, какие бы игрушечные они ни были, собираются в города; города получают имена – Фивы, Афины, Капернаум, Константинополь, Рим, Александрия; сюжеты о городах и их имена входят в книги, в симфонии, в либретто, в летописи. Их авторы становятся смыслами в слоях исторического времени.

И когда мы произносим *гомер* – герои эпоса возникают в пятом измерении, где всё сразу существует, от первой главы «Элиады» до последней главы «Одиссеи», и действие длится во все тысячелетия одновременно. А когда мы говорим *фидий*, все мыслимые скульптуры, не только из золота, мрамора и слоновой кости, не только древнегреческие, не только их реплики древнеримские и последующих веков, сохранившиеся и не спасенные, – прочно стоят на своих поста-ментах в слоях общей памяти, в наших представлениях о них.

– И это можно удержать словами, фразами, знаками, учитель?

– Тезаурусом. Общим нашим и тех, кто сейчас нас читает. Тезаурусом. Словами, которыми мы с тобой мыслим. Которыми говорят, выделяя их и поглощая, слой за слоем, как пищу. Которые в эти минуты в нашей трехмерности уже по очереди произнесены. Они становятся четвертым измерением и уходят, благодаря нам, в пятое.

Обрати внимание: их уже нет с нами. Они уже там, где мы ими становимся. Посмотри на эту строку, дочитай ее до конца: там, где мы уже ими стали.

– Я не верю, и не могу поверить в это, учитель.

Р. Мороз-3.

Но могли бы вы вообразить болотистую местность как сцену под занавес для ухода из жизни? Мы интересуемся, хватило бы у вас фантазии покончить с собой среди вонючей хляби, тошнотворного торфа и впечатляющих воплей выпи, где-то между захолустной Вирджинией и нескончаемой Северной Каролиной, в туманных декорациях, вроде норштейновского «Цапля и журавль», среди ведьминых трав и потенциально готового воспламениться грунта, как в описаниях у Антигона Каристского (240 лет до н.э.), Плиния старшего (46 г. н.э.), Тацита (100 г. н.э.)? Или же способен на такую погибель только поэт с тонким эстетическим чувством поэтизации распада и гниения, способный там, где язычник видит болото, в котором бьют родники, обнаружить, как христианин, родник, путь к которому преграждает болото?

Мы отдаем себе отчет в том, что сама по себе параллель, выстроенные в едином синонимическом ряду лексемы *болото* и *общество*, способны привести поэтическую душу в реальную топь и

трясину, для чего даже нет необходимости в первоначальной истории с отказом любимой в женитьбе и вытекающей из этого кончиной всех надежд. Общество само по себе и есть болото: из болотной руды получают оружие, из голубоватых с рыжими подпалинами загадочных огоньков на закате происходит освещение – и вот откуда этот желточный клей в уличных фонарях спящих городов и поселков; из торфяных запасов обогреваются дома городов и поселков, а тлетворные запахи недоупотребленной пищи наполняют мусорные баки поселков и городов, чьи жители влачили и влачат свои дни в болотном застое вместе с их горсоветами, бургомистрами (с призывом «осушить вашингтонское болото!»), бургерами, гамбургерами и домашними животными, часть которых – домашние собаки, просыпаются по ночам и воют болотным филином, а чаще – в подражание болотной собаке Баскервилей. Уже одного представления о твоём окружении, как о смердящей вязкой субстанции, бывает достаточно, чтобы покинуть эти края самым суицидальным образом... но нашему герою этого было мало и он, дождавшись очередного *нет* от любимой, выбирает топографическую чистоту болота, всегда не свободную от навязанных всемирной историей ассоциаций.

Болото – как метонимическая фигура – синекдоха по отношению и к давлению со стороны гнилого общества, и к вызовам самому поэтическому субъекту и его телу. Мы всё умеем объяснить, но совсем другое дело – это всё понять.

А вот вы вдруг поймите, что болото кого угодно готово всосать, только не поэта. Верней, не такого поэта, который внутренне там, где щекочат нервы и конструкция грудной клетки выбрасывает несущие ребра храма, а позвоночник геометрией своей убеждает глаз, что это готический собор с колокольной в гудящем объеме черепа, однако сейчас речь не об этом, – о том, что такой поэт, которому главное создавать стихотворения, поэмы и мистерии, нанизывать одно на другое день за днем, как звенья позвоночника, как группирующихся птиц, покидающих небо после бабьего лета, не боится ни болота, ни суеты за его пределами, то есть в политико-социальной Ойкумене, не больно страдает и сострадает, когда может и происходит всякое: в образах потеря, бед, мук, трагедий, но ему ничего не страшно, что бы ни произошло, а страшней всего – потерять вдохновение, ту самую силлабу или вспыхнувший голубым пламенем оммаж, или звук, вот – *звук*, который и есть сгущение атмосферы таинственности, как в «Бестии из болота» А. Ф. Мортимера, в «Оборотне из болот» Лоуренса Стайна. Вот этот звук если потерять, то и жизнь ничего не стоит, и дети, конечно, стоят, но если потерять тот звук, то значит ничего больше никогда не напишу, а это катастрофа, и это не то, чтобы хуже смерти детей и собственной гибели на болоте, но что тогда – страх болота по сравнению со страхом потери этого Звука?

Вот такого широкомасштабного поэта болото и не возьмет, как ничего его не берет, ведь и так он в пограничной трясине между своим и чужим мирами, миром живых и мёртвых, в разлитой топи всеобщего влажного женского, которое и есть твоя хлюпкая супруга вокруг, и застойная муза рядом, и смерть-жена навсегда.

Для такого большого поэта смерть – это то, что может случиться, но утонуть в болоте ведь не самое страшное. Страшное – это если болото вытянет из тебя слова, как в пыточной сухожилия щипцами; каждое из ударений высосет в свою вязкую тину, словно жидкий мозг из кости, едва явившуюся рифму схватит крепкими челюстями бобра и утащит в поросшую мхом запруду, которой млекопитающее восхищается вслед за А. П. Чеховым: «Что за овраги и болота! Боже, как хороша моя родина!» Вот что есть смерть для такого большого поэта, а вовсе не осиянная осенняя мстительная жижа под ногами.

А вдруг вы еще сомневаетесь, выживет ли он? Не должен пропасть (см. выше). Мир изменился с тех пор, как Супермен перестал мотаться по небу и стал писать в рифму, а потом, устав выручать слова, начал сочинять белым, как болотная легкая пушица, стихом, а затем, удовлетворяя адреналиновый голод, перешел на верлибр, который опасней водяных крыс, хищных росянки и пузырьчатки, вместе взятых и в гербарий сложенных.

Эй, болото, береги свой берег! Эй, берегись, болото, берсерки не сдаются!

Март

Сегодня его последний день на Земле.

Всякий, кто будет о нем вспоминать, прежде всего расскажет о его молодости и красоте. Он был юн, как первый месяц весны, и как многие молодые люди – безрассуден, смел, открыт. Наивен до такой степени, что нередко зима, возвращаясь по этому случаю из небытия, ставила его на место внезапными и недолгими снегопадами.

Он был поразительно хорош собой. Божественно хорош, что не могли не отметить на Олимпе: солнечен, свеж. С четкими, классическими чертами уходящего в прозрачную перспективу весеннего рассвета. С запоминающимся, лучащимся взглядом чувственного мартовского заката.

Он и почками был прекрасен, робко распустившимся в еще прохладном мартовском воздухе. И легкими, чистыми, прозрачными облаками. И нетронутой алкоголем печенью, теплой, восходящей на востоке с каждым днем всё раньше и жарче.

Чтобы окончательно не впасть в натурализм, повторю классика, сказавшего, что в нем было прекрасно всё: и лицо, и одежда, и душа, и мысли.

И сегодня боги забирают его к себе на небеса. Ежегодно повто-

ря историю о юноше Ганимеде, который из-за своей необыкновенной красоты был похищен Зевсом. Там, на Олимпе, ему была дарована вечная юность, и он был назван «виночерпием».

– Я столько сделал, расчищая землю от снега, убирая сугробы, сбивая сосульки, вырисовывая проталины в саду и парке, охраняя подснежники, даря тепло, увеличивая день, неся весну. Почему? – спрашивает Март на небесах,

– Это всё теперь Апрелю, – отвечают боги. – Он завершит, наполнит, утеплит.

Именно так: всё, что сделал, – Апрелю. Всё, что будет и всё, кто ты есть, – богам.

Но боги не пьют вина, и виночерпий подает им нектар и амброзию. Нравится ли ему служить, подносить, убирать? Это ли счастье – несравненная красота, благодаря которой ты стал слугой всех господ?

Кто его спрашивает!

31 марта его заберут на небеса. Все его труды, достижения, реализованные мечты достанутся апрелю, а сам он – богам. Навсегда, без надежды на возвращение в весну, в восторг наступившего праздника тепла и света.

Хорошо ли служить богам? Сегодня он еще об этом не знает, но завтра наступит первое апреля – и на этот вопрос не сможет ответить здесь никто.

Равно, как и вчера, никто не мог ответить. И позавчера.

И в далеком, из предстоящего, январе...

А дальше – февраль с его морозом и метелью.

Там вообще все молчат. И ни о какой весне представления не имеют.

Р. Мороз-4.

«Боль, Отто! Какая же это боль, Отто!» Еще до появления синематографа, и будто предощущая роль Германии в мировой истории следующего века, Р. Мороз опирался на палку, подтягивая ноющую в голеностопе правую ногу. Он остутился, правдивей бы сказать – провалился в смрадные, по колено, ледяные помои вчера на закате, и час от часу, с каждым шагом боль становилась всё нестерпимей. Откуда взялось это дойчланд-палиндромное «отто», было уму не постигнуть. Разве что если описать помрачение этого самого ума ввиду окружавшей удушливой экосистемы. Она выпускает повсюду трупные газы, как осьминожки щупальца во время охоты, – и они прилипают вонючими присосками к гадам, жабам и болотным лягушкам, к багульнику и осоке, вытолкнувшим себя из мха сфагнома, который жить не дает, затягивая в жижу все большей и глубже. Затмение разума, отравленного испарениями ядовитой топи, порождает хтониче-

ских чудовищ, которые на болотах живут, кормятся болотом и лакомятся всяким несчастным, потерявшим тропу. Как чей-нибудь иприт, низко стелется убийственный туман вдоль мшистой поверхности, и Гекатонхейр в виде многоствольной многобашенной танковой бригады, визжащей гусеницами и отрыгивающей выхлопными газами, выбирается на случайную топкую елань и катится медленно, медленно, плавно, как присьёмках, рапидом, то есть, танки, плывут, как бы в невесомости, потеряв, силу гравитации, поостепенно, наползают, съезжают, на наблюдателя, и два шага, остаётся до наблюдателя, шаг, остаётся, всё, и, такая жуть, скрывает, еттелю, наблюдателя, схватывает, стягивает, всё, тело, от страха, умереть, задавленным, танком, что, сразу, не видишь, как первый, ТАНК, заглатило, болото, за ним, второй, ТАНК, засасывает, болото, и сразу, третий, Та, поглощает, болото, а потом, четвёртый, Т, , втягивает, болото, и пятый, , тридцатьчетыре танка, , один, глобально, и остальные, отбирает, болото, и, на том, кончается, танковая атака, а ты остался жить среди болота, только провалился по колено в болото и подвернул ногу, и такая боль, отто, боль отто оттого, что нога подвернулась сейчас, но уже теперь и завтра, да и идти ещё долго, и медленно сегодня и завтра, и осторожно ощупывая корягой тропу впереди себя, оставляя тонущую танковую армаду позади, поскольку битва выиграна, и война, похоже, будет выиграна, и враг разбит, и победа будет за нами, а в вечеряющем воздухе наблюдаешь, как тропа расходится-раздваивается на заросшую, густым слоем мха покрытую одну тропу, что слева, и на пешую, похоже, более узкую другую тропу, что справа, так что придется выбирать по какой идти, и от этого выбора будет зависеть вся твоя судьба дальняя и ближняя, будет зависеть всё остальное, но надо выбирать, ведь Р. не может пойти вправо, а Мороз – влево, ибо это тропа способна раздваиваться, а Р. Мороз – нет.

Болото хлюпая и слатывая неловко гласные шепотом в зал: челвк сам ршает, когда ему слдовть зову

Если некто ушел, он сам-то и должен найти дорогу назад. Нет, он поначалу ошибся, приняв тропу, что справа, годной для пешехода. Она

поросла смертельным плющом и лишайником, покрылась гниющим валежником и ядовитыми грибами, но я выбрал почему-то ее, поскольку надо было на что-то решаться, было два пути, и время предзакатное намекало, что пора выбирать. Именно та, что вправо, пропадала в чащобе, и можно было убедиться со второго взгляда, что по тропе давно уже никто не ходил, возможно, даже кабаны и лоси с косулями. Это в диковинных жарких заболоченных местах из кустов смотрит на странника пума, а из топи, накрытой ряской, всплывают на поверхность пузырьки, и не по одному, а целой связкой мыльных пузырей сразу: там сидит в подводной засаде аллигатор и ждет жертву, бредущую с посохом и в резиновых до колен сапогах. В болотах Вирджинии всё проще, хотя встречаются медведи, что может быть и покруче встречи с аллигатором. Но наша довольно широкая болотная дорожка расходиласьвилкой: одна, хорошая, плотная тропа, шла направо, не дай бог, к медведю; другая, слабенькая, не столько влево, сколько прямо – почти аллея, не приведи аллах, к алому аллигатору и прочим аллитерациям. Эта слабенькая тропа казалась ненадежной, порождением болота выглядела с влажными припухлостями по краям и ложным матовым покрытием, под которым могло ничего не быть вообще, кроме сил гравитации, а уж они втянут – и навсегда, и не отпустят.

Я оставил эту тропу про запас, хотя догадывался, что вряд ли представится случай вернуться, оказавшись на ней в каком-то из глаголов будущего времени. Бессмысленно прилагать к этим рассуждениям сослагательное наклонение и ставить вопрос ребром, вынув его из груди и ослабив несущую конструкцию внутреннего храма: что было бы, выбери ты не тропу, уходящую вправо, а ту, которая ведет прямо? То есть перед тобой был другой путь, но ты пошел почему-то той дорогой, которой пошел – и это невозвратно, а, вероятно, было и неотвратно, и неизбежно случайно настолько, чтобы поменять всю твою судьбу и в те дни дать один шанс из миллиона: выжить. Я решил свернуть направо. И если когда-нибудь и вспоминал этот вечер на болоте, то прекрасно понимал, что был передо мной путь легче, но этот путь, возможно, уничтожил бы меня тем же вечером, той же ночью, однако я пошел другим путем и победил болото, выкарабкался к внезапно возникшему в глубине тропы свету.

А зори после захода и перед восходом солнца здесь тихие. Это было похоже на фосфоресцирующие в сумерках гнилушки. Свет прятался в обомшелых пнях, терялся в листовом перегное, подмигивал из вылезших на поверхность гигантских корней. Наверное, это и есть умопомешательство, это и есть встреча со странниками из подземных чертогов, которые пробуют говорить с тобой, но не звуками, а бледным белым цветом, и ты, синестезист, не сразу в состоянии перевести цвета в буквы. Всё это, он осознал, означало конец смертельно опасному путешествию по болоту, завершению мыслей о самоубийстве. Как в

«Литании Сатане», теперь все свои молитвы можно обратить не столько к Богу, надежды обманувшему, сколько к Сатане, при том, что к потеряному раю есть вероятность приблизиться, уйдя из ставшего тут же жуткой памятью болота и только выйдя на тропу искусства. Да, того самого высокого поэтического, что по замыслу совпадает со званием «большого поэта». Играй зарю, трубач, отходи ко сну, Отто! Он поинтересовался у странного свечения, как пройти к Элизабет-Сити, ближайшего к Гнетущему городка, и глянцево заплясали огоньки перед глазами и, как светлячки вдоль сквозняка, полетели в одну сторону, в южную сторону от болота, куда уже организовались побатальонно птичьи косяки, вслед за давно уплывшей ротой бабьего, да и индейского, лета.

Да, собственно, воссияет заря новой жизни! Поэзия – это то, как ты сказал, что теряется при переводе. Но и судьба твоя – это не только то, что ты пережил, прожил и изжил, но и то, что потерял, чем не воспользовался, что упустил по недосмотру, недосказу, недомыслию. Это как потерять сетку, играя в большой теннис. А если здесь речь о судьбе поэта, великого поэта, судьбе самого Р. Мороза? Тогда, получается, это в самом основном и во всем вторичном – одни потери, всё, что поэт потерял, чем он естественно жил – поэзией, которую не обнаружить при переводе и ради которой всем остальным готов жертвовать: и детьми, и женой, и близкими, и (вверх от рампы, волнуясь, прокашлявшись громко) – *эзрапаундкарлсэндбэргэмилуэллтомасэлиотарчибальдмакклишуоллесстивенсмарианнамур...*

Апрель

Уже второй день цветут яблони, груши и вишни. И такие они забродившие, так они бодро и густо цветут... С каким энтузиазмом вокруг них вьются пчелы. Так наливаются соком ветки, а листья уже почти полностью вывалились из почек...

Но по прогнозу – с воскресенья – заморозки. И три дня температура ночью будет опускаться ниже нуля и даже в телерепортажах рисуют снежинку: вот, мол, не дождик будет накрапывать, а снег...

И хожу я сегодня такой по саду, люблюсь красотой, а внутри меня уже есть это новое знание: ничего не будет. Все эти цветы – зря. Все помёрзнет, и не выйдет из этого дружного цветения ничего: ни яблоч, ни груш, ни вишен...

Сами деревья этого ничего не знают, стараются, пыжятся, цветут. А я осведомлен. Любуюсь соцветиями, сам же – знаю, что через четыре дня их ждет смерть.

Так, наверное, и старый усталый наш Бог смотрит на нас...

Р. Мороз-5.

Возвращение домой заняло почти три недели. Ни денег, ни сил,

ни стихотворений не было. В начале обратного пути его накормили повстречавшиеся на канале охотники, затем brutальные бродяги научили, как проникать в товарняки и добираться в товарных вагонах до любого места. С первого раза не получилось, но хобосы-бродяги упорно тренировали Р. Мороза в этом маргинальном деле – мытарствам без денег и билетов. В Балтиморе ему удалось связаться с матерью, она перечислила скромную сумму на проезд домой, и большой поэт тем самым завершил свой путь в край самоубийц и одиночества, прибыв к матери и поклявшись никому не рассказывать, куда подевались три недели из его юношеской биографии, и на что они ушли.

Сложно, но можно выйти из болота, хотя болото никогда из тебя не выйдет. Один раз проникнув в твои легкие, застыв мутно-бутылочным хрусталиком в шахте зрачка, наполнив безобразными разными шумами слух, болото будет чавкать внутри тебя прокисшим густым бульоном, из которого явятся гулкие звуки, при том, что кто-то возьмёт, да и подумает в простоте об урчащем желудке, о набитом жратвой животе, с известным следствием чего знаком любой мудрец – с отрыжкой. Но о ней ли все поминать, когда речь зашла о болотных, чавкающих шипящих, о теряющих обертоны чмокающих сипящих, о чвакающих безударных звуках в утробе поэта? Ведь каждый из них будет когда-нибудь посвящен родине, фермерству, гражданскому обществу, природе, любимой, соседям, смерти, врагам, чувствам, мыслям, мраку и влаге, да они и станут частями речи в его стихах, и тем будут ему еще больше дороги, просто дороги, как дороги, которые мы выбираем, поскольку они, как известно, нас заранее выбрали. Он пошел направо и ради этого выбора уже не пощадит никого из тех, кто близок ему и дорог. И дороги их с его дорогой будут пересекаться лишь в их воображении, поскольку однажды в настоящем, то есть в прошлом, он ушел умирать на болото. Несложно предположить, что отправился он в эту рискованную экспедицию, не жалея чувств родителей, не щадя своей Элинор, не представляя, как далеко он пойдет в странствии, откуда нет возврата. Болото – это тавро, та самая неостывающая сургучная печать, которая будет разъедать непрерывно паршу кожи, слой за слоем, цвет за цветом, и это станет неизлечимой мукой, от которой близкие будут не только страдать, но и умирать, и уходить с проклятиями из смертельной западни, именуемой семьей.

Надо очень любить себя, чтобы уйти умирать среди осенней гнили с ее рогозом и аиром. И тот одинокий Нарцисс, любовно вглядывающийся в хмурую темную топь, не отдает скрипучему воздуху свою телесность, не переносит, как всякий путешественник, ее вовне, а растворяется, превращается – не в буквы и не в звуки, не в слова и не в письмо, а в саму писчую блеклую ткань, в астматически дышащую легкую бумагу, которая эти буквозвуки в себе несет и издает.

Смерть – одно из проявлений языка, и пока ты веришь в то, что не умер, ты беспокойно лежишь в сырой могиле, над которой застыла болотная цапля и не шумит тростник, и только всё, что тебя окружает, видит тебя стареющим и живым, в то время, как они для тебя, метромана, давно уже знаки, предметы твоего письма, твоей страсти, словаря и одержимости словом. Да ты их и любишь в силу того, что они вошли и еще войдут в твои стихи, станут их сказуемым, поскольку ты их высказываешь, используешь в своей речи, и подлежащим, раз ты остался там один. Одином лежать в могиле, покинув болото несчастной осенью 1894 года.

Май

Опыт «климатического» манифеста с грозой в начале мая

1. *Без диктатуры страну не спасти. Только дождь, освеживший воздух с его озоновым послевкусием; дождь, не только смывший все следы, но и очистивший души, способен возродить американский, традиционно вольный, бесстрашный дух.*

2. *«Дух нынешних США» (здесь «дух» словно подражает немецкому Stimmung) – плачевный итог глубокого раскола между республиканцами и демократами, двумя политическими силами страны. Их поляризация истребила национальный идеал и мешает нации понять, чем она является на самом деле. Борьба демократов и республиканцев стала родом гражданской войны, остановить которую можно только сверху, временно введя диктатуру. Дождь, падающий сверху, потушивший огонь нешуточных страстей, заливший батальные сцены ровным, непоколебимым слоем воды, заставивший уязнать в лужах все стратегические и тактические манёвры противников – вот какие осадки, пусть и за пределами нормы, сегодня стране необходимы.*

3. *В «моральной ночи» (noite moral) возможно тайное финансирование многопартийной системы из-за рубежа, а это чревато прямым иностранным вмешательством в политику страны. Так сегодня поступают внешние инвесторы с Востока с радикальными политическими партиями Европы, рассчитывая на политическое давление, в известной традиции «разделяй и властвуй». Провливной майский дождь, непрерывно опадающий заслоном на наших границах, ставший барьером для любых посягательств на наш политический суверенитет и моральное право вершить судьбу страны по собственному усмотрению, – такой дождь ожидаем и уже воспринят американцами как спасительный.*

4. *Переходное время, политическое предстоящее межсезонье, эпоха выбора государственного курса чревата отклонениями от*

основных положений конституции и традиций парламентаризма. Правительство, которому выпала ответственность руководить страной в этом году, должно прежде всего думать о поддержании порядка. Дождь заставит сплотиться народ и лидеров, деятелей культуры и науки, представителей разных наций и народов. Уборка луж, высушивание крыши и тротуаров, приведение в порядок влажной системы инфраструктуры и аллей парков – это насущная потребность, с которой не справятся в одиночку полиция и армия. Дождь сегодня – это то, что напомним нации о единении, долге, ритуально значимом отношении к собственным земле и небу, водоёмам и посевным площадям, городам и весям. Только диктатура дождя, неослабевающий его нарратив, способны вернуть нам потерянные чувство гордости и ощущение собственной значимости.

5. Сутками непрекращающийся дождь напомним о том, что именно сегодня необходимо применять силу в делах государственного строительства. Во благо всего общества рычаги власти нельзя ослаблять: только так можно спасти традицию от разрушения. И лишь одна сила обладает в стране требуемыми качествами власти и подчинения — это не армия, а значимое для здоровья нации количество осадков. Следовательно, диктатура дождя оправданна. Она может происходить на фоне низкого или высокого атмосферного давления, при сильных или умеренных порывах ветра, во время грозы в начале мая и неспокойном геомагнитном поле в его конце. Всё, что стране сегодня необходимо, – диктатура дождя. Следовательно, не стоит сетовать на то, что уже три дня пасмурно и до конца недели синоптики в этом смысле не успокоятся. Как сказал в своей последней фразе, по-английски, Фернандо Пессоа: *I know not what tomorrow will bring...* Поэтому, дабы светлое завтра не потерять вообще, будем радоваться нынешнему дождю и неизбежной слякоти. Всё это – лишь во благо стране и для ее перспектив.

6. Мы большие не имеем права, произнося *vogue la galère!* («будь что будет!»), оставаться безучастными. Диктатура дождя – наше спасение в настоящем и ради грядущего.

Ныне сетования на плохую погоду политически незрелы и, по сути, враждебны явным и скрытым народным чаяниям. Ведь общенациональная задача, требование насущного геополитического момента – любить грозу в начале мая.

А остальное **воздастся**, что в переводе на язык манифестов звучит предсказуемо: **вас-ис-дастся**.

#ЛЕВТОЛСТОЙ

Зной выделяет жару, как летописец, – значимые события и вехи, как поэт – строку за строкой. Утренние 84° по Фаренгейту подни-

маются к 11-ти утра до 90° – и это не менее эпохально сегодня для всего окружающего, чем в мировой истории морское сражение у Саламина, битва при Гастингсе, Гравелинское сражение, Полтавская битва, битва трех императоров под Аустерлицем, Брусиловский прорыв или нападение на Перл-Харбор.

К 12-ти дня термометр показывает 93° по Фаренгейту. Деревья застыли в тревожном ожидании. Перезваниваются на высоких нотах неведомые колокольчики в густой тишине, как перед вражеской атакой, как при осаде Моссады, перед захватом турками Константинополя, в блокаду Ленинграда, безумного взятия Антиохии крестоносцами. Как в нескончаемых битвах Тридцатилетней и Столетней войн.

До пяти вечера температура повышается всего на несколько градусов, но они взрывают раскаленный воздух извержением Везувия, покрывают кипящую траву лавой вулкана Кракатау, пеплом аляскинского Катмая оседают в нишах между домами, в полостях между листьями и вдоль асфальтовых шоссе, крытых зыбким маревом.

В шесть вечера прольется горячий дождь. При этом температура упадет всего лишь до 91° по Фаренгейту, а это значит, что навстречу дождевым каплям с земли будет подниматься густой пар, словно открылись зрению гейзеры Йеллоустоуна и Камчатки; будто извергает пароводяную смесь исландская Прыгающая Ведьма Грила; вроде бы фонтанирует, выплевывая камни, новозеландский Похуту.

Происходящее в аномальном мае ужасно и бесповоротно.

Хотя... в далеком декабре всё это не будет выглядеть леденящей кровью катастрофой. И на фоне многодневного бурана с окаменевшими повсюду сугробами, майский зной покажется не страшным, скорее желанным и манящим.

Голубое весеннее утро с туманом над рекой.

Зеленый летний полдень.

Осенний розовый закат с золотистыми зубцами далекого леса.

Фиолетовые зимние сумерки.

У Толстого: человек должен быть счастлив. А какова судьба несчастливцев? Следует ли их наказывать, отделять от остальных, обречь на продолжение их несчастий?

Да и сколько их, счастливых?

Вот и дождь прошел, а они его не заметили.

Р. Мороз-6.

Если вы готовы, то должны сейчас понять, что первыми жертвами как раз стали его счастливая женитьба и ее, наконец, замужество. Вы ведь были на свадьбе, после того, как Элинора дала согласие, и Р. Мороз подумал, что не зря он выпутался целым и невредимым, как он тогда посчитал, из болотной истории. Если вы знаете, что свадьба состоялась, и сами об этом прочитали, это всё равно, что вы побыва-

ли на свадьбе. Ведь начни мы здесь воображать, как выкипало из узких бокалов шампанское, как целовались молодые и подол белого платья невесты в свадебном танце плескался в темном твиде костюма жениха, то это и будет, словно вы там были, а значит, побывали на 3D-свадьбе. Поэтому мы уйдем от описательной свадебной части, дабы не сотворить вас свидетелями того дня и тех моментов, с которых стартовал будущий кошмар их брака.

Это при том, что они любили друг друга, заботились о доме и его достатке, а при благополучном прошлом воспитывали бы сразу шестерых детей, мал-мала меньше, и радовались на старости лет многим внукам. Однако, Р. Мороз умер зимой, осенью выжил в Гнетушем, поэтому в церкви было произнесено «объявляю вас мужем и женой», хотя этот вроде бы перформативный жест, по определению Джона Лэнгшоу Остина (знаменитая работа «Слово как действие»), о которой широкий читатель осведомлен так мало, что даже не догадывается), значил ровно столько, сколько подобная же реплика в театре, то есть не имела в реальности статуса и значения. Вообще, в театре – либо если ты умер, – все эти «объявляю вас мужем и женой», «вы приговорены к расстрелу», «я вам это обещаю» – пустое, в тесных пределах рампы колебание воздуха, рассчитанное на впечатлительных дам партера и шумную галерку, до которой реплики актеров едва доходят.

Театр начинается с болота и ничего хорошего исполнителям не сулит. Поскольку болото – это еще и одиночество. Ты радуешь себя изысканными блюдами, гурманствуешь в приятельском кругу, красиво отрезаешь каттером головку сигары, пьешь «сингл малт» с одним кубиком льда, – короче, обжорство, пьянство, пустословие, времяпрепровождение и удовлетворение тщеславия, но как-то – возможно, утром в понедельник, сразу после пробудки, ясно осознаешь, что всё это – исключительно ради того, чтобы уйти от самого себя, чтобы не задуматься над главным «а зачем всё это?», не зная ответа «ради чего?». И тогда понимаешь, что прежде всего боялся остаться с самим собой, страшился одиночества, ужасался посмотреть в себя – и здесь выход на болото напрашивается неукоснительно, он вписывался в сей экзистенциальный сценарий, в котором всё обозначено до последнего дня, при одном неучтенном моменте: уход в глухую болотную топь, где ни сигар, ни круга, ни овала. Там ты так же одинок, как в религиях обыватель перед Богом. Или как-то вот так.

И там ты сходишь с ума, раз на болоте одиночество – верней любых летальных испарений. Где-то есть место воде Фалеса, апейро-ну Анаксимандра, воздуху Анаксимена, огню-логосу Гераклита и прочим обыденным соединениям природных стихий, но ты выбираешь тишь да топь, гладь с твоим же зеркальным отражением, в которой роза есть и пребудет розой, а *искусство есть искусство есть* –

куство. В черной неподвижной воде отражаются тяжелые, изнутри подсвеченные бутоны болотных орхидей с черными, парящими над ними стрекозами, и цапля на болоте застыла в балетной позиции на одной ноге, как детонесущий аист. Затем рождается твой первенец, кричит в первый раз кречетом и засмеётся когда-нибудь паяцем, ножками-ручками осваиваясь, как астронавт в недружественной невесомости. Это было еще на той первой ферме, до покупки птичьей фермы в Дерри, в штате Нью-Гемпшир. Там и появился Эллиот на свет – одинокий компактный Р. Мороз, только крохотный, – с судьбой, уложившейся в свои четыре года, как в растянутый во времени гробик. Эллиот заболел холерой на четвертом году, в аккурат через два месяца после того, как сняли прежнюю, до Дерри, ферму, и утянул его болотный туман в 1900 году, так что покойник оказался ровесником XX века неожиданно-негаданно.

Для непосвященных Эллиот умер от холеры, но Р. Мороз понимал, что однажды спасшегося на болоте, болото однажды утянет, и здесь, на ферме, это первая его жертва. Элинор впала в тяжелую депрессию, не вдаваясь в то, почему супруг винил себя в смерти первенца, и в чем могла быть его вина. Ведь в отличие от истории с дьяволом, никто душу никакому болоту не закладывал, с этим было чисто и честно, хоть задавай в школе тему сочинения о том, как всё чисто было с душой у Р. Мороза, и школьники отстаивали бы в своих сочинениях и диктантах право поэта-классика на божественное и на незапятнанную репутацию. Ну нельзя же судить за намерение? За *злонамерение* еще куда ни шло, но за намерение утопиться на болоте – чего же судить, при чем здесь мальчик по имени Эллиот, которому удалось прожить всего четыре года, никакого болота никогда в глаза не увидав? Он-то за что ответил? За кого он ответил? – вопрошал Р. Мороз ночью и днем, понимая, что холера, если прошла мимо остальных членов семьи, не коснулась старших и однолетнюю дочь Лесли, сестру Эллиота, то это не случайно. То это жертва, если не сказать жертвоприношение.

Если не жертва при.

Июнь

Дни стоят жаркие и родственные друг другу. Температура на солнце днем добирается до 98°-99° по Фаренгейту, но не поднимается до 100°. Возможно, там, выше ста градусов, – точка невозврата, где застыли не только дни, но и века, и тысячелетия.

100° по Фаренгейту – мечта любого зноя, при которой, как и при любой реализованной мечте, жить не то, чтобы невозможно, но удушающе скучно и тяжелей.

Жара начинается с появления утреннего шмеля, набитого металлическими, громыхающими предметами. Оттого шмель слы-

шен повсюду, оттого паутина на кусте рябины дрожит и злит паука, а капустница, которая обычно летит по диагонали, сворачивает с пути и принимает маршрут солнечного луча, осваивающего по утрам горизонталь.

Затем вороватая пушистая белка, перебежками и оглядываясь по сторонам, пересекает полотно дороги, запрыгивает на металлический, в крупную сетку забор, и исчезает, перескочив на соседнюю яблоню.

От яблони по утрам падает серо-дымчатая элегическая тень на помидорные грядки, которые дадут урожай к началу августа. Пока же птицы бродят по ним в надежде отыскать что-нибудь съестное.

И еще час-полтора полетов, скачков, прыжков, шума, хлопок и высыхающей росы, после чего наступает зной. Тот самый мертвый час, который тянется до заката, – палящая солнечными лучами пустыня, которая всегда найдет себе место летом.

Статичные знойные дни похожи друг на друга.

Дождливые же отличаются каждый по-своему. У них свой характер и свои кинематические пейзажи.

Длинными научными лапками дождь оцупывает пространство, ветер помогает ему покрыть как можно больше воды и суши, унося тучи за горизонт.

Краски меняются, отражаясь в лужах, лужи напоминают сказочных бабочек, раскрывших перламутровые крылья и погруженных в приятный сон, из тех, какие случаются только в дождливую погоду.

Жара напоминает раскрытую для чтения книгу. В немалой степени – какого-нибудь античного поэта, чьи стихи традиционно насыщены географическими именами, историческими событиями, мифами и легендами, только современникам известными живыми и умершими героями, которые нередко не имеют отношения к заданной автором поэтической теме.

Знакомые только античному поэту события и переживаемые коллизии странны читателю из другой эпохи. И это выматывает, изнуряет, доводит читателя до изнеможения.

Дождь – это распахнутая книга. Ветер перелистывает, перебирает ее страницы, и оттого книга живая, беспокойная, бьющая энергией. Она бедовая и заборная, шумливая и непоседливая.

Страницы шелестят, мнутя, заворачиваются от ветра, им мало места внутри книжного переплёта, и они вовсе не для того, чтобы кто-то их смог прочесть. Они живут сами по себе.

Они живут.

Они сами себя перелистывают, считая время. Одна страница – одно мгновение. Две страницы – два мгновения. Вся первая часть – и заканчивается июль.

И открывается первая страница другой части.

В июле же, одна страница – одна вечность.

А другой вечности не бывает.

И так каждый день.

По крайней мере, на следующей неделе.

Р. Мороз-7.

Но Лесли-то дальше совсем ни за что. Быть может, на старости, в последние дни свои уже не страшно умереть, для вымученной длительностями жизни умереть даже хорошо; вот когда я приду, твоя смерть, будешь мне рад отчего же нет отвечаешь а будешь держаться за вымученные длительностями дни свои спрашивает она кутаясь в худое худи как лев толстой в свою толстовку не буду держаться отведу вряд ли юля душой абсолютно откровенно отведу поминая всё это болото жизни с его засасывающими суетами с его испарениями в виде лицемерных отношений меж лицедеями на фоне куликов каждый из которых хвалит это и там где живёт так ведь всегда вокруг всем тоска смертная она говорит и потому сдерживаться надо свои нервы держать в кулаке как держат слово и клятву иначе что это за дела она повысила голос будить шестилетнего ребенка дочь свою лесли среди ночи это самое вытряхивать ее из кровати понимаешь она нервно махнула своей косой размахивать перед лицом девочки заряженным пистолетом она помахала угрожающе косой туда сюда размахивать туда сюда дулом пистолета перед собственной дочерью

тут в процессе диалога слова становятся действиями и их предментами – возникает картина полуночного дома, в котором сцена начинается на втором этаже, в спальне шестилетней Лесли, куда 31-летний Р. Мороз вошел с заряженным пистолетом, зажег свет в лампаде, и тени сразу начали грызть матерчатые обои, затем, как голодные шакалы, набросились друг на друга, а когда он наклонился над кроватью девочки, тень от его фигуры хищно изогнулась, прыгнув на тень от металлической спинки кровати с тремя круглыми набалдашниками, ударилась об нее со скрипом панцирной сетки как раз в тот момент, когда из кровати резко поднялась тень разбуженного ребенка, и три тени сбились в плотный бесформенный комок на стене, вырываясь из него и хищно разрастаясь гигантскими тремя заштрихованными контурами, которые легко достигли дальнего верхнего угла стены и немедленно заполнили собой поле битвы вдоль серого потолка

и ведь сердце не ёкнуло брезгливо заметила она и в упор нацелила обе пустых глазницы в глазные яблоки Р. Мороза словно двумя пальцами в известном приеме из самообороны без оружия знаешь как всё достало сказал я не теряя темпа дабы развивался диалог в заданном ритме лучше анапест чем амфибрахий вот и разбирался бы

она натянула капюшон поглубже со своей знаешь ли женой при чем здесь извини лесли да всё достало я ответил и я взял лесли за руку мы спустились на первый этаж прошли на кухню где сидела элинон

жена его сидела после очередного скандала, уставясь неподвижно в стену, ее волосы были спутаны, стекали жидкими прядями на лицо, и в свои тридцать один она выглядела гораздо старше своего ровесника Р. Мороза, так что можно было подумать, что он привел свою дочь не к маме, а к бабушке. Элинон была привлекательной и раньше не боялась крупных планов, но тупая фермерская жизнь, неудачи мужа, его грубая прямота и насмешки, частые вспышки гнева, поэзия за счет банального быта, сексуальная рутина все эти годы и смерть первенца довели до того, что сейчас ее портил любой ракурс и не спасал средний план, в котором появилась в выцветшей ночнушке перепуганная Лесли. Дочь стояла босиком на дощатом кухонном полу, рядом со столом, за которым Р. Мороз обычно писал до полуночи, затравленно озиралась, как пойманная в час колдовства нью-гемпширская ведьма, и жалко было на нее смотреть, и больно, как на напуганную белку

а я говорю ей не размахивай косой попусту утопица ты болотная возможно я был неправ но я тогда решил мол кто-то из нас умрет ведь так жить так лучше не жить со всеми ее паник-атаками депрессиями в любом месте и глазами на мокром месте днями и ночами и ты разбудил шестилетнюю девочку значит пусть она решает кому умирать она так это проорала будто отчитывала как завуч ученика с колом по поведению

жена его сидела, а он присел перед Лесли на корточки и, тряся пистолетом, спросил: «Выбирай, с кем ты останешься? Вот перед тобой мать, вот тебе отец – только один из нас станет жить утром».

здесь – в этом супружестве – «здесь» и «есть» всё дело. Можно быть здесь (не далеко «там», и не-по-далёку «вот»), то есть конкретно «здесь в этой комнате», «здесь за этим столом», «здесь с женой и дочерью», словом, в каком-то одном здесь, которое окружают бесконечное множество там, в том самом по-немецки *Dasein*, в обстоятельствах места и времени разом, когда мы произносим «здесь» и не способны быть одновременно в другом месте и в ином времени, да и не больно хочется; и может быть или не быть «есть», без всяких «то есть», когда ты находишься здесь, но в этом месте ты не-есть – это когда «здесь в этой комнате» ты себя не представляешь, в ней потеряян, «здесь за этим столом» больше не хочешь и не можешь ни сидеть, ни писать, а когда «здесь с женой и дочерью» – ощущаешь такое безмерное одиночество, словно тебя здесь не-есть и уже никогда, молю об этом, не будет. Всё не-есть – чужое. Большое невероятное счастье это *Здесь*, когда есть еще порох в пороховницах; и беда, скажем прямо, экзистенциальная, когда рассыпается *здесь* в

прах и пепел, распадается на «тут» и «там», при этом ни там, ни тут ты уже не в состоянии находиться, с ней и с ними не способен существовать, являться здесь каждое утро к завтраку, а по вечерам – к обеденному столу, плотно сбитому своими руками из досок, есть.

не оправдание и не покаяние она упрекнула полым черным ртом я не то чтобы оправдываюсь но меня на первом этаже тогда не было я не был здесь тогда и пистолет не имел значения и это был мираж в котором распадается семейное *здесь* на фантомы а дальше им не больно не страшно не настояще проща говоря тебя иными словами не было той ночью и это что ли извиняет весь кошмар знаешь ли который ты сотворил и стихотворил да я отвечал это всё было словно поэма строка за строкой в котором ты здесь на листе бумаги но не есть за плоскостью листа она сказала видимо ты большой поэт я считаю коль твои родные для тебя меньше любого слова посеянного в силлабах видимо так ответил он видимо всё есть здесь видимо всё есть путем слова он ответил

Июль

Летом в Нью-Йорке жарко и влажно. Раз в пять-семь лет выпадает мучительная жара, и тогда в июле начинают жухнуть листья на кустах и деревьях, а в августе пересыхают и мельчают реки. Это отмечено в истории записей прогнозов погоды, в городских летописях, наряду с эпидемиями чумы и желтой лихорадки в XVII-XVIII веках; расовыми волнениями XIX-XX веков; ураганами, вроде «Сэнди», в веке XXI-м.

Статистика не успокаивает. Зной приобретает черты, еще не дотянув до полудня. В оранжевом мареве возникает контур странной, неподвижной фигуры. Она лежит поперек улицы, выкладывая гигантские мохнатые лапы на площадь. Ее высокий бок загораживает дома напротив и вытесняет пространство, а вместе с ним воздух и свет.

При этом сама она светится. Станный, как из китайского фонарика, жаркий монотонный свет исходит из сердцевины этой фигуры. Она часто дышит, бока ее поднимаются и опадают, и кажется, что бледно-оранжевое тело ее принадлежит львице, а лицо – светской красавице. Статистика ничего не говорит о ее появлении прежде, и только по долговому взгляду, по нездешнему, остраненному женскому профилю, по гордой посадке головы можно догадаться, что воздухом, горячими его потоками вылеплен сфинкс.

Верный попутчик высокой июльской температуре и ее хранитель.

Страж еще одному летнему персонажу – влажности. Всё расплывающейся в своих размерах на фоне дневного жара, испепеляющего живое.

Сфинкс найдет тебя, как от него ни прячься. Он неподвижен, но занимая всё больший объем, всё ближе к тебе и ближе. И когда ты ощущаешь его горячее дыхание, когда его кипящие локоны обжигают твои щеки, когда у тебя перехватывает дыхание и всё тело, возможно еще и от страха, покрывается потом, сфинкс целует тебя. В лоб, в шею, в губы. Этот поцелуй опалает, он проникает вовнутрь, и ты в ужасе ощущаешь, как немеют пальцы, как глаза теряют зрение, как в зрение вливаются концентрические, из охры и неоновои зелени знаки.

Жажда статична. Хочется пить и спать. Апельсин, спящий кожурой, высоко застывает в небе и, вполне вероятно, это и есть глаз сфинкса, а второй – где-то далеко, на таком невообразимом расстоянии, где зрения уже не хватает, и только всё слабей запах апельсина, или абрикоса, застывшего в зное, как в янтаре.

Два и один. Желтая двойка и зеленая единица. Два знака, которые при такой жаре могут означать день месяца, убывающий натуральный ряд чисел, фамилию сфинкса, мысль сфинкса.

Просто счет: два... один... ноль.

И всё кончено. Везде – июль.

#маргеритюрсенар

Всякий год – это цикл. В середине марта оплывшая сосулька срывается с карниза и рассыпается по дощатому полу балкона на мелкие ледяные брызги, а в апреле можно обнаружить, что это – хрустальные осколки упавшей со стола и разбившейся в прошлом октябре цветочной вазы.

Год цикличен, как не имеющие конца и начала шар, яблоко, дыня, планета.

Год – это долгое, трудное скитание по календарю. Так путник в пустыне, выйдя без компаса из одного места в поисках оазиса и колодца, возвращается по длинному кругу в то же место, и опускается передохнуть на остывающий вечером камень.

Год не имеет начала и конца, хотя есть Новогодний праздник, с новогодней ночью и проводами Старого года. Но в этом немало путаницы, поскольку в Древнем Риме год встречали 1 марта, по Григорианскому календарю его приход отмечают 1 января, у евреев год наступает в сентябре, Китайский Новый год, приуроченный к зимнему новолунию по завершении полного лунного цикла, – между январем и февралем, а в Иране отмечают новый год 21-го или 22-го марта, в день весеннего равноденствия.

В разных странах у разных народов Новый год отмечен разными датами, а это значит, в итоге, что единое начало определить невозможно. То есть его нет.

Год – это ледяной ветер, который переходит в ветер холодный, затем в теплый, в горячий и сухой, в жаркий и влажный, и опять в

теплый, в холодный и ледяной. Год есть вода-ставшая-льдом-ставшим-талой-водой-ставшей-паром-ставшим-водой-ставшей-льдом. И – *розаестьрозаестьрозаестьроза*. И рыба в воде, вынырнувший из нее малёк, выросший в большую рыбу, родившую малька, ставшего рыбой.

Год цикличен, но времена его линейны. У времен года, как аристотелевскому мимесису, есть завязка–развитие действия–кульминация–развязка. После развязки наступает желанный катарсис – и время года исчезает. Происходит волшебство метаморфозы: появляется новая гусеница, которой суждено стать бабочкой: с пушистыми летними крыльями или зимними, прозрачными и ледяными.

У Маргерит Юрсенар в «Воспоминаниях Адриана» высказана мысль о том, что с определённого возраста жизнь для человека есть принятое им поражение, *une défaite acceptée*. В начале Августа время года – Лето – так и принимает всё происходящее. Жара невыносима, листья начинают жухнуть от непреходящего зноя, всё идет к первому желтому листу, который упадет с сентябрьской ветки и откроет осень.

АВГУСТ исчезнет навсегда, как любая из упавших августовских звезд.

ГУСТАВ это видит и понимает. Смерть – продолжение жизни для оптимистов. Густав не может не осознавать, что в его случае смерть – это поражение жизни. У нее был свой июнь, полный надежд, теплых дождей, радуг и созвездий на бескрайнем, заштрихованном черным грифелем небе; свой июль, с тихой тенью под деревом, словно камуфляжной формой крадущегося по земле разведчика; с пересохшими водоемами, в которых квакающие лягушки считают, сколько лету осталось до осени; с пылью, комарами да мухами, переходящими Густаву от июля по наследству.

СТАВ Августом. Сегодня, 2 числа 8-го летнего месяца, Густав принимает свою судьбу как поражение. Он к этому готов.

Осталось еще много дней до осени, еще много событий, солнечных лучей и небесных ливней впереди. Еще нести тепло в ладонях и часто пить воду из усталого ручья, освежая губы. Еще лежать в полдень в тени, слушая полет жужелицы, в ожидании заката, который раскрасит фасады домов и превратит город в игрушечный разноцветный конструкторский набор.

Уже всё решено и еще многое предстоит.

Оттого Густаву легко на душе и просто. Он теперь ведает всё наперед, и первый упавший с клена лист его не удивит, не расстроит, не будет им не замечен. Примитивно, естественно, наступит осень, и он, признав свое поражение, уйдет с достоинством.

«...Времена года суть метафоры для наличных континентов.»
И это суть.

Р. Мороз-8.

После чего умер. Хотя, всё еще не умер. И не он. И не сын Кэрл. Тот умрет позже, не дожив до своих сорока, покончит с собой. А его сестра Элинор Беттина отошла в другой мир на следующий день после своего рождения. На фамильном надгробье в Вермонте глубоко в камне выбиты оба года – рождения и смерти: **1907–1907.**

Она умерла внезапно. И о ней почти нечего сказать. Почти ничего, если бы не представление о том, что человек – вещь среди прочих вещей живых и мертвых, а значит, можно не только на ней написать, поставить татуировки с датами рождения и смерти, но и описать ее в деталях, даже при том, что эта вещь пролежала на видном месте в видимом мире всего-то один день. Это он умрет в день ее смерти, хотя ему придется умирать еще не раз; а она в тот день только родилась, при том, что *завтра* выдастся ненастным и последним. Исключительно странные обстоятельства, внезапные и летальные, не случись которых, мы бы узнали, что Элинор Беттина росла здоровым, хотя и гиперактивным ребенком. Помня о душевных болезнях самого Р. Мороза и его родственников, некую повышенную возбудимость, да и излишнюю нервозность девочки, можно было ожидать.

В возрасте примерно четырех лет Элинор Беттина подошла в обеденное время к настенному рукомойнику, поскользнулась на мокром полу и упала на стоявшее под раковиной мусорное ведро. Край ведра располосовал ей лоб, в больнице шов стянули металлическими скобками, и горизонтальный неровный шрам, едва не касаясь бровей, остался на всю жизнь. Для любой девочки это большая неприятность, неизлечимая душевная травма, но не смертельная. Всё, как говорится, что не убивает, делает тебя сильнее. Мало того: Элинор Беттина, будучи живым, нескудным ребенком, перекрывала свое вынужденное внешнее уродство, которое трудно было спрятать под прической, веселым нравом и естественной непосредственностью, что располагало к ней сразу и надолго.

В шесть лет Элинор Беттина пошла бы в школу. Это было уже в нью-гемпширском Дерри, куда Р. Мороз переехал с семьей из Массачусетса, продав там ферму своего деда и приобретя в Дерри птицефабрику. Переехали быстро, если не сказать поспешно: характерную нервозность Р. Мороза врачи диагностировали как признак возможного туберкулеза, и чистый лесной воздух Нью-Гемпшира был выбран однозначно.

Дела сразу пошли в гору. Одновременно Р. Мороз начал преподавать литературу в средней школе в Дерри, так что всё неожиданно и скачком стало налаживаться. Домашние птицы приносили доход,

преподавание давало возможность ощущать себя не только фермером, а дети не уставали радовать. Со временем уходила на задний план боль от потери четырехлетнего Эллиотта, старшие Лесли, Кэрол и Ирма смотрели за младшими Мэрджори и Элинор Беттиной, а с женой Элинор Мириам сложились отношения и супружеские, и партнерские. Фермерство, домашние заботы, преподавание – уже было не до стихов и поэм.

Поэтому едва обнаружилось, что Элинор Беттина увлекается поэзией и сочиняет шедевры соответственно возрасту, Р. Мороз начал поддерживать дочь, как мог. Они много времени проводили за чтением сборников Мастерса и Сэндберга, Кэрол присоединялся в эти часы к сестре и папе, и Р. Мороз осознавал, что его поэтический опыт, так и не ставший журнальными публикациями или книгами, вполне может пригодиться его детям.

Стремительность происходившего поражала: в 12 лет Элинор Беттина впервые публикуется в местном поэтическом альманахе, ближе к девятнадцати годам выходит ее первый сборник «К югу от Дерри», который сразу же привлек внимание критики в национальном масштабе, а уже в 23 года она становится поэт *Phi Beta Kappa* (организация, состоящая из студентов и выпускников колледжей, достигших высокого уровня академического мастерства в области гуманитарных и естественных наук) в колледже Тафтса. Ее второй сборник «Воля мальчика», о непростых гендерных отношениях в пуританской по тем временам Америке, стал национальным бестселлером и принес юной поэтессе международное признание. Это уникальное сочетание – знание американской глубинки, фермерской Новой Англии и вовлеченность в движение суфражисток за право женщин голосовать на выборах – привлекло к Элинор Беттина внимание самых разных слоев американского общества. Всего через три с половиной года после выхода в свет «Воли мальчика», она получает Пулитцеровскую премию за выдающиеся достижения в поэтической сфере.

Вилсон Гарольд: «Мы встретились за несколько лет до первого Пулитцера Элинор Беттины. И хотя, чего здесь скрывать, мне больше нравилась в то время поэтика ее брата Кэрола (мне она и сегодня нравится), я был поражен глубиной ее чувств, пониманием той самой Америки, еще до рузвельтовского “Нового курса”. Мы сразу осознали, что будем жить вместе, так что мне не пришлось, в духе романтических драм и рыцарских романов, завоевывать сердце дамы и доказывать свою любовь. На первых порах, отец Р. Мороз нас финансово поддерживал: у него было фермерское, вполне успешное хозяйство, да и к любви к дочери примешалась страстная любовь к поэзии – Р. Мороз, говорила мне Элинор, в юности мечтал стать поэтом и писал неплохие стихи».

В поэты подался и Кэрол. Он защитил диплом мастера в области искусств в колледже Амхёрста, стал *poet-in-residence* в Мичиганском университете, в 1930-х поступил на работу в Гарвард и получил почетную степень доктора. Особенности в американской поэзии тональные вариации (изменения в звуке и ритме) его поэтических работ и смесь лирики с сюжетными повествованиями, сделали Кэрولا национальным поэтом США. В 1962 году Кэрол побывал в СССР, встречался с Никитой Хрущевым, и его визит широко освещался в мире. На инаугурации президента Джона Кеннеди, Кэрол зачитывает *The Gift Outright* и, как свидетельствуют историки, эта авторская декламация затмила саму инаугурацию.

История литературы не знает такого тандема, как брат и сестра Кэрол и Элинор Беттина. Они стали выдающимися американскими поэтами, вошли в пантеон мировой славы и в учебники по всемирной литературе. Верится, что их отец, дожив до почти девяноста лет и так и не опубликовав ни одной поэтической строчки, смог компенсировать несостоявшуюся свою литературную карьеру за счет выдающихся литературных заслуг сына и дочери.

Если бы она не умерла на следующий день после своего рождения. И если бы Кэрол не ушел из жизни, не дожив двух лет до своего сорокалетия.

Август

Накануне выпал дождь. Он шел с переменным успехом несколько часов кряду, падал и поднимался, поднимался, падал, и окончательно упал часам к семи вечера.

Это было вчера. Сегодня жара слегка ослабила свои потные объятия. С высоты вчерашних 92° по Фаренгейту жара упала к утру до 82°. Десять градусов, в которых навсегда останутся, как в янтаре, горячий суховей, жаростойкая парилка открытых зною улиц и площадей, жар теней под деревьями, отраженные в пустых окнах предзакатные пустыни пустырей, дымящееся жаркое из застывших в душающей влажности соек и сорок, поджаренная на гигантской раскаленной сковороде полуденная глазунья, кипящее солнечное масло, текущее вдоль асфальта, жало жары в сварившемся сердце, палящее небо над обсыпанной колющими искрами дорогой к расплавленному океану.

Маятник, скрипя, уже качнулся в сторону осени, и вторая половина лета начала свой медленный отсчет. Еще несколько дождей – и температура упадет до 72°, которые дадут веру легкому ветру, свободу прохладе парковой аллеи, веером из взмахнувших ветками крон охладят прохладительные напитки в емкостях, отбрасывающих лучи в утомленный ярким светом зрачок, поднесут прохладу к сухим губам, и они выпустят невесомые созвездия, словно мыльные

пузыри, чтобы в августе ничьих не обмануть ожиданий, чтобы и бабьим летом можно было провожать взглядом падающие звезды.

А еще через пару-тройку дождей, геомагнитных бурь, спустя несколько колебаний атмосферного давления, температура опустится до 62°. И это обязательно что-то будет значить, по крайней мере, холодный взгляд обнаружит порыжевший парк с сухими, как старые пожелтевшие письма, листьями, серебрянная пуля моросящего дождя пробьет холодный разум, птицы будут низко летать и улетать на юг, деревья поспешно обрастать мхом, показывая, где скрывается север, дорога станет примерять на себя первые, еще недавней глажкой пахнувшие лужи, в них рассыдутся облака, как попутчики в поезде дальнего следования, и по вечерам семафор будет подсвечивать мигающими лампочками ж/д переезд в надежде, что кто-то из машин посигналит, без причины, просто так побибикает, нажмет на клаксон перед тем, как нажать на газ.

Потом начнутся ливни, метеорологи станут оценивать Предстоящее количеством выпавших осадков, температура упадет до 52°, что станет причиной листопада, невероятной худобы потерявших вес, всю зеленую массу деревьев и кустов, сразу постаревших пустых луж с рябью от порывов ветра, гроыхающей по ночам грозой, с трещинами на распадающемся на куски небе, сквозь которые пробивается пламя, холодное и мгновенное.

И уже совсем недолго останется до 42°, когда ледянящий душу шторм зальет всё, что до него называлось сушией, ветер проникнет в пустоты в деревьях, расширяя их, как растягивают под пыткой свежие раны, ледяной пот пробьет ослепшие от молний дома, холодный расчет заставит скользкие лужи покрыться пробной ледяной коркой, боги устанут метать ливни с Олимпа, серебристые спицы станут всё тяжелей, неподвижней, обрастут контурами, сквозь которые, как сквозь заиндевший янтарь, будет просвечивать застывшая ливневая спица по соседству

32° по Фаренгейту, 0° по Цельсию. Сосульки свисают удивленными восклицательными знаками с домов, деревьев, над глыбой облака, упавшего с утра на землю сугробом. Сосульки еще помнят чудо полета, когда они – с весны, сквозь лето и осень – летели легко, восторженно, потрясенные свободой, над раскрывающимися внизу, как акварелью обрызганные бутоны, пленэрами. Это было давно, в юности. Теперь они хладнокровные рыцари, закованные в ледяные доспехи, в безмолвном зимнем походе против катастрофически приближающегося мороза.

Побелевшая от пронизывающего ветра ледяная пустыня. Сведенные холодом суставы деревьев, обледеневшие лица-фасады домов. Несколько голубей на карнизе универсама, над входной дверью, которая, периодически раскрываясь, выделяет в пространство теп-

лую мимолетную тоску. Занесенные снегом машины, фонари, пешеходы и шкала температур, готовая опуститься до последней низости, до невыносимых 0° по Фаренгейту. Об этом ничего не знают сосульки. И, конечно, не догадываются, что где-то в знойном шюле всегда есть кто-то, готовый их понять и им сочувствовать.

Р. Мороз-9.

Время сокращается так: раньше год тянулся, к примеру, одну седьмую часть вашей жизни. Вам было семь лет.

Затем время ускоряется.

Вы продолжаете с радостью отмечать дни рождения, но год – уже одна восемнадцатая часть вашей жизни.

Одна сороковая.

Одна шестидесятая.

Одна восемьдесят восьмая.

А потом время исчезает из вашей жизни вовсе.

...Только в двадцать девять – это рано и неуместно. Мэрджори умерла в двадцать девять лет от родовой горячки с длинным перечнем осложнений, почти через два месяца после рождения Робин, внучки Р. Мороза. Этой смерти можно было избежать, но сам Р. Мороз проводил зимы во Флориде, а в тот год захватил и весну, опасаясь развития туберкулеза, о чем предупреждали специалисты-доктора. Смерти Мэрджори можно было избежать, но что-то упустили врачи, что-то недоглядели родные, и в итоге пятый ребенок в семье, всеми любимая Мэрджори, отошла в мир иной в мае 1934-го. Р. Мороз выпустил небольшую посмертную книжку стихов дочери в издательстве *Spiral Press*, но всего несколько раз ее открыл, вероятно потому, что помнил стихи Мэрджори наизусть.

Родители должны уходить с Нового на тот свет раньше детей. Все исключения из этого правила его только подтверждают. И если из трех главных тайн – смерти, существования Бога, любви – последняя является самой неразгаданной, то...

Вот это «если – то», банальная формула формальной логики, здесь никак не устраивает. Уже детерминированный, вроде бы, вывод, напрашивающееся само собой решение – всегда и есть обман, путь в никуда, потеря ориентиров. То, что разумеется, что выглядит вполне доказательно и причинно-следственно, всегда будет препятствовать разгадкам и выходу из лабиринта. Если ребенок рождается, то мать должна его любить... Если мать ребенка любит, то он будет, безусловно, счастлив... Если мать умирает...

То младенца обеспечивает молоком кормилица, или его насыщают искусственным питанием. А близкие родственники заботятся, воспитывают, сохраняют ему жизнь. Ребенок просто не знает, что такое мать, как не знаком с цветом родившийся дальтоники, как не

слышит чистый звук тот, у кого нет абсолютного слуха. Ему дан мир без матери, и это вовсе не значит, что в этом мире он будет испытывать дискомфорт. Он просто не знает ничего другого, он живет в тех условиях, об ущербности которых не догадывается. Да, где-то есть семьи с двумя родителями, но это очень далеко, за границами нашего дома, нашей фермы. А у нас – бабушка, дедушка, дяди и тети, братья и сестры.

Трагедия – не столько в оставшемся без матери младенце, сколько в смерти матери. Да еще в таком молодом возрасте. Ведь лишь с годами привыкаешь к тому, что когда-нибудь этот мир надо будет покинуть. И это, в конце концов, становится не так печально, учитываемая возрастная дряхлость, немощь, болезни, усталость от впечатлений и житейской суеты. Природа планомерно готовит к уходу, и ты постепенно привыкаешь к тому, что жизнь надоела (вспомним Маргарет Юрсенар!), поэтому самый настоящий ужас – в возрасте четырех-пяти лет, когда возникает, оформляется в неизбежности своей мысль о беспощадной и мгновенной смерти, а ты только начинаешь жить, видеть, ощущать, волноваться.

Ребенок если не желает умирать....

то и в двадцать девять ты не готов привыкнуть к мысли о смерти. Как и любая другая, эта привычка должна закрепиться: ты встаешь на работу без будильника, поскольку просыпаешься в этот ранний час много лет подряд; ты моешь руки перед едой и чистишь зубы после обеда зубочисткой; ты звонишь родителям по вечерам, пока они живы, и еще долго рука по утрам будет тянуться к телефону после их смерти; ты пишешь «здр» в слове «здравствуйте», этому не удивляясь; ты отличаешь одну мелодию от другой, тьму от света, твердь от суши, свой дом – от других домов, как свое имя – от любого другого. И ты привык это делать ежедневно и ежечасно, так что едва ты закрепил навыки такого своеобразного «сожительства» со смертью, как начнешь умирать всё чаще и чаще.

И если те, кто рядом, кто никогда не знал о твоём болоте Гнетущем, даже не догадывался, какой ценой ты тогда выжил, умирают всякий раз, едва ты умер...

то и они...

Сентябрь

Лето кончилось. Лишь на светло-коричневой стене всё также улыбается нарисованный человечек. Несколько палочек, кружочек, две-три скобки. Беззащитное и забавное графитное существо, родившееся в палаточной шьюльский полдень.

Одинокое, с банальным вопросом в черных дозах-глазах: «Зачем я здесь?»

Когда-нибудь зимой я нарисую такого же человечка на автобус-

ном окне. Теплым пальцем по заиндевевшей поверхности: несколько палочек, кружочек, две-три скобки.

Сквозь них я смогу наблюдать дома, деревья, машины и пешеходов.

Мир вовне, в который я выйду на своей остановке. На стекле останется прозрачный человечек, копия того веселого на светло-коричневой стене. И сквозь него будут видны пассажиры и салон автобуса, который я только что покинул.

Затем человечек начнет отдаляться, сокращаться в размерах, уплывать в глубину квартала – прозрачный, как душа, и как душа невесомый.

А потом он исчезнет, словно узнал ответ на вопрос, зачем он здесь. Здесь, на стекле автобуса, либо здесь, на стене трехэтажного дома...

Затем он сотрется из моей памяти. По сути, в этот зимний, ледяной миг для него и закончится лето.

Р. Мороз-10.

Из предложенных тем для школьного сочинения: «Стала ли его поэзия лучше после самоубийства сына? Хуже?»

Стала ли, осталась ли? В течение шести лет Р. Мороз потерял любимую дочь, жену и второго сына – и в эти годы он написал лучшие свои стихотворения. Боль от потерь только усиливала магический лиризм его поэзии (из Энци.).

Вид из окна №1.

Вид из окна этой комнаты неизменно завораживал Кэрла, и посмотрев на утонувшие в причудливых тонах рыжего и коричневого осенние холмы, он с облегчением подумал о том, что видит их в последний раз. А это значит, что скоро он сам станет бескрайним пейзажем, растворится в тихом помешательстве красок, покидающих в эту пору кроны уже заранее сдавшихся зиме деревьев.

Через час-другой пастухи погонят отары овец в долину, и бело-снежные руна станут перетекать с одного земляного вала на другой, пока не истают за бугристой стеной леса, в котором всё еще находят пристанище последние волки.

Справа лежали убранные в октябре, к весне перепаханные поля, и сейчас, в предзакатный час, когда лунный свет самый беспощадный и яркий, комья земли казались плотными, угольной фактуры черепами. Скоро они покроются стружьями снега, но это уже без меня, представил Кэрл.

Он подошел к камину №1.

Он подошел к камину и, перебирая тонкой кочергой останки

страниц, поворочил поленья. Искры вяло высыпали из обугленного дерева, но несколько самых бойких рванули за чугунную решетку и упали в то место, где через время станет набухать вытекающая из рваного отверстия в височной доле кровавая лужа.

Надо бы помыть руки. Кочерга была покрыта ржавчиной и сажей, и обе ладони выпачкались сажей и ржавыми полосками поперек линий жизни. Хотя в доме было натоплено, но к утру тепло из комнат выходит, при этом в комнате шестнадцатилетнего Прескотта почему-то задерживается дольше всего. Возможно, потому что комната у него не угловая и в ней всего одно небольшое окно.

Отец вчера уехал №1.

Отец вчера отбыл рано вечером. Лилиан на прошлой неделе легла в больницу на операцию и попросила Р. Мороза приехать на ферму в Вермонт, поскольку, как она сообщила, Кэрол пребывает в депрессии тяжелой, и есть опасения, что в ее отсутствие с мужем может случиться самое ужасное.

Р. Мороз несколько дней провел рядом с сыном, опасаясь его самоубийства, и отбыл накануне к себе в Кембридж. Он надеялся, что миссию свою выполнил и всё будет в порядке.

В семь утра Прескотт, разбуженный ружейным выстрелом, найдет мое тело в луже крови на кухне и позвонит Р. Морозу. В истерике мальчик прокричит: «Папа себя убил! Он себя убил! Он сейчас мертвый!» – и Р. Мороз, не разобрав спросонья воплей внука, поймет еще даже до того, как зазвонит телефон (так он затем вспоминал, и так ему казалось, что он проснулся за мгновение до того, как услышал телефонный звонок, уже зная, что Кэрولا больше нет), что Кэрولا больше нет.

Вид из окна №2.

Все стихотворения, всё, написанное и выстраданное, раскритикованное отцом, даже высмеянное им в немалой степени, благополучно сожжено. Надо умыть руки. Было удивительно наблюдать, как бумага скукоживалась в огне, синела в фиолетово-багровом пламени и становилась тоненькими рассыпающимися на глазах темными крыльями. Часть их тянулась к дымоходу, поднималась плавно и торжественно, как, должно быть, устремляются вверх души умерших, и это было удивительно наблюдать: невесомые, с бархатным налетом клочки золы взлетали в глубине камина, тогда как внизу бумага рассыпалась в прах. А он подбрасывал листы черновиков, чистовиков, вырванные из дневников страницы, и они вяли мгновенно на глазах, подталкивая белизну свою пламени навстречу. Сгорало каждое слово, выписанное его почерком, зачеркнутое им в решительных поисках слова, которое верней и к месту, все буквы на бумажных

листах исчезали, приобретая коричнево-лиловатый оттенок земли, которую огонь превращал в прах.

Отец вчера уехал №2.

– Душа моя – дым и пепел, одежды мои – дым и пепел. Чего стоит душа, если ты не бодрствуешь в ней? Огонь на пепелище, – вероятно, мог бы вспомнить Кэрол, если бы помнил и знал. Два поэта в одном доме, в одной семье – это суровое испытание для каждого из них, но особенно для того, кто не защищен ни опытом, ни славой, ни верой в себя.

Отец писал ему длинные письма. В них он не только разбирал построчно его стихотворения, но и настойчиво советовал уделять всё внимание рациональному, верному делу, которое приносит постоянный доход, не поддаваться поэзо-графомании и выдержать искушение тщеславием, поскольку «тот, кому не дано свыше, годы потратит впустую, и горечь разочарования будет портить ему кровь и разъедать душу». После таких писем, стихотворение, каждое казавшееся Кэролу цветком тропического колорита и весенней свежести, превращалось в сморщенного двойника из пыльного гербария, никому не интересного и покинутого. Это происходило буквально на глазах: он смотрел на приведенную отцом строку стихотворения, он понимал, что это знакомая строка, им сочиненная, – и тут же она становилась ссохшейся мумией с рваными краями, торчащими из трещин на окаменевшей, задубевшей коже.

ЭТО было невыносимо.

*НЕ*т сил больше терпеть

ВЫ слышите меня

НО слышите вы меня или нет

*СИ*л нет

*МО*их это больше терпеть

Надо помыть руки №1.

Надо помыть руки. Кэрол подошел к раковине, смочил тыльные стороны ладоней и намылил их бледным, похожим на кусок оплавленного парафина, мылом. Свел указательные и большие пальцы на обеих руках в виде сердечка, которое сразу затянулось пленкой. Она отливала радужными пятнами. Он смотрел, как между ладонями что-то внезапно начало свое короткое существование, и это существо из тоненькой мыльной пленки и в ней цветных подтёков натянулось, задрожало в ритме его трясущихся рук, выгнулось в последней своей надежде и беззвучно лопнуло, разлетаясь одиночными каплями куда попало.

Кэрол потерял одну намыленную ладонь о другую, смыл стружкой ледяной воды почерневшую от золы и побуревшую от ржавчины мед-

лennую жидкость и вытер, тщательно и не торопясь, руки о теплое полотенце. Он посмотрел в зеркало, ограниченное по краям многолетними сколами. Для своих тридцати восьми, прикинул Кэрол, я выгляжу очень даже поэтично.

Он подошел к камину №2.

Он подошел к камину. Все бумаги сгорели дотла. У него больше не было ни его букв, ни его стихотворений, ни поэзии, ни страсти. Внутри оказалось пусто и гулко. Он знал, что в мире остается поэзия его отца и это, возможно, скрасит отцу предстоящую разлуку с непутевым сыном. У него останутся его великие поэмы, его бессмертные строчки, его, Р. Мороза, прославленное имя и всемирное признание.

Кэрол поднял с кухонного стола заряженное ружье. Поставил указательный палец на курок, раскрыл рот, поднес к нему дуло, «а у меня ничего теперь не осталось», – спокойно подумал, удивляясь своему ледяному спокойствию, и негнушимся пальцем с трудом потянул курок.

Октябрь

Яркий солнечный день. Глядя в окно, можно перепутать с летним, если бы не голые ветви осенних деревьев. Но снега нет, сугробов нет, даже нет мороза.

Уже не тепло, хотя немногим больше сорока по Фаренгейту, что около плюс пяти градусов по Цельсию, – не то чтобы в этом году редкость, но не рутина.

А справа, в дальний угол оконного переплета, медленно восходит Луна.

Начало вечера. Практически, нет теней, нет ни одного облака на небе.

Но Луна всё выше и выше, словно накачанная гелием. Она полупрозрачным шаром с оторванным дном (до полнолуния еще надо дожить) отрывается от крыши соседних домов и своим наличием на фоне неброской, словно вылинявшей лазури, ненавязчиво настаивает на том, что закат впереди.

Любопытно: восход Солнца представляется всегда сразу, целиком и в красках. Он отражен в массе иллюстраций – иногда ближе сердцу одноименный шедевр Моне, или вдруг пробивает на что-то вроде «Новой планеты» Юона, а то и вовсе – в духе «Восход или заход солнца» Эрика Булатова.

Восход впечатан в память, отражен в прощальных минутах, когда после бессонной ночи мгновенно ощущаешь, шурясь на первые розовые лучи, что начинается новый день, как новая жизнь, долгая и насыщенная предстоящими событиями до самого заката.

А восход Луны представляется с трудом. Луна является где-то

на ночном небе уже готовым хромированным куском, как в «Ночи на Днепре» Архипа Куинджи, или сразу призрачной пенящейся дорожкой, подобно «Летней ночи» Уинслоу Хомера .

Луна – интроверт. Солнце – экстраверт. Видимо, такой и должна быть аллегорическая пара, традиционно исполняющая роли Смерти и Жизни. Не об этом ли Антонен Арто: «И заходящее солнце прекрасно благодаря тому, что оно отнимает у нас».

Р. Мороз-11.

Элинор ушла четыре года спустя после смерти Мэрджори и за два года до самоубийства Кэрола. Она покинула Р. Мороза, находившегося в безумии отчаяния, и здесь не скажешь – мол, конченная эгоистка, поскольку она невыносимо мучилась, и, сполна настрадавшись, отошла в мир иной. Однако оставила его одного в мире нескончаемых несчастий и череды бед. Теперь ему с этим бороться одному, хотя почти одолевший ее рак груди, а главное – инфаркт, который никто не мог предсказать, ибо эта участь, в отличие от рака, не в наказание, как-то оправдывали ее уход. Оправдывали и то, что теперь ему не с кем заполнить внезапно наступившую тишину, и не с кем поделиться своими тревогами, мыслями о возможном туберкулезе и, вообще, разделить хроническую депрессию, которая одолевала его с ранней юности. А не только после, допустим, смерти крошечной Элинор Беттины, унесенного холерой четырехлетнего Эллиота, или сошедшей перед смертью окончательно с ума родной сестры Дженни.

Отчаяние убивало Р. Мороза до его последнего дня. И когда он написал *The Subverted Flower*, посвятив его молодой красавице Элинор, но она запретила публиковать это стихотворение при ее жизни, он впал в депрессию сразу. И когда она отказала ему в руке и сердце – он ушел на болото Гнетущее, и его парализовало общее расстройство, едва он осознал, что покончить с собой, утонуть в болотной топи не способен.

Хотя в ней утонул Эллиот, маленький смешной мальчик, чей папа вовремя не вызвал врача, непонятно на что рассчитывая. Р. Мороз укорял себя в этом всю жизнь, считая, что Бог наказал его жестоко и справедливо, поскольку мир справедлив и жесток, жизнь ужасна, и мировое зло всегда там же, где и ты, то есть если не в тебе, то рядом.

Он был на два года старше Элинор. Они учились в одной школе. Они были выдающимися учениками одной и той же школы, с блеском закончили разные институты, начали работать преподавателями – и жизнь свела их намертво, обратив его в поэтическую веру и дав успех, славу, уважение, почет, а ей – роль супруги великого фермера и матери погибающих один за другим детей.

Картины в их доме – пленэры, непонятно кем написанные порт-

реты незнакомых фермеров, старые натюрморты, изъеденные временем и нескорогаемым по ту сторону полотен светом, были сродни его лицу, покрывшемуся морщинами, иссеченному глубокими трещинами, казалось, с острыми краями. Картины, как и его лицо: краска выцвела, вместо колоритного рукава, расписанного кувшина, уходящего в перспективу квартала за окном, появлялась свинцовая основа фактуры, а испещренный кракелюрами масляный слой сморщивался даже на скулах и подбородке, не говоря о впалых щеках и тяжелых мешках под глазами.

Она видела его в грядущем точь-в-точь таким же, каким он и был на похоронах Кэрала. На вручении очередного Пулитцера. На торжественных церемониях посвящений его в почетные доктора десятков университетов. На его лекциях и встречах с читателями-поклонниками, когда он, ставя автографы, смущенно улыбался и беззащитно шурился, словно был давно уже оправдан перед небом. Он хотел этого – и он получил, что хотел, с горечью подумала Элинор, еще не зная, что резкий укол сейчас в сердце был последним из всего того, что она могла пережить и ощутить в оставляемом ею мрачном мире.

Себя в том будущем рядом с Р. Морозом она не увидела.

Бог с ним! Разве смерть – это не синоним бегства?

Ноябрь

Второй день идет дождь. С короткими передышками. Их правильней назвать паузами: словно опешивший от содеянного, ноябрь периодически останавливается и задумывается: «Что же это я? Что я натворил?»

Можно только представить, как занесло бы весь город снегом, строго по календарю и времени года, если бы наступили долгожданые морозы. Но надежд никаких: днем ожидается 52° по Фаренгейту, что около плюс десяти издевательских градусов по Цельсию.

В конце ноября подступающая зима пыталась не повторять осенние ливни, но тщетно. До Нового года мокли горнолыжные базы, а завязные лыжники и любители городских катков ощущали себя адресатами-получателями, которым почта по ошибке доставила чьи-то чужие посылки.

Только 24 ноября зиме удалось разродиться на Восточном побережье снегопадом. Выпало от двух до трех футов осадков, в Катскильских горах – даже больше метра, однако духа ноябрю хватило ненадолго. Через несколько дней по сугробам зарядил мелкий дождик, температура уничтожила всю зимнюю, физически и технологически нелегкую работу метели.

Теперь ее заносчивость вызывала только насмешки.

Это подорвало вконец значимость ранней зимы в собственных глазах, и ее самооценка падала в дальнейшем несколько раз за сезон.

Всё это к полудню принимает размеры уездного масштаба чеховской трагедии. В духе монолога учителя Платонова из синема-тографичной «Неоконченной пьесы для механического пианино» по мотивам «Безотцовщины»: «Мне 35 лет! Всё погибло! Всё! Саша! Александра! Всё погибло! 35 лет! Я ноль, я ничтожество! Ноль! Мне 35 лет! Лермонтов восемь лет, как лежал в могиле! Наполеон был генералом! А я ничего в вашей проклятой жизни не сделал!»

Действительно, к январю всё погибнет. Уже поздно будет что-то предпринимать.

Всё погибло и сегодня, под ноябрьским дождем. Зима предчувствует, что пройдет и она, так ничего толком не сделав. Ничего зимнего, по сути, в дальнейшем не совершив.

Ни лермонтова, ни наполеона. Словно тезка зима чеховскому Ионычу, а по профессии – уездный, с несостоявшейся судьбой несчастный учитель.

Саша! Александра!

#ханнарендт

Он и не спит возле ручья. Со стороны это выглядит так, будто он дремлет, склонившись над водой, и ни звук, ни цвет, ни порывы ветра разбудить его не вправе.

Ему столько лет, столько порывов, столько звуков и лучей, что никто не помнит и уже не вспомнит, когда он начал стареть.

Но он не спит. Июльский день монотонно тянется с утра, жара стоит невыносимая.

Исчезает разница между сном и явью. Он всматривается в воду, взгляд растворяется в ее глубине, становясь водорослями и рыбой одновременно, плавным течением и донным илом. Полоской света, нырнувшей вслед за взглядом под воду.

Вода теплая, прозрачная. Она неостановима и неуловима, как время, и это навязчивое сравнение ему понятно, как никому другому.

По ее текучей поверхности путешествуют случайные травинки, отправляются на юг в хлопчатых коробах облака, и голубой шёлк тянется до горизонта. Плывут вдоль ручья невесомые водяные жучки. Тонкие соломинки, как компасные стрелки, показывают, куда стремится течение. Очевидно, там же и полюс.

Зеленая фигура листа, дважды перевернувшись в воздухе, шлепается в свое отражение и осыпает брызгами забежавшую на обед водомерку.

Он смотрит спокойно, отрешенно, не принимая участия в том, что его окружает. Он смотрит безучастно на то, как плывущие облака сереют, хлопок сыреет на синем шелковом пути, иероглифами скла-

дываются тростинки, соломинки, матовые блики в пожелтевших листьях. Их всё больше, всё желтее они и суше, всё длиннее сумерки и прохладней дни.

Всё трудней различать, падают ли это листья, падают ли это капли дождя, падает ли температура воды. Вода густеет от холода, ее дно покрывается плавно опускающимся с поверхности ручья мягким хрусталем.

Вода в ручье принимает форму горла, дрожащей голосовой связки, медленно тепенеющей и потерявшей эластичность на морозе.

Охрипшим голосом поет метель.

Он глядит в ручей, он не спит. Хлопок распускается пряжей, ее белоснежные волокна заполняют воду по течению. До противоположного берега, до самого дна. Водоросли теряют гибкость, они становятся бесцветными подобиями стынущих на суше деревьев. Рыбы в их кронах замирают в белых х/б комбинезонах, в бледных саванах их тени неподвижно висят в глубинах ручья.

Ледяной ветер учится у застывающей воды, становясь накрахмаленной тканью, искрящейся люрексом. Ее шелестящая белизна выстилает поверхность ручья, и в нем больше ничего не отразится.

Он всё это видит, и ему кажется, что он не спит. Или на самом деле он всё это видит наяву, покачиваясь в такт ветру черными ветвями. Он знает: в его долгом разговоре с ручьем, за их многолетним молчанием скрывается кто-то еще. Этот третий всё меняет и всё возвращает – зной и гололед, гром и тишину, ночь и день.

Этот третий незрим оттого, вероятно, что не есть ручей. И не есть вяз, склонившийся над ручьем в любое время года.

Или есть и то, и другое, и третье.

Этот третий и есть год. Или то, что больше года. Хотя всё, что больше года, всё равно есть год, поскольку в него вмещается всё то, что можно бесконечно повторять в меньших или больших масштабах.

Он смотрит на ручей и ощущает, *как* проходит год. Если бы он стоял среди других вязов в лесу, он ощущал бы год иначе. Соблюдая баланс между публичностью и приватностью.

По Ханне Арендт.

Но здесь он одиноким вместе с одиноким ручьем, и никто не мешает ему смотреть на изменчивую поверхность и наблюдать, как свободный выбор ручья подчинен невидимой силе. И *как* зрение обречено отмечать, что неведомое нечто превращает воду летом в пар, а зимой – в лед.

Кто знает: возможно, это и есть агрегатные состояния жизни, души и смерти. И тот, кто засуху навязывает и осадки, имеет власть над вязом и ручьем. И ими управляет.

Балансируя между приватностью и публичностью. Год за годом.

Р. Мороз-12.

Если твоя женщина умирает, ты прошел с ней сквозь свои молодые годы, вместе вы смогли вырастить и похоронить детей, содержать дом в относительной чистоте, в порядке, без запущенных углов и значительных скандалов, а другая твоя женщина возникает на ее месте, ты не знал ее, когда она была юной, у вас не появились дети и нет общего дома, мало что есть, то ты подобен кукурузному маслу, которое переливают из одной бутылки в другую, подставив одно горлышко под другое и осторожно поддерживая правой рукой верхнюю бутылку с маслом; она подрагивает на весу, рука ощущает, как истекает в бутылке жидкость, то есть сама жизнь ее, возможно, о чем не дано знать, а левая рука всё плотней охватывает другую стеклянную тару, которая тяжелеет, наливается густым, оранжевым, мучительным маслом, всё трудней держать ее в руке, и здесь важно не пролить ни капли, не дрогнуть ни одной рукой – той, что с бутылкой, в которой масла всё меньше, его уже почти там нет, в этой бутылке, в которой со временем ничего не остаётся, только белесый парящий на дне осадок, да и самой этой бутылки, похоже, нет, она теперь невесома, а значит, ее нет, она была – и ее больше не будет, поскольку пустая прозрачная ёмкость – это ни о чем и ни для кого; а левая рука не может не оценить массы налитой маслом тары, отяжелевшей с безумной скоростью, еще недавно бывшей практически без веса, только безликие очертания, заполняемые постепенно новым смыслом, опытом, значениями, запахом кукурузных семечек, плотным, растопленным золотом, принимающим, как и любая влага, даже эта, формы заполняемого сосуда, и вот ты теперь то, что его заполняет, обтекает стенки, границы остекленевшей прозрачности; ты плавно осваиваешь новую полость, с которой тебя уже связывает нынешнее твоё естество, само существование, поднимаешься со дна со скоростью заливаемого в бутылку масла, тебя всё больше, ты продолжаешь расти и расширяться, давя на твердые тонкие границы, они звенят от напряжения высокими хрустальными колокольчиками, ты всё выше и толще, тебя уже так много в этой новой емкости, что можно ненароком вылиться, выплеснуться, орошая внешние стенки возбужденным, мощным потоком масла, выброситься толчками из бутылки при одном только нечаянном движении руки – и той, дающей, и этой, снизу, с трудом удерживающей заполненную до горлышка, тяжелым золотом налитую стеклотару, тобой насыщенную, влажным и густым тобой налитую, куда ты выплеснут без остатка и осадка из той самой, умиравшей и опустело, опостылело умершей, полой навсегда, беззвучно навсегда полый, разве что на фотографиях сохранившей, разве что сохранившей себя в памяти – слуховой, тактильной, зрительной, которая осыпается, будто в песочных часах, словно не оставляя ни одного штриха на давнем портрете, в древнем папирусе, которая

вроде оседает, теряя форму, как мягкое стекло, подброшенное в жар ночного костра – и морщится кособоко, плавится, чувственно растекается по углям, остывает позже вместе с золой, и утром остается грязным бесформенным потёком, перемешанным с пеплом, под покидающими место казни едким дымом и запахом гари, остается мутным стеклянным осколком, внутри него уже никто не сможет найти письмо, а ведь оно могло там быть, отправленное бутылочной почтой на удачу и в чужие руки.

Декабрь

Какое-то полное чувство завершенности ночного пейзажа. Сейчас возвращался домой – везде снег. Занесены снегом мелкие улицы, их дома с побеленными крышами и подъезды к домам, их деревья с белыми и черными клавишами веток.

Нет такого ощущения и быть не может шумной осенью, обморочным летом или от самой себя перевозбужденной весны.

Декабрьский холодный покой и уверенное ощущение баланса. Так, вероятно, и после жизни – потешное настроение восторга от белого бескрайнего декабря, когда выбраны все краски и остываешь вместе с мерно промерзающей по сезону землей.

И только федеральные шоссе, на которых снег не задерживается и тут же тает, уходят темными лоснящимися надрезами в осеннее прошлое. Но от этого нет ни тревоги, ни малейшего беспокойства. Лишь белый свет в душе, как и ровный белый снаружи.

А затем они где-то сходятся вместе и, как оказывается, совсем недалеко от тебя.

Слова послесловия'

На перила балкона присела птичка.

Я наблюдал ее сбоку. Невзрачный профиль, надо сказать: светло-серое брюшко, грязно-суконное оперенье, худенькие лапки, цепкие когти.

Нагловатый хохолок и настороженный, выпукло торчащий красноватый глаз.

Длинный клюв, из которого раздавались скрипучие, выдававшие недовольство и общую стервозность, звуки.

Птичка верещала, не переставая. Настойчивая и уверенная в себе.

Поначалу я принял весь этот скулеж на свой счет, хотя сидел на балконе неподвижно, не желая испортить ей отдых и настроение.

В это время подлетела такая же птичка, но как-то пошире в плечах и шее, побольше размером лапы, с распушенным от счастья хвостом и с чем-то, зажатым в клюве.

Она подлетела к той, нервной. Осторожно присела рядом на перила.

В следующий миг первая птичка распахнула клюв, и вторая вложила в нее всё, что с собой принесла: червячка, кусочек сухарика, зарплату, обручальное кольцо.

Я сидел метрах в трех, и мне было не увидеть, что же из найденных в окружающей природе вещей заглотнула птичка.

Она прекратила верещать и поскрипывать. Ладненько отряхнулась. И пара безмятежно подалась куда-то на ближайшее дерево, от балкона подальше.

Это, видимо, и называется любовь.

На перилах осталась темная соломинка помёта. Какая-то сухая сразу, прозаическая и одинокая.

Возможно, оставленная мне на память о встрече. Да, и в виде авторского гонорара за небольшой орнитологический рассказ.

Слова послесловия”

Открываете дверь.

Входите вовнутрь и идёте по коридору.

Дорога ведет направо.

Идите по ней.

Затем дорога поворачивает налево.

Смело идите по ней.

Впереди будет еще несколько поворотов – запоминайте, фиксируйте на них свое внимание.

Продвигайтесь вперед и только вперед. Берите пример у времени – оно движется в одном направлении, таков закон природы.

Идите вперед.

Поступайте в соответствии с законом.

Доверьтесь своей интуиции,

Еще один поворот направо.

Не бойтесь идти. Вы уже долго продвигаетесь вперед.

Понятно, что следующий поворот будет налево или направо.

Идите вперед.

Вы в лабиринте,, вам отсюда никогда не выбраться,,

.....

Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both...

Robert Frost, The Road Not Taken

Владимир Яськов

Постскриптум

ПОПЫТКА ПРОЩЕНИЯ

виноват я разве, что голос мой рвется, тает
что чего-то нужного, нежного не хватает...
не успею упасть в подушку – уже светает

не успею согреться, забыться, смирить тревогу
и в пространный сон погрузиться, как стих в эклогу...
виноват я разве, что всё, что другие могут

без труда и усилий, дается мне только с бою,
даже чтение Блока, даже долгая жизнь с тобою...
интересно узнать бы: сколько – такой – я стою

для чего-то же мама меня родила, растила
не затем, конечно, чтобы хватал светила
да теперь неважно; она и сама забыла

никому не мешать – вот чего я теперь желаю
прислониться бы к ветру, к дыму, к ночному лаю,
упорхнуть бы в форточку – чтоб комната нежилая

оценила внезапно реальный масштаб утраты
не меня, но тех, кто здесь побывал когда-то

и ушел, не сказав «прощайте»,
не моля о пощаде

2000

ОСКОЛКИ КАЛЕЙДОСКОПА. 1

Крутится-вертится шар голубой...

на мучительства с детства толков
павианий наследник
истребляет последних волков
и собак предпоследних
скоро лес изведёт на корню
речь и речку загадит
я ублюдка его не браню
мудака христа ради

как на нерест идя на убой
краснопёрая нелюдь
развлекается пьяной гульбой
и пальбой по неделям

вон за стенкой под вечер опять
именины без правил
кто бы их пострелял или спать
наконец-то отправил...

...умножая уродства свои
грабежи и разбои
жизнь идет но как будто стоит
и не многого стоит

путь к метро по утрам тороплив
спуск под землю печален
так уходят на дно корабли
не печась о причале

знать бы кем мы все станем потом
когда быть перестанем
когда сложим культяпки крестом
и к причалу пристанем

...а за стенкою вдруг замолчат
знать враждуют домами...
...плач во тьме недобитых волчат
по застреленной маме

достигает пределов земли
и у самого края
шепчет ей напоследок: замри
и она замирает

ОСКОЛКИ КАЛЕЙДОСКОПА. 2

...жизнь продолжается но не длится
не понимает кому молиться
не принимает слова на веру
смотрит рассеянно в стратосферу

небо объявлено вне закона
кто ты? синица? журавль? ворона?
боинг? бабочка? сбитый ангел?
не трепыхайся забудь о ранге

не трепещи не трещи сорокой
просто замри ничего не трогай
стань на мгновение самим собой
просто молчи и стой

АРХЕОЛОГИЯ

не слышать под нашими стенами
звона мата крика
только ветер отзвуки стенований
треплет поелику

только он да чайки на причале
тише! слышишь часек?
в час расплаты возгласы печали
сдачей возвращают

объяснюсь теперь на новорусском
это понемногу
входит в грудь смиренность с легким хрустом
как игла под ноготь

смертным сном забылась вся округа
и не видно страже
кто там умирает друг за друга
но не думай враже

что уйдешь отсюда поздорову
истощив колчаны
мы вчера засыпали дорогу
там где вас кончали

2001 – март 2022

НОВЫЕ СТАНСЫ

Прокатиться бы по льду,
отряхнуть бы перчатку от снега,
красоту, а не пользу
извлекая из смеха и бега.

Стать бы, что ли, синицей
в облаках, журавлем на ладони;
взять – и просто присниться,
долг какой-то неясный исполнить...

Иль замерзнуть в сугробе:
стать похожим на оттиск, на слепок
жизни – той, что угробил,
не сумев избежать напоследок.

Где вы, Ласьва и Кама,
вся в маслятах тропинка лесная?..
Может быть, только мама
и любила меня? Я не знаю...

...Вечер пуст и сиренев.
Жаль, что тот, наверху, неподсуден.
Завывают сирены
и дома умирают, как люди.

2000 – март 2022

РАСЧЕТ

1

полукруглые даты
мелкотравчатых дней чехарда
и не вспомнить когда ты
воскресал по утрам без труда

затянувшийся вечер
прибегает к теплу и вину
полупьян и доверчив
пожираешь давясь тишину

от эзоповых басен
навсегда мерзкий привкус во рту

ВЛАДИМИР ЯСЬКОВ

никому не опасен
дотянуть этих дней чехарду

чтоб исправленным эхом
год за годом послушно потом
нету выбыл уехал
оглашался разрушенный дом

2

дни то шли то бежали
то ползли неизвестно куда
и ветшали скрижали
превращая минуты в года

но однажды на кровлю
опустились стальные стрижи
время смазано кровью
и уже никуда не бежит

из соседних развалин
неразборчивый всхлип донесло
этот миг идеален
для последних несказанных слов

смерть таилась как вирус
и проникла вот в эту стопу
так что ежели вырос
будь мужчиной услышать «капут»

РАЗГОВОР

выйду и я когда-нибудь
на берег христа ради
выберу точку на небе
или на водной глади
и край одежды выпачкав
сонною синевою
приподнимусь на цыпочки
поговорю с тобою

как тебе там на привязи
наших молитв проклятий?
нас-то кривая вывезет

но не тебя приятель
мы-то развеем по ветру
(нам не впервые) прах свой
ты-то проснешься поутру –
кто тебе скажет «здравствуй»?..

как хорошо рассеянно
не тяжело не пристально
взгляд отплывает северный
как пароход от пристани
белый белее инея
облак встает над бездной
может быть только пинии
слышат твой звук небесный

в сонной сиене в падуе
в риме по крайней мере
пухом изустным падает
отвердевая в вере
нечто чему названия
не подобрать удачней
слышишь ли? до свидания
в месте покойнем злачнем
2000

P. S.

время – большой наждак
стачивая – тачает
но появься нужда
спросишь – не отвечает

Харьков

Георгий Садхин

* * *

Я брожу в далеких дворах,
пустоту рукой охватив,
и пою стихи в соцсетях
и еще забываю мотив,

когда слышу твое «Лови!»
Догоняю в пятнадцать лет,
тогда знали мы о любви:
до шестнадцати ее нет.

Вовка Белый, на нос – картуз,
а в руках – семья голубей,
извещает Советский Союз:
Жорик женится на тебе!

Яркий свет проливает окно,
зонт раскроет сирени куст.
Перемешивай домино.
Пусто-пусто. За нас дуплюсь.

И в сирень тебя наряжать.
И сирень пышна, хороша.
И взростеть, сиренью дыша.
И еще сидеть, не дыша.

Я брожу в далеких дворах
и повсюду цветет сирень.
Ходят голуби в двух шагах
от скамейки, укрытой в тень.

* * *

Вьюнок и мох. Просвет в заборе
заполнит летняя беседка.
В ней – нимфа в головном уборе.
Какую роль играет кепка
в ансамбле, где одни стрекозы
порхают бабочками Шнитке
и крыльями из целлюлозы
касаются твоей улыбки?

Их уличенный след у лилий,
оставив ломкость траекторий,
растает в блеска избытки
у лакированных магнолий.
И, бабочек неуловимей,
короткий дождик проходящий
прозрачностью наклонных линий
смычок преследует летящий.
Зеленый дворик ключ паучьей нити
в кустарниковом лабиринте
с лимонной веточкой в зените.

* * *

Во Флориде на флюиды
разлетается жара.
Донимают вас и виды,
и подвиды комара.

Сбрось у реченьки заплечный
рюкзачок, пока светло,
каждый встречный-поперечный
улыбается – Hello!

А приляг, овеет слава
мелким дождиком из фляг.
Реет слева, реет справа
звездно-полосатый флаг.

Озорные крокодилы
не посмеют обижать.
Проглоти стакан текилы,
чтоб зигзагом убежать.

Что вне дома – незнакомо.
Комарьё-зверьё – ничьё.
Выпускай на волю слово
драгоценное своё.

* * *

В такую погоду младенческий вечер,
белесый залив с белоснежным песком
пустынного пляжа смыкаются в речи.

Всё кажется млечным.
 Футболка, кроссовки почти невесомы.
 Затишье прибоя даровано скрипке
 и встречной улыбке, и нежной фате.
 Спускается чайка к серебряной рыбке,
 к серебряной рыбке в прозрачной воде.
 И лица у счастья красивы и юны.
 И белый букет у невесты в руке.
 И дюны. И белые-белые дюны
 до самой лагуны, что там вдалеке.

* * *

Где плавника мохнатый лепесток
 проник в тайник искусственных растений,
 усатый гений лег на правый бок,
 переживая опыт отчуждений.
 И, раздвигая небо, косяком
 вонзаясь в славную и зыбкую открытку,
 из глубины, встревоженной сачком,
 достану умирающую рыбку.
 Опустится взволнованная взвесь,
 и незачем подруг напрасно беспокоить.
 Есть Интернет, чтоб нас могли прочесть,
 и добровольный труд, чтоб не смогли уволить.

* * *

Ледышкой в рукаве и мы обогащались,
 в микрорайоне «В», перемежая шалость
 кружения деревьев и куража на лыжах,
 когда задорен лев под шерстью колли рыжей.
 Обходишь ли сосну, ступив коньковым бегом,
 где яркий хвост махнул, окатывая снегом,
 иль падаешь в сугроб с крутого поворота,
 а там собачий лоб и на тебя охота.
 Собака – мордой в ком, ты – варежки за пояс.
 Пальнешь в нее снежком, она, к прыжку готовясь,
 залает на весь лес и на хвостах сорочьих...
 Внезапный бес войны испортил эти строчки.
 Взрывной волною мой веселый стих настигнут.
 Трясет его бедой бомбежек Украины.
 Безумный кагэбист, как ты посмел родиться?
 Пусть плачет по тебе Кремлевская больница,
 Пусть ждут твоих убийц Гаага, петли, жерди...
 Скорей настигни их спаситель-ангел смерти!

ТАМ ГДЕ БЫЛ МОЙ ДОМ

Где был первый дом,
там не до меня.
Там горит огнем
под врагом земля.

Где второй был дом,
там смыкают строй.
И на первый дом
мой идут войной.

И идут войной
на мой первый дом.
Первый – вольный дом,
а второй – дурдом.

Где мой дом-дурдом
повторяют бред.
Лезут в чернозем,
как Саддам в Кувейт.

* * *

Помоги, отец мой и мать родная,
отыскать Рубежное и Кременная
и еще Попасная и Золотое
и еще оставьте меня в покое
Google map и zoom карта Украины
и еще Изюм и еще руины...

Филадельфия

Игорь Метельский

Параллельные места

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕСТА

синхронным плаванием мыслей
сiju с утра замороженный
гляди куда дыру прогрызли
пока дымилась плошка пшенной

из червотчины проворно
нахлынут знаки вереницей
пока я думаю о волнах
ты размышляешь о частицах

ветвится танец синхронисток
распараллеленным процессом
переплетается тернисто
и каждый вклад – с каким-то весом

так мироздание решает
свои насущные задачи
и эта алгебра внушает
что всякий шорох что-то значит.

* * *

существо заглядывает в лужу
погружаясь в каменную стужу
первобытный сдавливает крик
разговор иной ему неведом
в воздухе едва заметным следом
чертит облако а в облаке – значок
выскочит провалится в зрачок.

* * *

я проглотил косточку
слепых узнаваний теперь
дерево недомыслий во мне прорастет задрожит
несговорчивыми плодами высвобождая
высоковольтный стрекот
ночной просеки.

ОДИНОКИЙ ДУБ НА ФОНЕ ЗИМЫ

Владимиру Гандельсману

заостренно-фрактальная голость
потрясенных ветвей
закаленная холодом прорость
из подземных клетей
эта трещина в пепельном поле
сообщающий правду сосуд
утешитель вороньего горя
в пустоте воробьиный приют

и снуют
наподобие мыслей
хаотично частицы тепла
вот одна из них только зависла
на мгновение
и утекла

потайным для ума алгоритмом
как нейронные сети ничьи
вычисляют немую молитву
уходящие в небо ручьи.

* * *

энергия сохраняется
напряжением убегающих линий
продлена
безупречных минут колоннада
внешнее воображение
рисует столкновение
едва различных контуров
внутреннее – соглашается или нет
в перламутровой мути старинного зеркала
мерцают связи.

ПИФАГОРЕЙСКОЕ

придонность образа и целокупность линий
случайное движение пленили
тысячекратное его веретено
заключено
в струну

касания разумного отравы
скрывается во всем
дрожит октава
значением
немедленно скользну
к единому источнику припасть и
материей разъятое на части
сойдется к центру – я его сведу

молю Тебя:
позволь же мыслью страстной
сквозь толщу ремесла
услышать Космос Твой услышать тот прекрасный
прозрачный след числа.

МЫСЛЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

в бесконечно глубокую скважину
испытываемый падает заживо
ускоряясь несется во тьму
расстояние телом измерено
глубина продлевается веерно
оставаясь пределом всему

замедляется свет замерзающий
пронимает поток набегающий
затекает в зрачок чернота
оглушает падения грохот – но
в пустоту излучается крохотно
зашифрованный пар изо рта.

* * *

разожми ладонь
объем
дорастет
до размеров вселенной
и в нем
прорастут
иероглифы
расходящихся параллелей
разожми ладонь

Московская область

Вадим Седов

* * *

Есть билеты на самый последний сеанс.
Прописавшись поэтами пар экселанс,
не повисить ли в темной долине
компетенции в парейдолии?

Там сердца цепенит и смущает умы
на экране смешение света и тьмы,
подбирая ответ к сверхзадаче –
просочиться в зазор меж сумы и тюрьмы,
наскребая на гибель без сдачи.

Так придешь? – Не вопрос, безусловно приду.
Там еще поцелуй в последнем ряду.
Грех не выбрать сладчайшую участь,
не имея иных преимуществ.

ПОЭТ-ЛАУРЕАТ

И я от страха весь обмяк. Я думал, я погиб.
Палладианский особняк под сенью тучных лип.
Ночное небо, побледнев, подсвечивало даль:
Стволы в аллее – словно неф, а портик – вход в алтарь.

Яхин, сверкая, и Боаз держали свод небес.
Угольник, Циркуль, Ватерпас, и Дельта, и Отвес.
Вилась таинственная вязь под певчею луной.
Великий Мастер, Светлый Князь стоял передо мной.

Был взгляд, на Братьев устремлен, пронзителен и тверд
(а фартук кожаный на нем весь выцвел и потерт).
На встречу с ним меня ввели в прямоугольный зал.
И Братья факелы зажгли. И Мастер так сказал:

«Прими, поэт-лауреат, закон Большой Игры:
среди несчётных мириад метателей икры
слесной, станешь ты один до пепельных седин
любому звуку господин, и мысли господин.

Там, где профаны видят гад морских подводный ход,
ты прочитаешь без преград енохианский код,

и сей же час определишь, каким словам мерцать:
писать в сердцах способен лишь читающий в сердцах.

Неизъясним поток дождя сквозь черную дыру,
в отчаяние приводя собратьев по перу, –
в сплетенье рук, в сплетенье строк отыщет вариант
не псалмопевец, не пророк – поэт-лауреат.

Но будешь ты всегда один на людных площадях,
и те, кого ты пощадил, тебя не пощадят,
нелеп ты будешь в их строю, как бледный конь в пальто,
и книгу бедную твою не развернет никто,

не призовет тебя Престол предстать перед Вождем, –
Большим Редакторским Крестом ты будешь награжден,
и ты устанешь от трудов, но не вкусишь плодов.
Итак, – спросил он, – ты готов?» – и я сказал: «Готов!»

И он склонил меня к земле блестящим мастерком.

.....
И я очнулся на скамье осенним стариком.
Бульвар чахоточным огнем необратимо рдел.
Прогуливались пары в нем,
прогуливая пары днем,
вдали от скучных дел.

Но странно: мир как будто стих. Он жил, но вместе с тем
привычных звуков городских в нем не было совсем:
гудки, девичья болтовня, людской переполох –
не доносились до меня – так, словно я оглох.

Взамен всего я слышал гад морских подводный хор.
Шел суд, где дьявол – адвокат, и ангел – прокурор.
И я, восславив Судию, шагнул в небытие,
и книгу бедную мою
оставил
на скамье.

ПЛЯЖ. ФОТО

Там, где дымится и плавится мозг в жаре невозможной,
висит над водой охраняемый мост железнодорожный,
где сонная одурь, где поезд битком в положенный отдых,
и дремлет поодаль, застыв поплавком, спасатель на водах,
где в верхних садах поселянам видны с высоких стремянок

все лики округи – от лодок цветных до трав безымянных,
где дым от мангалов ползет на холмы седеющим зверем,
где времени шаг от волны до волны небрежно отмерен,

где музыка водит, считая до ста каникулам школьным,
где солнце зависло над фермой моста мячом волейбольшим,
и кожа под солнцем вспухает рубцом, полоской багровой –
не бойся, пожалуйста, это не сон – попробуй, потрогай.

От солнца укрыв, объектив протереть, чтоб в кадре осталось:
загривки отцов, животы матерей, вся нежность и слабость,
и мир в ожидании новой войны так долог и краток
от звезд до крестов,
от волны до волны,
от лодок до радуг.

* * *

Да сам ты беженец. Кругом одни враги.
От верной гибели беги, беги, беги.

Нет никакой страны твоей, чудак.
Ты здесь никто и звать тебя никак.

Ни в долах места нет, ни на холмах
в из пепла первенцев построенных домах.

В посмертье скажется бессмысленность пути.
Подснежным саженцам цветами не взойти.

И сам ты беженец, дрожащий человек.
Тем цель отверженной, чем бешеной твой бег.

* * *

Так, запоздалою весной
дожить до пятницы Страстной.
Идти, прихлёбывая кофе.
В домах порядок и уют.
И птицы вешнее поют,
не зная, что там на Голгофе.

Вдали от крестного столпа
проходит пестрая толпа,
плывут бояре в экипажах.
И равнодушен птичий глаз,
не замечая кровь на нас
и детях наших.

Хаим Сокол

* * *

Разве не касается нас самих
Дуновение ветра
Который овевал
Наших предшественников

В детстве
мне часто говорили
Что я похож
На маму
И я не понимал
Как мальчик может
Быть похож
на взрослую тетю

Теперь глядя в зеркало
Понимаю

Белое полное тело
И усталость
Нежность
И невозможность

Говорить

И большая родинка на щеке

Как остров
Посреди невыносимой зимы
С папой
Который внутри
Кричит
Оглушительно
Громко

Мальчиком во время войны
Он прятался в яме
От немцев
И полицаев
От всех
Как в утробе

Он родился
И закричал

И отдал мне этот крик
И страх
И невозможность

Молчать

Осенью
Особенно в ноябре
У меня сводит ноги дугой
Как у бабы Нади
И сердце болит
Как у деда Фимы
Они превратились
В водосточные трубы
И оставили мне
Запах лекарств
И старых вещей

Беспамятство
И невозможность

Жить

Я часто сижу ночью
Перед экраном
И сплю
Как тетя Зоя
Сестра мамы
Она любила
Жареную картошку
И ничего не делать

Эту любовь
Она передала мне

Ее муж
дядя Сеня
продавец в скобяной лавке
на рынке в Жмеринке
нареченный при обрезании
то ли Сруликом

То ли Суликом
в местечке Шпиков
Винницкой области
был записан в паспорт Сулейманом
У него ведь в жизни
ничего хорошего
Не было
кроме гетто
Впрочем
он уже умер
и ему всё равно

В старости он стал таким маленьким
Как будто жил наоборот
Он донашивал мои вещи
Пока совсем не исчез

Сулейман завещал мне
Ведро гвоздей

И Жмеринку

И странные
Шутки
На еврейском языке

Который на письме похож
На волосы
Жесткий каракуль
Бабы Сарры

Где-то
В этих пигментных пятнах
Морщинах
И в желтом суховее кожи
И в белой перхоти зимы

Полноте
Генетическом
увядании
Дурных запахах
И в косноязычии

Среди невозможности

В страхе
И усталости

Заключена слабая мессианская сила
на которую
притязает прошлое
Просто так от этого притязания не отмахнуться

* * *

Нашел
Старые джинсы отца
Пошитые
На заказ
Перед отъездом в Израиль
Мне было 17
Ему 60
Он их и не носил в итоге никогда
А я примерил сейчас
Сидят как влитые
Коротковаты только слегка
Придется
Приблизиться к земле
Лет на 10

* * *

Пластмассовый пупс-
космонавт
с ржавыми крыльями
летит-не-летит
висит
в пустоте
И только черный
каракуль вокруг
и свет стеклянной планеты
Мама идет с работы
В этих краях зимой
вечер
это рано состарившийся
день
Вот и мама сегодня
Рано

* * *

Привет баба Сарра
Как твои дела
Дурацкий вопрос
Какие дела у мертвых
Прости пишу тебе на русском
Мама говорит ты умеешь читать по-русски
Но я помню
Ты читала только на еврейском
В любом случае
я по-еврейски говорю как гой
Так что ты меня всё равно не поймешь
Мда
Сколько лет прошло
С тех пор как ты умерла
Ну вот вчера евреи праздновали
Шаббат Хаей Сарра
И я решил написать тебе
Понимаешь
Тот кривой забор
В котором была калитка для Мессии
Снесли
И на его месте поставили
Высокую
бетонную стену
С колючей проволокой наверху
Вдоль которой есть редкие КПП
Вход в прошлое закрыт
Его охраняют
Силы безопасности
Мы теперь подчиняемся им
Как силам природы
Так что Мессия не пройдет
Если у него нет документов
Прошлого теперь нет
Ни у кого
Оно осталось по ту сторону стены
И палестинский внук Гедали
Гортанно кричит Альте захеен
Здесь мы создали свое
Генно-модифицированное прошлое
И теперь наши дети мутанты
Мы все мутанты
Даже язык переплавили

И отлили заново
В учебники иврита
Теперь здесь слова как патроны
Как зубы дракона
Как куски арматуры
Воспоминания теперь можно найти
Разве что на блошином рынке
Я тоже приторговываю старым хламом
Как ты когда-то на рынке в Жмеринке
После войны
Двадцативосьмилетняя вдова
С тремя детьми
Беженка
Еврейка
Мама говорит
Ты всегда была старушкой
В своем платочке
Наверное потому что твой Абрам
Был далеко
И больше не смешил тебя
Но я помню тебя молодой
С вьющимися густыми волосами
У меня твой плед
Серо-синий-сиреневый
Как вечерние тени у Сезана
Недавно я возвращался
после работы
И посмотрел на небо
Оно было такого же цвета
Я думаю
Я надеюсь
Я помню
Это цвет твоих глаз
Я посмотрел на небо
И крупные капли стали падать
На землю
Пошел теплый дождь
И я вспомнил
Увидел
Рыночную площадь
Повсюду обломки
Старой мебели
Осколки посуды
Стекло разбитых витрин

Летают перья
А посередине площади лежит
Мертвая птичка
Совсем маленькая от смерти
В ее глазах застыло будущее
Я накрыл птицу старым
пледом
И пошел домой

Пока баба Сарра
Шалом

* * *

Зачем-то накричал на сына
Он плакал
А утром всё забыл
Но мой крик
Останется темным пятном
На его подсознании
Из этих пятен
Складывается
Ночь наших сердец
Густая тьма
Наполняющая бездну
Где ты папа
Скажет мне однажды сын
Я пришел тебя убить
Но я не вижу тебя
Я здесь сынок
Я умер
Я вымер
Меня уже нет
Я есть тьма

* * *

Дочь погладила меня по голове
и сказала
Что на ощупь мои волосы
Как трава
Я ответил ей
Что это и есть трава
Проросшая

В невозможном месте
Как случайный сорняк
В бетонной плите
Как дети
Чирикающие на русском
На детской площадке
В Беэр Шеве
Как еврейский мальчик
С глазами цвета северного неба
На уроке украинской литературы
Шапка Голоты
Ветром подбита
Травой подшита
Как язык
каркающий
Картавый
Кучерявый
Проросший густым каракулем
На теле мальчика
Когда он вырос

Тель-Авив

Владимир Ханан

* * *

Эта зелень на синем Софиевка Умань Галут Всё теплее
всё нежней исчезающий мир Это дедушка Хунэ
возле мельницы Белый от белой муки
на его голове я увидел следы Это сердце
болью давнее – дальнее Под облаками
и над ними рыдающий ветер
Тихо, внук Тихо, дедушка Умань летит
как летела накрытая талесом
Он сегодня талит – по степному безвременью
В вечное время – где ты
На картине слепой я рисую погром
разноцветный и теплый и нежный
синий желтый зеленый и красный на черном ты слышишь
ветер мельница листья Софиевки небо под небом

.....
Повторяй про себя ветер Умань Галут

Умань ветер Галут Нежно-нежно не плачь тихо-тихо

17 сентября 2022

* * *

Нарисуй черепашку судьбы сухопутно-морской
загребавшей мелкими лапками волны сухие
где погиб бедный Йорик-Титаник
Рисуй как всплывали столы кресла мертвая скрипка сундук
рыба-парусник чайка палома прелестной Мирей
доплывай тесной лодкой
атлантикой волги до гор
иудейских кибуцного красного кладбища где навсегда
мой настойчивый дядя в 20-м пришедший пешком из Украины
золотыми тропинками дольней невзгоды

Нарисуй что мне скажет во сне небоскреб тель-авива
и его же хибары-фавелы похожие на бердичев
молодости моих предков со мною еще не знакомых
.....

Нарисуй край безбедный где я где мой череп ненужный
бедный Йорик-Ненужный

Кому я – Прощай, мон амур?

19.09.2022

* * *

слушай голос деревьев
они говорят на оттенках коричневого
диалекты кустов как зеленые пташки под перьями мякоть
внимательно вслушайся в щебет
легким шелестом ласковым теплым шуршаньем
точно шепот любовный и шорох объятий
деревянного дома в мансарде на чердаке
навсегда молодые дуэты
слушай думай что всё это дело корней
что высасывают любовные соки превращая их в плоть
вспоминаю кипарис Еревана иву Углича сладкую розу Шомрона
чьи корни переплелись словно руки во сне
приснившем любимой любовь
парки Царского молодость мудрость поэта Ник Т-о
обделенного вечностью
как любой из поэтов

22.09.2022

* * *

в конце октября
под длинным ветром с косыми дождями
похожими на слезы моей безумной несчастливой юности
будто девушки запахнувшие плащи
серые плащ-палатки на странных маневрах
примороженных облаков
самострой стеклянных травы тонкого хрусталя луж
пора безответных звонков на кудыкину гору
неотправленных писем туда же
закрывая окно прощай мой адресант
.....
медленно почитать пушкина
послать вызов дантесу
и застрелиться на черной речке

28.09.2022

* * *

моя несравненная моя
тебя сравнить как венецианское окно с чердачным
я помню лестницу на чердак ступеньки как считалка
раз два три четыре пять вышел вовка погулять
во двор на траве дрова где я рубал в капусту деревянной саблей
крапиву беляков и немцев под боевое до свиданья мама не горюй

неужели текст галича даего
 тонул два раза ах волга люби ли кто тебя как я
 а на другом берегу в волголаге
 седая зэчка актриса игравшая для оккупантов поцеловала меня
 памятный поцелуй сульбы
 растянуть бы его и соединить с другим через двадцать лет
 бездумной дурной пьяной жизни ну не вышло
 потом книжки книжки рукописи рукописи и тихо и незаметно
 по ним как по лесенке считалке вот уже на чердаке
 из окна которого слышно совсем не боевое
 до свиданья мама не горюй

28.09.2022

* * *

я написал вернись переписал бы но
 уже не помню где да и не всё ль равно
 патриотизм мне чужд не вспомню ни детали
 ни общего свой и не свой везде
 хоть иней на висках усах и в бороде
 поскольку всё галут нью-йорк париж москва ли
 россия ли чечня порой взглядишься где
 молдова грузия я толком этих стран-то
 не видел знай пишу на русском эсперанто
 цветными вилами по голубой воде

09.10.2022

* * *

что тебе предложить может быть ты захочешь присниться
 мне теперешней ночью в лиловых тонах как сирень
 я всегда приезжаю когда отцвела это больно
 но наверно терпимо да конечно терпимо
 как вернуться в свое но чужое лицо и в уставшее тело забуду
 закарпатскую осень ясиня в облаке рыжиков на голубой полонине
 ты блондинка из города со смешным не обидел смешным
 и веселым названьем рогатын о моя роксолана
 вспомни светло-зеленый венок на моей голове
 ледяную волну черной взбалмошной тисы
 где я утопал как свинцовый
 потерявший себя потерпевший корабль
 роксолана
 в закарпатскую стылую осень полжизни назад

15.10.2022

* * *

октябрь уж наступил
на зелень стриженных газонов островки кустов
фундаменты и крыши небоскребов
смотрящих сверху вдаль на дикий запад и дальше много дальше
на волны под ногами что порой
бушуют или ластьются как кошки
к ногам красивых женщин
всё еще теплынь
пот утирает всех расцветок турист
мороженое кока-кола соки
ну чем не рай особенно в сравненье
с другими где с небес как лепестки
слетают бомбы бомбы бомбы бомбы
там как на пляже лежат под ветром женские тела
раскинув ноги мёртво глядя в небо
лелея в чреве близнецов что ясно
намётанному глазу ну а мне
заметны с теплой тель-авивской крыши
зеленый кипр и близко много ближе
уже в моих руках
до дыр зачитанная книга где осталось
прочсть две-три последние страницы

*30.09.2022**Иерусалим*

Борис Лихтенфельд

* * *

Слепящим рассветом пронизан алтарь
уютной церквушки больничной.
Сиянье Творца бессознательно тварь
цедит бахромою ресничной.

Одни лишь не жмурятся лики святых,
глядящие из позолоты...
Сияние – голос: погасло – затих...
Расслабленный, впал в забытье ты.

Приход преходящий... Страданий транзит...
Ужель твоему здесь местечка
не сыщется? Ужли его не пронзит
твоя одинокая свечка?

Октябрь 2021

ОСЕНЬ

Как лишнее сбросишь,
так воздух – бальзам.
Сентябрьская роскошь
предстанет глазам.

Как позже заметишь,
подмёрзло в душе.
Октябрьская ветошь
не греет уже.

Как руки опустишь,
почувствуешь вдруг:
ноябрьская пустошь
внутри и вокруг.

Ноябрь 2021

* * *

Эскалатор войны пассажиров ее
погружает в крошечное небытие,
в лабиринт безысходный...
Каждый вспомнить пытается, что потерял
там, снаружи, безропотно в материал
превращаясь расходный.

Бесконечным кошмаром захваченный дух
ее скрежет не слышит уже – тугоух,
цепенеет – контужен...
Тыла нет у ее саблезубых фронтов.
Каждый здесь на ступенях стоящий готов
людоедке на ужин.

Плюнуть разве что на устрашающий знак –
инфернальный ее полосатый зигзаг –
знаем сами, куда мы...
Из-под ног здесь так внятно уходит земля –
идеальное место поистине для
размещенья рекламы!

Ноябрь 2022

* * *

ОПГ в апогее
своего торжества
всё искусней, плотнее
здесь плетет кружева.

Где-то в адской теснине
круг найдется и крюк
для тождественных ныне
кровопийц и ворюг.

Ноябрь 2022

* * *

Жить в эпицентре мирового зла,
к сейсмическим прислушиваясь волнам,
угрозы разные, которым несть числа,
инстинктом чужа родословным...

Судьба твоя – скрываться и скрывать
высоких устремлений уязвимости.
Пав героически – день прожит – на кровать,
в грядущий мрак дорогу вымости!

Декабрь 2022

Ара Мусаян

Музыка, или Трубы Иерихона

Не от слова ли «слог» – само слово «слово»? Фасмер вспоминает «славу», забывает «логос»...

Каждый писатель вправе сказать о себе: «Сие есть тело мое»...

В искусстве наличествует аспект моды, как в моде есть доля искусства. А сегодня доля моды в искусстве чуть ли не главенствует – когда, наоборот, иным мерещилось еще не так давно *чистое* – «искусство для искусства».

А что, собственно, есть *искусство* (столь нами тут превозносимое, чуть ли не боготворимое...)?

Прикладное (куда б я отнес архитектуру – всё, что так или иначе несет на себе печать утилитарного) однозначно направлено на создание заказчику чувства устойчивости и достоинства жизни. *Искусство* же (с заглавной буквы) я бы связал с *греческой демократией*, где каждый обретает долю иллюзии постоянства – в открытых взору перистилиях и фронтонах храмов, наизусть запоминаемых стихах Гомера, Гесиода, – благодаря которым сами поэты отвоевывали себе больше, чем «устойчивость», – *бессмертие*.

Победный марш (фугато) «Кирие Элейсон» моцартовского Реквиема. – Впервые отдаю себе отчет в вопиющем расхождении триумфальности музыки – со словами «Господи, помилуй»...

Вспоминается масонство Моцарта, исключаящее какого-либо «Господа Бога» над нами: художник сам себе бог, так что не к кому обращаться с молитвой, и Дон Жуан не дрогнул в момент расплаты перед Каменным гостем...

Но от масонов же он мог знать о связи этого христианского заклинания – с ветхозаветными «трубами Иерихона», где слова звучали несколько более «убедительно», *победительно* – «Господь с нами!».

По сей день не совсем понятно – даже для специалистов – откуда ведет свое происхождение сюжет оперы Барбера «Ванесса».

Прочтя, после просмотра видеозаписи, буклет давно хранившейся у меня премьеры в Мете (с Элеанор Стебер и Николаем Гедда,

1958), не удивило, что действие происходит вовсе не в США – где, как известно, нет никаких *баронесс*, но и не в Англии или Канаде, а в какой-то неопределенной «северо-европейской стране».

Слушая музыку, следя за действием, не ускользнуло от внимания таинственное упоминание имени Лжедмитрий, в самый момент выхода на сцену Анатоля, – со столь же неожиданным вкраплением в подтекст музыки нот русского фольклора.

Общая атмосфера напоминает театр Ибсена... Три женщины – пожилая мать, дочь и внучка – племянница последней. Дворянское поместье, окруженное лесом – с озером, в котором годы назад утопилась сестра...

Возрасты, что важно для понимания – 55-60, 35-40, 18-20.

В тот вечер в окнах бушует метель, и объявлен визит того, кого Ванесса ждет – словно Спящая красавица – вот уже двадцать лет. Но в ворвавшемся в дом вместе с пургой лихаче она не признает Анатоля, и тут-то вскользь произносится имя Лжедмитрия, и раздаются ноты чего-то русского.

Видимо, чуждый «северной Европы» либреттист – итальянец Менотти – черпал свой материал сразу из нескольких источников, с центральными для эпохи (в которой протекает действие) – Ибсенем, Стриндбергом... Чеховым? Общий драматизм музыки недалеко от накала «Бориса Годунова», откуда и, очевидно, несмотря на коренную разницу в сюжетах, реминисценция Лжедмитрия...

Впечатление «странности», *искусственности* ситуации, находит возможное объяснение в случайно попавшей мне справке о «сожительстве» либреттиста с композитором: отображением незавидной женской участи, в лице каждой из трех героинь, найти самим себе «оправдание» в те тяжелые для неформальных уз времена.

Могло ли быть, чтоб такая прекрасная, персональная и уникальная страница музыки, как опера Перселла «Дидона и Эней» (второе короче любой тогдашней, французской или итальянской оперы!), была им создана «по заказу» – с готовым либретто в подкрепление (по пьесе Марло?..), а не вдохновлена эпизодом из собственной жизни, в котором *художественное призвание* – как обетованная троянцу Италия – заставило бы его порвать с любимой!..

Мысль, на которую натолкнул недавно слушанный «Лоэнгрин» Вагнера, – и вспоминается «Семела» Генделя, с примерно таким же сценарием, а сегодня к серии прибавилась «Синяя Борода» Бартока – в которой и нахожу «общий знаменатель» всех этих совершенно случайно пришедших мне на ум произведений: *тайна происхождения одних, призвания или предназначения – других, и вообще, тайна, которую все мы составляем для ближнего, раскрывается в зрелище смерти за порогом тайной двери замка Синей Бороды...*

Не забывать – а ведь с каждым из них мы сталкиваемся повседневно, правда, в довольно отдаленных контекстах, – этимологическую близость слов «текст» и «текстиль».

Писательство – ткачество,

ткст – ткч.

Игра с вязальными иглами, спицами иной раз сама по себе музыкальна, а что есть *стиль* как не словесные петли, более или менее замысловатые, собственноручно выработываемые нами, – «трюки», как в спорте, где имя гимнаста, футболиста, теннисиста присваивается той или иной фигуре (не забывая самое *фигурное* катание).

Есть музыки (современные), которые невозможно *слушать* (как невозможно иметь у себя и *наслаждаться* – инсталляциями), т.е. быть их *потребителями*, разумеется, в традиционном понимании искусства как *катарсиса*, согласно которому мы его «принимаем», как глотаем лекарство... Попутно отмечу – не знаю, насколько Кант отдавал себе в этом отчет, – коренное расхождение этой *аристотелевской* концепции с его, кантовской, «бесцельной целесообразностью», подразумевающей, наоборот, некую самостоятельность эстетического переживания.

Не отсюда ли эта современная, «бесцельная» – ненужная? – уха режущая – *серийная музыка*, эти свалки инсталляций, это автоматическое письмо, кубизм, абстракционизм, футуризм?..

Ратую за возврат к Аристотелю (кстати, советский период отгородил Россию от кантианства в области эстетики, но, увы не социально-политической...), – ибо человечеству, думаю, еще долго придется отводить душу – «очищаться».

Блаженные времена, когда на улице, в толпе, ты мог пройти незамеченным... Теперь о тебе знают за сто метров, и все твои жесты, шаги, будут досконально прощупаны и взвешены негустыми прохожими.

Странно, как всё, что занимало нас всю жизнь: музыка, литература, письмо, – вдруг отходит – вот уже несколько дней, как *отошло*, – на задний план, как бы утопленное в *сфумато* неопределенности «конца туннеля» эпидемии...

Единственная (в мире?!..) стопроцентно джазовая радиостанция – парижская *TSF Jazz*. Круглосуточная, без рекламы, с супер грамотной программной политикой, от которой не откажется даже такой «равнодушный», чтоб не сказать – скептический, слушатель, как я.

Джаз – школа свободы...

Свобода плюс хандра – блюз.

А как только начинают звучать нотки жизнерадостности – это уже евр(оп)ейские мигранты, рабство которых было далеко позади.

Спрашивают, почему никто не возьмет да не напишет еще таких красотищ-симфоний, как «Сороковая» Моцарта, «Пятая» Бетховена?

А посему, видимо, что это *моменты истории* – неповторимые по определению.

А там, где нет истории, т.е. постоянного сознательного вмешательства людей в свои судьбы, стало быть, везде, кроме Запада, – там нет и *новизны*, и на Востоке можно без конца варьировать, *повторять* «одно и то же», чисто божественное, природное, как любовь, розы, солнце, горы, ручьи, но не *создавать* такие головоломки, ребусы и чуть не целые *энциклопедии*, как наши, будь то симфонии Бетховена, «Фантастическая» Берлиоза, сонаты Шуберта, «Картинки с выставки» Мусоргского...

Лишь словесность, повествовательная, по определению, равняет с Западом другие культуры, преодолевая, в силу своей *понятийности*, – «мещанство» чувственных, изобразительных искусств и музыки. Откуда и равновеликие с Гомером, Гильгамешем – индусская «Махабхарата», китайский Лао-Цзы; японские моногатори... не забывая «Тысяча и одну ночь».

Исландия – страна-ли-остров или страна льдов?

«Лебедь»... Почему-то может существовать *исландское* кино, литература, а не, скажем – люксембургское, бельгийское?..

Остров... Планета в миниатюре – микрокосмос. Островитяне, самой природой отгороженные от посягательств внешнего мира и находящие в этом своего рода знак избранности.

Не островитянами ли были – критяне, к которым восходит корнями западная, а сегодня, можно сказать, вся *мировая* цивилизация – Шекспир, Пиранделло, Джойс... не забывая Сэй Сёнагон?..

Бумага уже в X веке существовала в Японии; в Европу была завезена в XV, открыв дорогу, одновременно с изобретением печати, европейским Сэй: Эразму, Монтеню, Шекспиру, позже – читаемому мной сегодня – Лихтенбергу...

Фраза у Лихтен**БЕРГ**а – такая же горбатая, как он сам, на портрете, и такая же *несломимая*... И вспоминаются эти полудикие, «горбатенькие», окрестными жителями собираемые в полузаброшенных садах, лесах – грецкие орехи, которых никакие щипцы не берут.

Важно избегать узкой специализации, но и не разрываться на части, в попытках объять необъятное...

(Вчера что-то подобное читал у Лихтенберга).

Читаю параллельно антологию японской и армянской поэзии: чем-то хочется солидным отвлечься от круглосуточной СМИ-стрекотни о пандемии.

Сопоставление случайное – а небезынтересное.

Оба языка поздно обретают письменность: V век – Армения, VIII – Япония. Темы – универсальные, стили разные, и главное: христианство одних, синтоизм, буддизм, конфуцианство – других, что определяет весьма отличительную черту: бунт – у первых (против единого Бога, что на Востоке почти синоним Судьбы...), непротивление – у вторых.

В любовных японских *танка* – целомудрие и никакой чувственности; в армянской поэзии, как в библейской «Песне песней», – не без этого (розовые щеки, белая грудь...).

Пятистишья, со временем сжавшиеся до размеров *хайку*, – у японцев. У армян – свободная форма, приведшая к «Книге скорбных песнопений» Григора Нарекаци: 95 глав с вступительным и заключительным словом – не «сборник» отдельных творений, искусственно объединенных в пространстве фолианта, как в романах, эпической поэме или... *кафедральном соборе*, нечто завершенное – с началом, серединой и концом.

В Японии, в этом же году – 1000-м, такого же охвата вещь будет создана Сэй Сёнагон, но в *прозе* и *без* начала и конца... Но то, что делает «Записки у изголовья» более чем читаемыми сегодня для мировой публики и, наоборот, отягощающими стенания Григора, это – отсутствие у японки и подобия чувства *греховности*, насквозь пронизывающего излияния средневекового монаха...

Существенный момент нежелания, отказа – у Сэй Сёнагон (и ее современника Ёсида Кенко) – от собственной инициативы в распространении своих непредсказуемых – назовем ли мы их «произведениями»? – заметок, зарисовок, экспромтов...

В случае Сэй, решающую роль сыграла дружеская «кража» рукописи одним ее поклонником-любовником; в случае Ёсиды – посмертное издание учениками.

Есть что-то не совсем сообразное с идеей свободы (*творчества*, в первую очередь) – в «навязывании» другим своих *как душа прикажет* мимолетностей.

Попал на отрывок, в «Записках у изголовья»:

«Разговаривая об отношениях между мужчинами и женщинами, мы с Таданобу нередко пользовались терминами игры 'го', как, например:

сделать рискованный ход,
перекрыть все подступы,
маневрировать осторожно,

сбросить все шашки с доски и окончить игру.
Никто не понимал нас».

Герой еврейской Библии – народ (*летопись*), Евангелий – Иисус (*роман*), Корана – Бог, восхваляемый в *лирическом* ключе.

И – не странно ли – это же самое находим у читаемого «днесь» (симпатичное словцо, взятое переводчиком для воссоздания далеких средневековых времен) поэта-монаха Григора Нарекаци: *de профундис* червя земного к Царю Небесному.

Не след ли это, в христианском сознании духовника, двухсот лет арабского господства в Армении?

Тогда неудивительно, что первые попытки «реформации» христианской религии – отказа от Церкви как института и, соответственно, от духовенства как сословия – возникают именно в эпоху проникновения *магометанства* в смежные христианские земли Армении и Византии: павликианское, тондракийское движение, богомилы – в Болгарии, катары – во Франции.

Ересь, за которую в свое время поэт чуть не поплатился, и далекие последователи которой сегодня господствуют в мире.

Интересно, как это – нет второй Сэй Сёнагон, второго Вийона, второго Достоевского, во всей японской, французской, русской литературе... Здоровая реакция тела общества к смертельному вирусу?

Возвращаясь к теме «Скорбных песнопений» (после прочтения предисловия Аверинцева к русскому переводу), и – вопрос:

если поэт (или философ, живописец...) характеризуется не просто как средневековый, армянский (японский, персидский...), а плюс ко всему – *христианский*, то не явное ли это «ограничение» того, что «не знает границ», рамками какого-то, пусть «универсального», – вероисповедования, чтоб не сказать – *суеверия*?

Конкретно: может ли мусульманин, китаец или японец заинтересоваться чтением средневекового поэта, четыре сотни страниц которого сплошь и рядом – вариации на библейские, ветхозаветные и евангельские темы, плачи, псалмы?

О, как всё это далеко от дуновений осеннего ветра, багряно-красной листвы японской лирики!

Вирус не знает границ – земных, но и «духовных». Поразительно, как все эти – папы римские, патриархи православные, иерархи всех религий и толков – так дружно вдруг забывают о молитвах: запирают мечети, храмы, синагоги, разгоняют паству и хором идут на поклон к презренному «идолу науки» – бедняжке, всё еще не научившейся вершить «чудеса»...

Продолжаю чтение «Книги скорбных песнопений». А что ни говори – читается! И даже «рысцой», если не «галопом»... И, конечно, лишь при выключенных ТВ, радио, а еще лучше – полностью отключенным от «мирской суеты», глубокой ночью – когда ни перед кем не совестно заглядывать в «глубины сердца» греховника, справляющего Богу нескончаемый молебен – что, хоть и монах, он делает, «гарцуя» стилем, как наш самый заядлый джазмен.

Одна лишь буква, и из испуганного вмиг превращаемся в искусствителя (читая «Песнопения» Григора Нарекаци).

«Бога» хочется уподобить альтистическому старцу, который видит, деет, и тут же забывает, что видел, деял.

А человек ему – что секретарь: записывает в тома летописей его подвиги, и время от времени старик заглядывает в книгу, листает и с улыбкой умиления вспоминает годы молодости...

Июнь. Замечаю, вдруг, что деревья позеленели... До этого голова была забита коронавирусом.

Каждая перспектива высидеть лишний день взаперти – сколько бы ни хотелось размять ноги – лишь увеличивает шансы не попасть под «автобус» коронавируса.

Примечательно, как из-за вируса и масок конкретные «лица» вдруг растворяются в абстрактные сущности: соседка Мадам М. – в незнакомку, с которой, в ожидании лифта, перебрасываюсь банальностями – пока, спросив «А кто вы?», не узнаю.

Думал, запомню железно: всего – наперед сосчитал – восемь слов, оставалось двести метров до дому (поленился записать на ходу в книжку), а так начисто улетучилось... Удалось восстановить суть, но вещь без этих ровно *восьми*, расположенных в строгом порядке слов, не стоила и гроша... Что-то вроде: «Снова страшно от уличного движения, как от выпущенных на свободу собак» (но тут слов уже одиннадцать).

Странно было, когда внезапно опустели улицы... А теперь, когда движение восстановилось, – *страшно*.

Говорят, вирус заставляет зараженных действовать в его интересах: бешеных собак – кусаться, способствуя его распространению; мышей – жертвовать кошкам и, в свою очередь, заражать...

И подумалось: какую преследовал цель «вирус», натравивший Наполеона на Россию?..

Любопытствуем и удивляемся всему, с самого нашего дня рождения – до рокового момента, когда свершится самое-самое *удивительное*, от которого уже ввек не опомнимся...

Дети резвятся, силы тратят – в *пространстве*, старики – берегутся во *времени*.

Все мы время от времени – плебеи, когда проголодавшись, бросаемся за стол; аристократы – когда слушаем Вагнера; рабы – когда зарабатываем.

И уже ни крестьян, ни пролетариев, ни даже люмпенов – одно современное – растерянное перед живой картиной своего конца – человечество.

Только на прогулках замечаю – возобновив практику после загибья эпидемии: чему-то литературному удается опростать путь к сознанию. Видимо, благодаря толчкам во время ходьбы и незаметным сотрясениям мозга...

Корень *мол*-... Уже однажды грезилось сближение между *молодцем* и *молоком*, а сегодня – парадоксально, между *молчанием* и *молвой*: ребенок сосет грудь – молчит, отрывают – ревет.

Ночь, как волна прилива, смывает царапины минувшего дня.

Преимущество контура женских рук (от кистей до локтей) – над клавишами – перед мужскими – чуть не написал: *лапищами*...

Арм. «кандакагорц» – дословно, руходел (не руко-): тот, кто созидает, *руша*, он же – скульптор, – что склоняет к гипотезе, что рус. «ваять» восходит, все-таки, скорее, к «высекать» (из камня), чем к «лепить» (из глины).

А насчет мимолетно мелькнувшей «руки», то прежде чем делать, ваять, созидать, она-таки *рушит*, обрушивается – на всё, что ей «попадает под руку»: противника, животное, непослушного ребенка, строптивую жену...

Детское «солнышко» – удивительно ли? – милее уху, чем «взрослое» *солнце*, в котором пропадает звучание лунно-солнечного – «л»?

Солнце светит – днем (как бы без особой нужды...).

А вот луна – та *светит* к месту: во мраке ночном.

Арм. *лусин* (луна) и *луйс* (свет) – ср. лат. *lux*.

Тело – напильник, рашпиль (*пиль-пиль-пиль*...) души. Когда продукт готов – воротится к заказчику.

Как царю зверей безразлично, под каким деревом он накануне валялся и отмахивался хвостом от мух, так и поэт: не помнит, что ел накануне, чистил ли зубы с утра, прошел ли свою ежедневную часовую прогулку, зато помнит *главное* – себя и свой святой писательский *долг*.

Экран, клавиатура – круглосуточное сидение перед, или – *жизнь после жизни*.

Забуться – да так, чтоб уж век не опомниться.

С какого-то возраста каждый новый день – считай, лишний. Причем для одних – «почему бы и нет», для других – дополнительный грамм к и так отяжелелому кресту...

Мнит ли о себе призма, в которой преломляются лучи, что раз она *центр*, то и вправе говорить о себе *в первом лице*?

Философы (все без исключения, кроме разве самого последнего – «этимологического» Хайдеггера) – игрушки в руках-невидимках *языка* (читая даже таких пронзительных, как автор «Ученого незнания», – или, ближе к нам, Гегеля).

Понятно «не», а не – «-лзя»: у Фасмера ссылка на «легкость», и получается, что если «нелегко», то и *невозможно*, а что невозможно, *физически – нельзя* и морально.

Как «французов» произносили «хранцузами», так сегодня – после китайской «Книги перемен» – философов очень хочется произносить *хилософами*.

Любопытное созвучие японского «миц-» – мудрость, с лат. *myst* – тоже, в каком-то разрезе, мудростью: знание, мудрость, наука – своего рода *мистификации*...

Слышишь «never» – *не верь*.

Как метко связал русский язык «полет» – с *падением!*..

Каналетто и его венецианские – каналы...

Музыка, положительно, – не шум. А значит – *тишина* (отсутствии).

Есть ли где-нибудь в англоязычной поэзии – *heavy haven*? Примерещилось, в эти *тяжелые* украинские дни.

Париж

ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Вести в Нью-Йорк

Письма Бориса Григорьева к Марку Вейнбауму

Художник Борис Григорьев (1886–1939) впервые приехал в Америку в октябре 1923 года после успешного показа его картин из цикла «Лики России» на выставке современных русских художников в Бруклинском музее (декабрь 1922 г.) и проведения персональной выставки в Нью-Йорке (New Gallery, апрель 1923 г.). Психологизм григорьевских портретов поразил и восхитил американскую публику. Умение Григорьева передать душевную глубину человека в своих работах позволило критикам окрестить его «Достоевским современной живописи». Очень скоро заказы на личные портреты начали приходиться от представителей высшего светского общества – таким образом Григорьев приобрел некоторую славу в Америке. Почти до самой своей смерти Григорьев довольно часто приезжал в Америку для выполнения заказов и участия в выставках. Тогда художник и познакомился с Марком Вейнбаумом, главным редактором газеты «Новое русское слово»¹. В своих воспоминаниях Вейнбаум описывает начало их дружбы:

«Мое знакомство с Борисом Григорьевым произошло лет 15 назад, в первый приезд его в Америку. Художник чувствовал себя одиноко в чужом городе, среди чужих людей, и позвонил мне в редакцию, выразив желание встретиться. <...> Остановился Григорьев в ‘Ансонии’. Там мы встретились и вместе позавтракали. <...> С завтрака в ‘Ансонии’ началась моя дружба с Григорьевым. Началась она не сразу: я схожусь с людьми не легко и не скоро, а Григорьеву с его мнительностью также требовалось немало времени, чтобы поверить в искренность чьей-либо дружбы.

И всё-таки, с каждым новым приездом Бориса Дмитриевича наши встречи становились непринужденнее и радостней, а с каждым отъездом – грустнее.

Потом завязалась переписка.

В письмах и беседах постепенно раскрывалась передо мной неугомонная душа этого замечательного человека и далеко еще не оцененного художника»².

В архиве Вейнбаума в Йельском университете сохранилось 22 письма Григорьева: Mark Weinbaum Papers. Gen.MSS 106. Yale University Library. Beinecke Rare Book and Manuscript Library. В них он рассказывает о своих выставках, путешествиях, переживаниях и творческих планах. Что особенно важно на сегодняшний день – по письмам Григорьева можно создать канву последних лет жизни художника.

Октябрь 1935 – июнь 1936 гг., Нью-Йорк. Григорьев – декан факультета искусства при Нью-Йоркской Академии объединенных искусств (New York Academy of Allied Arts); прошла его персональная выставка в Академии (декабрь 1935).

Июнь 1936 – декабрь 1936 гг. Путешествие по Южной Америке: Куба, Панама, Колумбия, Эквадор, Перу, Чили, Аргентина, Бразилия.

Декабрь 1936 – ноябрь 1937 гг. Григорьев – дома на своей вилле на юге Франции; затем на три недели (июль) уезжает в Париж на свою персональную выставку.

Начало ноября 1937 – середина апреля 1938 гг. В Нью-Йорке – персональная выставка (Lilienfeld Galleries, 10-29 января);

Конец апреля 1938 – февраль 1939 гг., Франция. Художник очень болен, всё время находится на своей вилле; 7 февраля умирает от рака желудка.

Письма печатаются по копиям из архива Вейнбаума. Комментарии – подробнейшие, доведены до максимума, хотя мне не всё удалось распознать в письмах.

Выражаю искреннюю благодарность А.Тюрину за техническую помощь.

Жорж Шерон

1. Марк Ефимович Вейнбаум (1890–1973) был главным редактором «Нового русского слова» с 1925 года до смерти. См. Mark Weinbaum, Editor, 82, Dead: chief of *Novoye Russkoye Slovo*, daily newspaper // *The New York Times*. 1973, March 21. P. 45.

2. *Вейнбаум М.* На разные темы. – Нью-Йорк, 1956. С. 219. Первая публикация этих воспоминаний была в «Новом русском слове» вскоре после смерти художника. См. *НРС*, 1939, 11 февраля (№ 9503). С. 3.

ПИСЬМА Б. Д. ГРИГОРЬЕВА К М. Е. ВЕЙНБАУМУ

1.

16 марта 1933

SA 2, 5068

16. III. [1]1933 NY

1212 5th Ave

Милостивый Государь Господин редактор,

В субботу в 4 часа я покажу друзьям мои новые портреты в моей квартире¹, а также в прилегающей к ней квартире Mr. Robene. Был бы рад видеть у себя в этот день кого-нибудь от Вашей редакции. Посылаю через Вас привет господину Северному, которого также хотел бы видеть у себя. Я не видел еще его статью², но очень бы хотел ее прочитать. Не откажите прислать мне номер газеты.

С искренним уважением,
Борис Григорьев.

1. В апреле-мае у Григорьева проходила персональная выставка в частной галерее Marie Sterner Gallery в Нью-Йорке (См. «Around the Galleries» // *The Art News*. 1933, April 22. P. 6). Но до начала выставки, в частном порядке, Григорьев показывал свои новые работы близким людям на своей квартире.
2. Статья Леонида Северного посвящена цветным иллюстрациям Григорьева к роману Достоевского «Братья Карамазовы», над которыми художник работал в течение шестнадцати лет. В своей статье Северный выделил тождество григорьевских иллюстраций психологизму романа Достоевского. См. *Северный Л. Лыковая Россия и Зарубежье // Новое русское слово*. 1933, 11 марта (№ 7350). С. 2-3.

2.

23 марта 1933

23.III.[1]933

NY

Глубокоуважаемый Господин Вейнбаум,
Приношу Вам от имени Анны Григорьевны¹ и от себя искреннюю благодарность за Ваше милое внимание к ее портрету. Ваша милая статья нас очень обрадовала².

В субботу в 3 часа я буду показывать кой-кому моих «Карамазовых»³. Если у Вас будет свободное время, был бы рад Вас видеть у себя в субботу, но если Вы заняты, то назначьте другой день и час. Меня можно застать по телефону всегда до 11 ч[асов] утра SA 2, 5068.

Искренно буду рад Вас видеть. Искренно уважающий Вас,
Борис Григорьев.
P.S. Привет Вашей супруге.

1. Анна Григорьевна Робен (Anna Robene) – нью-йоркская актриса.
2. Вейнбаум в своей статье отметил некоторую несвойственную Григорьеву черту в изображении актрисы: «Но портрет Анны Робен совсем не похож на все прежние работы художника. Та же, если не большая, талантливость. Та же уверенность кисти. Та же четкость линии. Но исчезли всякие следы кубизма и нарочитой грубости. Хрупкую Анну Робен Григорьев написал во весь рост в белом платье с розовой обшивочкой на слегка зеленовато-сером фоне. От нежности тонов, от задумчивой позы, от поволоки на ее глазах, и это передал художник, получается впечатление необычайного изящества и красоты». См. *Вейнбаум М. «На разные темы: Новые работы Бориса Григорьева» // Новое русское слово*. 1933, 22 марта (№ 7360). С. 3. «Нью-Йорк Таймс» назвал портрет Григорьева работой настоящего мастера. См. *Jewell, E. Laurel Wreaths and Marching Ranks: Cecilia Beaux and Ten Scholarships – Doris Caesar's Sculpture and Paintings by Grigoriev – Other Current Exhibitions // New York Times*. 1933, April 23. P. 8.

3. В ноябре 1933 года Мари Стернер (Marie Sterner, 1880–1953) в своей галерее устроила выставку, посвященную исключительно серии григорьевских иллюстраций к роману Достоевского. Цель выставки была собрать достаточно подписчиков для издания всего цикла в роскошном книжном оформлении. К сожалению, проект не был реализован. См. Jewell, E. «Brothers Karamazov» // *The New York Times*. 1933, Nov. 14. P. 17; Boris Grigoriev: Marie Sterner Gallery // *The Art News*. 1933, Nov. 18. P. 8.

3.

1 июля 1935

*Borisella*¹

I. VII. [1]1935

Дорогой Марк Ефимович,

Как поживаете, как переносите тяжелую политическую атмосферу, падение французской гегемонии – для друзей Франции это тяжело сознавать, ибо виною здесь сама Франция. Но я старый поклонник ее, по-старому верен ее природе, ее человеку. С каким жаром я набросился на работу. Уже сделано много новых вещей, а сейчас целыми днями провожу в мастерской мое время, пишу, наконец, «Ревизора»². Опять «лики России», моя главная тема³. Думаю выставить этот огромный холст осенью в Америке.

Я был очень рад, получив письмо от Вашей дочери, и не ответил до сих пор по той причине, что очень занят, а к вечеру устаю до того, что валюсь в кровать. Вчерашняя гроза облегчила температуру, а то стояла невыносимая жара. Я постоянно думаю об американцах в такую жару, что же Вы там все делаете, когда здесь дышать нечем?

Я надеюсь, что Ваша дочь меня извинит, что я пишу Вам, а не ей, с просьбой передать ей мои лучшие пожелания, благодарность за привет и несколько слов по поводу живописи – Вы ей переведите. Моя беда в том, что я не знаю английского и ужасаюсь перед тем обстоятельством, что мне надо осенью учить в Академии⁴.

Plus je réfléchis – moins j'arrive à comprendre la peinture...⁵ это самое ужасное и самое трудное. Однако, нужно отвечать, когда Вас спрашивают как старшего. Лучше всего, конечно, показать на месте, перед работой, а слова только путают всё дело, да и приводят к снобизму. Я ненавижу таких людей, кто делает, вернее, корчит себя мэтром, знатоком и говорит истины – нет истин, они как раз ускользают в тумане исканий и устремлений всё дальше. Путь истинный – да, это бывает, такой я мог бы указать, но для этого опять нужны преступления, насилия, диктатура! Итак, передайте дочери Вашей, что главное в том, что нужно много всегда работать и работать так, чтобы *знать*, что нужно делать, – я кое-что им объяснил: минимум предметности на холсте и максимум выражения; постройка холста, проверка из угла в угол *мысленными* линиями (тогда не будет кубизма); пропуск ненуж-

ных (в силу художественности) вещей, выбор *глазом* того, что нравится, и стабилизация главного за счет пропуска, сдвига. Вкус и глаз развиваются, тут нужно время и опека старшего, мастера, что, в сущности, всё. Остальное или снобизм, или насилие над душою, – я этим не занимаюсь, веря не только в самого себя, но и вообще в художника и его свободу, и его **новое**. Доктрин у меня тоже нет, и говоря с учениками о *top général*⁶, я этим только хочу облегчить им работу. Вот что главное: нужно захотеть, очень сильно захотеть *увидеть и сделать*.

Мой сердечный привет Вашей милой супруге, дочери, обнимаю Вас от всей души.

Ваш Борис Григорьев.

Жена моя очень довольна Америкой⁷, она Вам и Вашей жене посылает свой привет.

1. «Бориселла» (от имен четы Григорьевых: Борис и Элла) – дом-вилла с мастерской, который Григорьев построил в 1927 году на юге Франции в местности Cagnes-sur-Mer близ Канн.

2. Григорьев работал над большим полотном, где он представил всех героев из пьесы Гоголя в изображениях пражской группы Московского художественного театра.

3. Имеются в виду рисунки и картины из двух циклов – «Расея» и «Лики России», которые впоследствии Григорьев выпустил отдельными альбомами. В своих работах Григорьев передал психологию русского крестьянина.

4. Частная Академия объединенных искусств (New York Academy of Allied Arts) пригласила Григорьева занять пост декана факультета искусства, начиная с зимы 1935 года. См. «Grigorieff to Teach Here». // *The Art Digest*. 1935, June 1. P. 29. О деятельности Григорьева в Академии см.: *Боум Д.* «Борис Григорьев в Америке». *Григорьевские чтения*. Выпуск IV // М., 2009. С. 248-249; *Stommels S.* Boris Dmitrievich Grigoriev: a biography. Nijmegen, 1993. P. 85.

5. Чем больше я размышляю, тем меньше я понимаю живопись. (*фр.*)

6. общим тоном (*фр.*)

7. Григорьев с женой провели полгода в Америке (с ноября 1934 года до апреля 1935 года), где у художника прошла выставка в Нью-Йорке (Georgette Passedoit Gallery).

4.

21 сентября 1935

Borisella
21.IX.935

Дорогой Марк Ефимович,

Обрадовали меня Вашим письмом. Рад за Вас, что были в горах, отдохали, и думаю, написали там что-нибудь чисто литературное. Жаль, что дочь Ваша мало работала. Вот где разница между новою молодежью и молодежью нашего времени – мы больше работали, горячее стремились и бескорыстнее отдавались искусству. Я лично,

по старой памяти, привык работать особенно много летом, когда, будучи еще академистом, нельзя было пропустить и дня: ни утра, ни полдня, ни вечера – всё для этюдов.

Сейчас я работаю уже пять месяцев, не выходя из мастерской и сада, ни разу не был на море и не купался в нем (только ванна), зато сделано очень много. Закончен «Ревизор» на холсте размером в 335х90; почти такая же огромная работа с сына моего¹ во весь рост, так сказать, показательный рисунок для моих учеников, тут я собаку съел... Французы так давно не могут – были у меня Бонкуры, André Vone и многие, и многие и лупили глаза и завидовали. Ибо французы всегда завидуют и хвастают – это их натура. Конечно, в Америке нет еще такого тонкого понимания искусстве, но зато в Америке есть молодость, и молодость духа, и те возможности, каких здесь давно не имеется, а сама мать моя – Франция – стала беззубой старухой, скупой и бессердечной. Я и сам подумываю стать американцем, но так, чтобы не забывать свою мать...

Может быть, это очень плохо, но в этом году, мне кажется, я заслуживаю особого внимания к моим работам, потому что доволен ими. «Mon jardinier»² – вещь тоже замечательная. Словом, привезу около 30 холстов. На душе покойно, можно продолжать жить, чувствую право на это, на поддержку дружбы и на некоторый сдвиг в отношении к себе врагов, которые, впрочем, повторяют всегда одно и то же: «чем ты лучше – тем хуже для тебя».

Я беру пароход «President Harrison» (Dollar Lines) 25 сентября и буду в N[ew] Y[ork'e] 8 октября. Это очень долго, зато первым классом еду и постараюсь на пароходе закончить мой третий том моих записок³. Всё это я везу с собой и хочу Вам показать на досуге и посоветоваться с Вами, мой благодарнейший друг-литератор. Жизнь – интересная штука, а жизнь моя – настоящая наука для молодежи. Надо что-нибудь делать и для искусства, которое стало модным, лягать, как больного льва, ослиным копытом людей просто панельных – трибуна тоже ведь строится на панели и для панели с ее толпой.

Итак, стало быть, скоро увидимся с Вами и, надеюсь, с Вашей женою и дочерью. А если пришлете на пароход журналиста, надо бы и американского, то скажу много приятного для Америки. Моя жена, которая влюблена в N[ew] Y[ork], приедет только через месяц, ибо наш сын желает побыть еще на море, он тут очень веселится на пляжах.

Моя жена просит написать Вам и Вашей жене свой «bonjour»⁴.

1. Кирилл Борисович Григорьев (1915–2001) – преподаватель русского языка. Своего сына Григорьев несколько раз писал.

2. мой садик (*фр.*)

3. В это время Григорьев писал свои воспоминания – «Моя жизнь (Записки о

моей жизни)». После смерти сына Григорьева местонахождение рукописи неизвестно.

4. привет (*фр.*)

5.

25 ноября 1935

[на бланке:]

ACADEMY OF ALLIED ARTS

MUSIC. DRAMA. DANCE. PAINTING. SCULPTURE

349 WEST 86th STREET

New York

LEO NADON

DR. VASSILY SAVADSKY

Director of Administration

Schuyler 4-1216

Director of Arts

25.XI.[1]935

[В начале письма карандашом написано:

Van Buren

4 дек[абря]

Ел. Гр.^{1]}

Дорогой Марк Ефимович,

Вот слова моей жены, вот ее милый искренний голос – если б я мог так просто думать и жить, как она, как все женщины, которые так терпеливы и мудры в жизни:

«Ты скажи Mr. Weinbaum, что я приезжаю, пусть напишут в нашей американской русской газете (писал же он о каком-то авиаторе) – но пусть напишет, что я урожденная de Brachet, что имею диплом Московского Строгановского Худож[ественного] училища со званием художника прикладных искусств²; что говорю на четырех языках, знаю еще музыку; что люблю я New York за его **двадцатый век**; за любезность американцев; но что люблю я и Францию, которая для меня вся – как прекрасный музей, – Франция питает мой дух и развивает глаз, – Франция – музей всё же, в котором жить людям трудно в **наш век**.»

Вот и всё, мой милый и любезный друг. Как я был счастлив познакомиться с Вашим другом г-ном Меф. Если б он только взаправду приобрел нашу славную Веру Фокину³ – кому, как не русским, оценить этот труд, эту фигуру русского балета – а я заплачу сразу накопившиеся долги во Франции.

Мой сердечный привет супруге и дочери.

Ваш Борис Григорьев.

1. Эта отметка связана с приездом жены Григорьева в Нью-Йорк.
2. Елизавета (Элла) Георгиевна фон Браше (1883–1969) познакомилась с Григорьевым, когда оба учились в Строгановском училище в Москве.
3. Григорьев написал портрет Веры Петровны Фокиной (1886–1958), артистки балета (танцовщица Мариинского театра, 1904–1918), педагога; жены известного балетмейстера М. Фокина.

6.

[декабрь 1935]

[на бланке:]

THE CUMBERLAND HOTEL

BROADWAY AT 54th STREET

NEW YORK CITY

Phone Columbus 5-7480

Мой дорогой Марк Ефимович,

Не знаю, годятся ли Вам мысли «по горячим следам», но вот хочется сказать Вам, как милы и любезны все эти дамочки, посетившие меня сегодня, с очаровательной во главе Mrs. Kuuffman. А главное в том, как они все интеллигентны и сведущи в таком трудном и никчемном деле, как искусство! Ну, подумайте сами: прехорошенькая молодая дама в белой кофточке с цветочками, счастливая, полная жизни и собственных мыслей, – глядит на моего уroda Горького (солдафона с поджарыми щеками среди мужичья)¹ с милою улыбкой и с таким умом, с такой деловитостью, как будто без всякого этого и прожить нельзя. Изможденное творческою волею и очень профессиональною мукою лицо Рахманинова² тоже не должно нравиться – но дамам оно нравится, дамы делают свои замечания, находят что-то в этом лице (и этих лицах) значительное, нужное, ценное! И хотелось мне всех дам расцеловать и сообщить им одно: искусство – дело трудное и вовсе не красивое, а скорее дело жизни, житейское дело! Спасибо за этих дам, они, кажется, хотят, чтобы я стал делать их деток; я, конечно, не сдеру с них большую цену, а возьму только минимум – работать стану очень честно, не для «бизнеса», а для искусства, чтобы деньги их даром не пропали.

А к школе «нашей», кажется, еще одна прибавилась ученица сегодня. С Вашей легкой руки, может быть, налажу это дело.

Мой сердечный привет передайте Вашей супруге, потому что это она является добрым гением среди тех моих новых знакомых, каких мне Бог послал в эти трудные дни.

Если будет работа – это всё, что надо, а я со своей стороны постараюсь оправдать надежды милых дам.

Что касается продажи «Карамазовых»³ в одни руки, то это дело, кажется, совсем скоро решится в мою пользу.

Примите от меня и от моей жены самые лучшие наши чувства к Вам и Вашей милой супруге.

Ваш Борис Григорьев.

1. В 1926 г. Григорьев написал портрет А.М. Горького. См. *Зайцева И. М. Горький и Б.Д. Григорьев. Переписка. С двух берегов: русская литература XX века в России и за рубежом* / Ред. Р. Дэвис и В.А. Келдыш // М., 2002. С. 540-616.

2. Григорьев написал два портрета Рахманинова. См. *Рахманинов С. Литературное наследство. Т. 2* // М., 1980. С. 528-530.

3. Имеются в виду иллюстрации Григорьева к роману Достоевского.

7.

[15.XII. 1935]

[на бланке:]

American Hotels Corporation N.Y.

J.Leslie Kingcaid President

«STOP AT RECOGNIZED HOTELS»

Phone Columbus 5-7480

Hotel CUMBERLAND

BROADWAY AT 54th STREET

New York City

DIRECTION, AMERICAN HOTELS CORPORATION

Марк Ефимович,

Сейчас ночь, и я немножко пьян, но вот записываю, кто был у меня:

1. Hamerling с женой (адвокат, миллионер)
2. Gaston Neuhit (владелец Братьев Карамазовых)
3. Brodovitch с женой (директор Harper's Bazaar)¹
4. Karl Nathan (коллекционер)²
5. Владимир Башкиров («Башкировка», коллекционер, «Король пшеницы»)³
6. Аладжалов (художник)⁴
7. Бурлюк (художник)⁵
8. Арцыбашев с женой (художник)⁶
9. Alice Campbell (художник, скульптор)⁷
10. Davila, жена бывшего президента Чили⁷
11. Композитор Завадский с женой⁸
12. Sommaripa с женой (экономист)⁹
13. Jerome Rosenthal (философ)

14. Jennhardt (художник)
 15. Nadon с женой (певицей)
 16. Баронесса d'Estreulle
 17. Марк Weinbaum с женой
 18. Kravat (актер)¹⁰
 19. Eveline Randale (писательница)
 20. Guevarra (Южная Америка, писательница)
 21. Lebach (композитор)
 22. Леди Brumer
 23. J. Crane¹¹
- etc.

Дорогой,

Но я не забуду Ваших слов, – новый друг мой – это Вы.
Ваш Б.Г.

-
1. Алексей Вячеславович Бродович (1898-1971) – многолетний художественный директор журнала «Harper's Bazaar», в котором принимал участие Григорьев (1934).
 2. Karl Nathan (1892–1964) – известный маклер на нью-йоркской бирже, специалист по европейским активам.
 3. Владимир Николаевич Башкиров (? – 1969) – промышленник, маклер по зерну, коллекционер, благотворитель. Работал в банковской конторе, собрал значительную коллекцию живописи. Письма Григорьева Башкирову напечатаны. См.: «Америка» Бориса Григорьева (Пуб. А. Клевицкого) // «Новый Журнал». 2003, Кн. 231 (июнь). С. 108-117.
 4. Константин Аладжанов (1900–1987), художник-график, в Америке с 1923 года.
 5. Давид Давидович Бурлюк (1882–1967) – художник и литератор, один из основателей русского футуризма.
 6. Борис Михайлович Арцыбашев (1899–1965) – художник-график. Много лет оформлял обложки для журнала «Тайм» (*Time magazine*). Сын писателя Михаила Арцыбашева – автора скандального романа «Санин» (1908).
 7. Herminia Arrate Davilla (? – 1941) – жена Carlos Gregorio Davilla Espinoza (1887–1955), бывшего президента Чили (1932).
 8. Василий Васильевич Завадский (? – 1954) – композитор, пианист, дирижер, музыкальный деятель.
 9. George Sommaripa (1885–1964) – экономист, возглавлял Американскую ассоциацию стандартов (American Standards Association).
 10. Nick Cravat – сценическое имя американского актера и каскадера Nicholas Cuccia (1912–1994).
 11. Josephine B. Crane (1873–1972) – благотворительница, одна из основателей Музея современного искусства (Museum of Modern Art) в Нью-Йорке.

8.
16 декабря 1935

[на бланке:]

American Hotels Corporation N.Y.

J. Leslie Kingcaid President

«STOP AT RECOGNIZED HOTELS»

Phone Columbus 5-7480

Hotel CUMBERLAND

BROADWAY AT 54th STREET

New York City

DIRECTION, AMERICAN HOTELS CORPORATION

16.XII.935

N.Y.

Дорогой Марк Ефимович,

Забыл Вам сказать, что Мейфин не откликнулся на мое приглашение вчера вечером и не пришел. Неужто он уже избегает встречи со мной, а я еще всё надеялся на его любезное обещание привести на мою большую выставку¹ г-на Гершвин[а]², который так понимает много в искусстве и мог бы заинтересоваться моими работами.

Сам Мейфин ведь тоже что-то обещал и насулил – я ему Веру Фокину уступлю, конечно. Повлияйте на него, а то обидно так-то, – взять да и забыть, неудобно перед моим «патроном» в Академии.

Ваш покорный слуга и друг,

Борис Григорьев.

P.S. Выставка закрывается в конце недели.

1. В ноябре 1935 года Нью-Йоркская Академия объединенных искусств устроила Григорьеву его персональную выставку (one-man show). Выставка, которая длилась полтора месяца и представила 56 картин Григорьева, получила положительные оценки от нью-йоркских критиков. См. *News of Art: Gregoriev Show Opens // New York Times*. 1935, Nov. 21. P. 21; *Jewell, E. Trio of One-Man Shows: sharply contrasting in character are oils by Christy, Chirico, Gregoriev // New York Times*. 1935, Nov. 24. P. 10; 15 years of Grigoriev's Art is on View // *The Art Digest*. 1935, Dec. 1. P.12.

2. Джордж Гершвин (Gershwin, 1899–1937) – американский композитор и пианист.

9.

11 апреля 1936

[на бланке:]

*American Hotels Corporation N.Y.**J.Leslie Kingcaid President*

«STOP AT RECOGNIZED HOTELS»

*Phone Circle 6-2100**Hotel CUMBERLAND**BROADWAY AT 54th STREET**New York City**DIRECTION, AMERICAN HOTELS CORPORATION*

[1936 Apr. 11]

Суббота

Дорогой Марк Ефимович,

Мы получили от Вашего имени пасху, очень вкусную, и подумали с женою о Вас и о Вашей милой жене, что Вы – люди не только хорошие и близкие нам, но и расточительные. Сколько вы уже сделали нам подарков! Приносим нашу благодарность и лучшие пожелания.

К сожалению, я совсем разболтался, к моей большой болезни *anemis*¹ еще прибавился и грипп, но, полагаю, в легкой форме, – вокруг меня все переболели, только я бодрился всю зиму, да и сейчас бодрюсь. Меня лечит не тот доктор, которого Вы мне дали адрес, а Dr. Sheftel, изобретатель и очаровательный человек, который делает мне (впервые в жизни) уколы и обещает меня вылечить – я же делаю его портрет.

Мне нужно опять к Вам придти, чиновник на «Острове слёз»² сказал мне, что я бы мог въехать по квоте³ или как-то устроиться в Америке навсегда; для этого он дал совет собрать несколько хороших отзывов письменно от музеев, где есть мои вещи, и от американцев, которые могли бы меня рекомендовать как «хорошего» человека.

Меня очень смущает то обстоятельство, что наш французский паспорт выдан только до августа, а продлить визу американскую можно лишь за 60 дней до конца паспорта, словом, только до июня.

Я приду к Вам опять посоветоваться, как только почувствую себя лучше.

Примите наши сердечные приветы от моей жены и меня.

Преданный Вам,

Борис Григорьев.

1. малокровие (*лат.*).

2. Имеется в виду Ellis Island – главный иммиграционный пункт для въез-

жающих в Америку из Европы до 1954 года. Здесь в переносном смысле Григорьев подразумевает американскую иммиграционную службу.

3. Въезд в США по т.н. «квотам» был способом, который контролировал поток иммигрантов из Европы; ежегодно разрешалось лишь определенное количество иммигрантов в Америку.

10.

[до июня 1936]

[на бланке:]

American Hotels Corporation N.Y.

J.Leslie Kingcaid President

«STOP AT RECOGNIZED HOTELS»

Phone Columbus 5-7480

Hotel CUMBERLAND

BROADWAY AT 54th STREET

New York City

DIRECTION, AMERICAN HOTELS CORPORATION

Дорогой Марк Ефимович,

Посылаю Вам бумагу из Вашингтона. Неужели надо будет ехать на этот остров? Тем более, что я долго всё равно не останусь в N[ew] Y[ork'e]. Через месяц надо мне уезжать, на этот раз не в Европу, а... в Santiago (Chile), получил оттуда опять приглашение¹, не от правительства, а от друзей; Santiago, Buenos Aires ждут меня, мою выставку, и есть десятка 2 учеников. Хочу рискнуть и поехать, один ученик мой, француз, тоже едет со мной, так что 30 д[олларов] я буду получать от него даже на пароходе. Об этом еще поговорим.

Виза кончается 9-го, а через пару недель надо ехать, как тут быть?

Ваш Борис Григорьев.

1. Григорьев впервые побывал в Чили в 1928 году, когда художник был приглашен преподавать искусство в Академии художеств в Сантьяго. Преподавал он только шесть месяцев (с августа 1928 года до марта 1929 года), до государственного переворота в стране, когда новое правительство разорвало контракт с Григорьевым. Следующие семь месяцев художник со своей семьей путешествовал по странам Южной Америки: Чили, Аргентина, Уругвай, Бразилия. Более детально о посещении Григорьева Южной Америки см. *Стоммелс С. Борис Григорьев в Южной Америке. Григорьевские чтения. Выпуск IV // М., 2009. С. 235-244.*

11.

[апрель–июнь 1936]

[на бланке:]

American Hotels Corporation N.Y.

J.Leslie Kingcaid President

«STOP AT RECOGNIZED HOTELS»

Phone Circle 6–2100

Hotel CUMBERLAND

BROADWAY AT 54th STREET

New York City

DIRECTION, AMERICAN HOTELS CORPORATION

Дорогой Марк Ефимович,

Пишу без очков. На перепутье собрались сегодня у меня ученики, видел в глазах их любовь ко мне – значит, недаром прошла зима. Мы большие друзья. Рад, что есть друзья среди *американцев*. Значит, идея школы моей существует и прошла в жизнь.

Как сказал уже, я люблю моих американцев, но больше всех Соню¹ – в ней я увидел настоящее *чудо*, необъяснимое. Если ей сказать *построже*, чтобы она каждый день брала в руки кисти! Это всё, что надо. И еще надо помнить, что нельзя сделать ни одной черты или мазка, *не глядя на натуру*, всё – с натуры; однако нельзя любить натуру, нельзя ей верить – верить надо только *своему* глазу, а потому надо *всё время* развивать *глаз*, вкус – отсюда придет *personalité*². Ново в искусстве: ты сам, твой глаз, твой вкус, твоя власть; но *Модерн* штука совсем не новая. Модерн – это слякоть, в которой шлепают и вязнут подражатели, подражатели чего? Чаще всего *шарлатанства*.

Дорогой Марк Ефимович,

Тут два варианта, нет сил и времени разъяснить толково, но ни одного слова лжи – тут, на этих листах. Для дочери Вашей разберитесь сами.

Обнимаю Вас всех троих, дорогих нам людей.

Ваш Борис Григорьев.

1. Дочь Марка Вейнбаума.

2. индивидуальность (*фр.*)

12.

[6 июня 1936]

[на бланке:]

American Hotels Corporation N.Y.

J.Leslie Kingcaid President

«STOP AT RECOGNIZED HOTELS»

Phone Circle 6–2100

Hotel CUMBERLAND

BROADWAY AT 54th STREET

New York City

DIRECTION, AMERICAN HOTELS CORPORATION

<...> Нельзя писать, не глядя на натуру, но и нельзя и любить натуру: учитесь видеть в натуре только то, что Вам нравится в ней; учитесь изобразить *по-своему* то, что вам нравится. Учитесь, изображая только то, что Вам нравится, проявить Ваш вкус, Вашу *personalité*, тогда Вы не будете рабски копировать натуру. Помните, что не глядя *вовсе* на натуру, Вы впадаете в отсебятину. Отсебятинка так же далека от *personalité*, как копирование природы от искусства! Забудьте о «модерне», новое в искусстве – это Вы, Ваша *personalité*, а не подражание мнению критиков. Еще помните, что искусство – личное Ваше счастье. (2 строки густо зачеркнуты. – Ж.Ш.) Развивая свой глаз и чувства, Вы можете сделать счастливыми и других, кто способен воспринимать. Старайтесь не спорить с людьми от политики, каждый из них станет Вам навязывать свое мнение, захочет сделать из Вас доброго солдата; но *важно не быть* даже генералом, даже министром – важно оставаться *собой*. Искусство божественно! И должно быть далеким от будней и праздников жизни. Помните, что жизнь есть только сырой для Вас материал. Помните, что искусство в Вас *самом*, а не в жизни. Всё в жизни посмеется над вами именно тогда, когда Вы делаете свое, когда не делаете того, что делают все. Все и всё – вот с чем Вы *обязаны* бороться, превосходить, и если нужно уничтожать, уничтожать не преступно, а *творя* личное Ваше.

Еще *главное*: не делайте **сразу** ничего того, что Вам более нравится, что есть Ваш первый план на картине – **берегите** главное на последний момент, а делайте очень долго, мучительно ищите атмосферу, в которой живет, тонет, купается Ваша тема, Ваша задача; пронесите Вашу задачу от начала до конца, сберегите ее напоследок, тут только нужен Вам *темперамент*, иначе Вы затопчете истину, которая кроется в *чувстве меры*, в мудром сбережении всех Ваших сил. Путь в живописи извилистый и гористый; накладывайте краску не густо, этажами, цветом по цвету – дальше уже идет техника, ее разность: *matière*¹, она сама к Вам явится, **Ваша** техника (нет конца письма. – Ж.Ш.)

1. Опыт (*фр.*)

13.

30 июня 1936

Guayaquil
30.VI.[1]1936

Дорогой Марк Ефимович,

Плыву четвертую неделю по тропикам и еще плыть остается две недели, буду в Valparaiso только 11-12 июля, а 15-го уже откроется в музее Santiago моя выставка. Получаю массу приветов из Чили, даже из Перу, где я еще не выставлял, но имею уже друзей. Полагаю, на этот раз и сюда заехать.

Я очень много работаю. Сделал уже 50 удачных гуашей на Кубе, Панаме, Colombia, Эквадор. Мои тропики не забудутся людьми, я выразил в них всё, что мог, всю мою любовь, тоску и личную радость после стольких месяцев труда и забот. Дикари стаей всюду бродят за мной, кто несет мольберт, краски, каждый по кисточке, стоит это гроши. Поражаюсь бедности индейцев, негров и всех народов. Какая запущенность, никому нет дела до этих милых бродяг, которые буквально обожают живопись, – для них я был праздником. И всё это я выразил и, думаю, удачно на все сто сотых. Я очень буду стараться сохранить всю серию моих тропиков для Paris et New York, где понимают сейчас меня, однако не могу всего этого не показать в Юж[ной] Ам[ерике] для успеха выставки.

Я не терял минуты, когда грузился пароход – работал без передышки в портах и на палубе. И мне кажется сейчас, когда на кровати пересматриваю работы, что я ничего не видел, не заметил простым глазом, ибо мой глаз смотрел на всё иначе, для искусства и ничего для себя, ничего для людей непосвященных в высшую красоту. Поэтому мне кажется, что в моей каabinке скопилось буквально чудо! И глядя на мой труд высокий, я тихонечко плачу от того счастья, которое не всем понятно. Если бы издать мои тропики, то, думаю, они доставили бы многим радость, а мне славу и деньги. Я купил краски, самые лучшие, на последние деньги, и, к счастью, еще есть у меня материал, чтобы продолжать работу до Valparaiso.

Товарный пароход мне сослужил службу больше всех прочих, ибо стоит подолгу в портах, а я себе работаю.

Я много послал писем во все концы мира, конечно, писал и Вам, но я не уверен, что дойдет всё, ибо люди тут буквально не честные, и к ним у меня доверия нет – марки тут [стоят] деньги большие, и воровство неизбежно.

Тоска очень сильна по ночам, когда гляжу на «Южный крест» и вспоминаю, как плыл однажды с семьей в лучших условиях. Вспоминаю Вас, Вашу милую жену и Соню, и у меня к Вам большая любовь. Моя жена Вас троих полюбила от всего сердца. Если

будет мне плохо, попрошу Вас помочь и верю, что Вы меня не оставите.

Обнимаю Вас.

Ваш Борис Григорьев.

14.

10 июля 1936

Oколо Valparaiso

10.VII.[1]1936

Послезавтра приезжаю, дорогой Марк Ефимович, наконец, – 37 дней плыл терпеливо, где стояли, там я не дремал, а делал, и сделал 47 замечательных вещей, серия эта называется «Тропиками», и думаю, что в моих тропиках больше истины, чем в настоящих, как больше истины в моих «Ликах России», чем в русских людях, как правдивее мой Горький того, кто сейчас уже умер¹. И как жаль, что он умер, я его считал всегда самым талантливым из всех русских прозаиков. Помните, как гениально он написал «о первой любви»? И когда меня спрашивали в Аргентине: «Кому жить, ему или Толстому?» Я сказал сначала: Достоевскому; но вижу, что Горький больше как художник: он великий художник! И покоряет всех своею простотою! Вот тот «минимум, доведенный до максимума выражения», о котором я постоянно говорю моим ученикам. И замечательно то, что он, как все писатели, не обладая вкусом, однако выработал в словах наиболее близкое понятие к вкусу, от его слов и образов не тошнит, как тошнит всегда от Толстого и Достоевского; только Гоголь, Лесков, Пушкин и Горький стали художниками. Мы же – художники, родоначальники вкуса, лучшие критики писателей, если только они не претендуют быть рассмотрены еще и со стороны служебной народу, и всем чертям, и ангелам от политики.

Я нигде не служил и не люблю этого рода занятие. И говорю о Горьком просто – жаль, что умер величайший художник слова современности. Он меня под конец забыл, даже лягнул², спровоцировал на родине, а я его не перестаю славить – все страны познакомил с ним, сейчас он – в Dallas, Texas на международной выставке³. Авань, с того света получу немножко денег за мою работу.

Марк Ефимович, простите, я не о том хотел с Вами говорить. Меня беспокоит то, что я не верю почтам в портах и боюсь, что мои письма не дошли, и Вы не получили моих с дороги.

Я же о Вас часто думаю и было бы несправедливо, если Вы ничего об этом не узнали. У меня сейчас много нового, в Antofagasta я неожиданно получил 19 писем из Santiago. От министра Barrios, от директоров музеев, национального исторического и нац. худож. Latchom и Alberto Macera, от многих очень интересных лиц – все они

меня приветствуют и ждут. Мой тиран Ramirez⁴, кто меня выкинул из Чили, выслан сейчас из страны сам, и все рады новому моему приезду. Мне уже предложили музей для выставки, она откроется 15-16 июля.

Затем в Lima (Peru) меня посетили на пароходе историк Cossio и так называемый «перуанский Григорьев», делающий лики индейцев, – Jose Sabogal⁵, Sabogal – хороший художник, лучший в Перу, – эти люди познакомили меня с другими, показали Академию, музей (замечательная «Incaica», раскопки за 2000-3000 лет до Р.Х., весь город Lima, окрестности), дали завтрак мне и пригласили делать мою выставку в Peru. Вот это хорошо. Потом мне уже пишут сюда, на пароход из Аргентины «Amigos del Arte»⁶, значит зовут делать выставку. Словом, у меня выросли крылышки. Но тоска по жене и сыну, больше по жене моей, до того сильна, что просто охота завывать волком. И ничего не знаю о них. И денег у них мало во Франции, где сейчас обдирают две шкуры с иностранцев, особо с русских. Да, тяжело 37 дней ничего не знать, плыть вдоль гор, похожих на львиною спину. Это в Lima я узнал о Горьком...

Тут уже зима, холодно, но море спокойно в смысле погоды, однако ужасно виляет пароход – подводные волны! Я всё время гляжу на запад, там, подальше Сандвичевых островов⁷, немножко повыше, но хорошо видно, начинается Сибирь... Бррр... только – не туда!

Сейчас я больше всего боюсь французов, у меня ведь паспорт выдан ими, а эти люди разучились навсегда быть любезными – если не продают паспорт, то и америк[анский] консул не даст визу на просроченной бумажке. А я боюсь как-то заговаривать о квоте, а что если вообще откажут и квоту, и визу? Так хоть дают на 6 месяцев, если всё в порядке. Не знаю, что и делать. Еще напишу Вам из Santiago. Мой адрес:

202, Avenida Seminario
Santiago
Chile

Рад буду получить от Вас весточку. Сердечный привет Вашей милой супруге и Соне.

Ваш Борис Григорьев.

Сейчас приехал в Valparaíso, всё тут ново, чудесно, солнце, масса друзей, журналистов, обещают много, хороший народ.

Б.Г.

Обнимаю Вас крепко!

1. Максим Горький умер 18 июня 1936 года.

2. Горький мог критически относиться к творчеству Григорьева. См. *Зайцева*. Указ. соч. С. 547-548.

3. Портрет Горького был показан на столетнем юбилее штата Техас в городе Даллас: Texas Centennial Exposition. June 6 – Nov. 27, 1936.
4. Pablo Ramirez Rodriguez – министр просвещения, который уволил Григорьева в 1929 году.
5. Jose Sabogal (1888–1956) – перуанский художник.
6. Друзья искусства (*исп.*).
7. Старое название Гавайских островов.

15.

15 октября 1936

[на бланке:]

FURNESS PRINCE LINE

M.S. «Southern Prince»

15.X.[1]936

Дорогой Марк Ефимович,

Всё хорошо кончилось. В кармане лежит бумага: квота. Но мне кажется, что я Вам уже писал об этом, писал также, что буду делать выставку в Бразилии. Так вот, я сейчас подъезжаю к Rio de Janeiro, через часок придется выкидываться – а тут так хорошо. За пять дней (из Аргентины) отдохнул, хоть сделал в двух портах Бразилии 8 новых гуашей.

Переезд через Анды–Кордильеры, он опасен из Чили. Там, на горах (3400 метров) случилась катастрофа, и поезда ходят только малую часть – надо ехать в обычнов[енных] автомобилях, поменьше ростом, потому что дорога очень узкая и сумасшедшая, обрывы и нет загорожок, и всё это вертится [и] вздымается, спускается ручьем в настоящей пустыне – я очень рискнул, могли и убиться. Кроме того, когда мы уже спустились с гор и ехали по прямой дороге, лопнула шина, тормоз не действовал, и мы едва не погибли. Случись это на горах – мои кости сейчас глодали бы пумы... Шоферы – настоящие дикари! От Mendossa поехал уже поездом и простудился ночью. Сейчас опять здоров, я в таких случаях лечусь коньяком.

В Buenos-Aires был всего один день, но много сделал. Видел две мои картины в национал[ьном] музее, купили *не у меня*, а у разорившегося аргентинца. Наладил там мою выставку в лучшей галерее, водил Панчо Саславского, который стал миллионером и ворочает «Dreifus»'ом в Аргентине; продал на пароходе одну картину запоздавшему аргентинцу. Поймал пароход в Rio и плыву последний часик. Тут жара сырая, природа райская, горы такие, что и не снятся.

Много хорошего на свете. В Santiago был мне дан завтрак на горе St-Christobal, где я сделал все мои гуаши, человек двадцать от

ближайших друзей, все буквально евреи, преподнесли мне эту гору, т[о] е[сть] она теперь будет называться моим именем – пока среди друзей, а там видно будет. Столько же народу пришло на вокзал, больше, все кричали: «Vive G[rigoriev]», а я кричал: «Vive Chile». Очень мило всё в Чили. Люди – настоящие аристократы, очень тонкие и близкие к искусству. Я продал довольно много, вылез из долгов и сделал чудесные вещи – сам доволен; это, кажется, плохо.

В New York я обязан въехать не позднее, как через 4 месяца. Теперь меня задерживает Бразилия, страна для меня новая; однако оттуда мне прислали две огромных статьи-передовицы с моими репродукциями и ждут меня охотно. Статьи до того подробно осведомляют обо мне, что, я полагаю, они составлены из последних статей в Чили и N[ew] Y[ork]’e. Я просто доволен таким вниманием, я такого тут не знаю. Однако Вы можете мне писать на имя сестры моей жены:

*Madame Irma de Goull,
Caixa 3033,
Rio de Janeiro.*

За всё, за многое спасибо, дорогой друг, обнимаю Вас, целую руки Вашей супруги, сердечный привет Соне. До скорого. Но я Вам еще напишу.

Ваш Борис Григорьев.

16.

26 октября 1936

[на бланке:]

PALACE HOTEL

Endereço «PALACIO»

TELEPHONES PALACE 22-1867

ANNEXO 22-5196

Avenida Rio Branco

Rio de Janeiro

26.X.[1]936

Дорогой Марк Ефимович,

Вы уже получили мои письма с дороги, с парохода в Бразилию, я уже благодарил Вас за квоту – она в кармане, еще у меня есть время, три месяца. Когда я делал перевал через Анды–Кордильеры на автомобиле, потому что катастрофа уничтожила железную дорогу, то я чуть не погиб, лопнули шины, и мы съехали с дороги – будь это на кривых поворотах на страшной высоте, то был бы я внизу и съеден пумами.

Также мы подвергались ежеминутно опасности нападения разбойников, ибо находились в пустыне долгие часы. Всё это сейчас забыто под влиянием новой страны, которая наз[ывается] Бразилией. Тут – тропики и жара, я хожу в полотн[яном] костюме и сижу в шикарной гостинице Hotel'я, где уже открыта моя выставка. Кое-что продано; художники Бразилии лансируют¹ моего «Ревизора»² у министра в музей.

Народу и новых друзей очень много. Обо мне было сказано по радио, а вчера я сам говорил в радио на весь мир о Бразилии, о чудесных ее дамах цвета райского яблока, о художниках; один из них Candido Portinari³ – настоящий гений и мой приятель, на нем есть русское влияние, он сам мне об этом сказал. Всё очень мило. Газеты пишут, что в Бразилии не было еще таких худож[иков] как Ваш покор[ный] слуга; словом, тут у меня большой успех, но люди здесь дорогие и не очень-то любят искусство. Однако люди очень милы, воспитаны и симпатичны, как и португальский язык.

Я тут купаюсь в океане, в волнах которого у самого берега видели акул и даже кита.

По берегу много небоскребов америк[анского] типа, жизнь дешевая, природа божественная, буду много тут работать.

Живу в Rio у belle-sœur⁴, ее муж – русский инженер, выстроил уже свой дом.

Русских тут мало. Галерей худ[ожественных] совсем нет, но друзей искусства имеются, большинство евреи. Я принят во многих домах, посылаю карточку – это в доме министра после завтрака в саду, похожем на рай!

Отсюда поеду в San Paulo, там больше интереса к искусству и не так жарко.

Обнимаю Вас горячо, привет супруге и Соне.

Ваш друг

Борис Григорьев.

1. От французского «lancer» – «пускать в ход».

2. Картина маслом, ок. 1935. В 2007 году была продана на аукционе Sotheby's, с тех пор местонахождение неизвестно.

3. Candido Portinari (1903–1962) – один из самых известных художников Бразилии.

4. свояченица (*фр.*)

17.

2 декабря 1936

Rio de Janeiro

2.XII.1936

Дорогой Марк Ефимович,
Ну, сажусь на пароход «American Legion» – Munson Steamship

Lines – 3 дек[абря], завтра, и буду в New York через 13 дней, значит 15, 16, 17 декабря. Как было бы хорошо, если б Вы организовали для меня маленькую встречу из журналистов, непременно хоть одного американского, кроме русского, от Вашей газеты, и это потому важно, что я въезжаю по *квоте*, почти как американец, с большой гордостью и любовью к Америке, с большим худож[ественным] багажом из Юж[ной] и Центр[альной] Америк, где сейчас идут интересные разговоры по поводу того, чтобы сохранить демократию в Америке и изолировать Европу с ее крайностями слева и справа. Вы сами лучше меня знаете, что происходит. Скажу только, когда я в Rio трижды увидел Mr. [F. D.] Roosevelt'a на улице¹, совсем близко, то со мною случилось нечто необыкновенное, я крикнул ему приветствие, и он приподнял цилиндр. Стало быть, я еду из стран, сейчас столь модных, куда сам президент поехал; я, конечно, постарался всё это строго представить в лучшем виде, всю их красоту. Теперь кончился мой период критика и историка и начался период поэта и воспевания природы. Отсюда делаю вывод – преждевременный, правда, что и я смогу иметь разок успех среди людей, которые, надеюсь, согласятся мне простить старые грехи. Если б журналисты написали хоть на четыре цента про это, то я бы мог выручить больше, а люди получи[ли] бы некоторое удовольствие от моих гуашей, их стоит посмотреть. Как уже Вам писал, я очень рассчитываю, что ими заинтересуется большая галерея, лучше всех прочих для меня: Knödler².

Здесь, в Бразилии, я сделал 55 гуашей. Продал здесь я тоже, в последнюю минуту, сыграли роль хорошие статьи и репродукции – бразильцы не сразу верят, их слишком много раз надували европейцы. Итак, я боюсь еще того обстоятельства, что меня отправят на «остров слез», где я еще не бывал, ибо всё же у меня мало долларов в кармане, хоть и сделан консулом подсчет моего имущества. Попомните меня около 16-17 дек[абря] в N[ew] Y[ork'e] и не оставьте одного с плохим языком.

Приветствую Вас и еще раз благодарю за всё. Привет супруге, Соне и всем друзьям.

Ваш друг

Борис Григорьев

Бразильск[ая] жара подкосила мои нервы, и я себя чувствую почти безумцем и не дождусь парохода.

1. Президент США посетил Бразилию 27 ноября 1936 года, где он выступил перед Конгрессом страны.

2. Knödler Art Gallery – одна из самых старых галерей искусства в Нью-Йорке.

18.

[1-2 декабря 1936]

[на бланке:]

DEPARTAMENT DOS CORREIOS E TELEGRAPHOS
TELEGRAMMA

Дорогой Марк Ефимович,

Всё изменилось, я писал Вам вчера, что приезжаю в N[ew] Y[ork], но получил сегодня от жены ужасное письмо с просьбой немедленно вернуться домой, на «Borisella», – еду туда, билет пришлось переменить, на этом долл[ары] тоже потерял. Надеюсь не потерять *квоту*, есть еще 1½ месяца. Напишу Вам из Франции подробно, а пока желаю Вам всего лучшего, моя душа мечется и все мои идеи разбиты письмом женщины, жены и матери.

Привет всем Вашим.

Ваш Борис Григорьев.

Borisella,

Cagnes-s[ur]-mer,

Alpes Maritimes,

France.

Буду дома 25 дек[абря].

19.

[Февраль 1937]

Villa Borisella,

Cagnes-sur-Mer

A[lpes] M[aritimes]

Мой дорогой друг Марк Ефимович,

Спасибо за Ваше письмо, оно пришло почти вместе со мною; но я ужасно разболелся нервами и буквально пролежал шесть недель на своей кровати. Моя жена так нервничала за меня, что, ожидая меня, в последнюю минуту уснула мертвецким сном, и я опоздал, и звонил, и стучал у себя дома в ворота, около часу ночи...

У меня тоже было чувство, что она более не жива, что ее убили или она тихо умерла в полном одиночестве. Я перелез через стену и, ни жив, ни мертв, нашел мою жену спящей... Стол был накрыт, бутылка вина и пирожки меня ждали... Тут я окончательно потерял всякую энергию и заболел. Наша трудная жизнь лишила нас обеих энергии, и мы чувствуем себя сейчас сильно постаревшими. Такой проделан путь, столько сделано (около 160 новых работ), а денег всё мало и едва хватает посылать нашему сыну в Paris; и если мы не смо-

жем этого, то французы заберут наше дорогое дитя в солдаты¹... Вы, наверное, слышали про это – вот до чего доходят люди, забывая совесть и доброе прошлое, когда мы помогали этим людям... война!

Разве в наше время может не заболеть порядочный человек! Ваш покорный слуга не какой-нибудь ретроград, однако нельзя же бить по одному месту человека, пользуя его в свою выгоду. У меня ничего здесь не осталось, кроме моего угла, куда я и залез. Работать не могу – копаю сейчас землю и гляжу на мою жену – она мне близка, как никогда.

В странах, откуда еду, все очень оказались ненадежными – завязал там дела, оставил много работ, обнадеженный обещаниями, но никто даже не отвечает на мои письма, т[о] е[сть] на письма жены, ибо я не пишу никому и блуждаю как маньяк. Прежде я хоть бранился, это помогало, но теперь у меня нет энергии, и я жду часа моего... А сколько еще было энергии в Rio! Вернулся сюда, и сразу Европа меня сразила. Чувствую себя абсолютно одиноким здесь. Думаю. Не знаю, что будет, увижу ли опять Вас, N[ew] Y[ork'sких] друзей!

Моя жена говорит, что вот нужен продолжительный отдых – мы докторам не верим, а как ничего долго не делать – я не умею этого. Я всю жизнь работал за десятерых и то кой-как влачу существование. Сейчас мне послали кучу журналов из Бразилии, но что это стоит?

Ну, будет о себе. Хочу знать о Вас, как Ваша газета? Как дела? Как поживает Ваша милая жена, которую мы оба полюбили всем сердцем, как работает и живет Соня – у нее большие способности, талант, это я чувствую и как жалею, что не могу ей помочь. Лучше всего, если она будет работать одна, она усвоила истинный путь мой. Теперь пусть работает. На свете мало людей, кто искренне посоветует. Я считаю «художников» самыми ничтожными людьми, лучше их избегать вовсе. Художников без кавычек сейчас так же мало, как грошей в моей кассе. Слышал я, что вся эта шантрапа парижская, которая обгадила Montragnasse, сейчас перекочевывает в N[ew] Y[ork]. Очень жаль, что Америка под этой опасностью. Берегите Вашу дочь от них. Видите, я всё еще люблю искусство! И как бы хотел Вам показать то, что привез; да, это надо показать молодежи.

Плохой я коммерсант, а надо бы заручиться на ноябрь–декабрь галерей в N[ew] Y[ork'e] (Knödler).

Обнимаю Вас горячо. Привет Вам всем.

Ваш Борис Григорьев.

Извините, что не сразу ответил. Моя квота не потеряна, мне обещали возобновить ее под тем же номером.

1. Без финансовой поддержки сын Григорьева вряд ли смог учиться в Сорбонне; в этом случае он подлежал бы призыву в армию.

20.

20 июля 1937

Borisella,
20.VII.[1]937

Дорогой Марк Ефимович,

Сейчас читали Ваше милое письмо и крепко задумались о Вас, о Вашей душевной и милой жене и Соне. Нам было очень приятно услышать о Вас, и мы пожалели о том, что у Вас в газете неурядицы с новым лицом.

О жаре американской мы и здесь слышали, я немножко знаю эту жару по июню, когда я писал портрет за городом (за который до сих пор денег не получил). Познав жару бразильскую и эквадорскую, я всё же боюсь, больше всякой другой жары, нью-йоркскую.

Вы спрашиваете нас: собираемся ли опять в N[ew] Y[ork]? Да, конечно, к ноябрю приедем, если не случится чего-нибудь непредвиденного. Я веду переговоры с Reinhardt Gallery и надеюсь выставить новые работы у него до Рождества. У меня много нового в живописи, и, полагаю, молодежь [должна] отнестись ко мне с большим вниманием. Соня будет довольна, что ее учитель не только говорил, но и сам так делает. Только у такого учителя можно узнать что-нибудь толковое – кто сам работает, и убедить трудно словами. Я с ужасом думаю об Америке (Северной) и об ее молодежи – сколько юношей желает поучиться, развиться! Сколько всевозможных там школ «учителей», но всё это такая дребедень, стопроцентный ноль, и только один американский художник дорог, даже драгоценен, это – John Karrol (не уверен, правильно ли написал его имя) – он учит в Детройтской Академии (Detroit). Не Кроль, а именно: Кароль¹. Из наших, если они еще там, Судейкин², Яковлев³ и Терешкович⁴ – везет Америке. Если б американцы были немножко более чутки... боюсь, что мы скоро задохнемся в гнилом воздухе дипломатов и мошенников, и наши жизни пройдут даром. Влияние наше, конечно, будет позднее, однако устами нашими мы тоже могли бы разъяснить многое нами созданное из ничего – сотворенное!

Дорогой друг, M[арк] E[фимович], всё тяжелее становится на свете. И я не уверен более даже в том, что *будущее* более справедливо и вознаградит нас после смерти. Сейчас кое-как всё же можно защищаться, пугнуть, выставить, показать; личною волею отстоять свое право. Потом же кому будет дело до той метлы, которою «священное воинство», не Савонарола⁵, а Коминтерна, начнет сметать в костры художников Лувра и их последователей в плоскости преемственности истинного искусства; историческая нить художественной и святой правды будет обрезана, и падут в костры образцы великого искусства, как протые жемчужины. Долго ли до такого закона, почти

дожили, а посмотрите, как в Париже сейчас презентовали всю эту «художественную» сволочь: кубистов, футуристов, дадаистов и прочих ставленников Коминтерна. Мне наплевать на христианство, но «христианское искусство» столь велико, что его нельзя «вывести в расход», тем более, что творцы его были очень далеки от религии, и в душах и головах великих художников всегда жила могучая борьба с обывателем и дураком – христианином: буржуем ли, аристократом ли или просто хаом. А теперешние подхалимы новой, быть может, менее дурацкой религии, но всё же религии, новые рабы, – что они могут дать да еще без образцов столь прославленных, столь таинственно-могучих? Вот тема, на которую в Вашей газете следовало бы поговорить. Не модно? Это – другой разговор. Искусство вечно в своем принципе и «подлым» оно никогда не может быть. Только «мухи на трупах» – критики – этого желают, но ведь они-то и вовсе не вечны, проходящи, как дурная вонь в воздухе. Я все-таки в это верю, хоть и не верю в народы! Дрянными стали людишками европейцы, хоть и не все.

Читаете ли Вы статьи Бенуа о Парижской Выставке⁶? У него много хорошего на эту тему, так в Европе больше не пишут,⁷ – посмотрите, как дешево стоит эта выставка, какая это дребедень...

Одновременно я открыл и мою выставку из сотни тропических работ. Помните, я Вам писал с дороги: отныне тропики будут называться моим именем. Я не шутил. Сейчас Louis Réau⁸, французский историк искусства, прислал мне фразу из своей статьи обо мне:

«...et je tiens à vous dire mon admiration très sincère pour ce cycle de paysages tropicaux éclatants comme des oiseaux de Paradis, où le rêve se mélange à la réalité la plus scrupuleusement observée. Vous avez réussi en particulier à suggérer l'atmosphère morte, la chaleur humide des tropiques *mieux que personne avant vous.*»⁹

Это голос Парижа!

Выставка моя в лучшей галерее Парижа Jean Charpentier¹⁰. В 1926 году, делая выставку моей Бретани у него же¹¹, я получил приглашение расформировать Академию художеств в Чили. В наше время чудеса случаются всегда реже. И я ничего больше не жду для себя, кроме *голой* славы!

Одновременно открылись мои выставки в Santiago и Rio de Janeiro. Получил приглашение в Голландию, но туда у меня нет времени; если доберусь до N[ew] Y[ork]'a и выставлю у Reinhardt['a], то буду доволен. Пока я, не покладая кистей, работаю здесь, у себя в саду и мастерской, уже с января (побывав в Paris только три недели) и накопил 22 холста маслом. Таких работ я еще не делал; стало быть, зависть ко мне только вырастет зимой. Думаю, что и на улице будет страшно-вато выходить. А у меня есть одна мысль, которую я хотел бы Вам сказать. Она вот в чем: а жить надо, деньги нужны, и школа моя в N[ew]

У[ork'e] необходима. Вот бы поручить Соне Вашей собрать к моему приезду *заранее* несколько учеников от 15 дол[ларов] в месяц.

Некоторые из моих учеников купили у меня (дешево) лучшие мои работы и денег, как было условлено, *не* посылают; оттого мне неудобно им писать и напоминать о себе.

Ведь смешно не собрать несколько человек среди 7-ми миллионной толпы американского общежития, ведь что-нибудь же понимают все эти люди с долларами для коктейлей и даже для «живописи». Нужен менеджер, знаю, но ведь я не хочу толпу, а только группу. У вас есть связи в газетах, найдите кого-нибудь, кто бы сунул несколько строчек обо мне, о моей школе, а запись, мол, у *Сони принимается*. Не всегда же нужно деньгами покупать рекламу, ну, а когда приеду, подарю добрым репортерам картину, ведь я не скуп. Две-три лучших американских газеты – вот и школа соберется. Объявления – это глупо, ничтожно для моего имени и моего качества. Ведь на пользу же Америке, везет ей, а она, дура, смотрит мимо...

Приеду я, полагаю, по квоте, значит надолго.

Дорогой Марк Ефимович, не сердитесь на меня за этот тон – настрадался я, многое видел и нахожу, что мы, европейцы, в духовном смысле еще можем по-старому чувствовать себя мэтрами во всех Америках. И говорю я с точки зрения только мэтра, а не человека; как человек, я предпочитаю американцев европейцам. А Америку я люблю давно, за многое, и моя к ней благодарность никогда не кончится. Я даже решился сам стать гражданином USA, чего никогда бы не сделал в Европе. Ну, Вы всё поймете Вашей доброй чуткой душою и великим Вашим умом.

Моя жена очень Вас любит обоих и посылает приветы. Она меня более не оставит одного. Я когда-нибудь Вам расскажу, как много я натерпелся от моего ученика, который, будучи мною взят с собою и будучи всюду в Ю[жной] А[мерике] мною представлен, – буквально меня спровоцировал и предал... Ну, прямо гангстером оказался. Прошу об этом никому не говорить – я боюсь гангстеров.

Мой милый друг, как страшно стало жить! И я надеюсь, Вы меня в беде не оставите. Я всё делаю для того, чтобы «не упасть», но... трудно иной раз удержаться, чтобы не разорвать на части негодяя... Когда вернулся к себе, я заболел неврастением, опять анемией и не полагал уже более вернуться к жизни – однако сейчас чувствую себя опять героем и готов к сражениям с кем угодно.

Мой сердечный привет Вашей милой супруге и Соне.

Ваш друг

Boris Grigoriev.

1. В 1930-е гг. кафедру живописи в Detroit Society of Arts and Crafts возглавлял John Carroll (1892–1959), известный американский живописец. Его кар-

Society of Arts and Crafts. Его картины находятся в ведущих музеях США, включая Detroit Institute of Arts, Los Angeles Art Museum, Pennsylvania Academy of Fine Arts и Metropolitan Museum в Нью-Йорке.

2. Сергей Юрьевич Судейкин (1882–1946), живописец. Учился вместе с Григорьевым в Академии Художеств в Санкт-Петербурге; они оба оформляли театр-кабаре «Привал Комедиантов» в Петрограде (1916). С 1927 г. в Нью-Йорке.

3. Александр Евгеньевич Яковлев (1887–1938) – живописец, в эмиграции с 1918 года. Его дружба с Григорьевым началась, когда они оба учились в Академии художеств в Санкт-Петербурге.

4. Константин Андреевич Терешкович (1902–1978) – живописец, с 1920 года во Франции.

5. Джироламо Савонарола (Girolamo Savonarola, 1452–1498), итальянский религиозный политический деятель. Устроил общественную реформу во Флоренции со сжиганием атрибутов светской власти и книг.

6. Бенуа А. Художественные письма: Парижская выставка 1937 года – 1 // *Последние новости*. 1937, 10 июля (№ 5910). С. 2; Художественные письма: Всемирная выставка – 2 // *Последние новости*. 1937 17 июля (№ 5957). С. 2. Всемирная выставка проходила в Париже с 25 мая по 25 ноября 1937 года.

7. О взаимоотношениях Григорьева с художником и критиком Александром Бенуа см.: Чугунов Г. Александр Бенуа и Борис Григорьев. *Краеведческие записки*. Вып. 3 // СПб., 1995. С. 140-142.

8. Луи Рео (Louis Réau, 1881–1961) – французский искусствовед и критик. Два года возглавлял Французский институт в Санкт-Петербурге (1911–1913). Написал одну из первых книг на французском языке о русском искусстве – «L'Art Russe» (1922).

9. «...и я хочу Вам выразить мое искренние восхищение за Ваш цикл тропических пейзажей, которые светятся, как птицы в Раю, где смесь сна и скрупулезных наблюдений реальности. Вам особенно удалось создать атмосферу смерти, влажной жары тропиков, лучше, чем кто-либо до Вас.» (*фр.*)

10. В июле 1937 года в галерее Жана Шарпантье в Париже прошла персональная выставка Григорьева, где, главным образом, были показаны рисунки и гуаши с его второй поездки по Южной Америке. Александр Бенуа отметил необычайность и проникновенность в передаче экзотики новых стран, неизвестных европейцам. См. Бенуа А. Выставка Бориса Григорьева в Париже // *Последние новости*. 1937, 16 июля (№ 5956).

11. На самом деле выставка прошла в 1925 году (14-31 октября). См. Львов Л. На выставке Григорьева // *Возрождение*. 1925, 20 октября (№ 140). Часть выставки представляли григорьевские пейзажи и портреты жителей Бретани.

21.

22 сентября 1937

Borisella,
22.IX.[1]1937

Дорогой Марк Ефимович,
Надеюсь, у Вас всё благополучно, надеюсь, Вы здоровы и

бодры, и много работаете, в такое время всё это необходимо. Не знаю, как Вы переживаете наш возраст, в то время, в котором Лев Н[иколаевич] Толстой тревожно предупреждал, говоря: «Бойся протрезвиться...». Сам он, по-видимому, очень страдал, и в нем перевесил его «ум ума», а не художник. Каково же наше положение, наше сердце, замученное заботами? Мне почти не верится сейчас, что я опять выпутаюсь из беды от долгов и полного пессимизма. И это несмотря на 140 новых работ, в которых, полагаю, я показал много нового. Странно! Люди разлюбили всё старое, а новому всё еще приходится разделять положение самое обидное... Стоит ли искать, мучиться, но я, например, не мог бы быть хоть сколько-нибудь спокоен, если бы научился ценить даже самое лучшее из своего прошлого.

В прошлом году я не попал в N[ew] Y[ork], а говорили, что было неплохо там. Не знаю, хорошо ли я сделал, послушавшись жену и вернувшись во Францию; однако поработал я здесь за девять месяцев немало; всё же организовал выставку в Paris, получил несколько замечательных отзывов от крупных писателей и историков, но продал очень мало. Как результат моей выставки, ко мне сюда приехало несколько учеников, есть одно дитя одного замечательного адмирала – и они-то, ученики, меня поддержали и морально, и денежно. Мой сад и мастерская полны молодежью. Но это меня не спасает. Я уже купил билет на «President van Buren» (Dollar Lines) и 20 октября выезжаю из Marseille в New York, где буду числа 3-4 ноября. Надеюсь, меня кто-нибудь встретит там из друзей. Нет возможности взять с собою мою дорогую жену, которая очень устала от хлопот по дому.

Моя мечта по-настоящему устроить в N[ew] Y[ork'e] мою школу, а с выставкой моей, кажется, уже решено на 1 декабря в одной из самых лучших галерей, пока это в секрете, чтобы не помешали¹...

Ужасно свалился франк, вместо 2500 плачу за билет 5000; всё ждал от некоторых людей закупленные у меня вещи, еще в мою-то бытность, т[o] е[сть] в N[ew] Y[ork'e], уплату долга, присылку долларов, тогда бы и билет уплатил долларами, но меня забыли американцы и денег не посылают. Кое-кто из N[ew] Y[ork'a] побывал у меня на Borisella и рассказывал, что в Вашей газете была помещена заметка Бенуа² – спасибо Вам, дорогой друг, за хорошую рекламу.

23.IX.

Сегодня опять набросился на живопись, всё и всех забыл... Но надо скоро укладывать свой художественный багаж и кончать работу. Лето прошло очень приятно тоже. Америка дала эту возможность – спасибо ей. Теперь вся надежда на Америку Северную. Но страшно одному пускаться в дорогу, я всё еще страдаю головокружением после того, как меня автомобиль сшиб на 6-ой Ave[nue].

Не так давно я отправил Вам подробное письмо с описанием моей жизни здесь и в Юж[ной] Ам[ерике].

Мы оба часто вспоминаем Вашу милую жену, Вас и Соню. Мои заботы о сыне продолжают, так как ему нужен еще год в La Sorbonne. Теперь будем жить на три дома, он в Париже, жена тут, а я в N[ew] Y[ork].

Итак, дорогой друг, до скорого свидания с Вами и со всем Вашим домом. Я совершенно забыл, по рассеянности, послать привет милым Завадским, о которых часто думаю. Искренний привет всему Вашему дому.

Преданный Вам,
Борис Григорьев.

1. В январе 1938 года в Галереях Лилиенфельда (Lilienfeld Galleries) в Нью-Йорке прошла персональная выставка Григорьева, которая была посвящена новому циклу южно-американских картин. Все критики отметили, что с этой выставкой творчество Григорьева приобрело новый облик и направление, отброшен был всякий психологизм бывалых лет. Критик «Нового русского слова» восторженно отметил трансформацию искусства Григорьева. См. *Камышников Л.* Неугомонная душа. На выставке художника Бориса Григорьева // *Новое русское слово*, 1938, 13 января. С. 3. Американские критики тоже подчеркнули новый подход Григорьева к искусству и появление некоторой гибкости и жизнерадостности в его картинах. См. Grigoriev Begins Anew // *The Art Digest*. 1938, Jan. 15. P. 25; M.D. New Paintings in a Decorative Vein by Grigoriev // *The Art News*. 1938, Jan. 29. P. 16.

2. *Бенуа А.* Выставка Борис Григорьева в Париже // *Новое русское слово*. 1937, 25 июля (№ 8939). С. 4.

22.

10 августа 1938

Borisella,
10.VIII.[19]38

Дорогой Марк Ефимович,

Надеюсь, что у Вас всё благополучно, и Ваша дорогая супруга поправляется от болезни. Моя жена ей писала всё подробно о нашей горькой жизни. Я не мог собраться написать Вам раньше – я уже около двух месяцев чувствую себя плохо – ходил по докторам и почти не работал всё это время. Мною сделано всего 3 нов[ых] работы в первый месяц моего приезда сюда – и вот...

Уже три недели я не встаю из кровати, лежу *без движения* на спине и держу лед и днем и ночью на животе. Доктора (очень плохие) нашли у меня: péritonite enquistoné, по-нашему это – воспаление брюшины. Началось со страшных болей и жара в 40°. Был составлен консилиум, приезжал из Nice хирург и посоветовал немедленную опера-

цию, вскрытие живота... Для этого нужна больница и огромные деньги на операцию – у нас их нет. Лежу дома в надежде, что пройдет от времени, но нет улучшения, почти ничего не пом[огае]т, исхудал до крайности, страдаю меньше от болей, но зато – от пролежней и тоски, смешанной с заботами... что же будет дальше? Все планы мои рушатся. Я всегда в это время много работал, а теперь – валяюсь и – жду смерти, которую ненавижу, ибо знаю, что рано еще мне умирать – искусство, семья меня обязывают.

Как странно! У меня началось всё это точно от мнительности, сейчас же после смерти друга моего А. Яковлева¹, смерть его меня потрясла. (Судейкин у Вас в газете написал о Яковлеве²? Если да, то пришлите мне его статью.)

У меня были планы поехать зимой в London, для этого я собирался тут много работать – что же будет со мной, если всё это провалится [?] В Америке мне нечего делать, я это вижу. Еще беда: сюда приехали две американские дочки, мои прошлогодние ученицы-американки (это 300 fr. в день) и вот я не могу, валяюсь, и неизвестно, когда встану, – прямо не везет мне больше.

Мой Максим Горький у Lilienfeld'a – N[ew] Y[ork] богатый и передовой город, неужели нельзя такую вещь в нем хоть *разыграть* в лотерею³? Тысячи за две.

Мне надо лечиться, а на лечение нужны деньги. Вот до чего дошло. Подумайте, M[арк] E[фимович], в Чикаго на выставке⁴, где был мой зал из 30 южноамериканских вещей, раздали много денежных премий, а я не получил ни одной самой маленькой... от того, что Dr. Harshe⁵, мой единственный друг там, внезапно умер. И ничего я не продал!

Извинитесь перед Соней, я ей не писал, я, правда, очень угнетен и болен, а вот пусть она будет добра и скажет моей ученице (бесплатной!) Mrs. Lucy Slaban, что *нехорошо* та поступила со мною! Уезжая, я оставил ей одну мою работу для передачи рамочнику Braxton[’y], которому я остался должен за рамки \$16 дол[ларов]. А теперь сюда пришло письмо от него, он спрашивает, почему я ему не хочу заплатить долга? Я – честный человек и никому не должен, и если б знал, что так будет, сам бы отнес ему мою картину, стоящую дороже шестнадцати дол[ларов]!

Очень, очень всё грустно, дорогой M[арк] E[фимович]. Грустно мне смотреть на мою уставшую жену, которая шлет привет Вам. Грустно сознавать себя неспособным к работе и валяющимся без надежды на лучшие времена.

Жму Вашу руку и желаю Вам удач, без них и жить не стоит.

Ваш друг

Борис Григорьев.

P.S. Я оставил Камышникову⁶ несколько моих вещей, он меня

сам просил. Адреса его я не знаю. Он обещал прислать мне половину с продажи. Нам невесело, а деньги нужны очень.

Передайте ему мой привет и не скройте от него, что я болен серьезно.

1. Яковлев умер в мае 1938 года от рака желудка. Буквально через несколько месяцев Григорьев тоже умирает от той же самой болезни.
2. Судейкин С. Александр Яковлев – мастер формы // *Новое русское слово*. 1938, 21 мая.
3. Портрет был продан; ныне он находится в музее Горького в Москве.
4. Григорьев послал часть своих картин с нью-йоркской выставки на международную выставку акварей в Чикаго: The Seventeenth International Exhibition of Water Colors at the Art Institute of Chicago, April 28 – May 39, 1938. Но сам Григорьев уехал домой во Францию в апреле 1938 года. См.: Отъезд Бориса Григорьева // *Новое русское слово*. 1938, 16 апреля (№ 9203). С. 1.
5. Dr. Robert B. Harshe (1879–1938) – директор Художественного института Чикаго (Art Institute of Chicago).
6. Лев Маркович Камышников (1881–1961) – корреспондент газеты «Новое русское слово», заместитель Вейнбаума.

Публикация и комментарий – Ж. Шерон

Г. Аляев, М. Макаров

«Мы с Вами, как щепки разбитого корабля...»

О переписке В. А. Оболенского и С. Л. Франка

Их выбросило на берег...

Солнце здесь слишком щедрое. Сухой запах хвои – приземистые сосны, причесанные мистралем, словно стремятся вырваться из прибрежного песка и убежать куда-то туда – к горизонту над бирюзовой водой от края до края. Здешнее море редко выходит из себя, спит себе полуденным сном. И, главное, тишина вокруг – звонкая тишина с непрерывным стрекотом цикад. Тишина – пронзительная, та, которая наступает вдруг.

Потому как еще вчера вокруг выл свирепый ветер – революционная буря, безразличная и беспощадная, разрушившая прежние жизни, похоронившая мечты и мечтателей, разметавшая всех и вся. И вдруг, даже не верится, – этот странно пустынный берег в богом забытом провансальском Ля Фавьере (La Favière), что спрятался у Борм-ле-Мимоза (Bormes-les-Mimosas) и Лаванду (Lavandou) недалеко от Тулона, – глушь, ни отыскать, ни добраться. Именно сюда, на этот песок под соснами, оказались выброшены русские «щепки разбитого корабля»¹.

«Когда в Фавьере появились первые русские, лишь кусты и раскидистые приморские сосны тянулись вдоль белоснежного песка на берегу. Несколько местных фермеров выращивали виноград на холмистой равнине, раскинувшейся между морем и холмами, где наверху сидит, как в кресле, старинный Борм-ле-Мимоза, окруженный с трех сторон лесом. Сам Фавьер тогда еще не существовал как самостоятельная административная единица, и вопрос о его месторасположении ставил в тупик. На картах он значился просто как ‘бухта Борма’, где рыбаки держали свои лодки в ветхих сарайчиках на берегу. Ближайшая тогда еще деревня Лаванду лежала минутах в десяти пешком вдоль моря.

Постоянными обитателями Фавьера были несколько русских семейств с их многочисленными родственниками, друзьями, друзьями друзей и просто знакомыми – типичный срез жертв русской революции. Были среди них аристократы, интеллектуалы, государственные служащие, бывшие офицеры, а также одинокий казак. Жили они в маленьких, похожих на коробки ‘виллах’, сооруженных большею

частью собственноручно. Летом сдавали комнаты приезжающим на отдых русским парижанам, а зимой раскладывали пасьянсы...»².

Семья Владимира Андреевича Оболенского «зацепилась» за Фавьер случайно. Сам В.А. со старшими сыновьями и дочерью покинул Крым еще в 1920-м, чудом попав на последний отходящий из Севастополя корабль. А вот супруге Ольге Владимировне с младшими детьми неготовано было пережить *красный террор*, их путь изгнания был непрост и долог. Младший сын Оболенских, 19-летний Лёва, смог вырваться только в 1924 году стараниями президента Чехии Масарика – доброго знакомого В.А. В Праге в общезнании Лёва заразился туберкулезом, родители выписали его во Францию, но в промозглом Париже не оставили и отправили на теплый юг к солнцу – в Грасс, где товарищ В.А. по кадетской партии Н. Н. Богданов, точно такой же беженец, взял в аренду участок земли, намереваясь выращивать жасмин для парфюмеров. Ася, старшая дочь В.А., навестила брата в надежде устроить его судьбу, и Богданов посоветовал им съездить в Фавьер, где профессор Метальников, знакомый ему еще по Крыму, только что обзавелся «виллой», – вдруг тому требуется помощь. Повезло, однако, не у Метальникова, приезжавшего в свою сараюшку лишь на лето, а у других фавьерцов.

В отличие от русских «дачников», супруги Швецовы жили здесь постоянно. Еще в 1919 году Аполлинурия Алексеевна³ купила участок прибрежного соснового леса, где три года спустя появился «большой дом Швецовых» с садом, огородом и виноградником. Незадолго до приезда в Фавьер Аси с братом, Швецовы лишились своего управляющего, и брошенное им хозяйство остро нуждалось в умелых руках. Ася легко смогла убедить «помещиков», что Лёва именно тот человек, который им нужен, ведь до этого он три года жил в крымском имении своего деда Винберга – известного на всю Россию винодела, а там работали и взрослые, и дети. И Лёва остался у Швецовых: «милый Лёва Оболенский, удивительный, редкий человек», – так отзывалась о нем в письмах А. А. Швецова.

Постепенно к нему в Фавьер перебрались и остальные Оболенские – родители и младшие дети с семьями осели тут на долгие годы, старшие навещались к ним время от времени. Жили довольно скудно. В сезон Ольга Владимировна содержала пансион для дачников, Борис Грудинский, муж дочери Людмилы, торговал в бакалейной лавочке – единственной в Фавьере. Лёва отучился на агрономических курсах, вернулся, женился и подрабатывал, где только мог. Появились на свет первые фавьерские внуки и внуки – семья Оболенских пустила здесь корни и, как оказалось, навсегда.

Исход семьи Франков был иной, *северный*: осенью 1922 года «философский пароход» привез их в Германию⁴. В Фавьере же они оказались пятнадцать лет спустя и тоже благодаря своему сыну, точ-

нее – невестке Бетти: «Впервые я открыла для себя Фавьер, вернувшись из долгого турне по Австралии, где я выступала с русским балетом, – точнее, это мой русский муж [Алеша Франк⁵] его открыл. Он слышал об этом отдаленном уголке на юге Франции от других русских беженцев в Париже. К тому времени, когда мы оказались в Фавьере, его русское население превосходило исконное французское примерно раз в пять. Можно себе представить, насколько это отличалось и географически, и духовно от модных курортов Ривьеры в Каннах и Монте-Карло... Я прожила в Ла Фавьере семь лет, купив там [в августе 1937 года] небольшую виллу [Людмилы Врангель]». Отремонтировав купленный домик и соорудив рядом еще один, Бетти с Алешей открыли пансион для англичан, дав ему вполне балетное название «Le Coq-d'Or» – «Золотой петушок». Алеша сдружился с Лёвой Оболенским и его женой Лизой. Бетти тут же открыла школу танцев, где аккомпаниатором подрабатывал Лазарь Кельберин – муж Натальи Оболенской.

Между тем ситуация в фашистской Германии накалялась, оставаться там родителям с младшими детьми становилось опасно, и Алеша с Бетти вызвали их к себе. Ехать всем вместе не получалось – Франция отказала во въездной визе Татьяне Сергеевне с Наташей. Но Семену Людвиговичу задерживаться в Германии было никак нельзя, ибо по всему чувствовалось, что еще немного – и дверь захлопнется, – его уже вызывали в гестапо: «Мне дали – в соответствующей инстанции – понять, что я нежелателен...»⁶. 26 декабря 1937 г. Франк выехал из Германии сначала в Швейцарию, а потом во Францию.

В марте 1938 г. на письмах Франка появляется новый обратный адрес: La Favière, Villa Coq-d'Or: «Живу в небольшой (почти исключительно русской) дачной колонии... Нам принадлежит кукольно маленький домик из четырех комнат и второй из двух – без элементарнейшего комфорта... В разгаре лета любое местечко в доме и даже в саду заполнено гостями из Парижа, и на этом строится возможность нашего существования. Природа великолепна, море восхитительно-прекрасно, воздух (пока нет жары) бодрящий»⁷. «...Мы живем здесь по 'толстовски', т. е. всей семьей много занимаемся физическим трудом – над устройством домика и сада – что очень полезно и для здоровья, и для души. Кругом нас русские соседи, весь поселок состоит из русских интеллигентов, все очень милые и благожелательные люди...»⁸. Так Фавьер вошел в историю русской философии – предисловие самой, пожалуй, известной книги С. Л. Франка «Непостижимое» имеет подпись: «La Favière (Var), август 1938».

С началом войны супруги Франки сняли себе квартирку в соседнем Лаванду, где условия для жизни, особенно зимой, были менее спартанские и где ничто не мешало С.Л. работать над книгами⁹. Маленький городской скверик, крохотная муниципальная библиоте-

ка, одинокие прогулки вдоль моря и тишина, столь любимая С.Л. – «в тишине лучше назревают мысли, и подводятся итоги духовного хозяйства». Для общения по душам в округе остался лишь *старый князь* Оболенский, а потому виделись они регулярно, В.А. хоть и жил в Фавьере, но «в город» ходил охотно¹⁰.

Судьбе было угодно свести их вместе в одно время и в одном месте. Отрезанные от мира временем (война) и пространством (глушь), они пожили – «*полежали...*» – рядом пять лет. Очень разные: религиозный философ и убежденный материалист, идеалист-метафизик и политик, академический профессор и «общественник». Два интеллигента в истинном – высшем – понимании этого слова, два глубоких мыслителя с... диаметрально противоположными векторами: один до последнего вдоха оставался – *extra*, другой – *intus*. Ответные письма Франка к Оболенскому не сохранились. Однако, исходя из имеющихся текстов, можно предположить, что инициатива в переписке – *жажда* общения – исходила всё же от В.А., а С.Л. ему отвечал, писал нечасто и, видимо, кратко (чему, впрочем, есть вполне объективное объяснение – резко ухудшившееся в последние годы состояние его здоровья).

Важный аспект переписки, ее основной фон – дела семейные. И Оболенский, и Франк были окружены большими семьями, для них обоих дети составляли смысл существования, а детей было много (восемь у В.А. и четверо у С.Л.) – и каждый со своим характером, своей судьбой. Семьи были дружные и за время совместного проживания в Фавьере притерлись настолько, что даже после разлуки продолжали жить жизнью друг друга. Семейные события служат канвой всей переписки. Рассказы о бытовых трудностях и прочих перипетиях повседневной жизни служат для Оболенского отправной точкой для раздумий более глубоких, постоянно перекликаются и как бы сращиваются с плоскостью политико-экономической и международной. «Дед обладал умом не отвлеченным и переживания житейские не заслоняли его мышления, а, напротив, питали его, как унавоженная почва питает тянущееся ветвями к небу дерево», – рассказывает Алексей Львович Оболенский.

Здесь, конечно, нужно сказать, что Оболенский и Франк были связаны «не Фавьером единым». Они познакомились не позднее 1906 года – Франк упоминал Оболенского в числе друзей П. Б. Струве, которых он встречал во время работы I Государственной Думы¹¹. Хотя бы косвенно их пути пересекались и ранее – через дружбу со Струве, через участие в Союзе Освобождения и в создании Конституционно-демократической партии. Франк в эти годы стал ближайшим другом семьи Струве, т. е. не только его самого, но и Нины Александровны, которая, в свою очередь, имела тесные дружеские связи с семьями Винбергов и Оболенских. В своем первом письме к

только что высланным Франкам в октябре 1923 г. она, среди прочего, спрашивала: «Видали ли Вы Оболенских перед отъездом? Как они и Винберги живут? Их тоже ждем вскоре и очень за них волнуемся», а в одном из следующих добавляла: «Напишите непременно об Екат. Ник. Винберг, Ляле, Нине и Оболенских»¹². Со своей стороны, Оболенский был знаком не только с Семеном Людвиговичем, но и с его братом Михаилом, работавшим после революции в Крымском университете. В 1924 г. Франк искал возможности помочь брату в получении визы для лечения во Франции и между прочим писал Глебу Струве: «М[ожет] б[ыть], может помочь Вл. Андр. Оболенский, который хорошо знает Мих[аила] Людв[иговича]»¹³.

Однако только Фавьер привел их души и умы в необходимый резонанс, за которым и последовала эта переписка. Они разъехались в конце лета 1943 г., когда над их побережьем нависла угроза смены итальянской оккупации («нелепая жизнь среди милейших итальянских солдат!») оккупацией немецкой: Оболенский уехал под Париж, Франк – под Гренобль, а после войны – в Англию. Письма продолжили беседы у спящего лазурного моря...

Кроме чисто личных, семейно-бытовых сюжетов, в эпистолярное обсуждение властно вторгается бурная внешняя жизнь – атомные бомбардировки Японии и создание ООН, переговоры о мире и угроза новой войны, социально-экономические эксперименты и политическая чехарда во Франции, экономический кризис в Англии и советское влияние в Иране... и, конечно, перипетии жизни русской эмиграции, в том числе находившие отражение в эмигрантской прессе. Отсутствие писем Франка не позволяет, к сожалению, восстановить во всех деталях позицию одного из участников этой дискуссии, однако частично такая реконструкция возможна благодаря известным нам работам философа, написанным в эти годы, а также его письмам к другим адресатам.

Время, на которое приходится основная часть переписки – а это первые послевоенные годы, – Оболенский называет «временем всемирного потопа». Собственно, уже в первом письме, написанном еще до войны, но сразу после Мюнхенского сговора, доминирует настроение тревоги и опасности, причем ясно обозначены два основных мотива, формирующих эту тревогу, – это, во-первых, ложь текущей политики и информации (точнее сказать – информационной пропаганды) и, во-вторых, расползание национализма. Эти мотивы так или иначе звучат и в последующих письмах, только с августа 1945-го к ним добавляется поистине апокалиптическое ожидание новой, теперь уже «атомической» войны и «конца цивилизации».

Основаниями этих опасений у Оболенского служат соображения как общеисторического характера, так и оценка конкретных результатов последней войны и политики ведущих государств. С одной сто-

роны, он не верит, что новое сверхразрушительное оружие и, одновременно, новый мощнейший источник энергии «повлияет на прекращение войн» и будет служить исключительно на благо цивилизации. Не верит, прежде всего, исходя из факта, что прогресс науки и прогресс человеческой морали идут в противоположных направлениях. С другой стороны, констатация морального регресса находит подтверждение во лжи и лицемерии («ипокритстве») политических интриг, в которых каждая из стран-победительниц пытается реализовать свои интересы, удовлетворить «аппетиты великих держав», и в результате формируются условия не «справедливого» и «прочного» мира, а, скорее, новой войны.

Моральная оценка доминировала и в рассуждениях Франка как о причинах последней войны, так и о ее последствиях. Он писал о том, что за войну и немецкие зверства ответственен не только национал-социализм и поддержавший его или покорившийся ему немецкий народ, но и «руководители мировой экономической политики, не сумевшие предотвратить или преодолеть мировую безработицу, и русский большевизм, своей угрозой миру дававший видимость оправдания гитлеризма, и морально-политическое разложение третьей французской республики, и морально-неправедный и политически близорукий англо-американский изоляционизм, и жалкое бессилие Лиги Наций»¹⁴. Он также скептически относился к формированию ООН и не верил в действенную силу «формального мирного договора» («Уже ясно, что из С[ан-]Франциско ничего не выйдет, и что ничего не выйдет из плана разумного управления Германией», – писал он сыну Виктору¹⁵), но главную пружину возможной новой войны видел при этом в силе ненависти, которую рождают и питают, с одной стороны, доктрины человеконенавистничества, а с другой – страстная жажда отмщения, вследствие которой «победитель оказывается в конце концов побежденным духом ненависти, им порожденным»¹⁶.

Оболенский был склонен усматривать в англосаксонской политике некий идеализм, рождающий попустительство, – эта «наивность» свойственна даже У. Черчиллю, который верит в возможность механического «создания» демократии там, где для этого еще нет культурных условий. Такая политика не снимает ответственности с западных демократий за то, что мир идет по пути к новой войне («Если бы западные демократии не так пугались угроз Сталина, пока еще не готового к войне, а сами его бы пугали, они <...> могли бы предотвратить войну»), но всё-таки это ответственность иного морального характера. Франк здесь, пожалуй, был более оптимистичным – он называл Фултонскую речь Черчилля «гениальной» и выражал надежду, что «т[ак] к[ак] мир поумнел в отношении Сов[етской] России, ее удастся осадить»¹⁷. Только что оказавшись в Англии, он уже писал Оболенскому о том, что «англичане начинают понимать, что

собой представляет советский строй», на что последний смотрел более скептически.

В первую очередь ответственность за возможность новой войны возлагалась Оболенским на «советский (сталинский) империализм», абсолютно лишенный «даже самой условной морали» и подкрепляющий свой цинизм «миллионами штыков». У него не было иллюзий относительно природы сталинского «коммунизма». Он обратил внимание на процессы разрушения интернационалистской идеологии и окрашивания коммунизма в «национальные цвета» – причем как в советской сфере влияния, так и среди коммунистов западных стран (подметив тем самым зарождение известного позднее «еврокоммунизма»). В этих процессах Оболенский усматривал признаки кризиса коммунизма – прежде всего как идеологии, – но одновременно и угрозу новых очагов конфликтов, потенциально – новых межнациональных войн. И он сформулировал, как ему представлялось, точное определение происходящего – «эволюция коммунизма в фашизм». Духовное родство сталинизма и фашизма (по сути, здесь имелся в виду национал-социализм) Оболенский почувствовал, прежде всего, в следовании известному принципу – «цель оправдывает средства», который «ведет к смешению целей и средств». Теоретическое обоснование такого отождествления он нашел у Георгия Федотова. Стоит здесь привести признаки фашизма, которые выделял Г. П. Федотов в статье, о которой Оболенский писал Франку:

«1. Политическая форма: вождь с абсолютной властью, партия как орган властвования и массы, пассивно-активные, вечно волнующие, псевдо-революционируемые, повторяющие подказанные им лозунги.

2. Социальное содержание фашистской революции: синтез национализма и социализма – двух величайших сил современности, под главенством национализма.

3. И, наконец, тоталитарный, то есть всесторонний государственно-принудительный, характер всей культуры.

Все эти черты характеризуют и современную Россию»¹⁸.

Франк точно так же не имел никаких иллюзий относительно Сталина. В статьях и публичных лекциях конца 20-х – 30-х годов он разоблачал гонения на Церковь и политику коллективизации как уничтожения крестьянства, в личных письмах убеждал А. Эйнштейна в лицемерии советских властей и в реальности массовых репрессий – в том, что «настало время неслыханной жестокости и бесчеловечности, которого Россия не знала с эпохи Ивана Грозного»¹⁹ (эту «генеалогию» Сталина отмечает и Оболенский). В марте 1945 г. Франк писал своему другу Л. Бинсвангеру: «Дьявола удалось изгнать с помощью Вельзевула, и от этого не стоит ожидать ничего хорошего»²⁰. Но он не применял в отношении сталинского режима термин

«фашизм», сохраняя за последним историческую привязку к фашизму итальянскому. Завершая в конце 1945 г. книгу «Свет во тьме», Франк констатировал: «Кто понял духовное существо русского большевизма, не может не видеть в национал-социализме и фашизме его родного по духу брата – лишь новый вариант безбожного демонизма»²¹. «Дух большевизма» он выводил, прежде всего, из материализма и воинствующего атеизма, из «веры в абсолютный приоритет коллективного самоутверждения людей» и отрицания свободы человеческой личности, что приводит в итоге к «*универсальному деспотизму*»²². Подходящим обозначением для всех подобных форм «подавления человеческой личности бесчеловечной машиной абсолютного государства» он считал термин «тоталитаризм».

Здесь, пожалуй, стоит отметить философское рассуждение Оболенского о языке (письмо от 6 сентября 1946 г.), в чем-то созвучное определению «идолов площади», которые старый эмпирик Ф. Бэкон считал «наиболее тягостными» помрачениями человеческого разума: «Жизнь так быстро меняется, что язык за нею не поспевает. Старые, привычные нам слова перестают соответствовать понятиям, с ними связанным. Между тем, это разобщение слов с понятиями оказывает огромное влияние на психологию народов, ибо старые, привычные слова продолжают вызывать прежние эмоции по отношению к явлениям, ничего общего с этими понятиями не имеющим». У Франка с этой темой была связана известная статья «По ту сторону 'правого' и 'левого'» (1930), и вообще он много писал о гибельном смещении понятий, особенно – в «ереси утопизма», под лозунгами стремления к добру ведущей к хаосу разрушения и разнуздания сил зла.

Безусловно, в своих принципиальных оценках Франк и Оболенский были «если не 'единоверники', то во всяком случае единомышленники», однако всё-таки в письмах чувствуется некоторая дискуссионность отдельных тем и даже слов. Позицию Франка в отношении «советского империализма» раскрывает его статья с таким же названием, написанная для английских читателей, но явно перекликающаяся с этой перепиской²³. Само это выражение философ считал скорее обманчивым, запутывающим существо дела. Оно построено на параллели с империализмом царской России и отражает отношение к России нынешней как агрессивной угрозе окружающим стран. Между тем, по мнению Франка, *национальные интересы* России не создают опасности миру. Такая опасность исходит от характера коммунистической идеологии и советского тоталитарного режима. И до войны большевистская Россия была опасна миру не собственно угрозой войны, а стремлением изнутри разлагать государственный порядок других стран и разжигать в них классовую борьбу. Нападение Германии заставило Советский Союз «перестроиться по образцу национального государства», однако, по мнению Франка, это вовсе не

означало формирование привычного для европейских стран государственного сознания. «Перерождение» большевизма он усматривает в превращении ранее установленного деспотически-террористического режима, имевшего романтические идеалы социальной справедливости и цели мировой революции, в самоцель тоталитарного деспотизма, утверждения и сохранения «социализма в одной стране», который оборачивается «тоталитарным государством в максимальной, наиболее абсолютной его форме», т. е. *принципиально* отрицающим не только политическую, но и всякую гражданскую свободу²⁴.

Именно в этой *идейной* несовместимости – несовместимости «типов жизни» – тоталитарного деспотизма и либеральной демократии Франк видел основную угрозу, исходящую от Советской России. Ее международная политика определяется не внешней агрессивностью, а страхом, ощущением смертельной опасности, исходящей от морально-политических идей Запада, – отсюда полная изоляция советских людей от западной пропаганды с одновременным продвижением советской пропаганды в западных странах, стремление подчинить своему влиянию окружающие страны, создав максимально широкий «пояс безопасности», и даже тенденция *«мобилизовать восток против запада»*. Таким образом, в отличие от традиционного понимания империализма, советский «империализм», по мнению Франка, скорее склонен избегать войны – в силу шаткости своего как внешнего, так и внутреннего положения, – и, во всяком случае, не опирается на «национальную нужду» в войне и соответствующее общественное мнение. С другой стороны, он гораздо более опасен именно тем, что речь идет о столкновении двух «чуждых и противоположных» миров, между которыми возможно лишь шаткое перемирие, но не искреннее международное сотрудничество; кроме того, «атмосфера постоянного страха и естественного недоверия часто гораздо опаснее, чем даже умышленная агрессивная воля»; наконец, нельзя исключать и свойственное любому деспотизму стремление «заглушить народное недовольство военной авантюрой»²⁵.

Как бы откликаясь на мысли Франка о тоталитаризме, Оболенский всё же и тут делает поправку. Для него тоталитаризм – явление, присущее не только сталинскому или гитлеровскому режимам. Это явление охватывает весь мир и связано с «головокружительным развитием техники». Он ссылается на неизбежную монополию государства на атомную энергию. Сегодня мы можем добавить, что современные информационные технологии способны поставить под контроль государственной власти *всё и вся* даже без формальной государственной монополии. Поэтому рассуждение Оболенского о том, что речь может идти не столько об уничтожении тоталитаризма, сколько о смягчении вытекающих из него «весьма тягостных последствий», представляется пророческим.

В конечном счете, единственный положительный выход из нового мирового кризиса Оболенский видел во «внутренних переменах в России». Примером в этом отношении для него был Струве, который, всячески желая победы союзникам, ожидал всё же внутреннего переворота и свержения Гитлера. В этом же ключе Оболенский критиковал эмигрантскую печать, подчас лишь воспроизводящую проклятия на большевиков, в то время как «нужна критика внешней и внутренней политики России с указанием совершенно конкретных необходимых изменений». Только внутренний переворот и разложение коммунистической верхушки могли бы, по его мнению, предотвратить новую войну, тогда как ставка на такую войну против Сталина, которую делают «многие эмигранты, особенно из 'Ди.Пи.'», не только не решит внутрироссийских проблем, но и приведет к катастрофе всего человеческого рода. Франк в целом сходиллся с Оболенским (и Струве) в том, что единственным выходом из этого смертельно опасного положения является «перемена внутреннего строя в России», – возможно, лишь более оптимистически считая, что «этот исход ближе, чем многие думают», и уже скоро России «суждено снова удивить мир неожиданной переменой своего облика»²⁶.

Кстати, в связи с именем Струве можно добавить один сюжет, который не нашел отражения в сохранившихся письмах. Получив известие о смерти своего близкого друга, Франк посчитал своим моральным долгом написать воспоминания о человеке, которого относил «к очень небольшой группе подлинно честных, нравственно трезвых, независимо мыслящих русских умов»²⁷, и попытался вдохновить этой идеей других друзей Петра Бернгардовича. 16 марта 1944 г. он сообщал Ельшевичу: «Я просил В. А. Оболенского (его друга с детских лет) зайти к тебе и поговорить с тобой об этом. Видел ли ты его? Он мне писал, называл имена возможных сотрудников...», – а 6 мая, сообщая о своей работе над воспоминаниями, с удовлетворением отмечал: «Пишет и Оболенский»²⁸.

Следует подчеркнуть, что при всем неприятии коммунистического режима и для Оболенского, и для Франка Россия оставалась родиной, и поэтому Оболенский «остро чувствует стыд за свою родину», читая о выступлении Вышинского в ООН, которое Франк также называл «хамским»²⁹. Тем не менее Оболенский не испытал иллюзий относительно неожиданной «монаршей милости» – возвращения советского гражданства эмигрантам в ряде стран, в том числе и во Франции, и явно сожалел, что на это соблазнился один из его сыновей. Эта позиция полностью разделялась Франком. У него была похожая история – в начале 1940 г., во время советско-финской войны, младший сын Василий имел намерение попасть «кружным путем через Финляндию в Россию». Узнав об этом, Франк писал дочери Наталье: «Пожалуйста, имей в виду ты, Васюта и вы все, что все без

исключения попытки нелегально приехать в Сов[етскую] Рос[сию] доселе проваливались: мнимые сотрудники в России оказывались агентами ГПУ и люди прямо попадали в их лапы!»³⁰ Теперь, в письме к Ельяшевичу 16 сентября 1946 г., он цитировал своего фавьерского друга: «Как ни тягостно положение эмиграции, оно всё же несравнимо лучше положения людей, которые, как остроумно писал мне В. А. Оболенский, меняют состояние лишенного родины субъекта на обретший родину объект. Судьба их, в случае международного осложнения, очевидна: либо концентрац[ионный] лагерь, либо принудительная отправка на родину»³¹.

Конечно, не только политические тенденции времени, и не только экономические сложности послевоенной жизни, усугубляемые политической демагогией («все мы живем, как говорится, ‘на честном слове’, которое стало нечестным»), но и собственные года во многом определяли общий пессимистический настрой этой переписки. Однако главное тут было всё-таки не в естественных немоцах как таковых, – с ними можно было ужиться («у меня тоже болят глаза, – успокаивал Оболенский Франка, – но образа жизни не меняю в уверенности, что умру раньше, чем ослепну»). Главное было в несовпадении духа старых русских интеллигентов, прошедших в свое время путь «от марксизма к идеализму», с духом времени, который Франк называл «новым варварством», а Оболенский боялся сравнить со Средневековьем, чтобы не оскорбить последнее. «Так чувствовали себя всегда люди, запоздавшие родиться или вовремя не умершие на стыке двух исторических эпох»...

Семен Людвигович Франк умер 10 декабря 1950 г. в Лондоне, в доме своей дочери Натальи, его глаза закрыл Владыка Антоний – будущий митрополит Суражский. Владимир Андреевич Оболенский ушел спустя полгода, 12 июня 1951 г., в Бюсси-ан-От, где в Покровском монастыре несла послушание монахиня Бландина – его старшая дочь Александра.

Благодарим сотрудников Бахметевского архива и лично куратора архива, д-ра Татьяну Чеботареву, а также сестру Терезу Оболевич и Татьяну Резвых за предоставленную возможность использовать эти документы. Выражаем искреннюю признательность Алексею Львовичу Оболенскому, который «безоговорочно» поддержал идею публикации писем его деда. Письма печатаются с сохранением отдельных грамматических особенностей оригиналов.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Подробнее о феномене «русского Фавьера» см.: М. Макаров. «Русский холм» La Favière (1920–1960) – история русской колонии на юге Франции в воспоминаниях, дневниках и письмах. Paris, NumiLog, 2017. Город Борм своим названием обязан лигурскому племени *bormani*, заселившему этот

край еще в римскую эпоху. Старинная ферма, приобретенная Львом Оболенским сразу после окончания Второй мировой войны, числится в документах конца XVI века, хранящихся в муниципальном архиве Борма.

2. *Бетти Франк-Скорер*. Воспоминания о Фавьере (архив А. Л. Оболенского).

3. Аполлинурия Алексеевна Швецова, урожд. Лушникова (1877–1960), была дочерью забайкальского купца первогильдийца Алексея Михайловича Лушникова (1831–1901), ученика декабриста Н. Бестужева, знаменитого мецената.

4. Согласно постановлению ЦК ВКП(б) от 10 августа 1922 года, «философ-идеалист» С. Л. Франк, «противник реформы высшей школы», «правый кадет», способный «принять участие в церковной контрреволюции», выдворялся из страны. 29 сентября 1922 года он покинул Петроград на пароходе «Oberbürgermeister Haken».

5. Алексей Франк (1910–1969) окончил в 1928 году знаменитую балетную школу Эдуардовой в Берлине. С английской танцовщицей Бетти Скорер (Betty Rosemary Scorer, 1911–1982) они познакомились еще до австралийского турне, которое проходило в 1936–1937 гг. и во время которого, в Мельбурне, был зарегистрирован брак.

6. Письмо Клименту Лялину 17 января 1938 г. (*Аляев Г.Е., Оболевич Т.* «Истина во вселенскости»: переписка С. Л. Франка с о. Климентом Лялиным (1937–1948) / Вестник ПСТГУ. Серия I: Богословие. Философия. Религиоведение. 2021. Вып. 93. С. 113.

7. Переписка С. Л. Франка и Л. Бинсвангера (1934–1950) / Ред. колл.: К. М. Антонов (отв. ред.) и др. Комментар. Г. Е. Аляев, А. А. Гапоненков, Т. Н. Резвых и др. М.: Изд-во ПСТГУ, 2021. С. 308-309, 315.

8. Письмо к Н. Бердяеву 18 апреля 1938 г. / Bakhmeteff Archive of Russian and East European History and Culture, Rare Book & Manuscript Library, Columbia University, New York (далее – BA). Nikolai Aleksandrovich Berdiaev Letters. Series I: Correspondence. Box 1. Frank, Semen Liudvigovich.

9. Здесь написаны первая редакция «Света во тьме» и «С нами Бог».

10. Поэтому П. Б. Струве – видимо, экономя, – посылал им письма в одном конверте и просил, например, Франка в январе 1941-го: «Пожалуйста, прилагаемое письмо при первой же оказии передай кн. Вл. А. Оболенскому», – или Оболенского в апреле 1943-го: «Прилагаемое письмо прочтите и передайте Сем. Людв.» (BA. S. L. Frank Papers. Box 3. Struve, Petr Bergardovich).

11. См.: *Франк С. Л.* Воспоминания о П. Б. Струве / *Франк С. Л.* Непрочитанное... Статьи, письма, воспоминания. М.: Моск. школа полит. исследований, 2001. С. 432.

12. BA. S. L. Frank Papers. Box 8. Struve, Nina Aleksandrovna.

13. С. Л. Франк – Г. П. Струве. 22 апр. 1924 / Hoover Institution Archive (HIA). Gleb Struve papers. Box 28. Folder 10.

14. *Франк С.* Христианская совесть и реальная политика / BA. S. L. Frank Papers. Box 11. Эта статья была написана летом 1945 года.

15. С. Л. Франк – Вик. С. Франку. 5 июня 1945 / BA. S. L. Frank Papers. Box 4.

16. *Франк С.* Христианская совесть и реальная политика.

17. Переписка С. Л. Франка с В. Б. Ельяшевичем и Ф. О. Ельяшевич (1922–1950) / Публ. и коммент. Г. Аляева и Т. Резвых // Исследования по истории русской мысли [12]: Ежегодник за 2015 год / Под ред. М. А. Колерова. М., 2016. С. 183.

18. *Федотов Г. П.* Ответ Н. А. Бердяеву / Собр. соч.: в 12 т. Т. 9. М.: Мартис, 2004. С. 201.
19. Переписка С. Л. Франка и А. Эйнштейна / Публ. Т. Оболевич, А. Цыганкова, В. Хазана и В. Янцена // *Вопросы философии*. 2018. № 11. С. 138.
20. Переписка С. Л. Франка и Л. Бинсвангера (1934–1950). С. 750.
21. *Франк С. Л.* Свет во тьме. Опыт христианской этики и социальной философии. Париж: YMCA-Press, 1949. С. 14.
22. См.: *Франк С. Л.* Дух большевизма. Роковая дилемма европейского человечества / *Цыганков А. С., Оболевич Т.* Голландский эпизод в философской биографии С. Л. Франка (новые материалы). М.: ИФ РАН, 2020. С. 131-147. Статья была опубликована в Голландии в 1931 году.
23. Публикация статьи в английской прессе неизвестна, ее текст сохранился в архиве Франка. Вероятно, она была написана около 1947 года.
24. См.: *Франк С. Л.* Советский империализм / *Франк С. Л.* Непрочитанное... Статьи, письма, воспоминания. М.: Моск. школа полит. исследований, 2001. С. 321.
25. См.: *Франк С. Л.* Советский империализм. С. 325.
26. Там же. С. 325-326.
27. Франк С. Л. Письмо Г. П. Федотову / *Новый Журнал*. 2011. № 264.
28. Переписка С. Л. Франка с В. Б. Ельяшевичем и Ф. О. Ельяшевич (1922–1950). С. 127-128, 134. См.: *Кн. В. А. Оболенский.* Воспоминание о П. Б. Струве / *Вестник РСХД*. 1981. № 134. С. 103-113. Уточним – на основании этих воспоминаний: подругой детства Оболенского была будущая жена Струве Нина Герд, а с самим П. Б. он познакомился уже в университете.
29. Там же. С. 182.
30. С. Л. Франк – Н. С. Скорер. 8-9 февр. 1940 / ВА. S. L. Frank Papers. Вых 4.
31. Переписка С. Л. Франка с В. Б. Ельяшевичем и Ф. О. Ельяшевич (1922–1950). С. 205. См. письмо Оболенского от 11 июля 1946 года.

Письма В.А. Оболенского к С.Л. Франку (1938–1950)*

1. В. А. ОБОЛЕНСКИЙ – С. Л. ФРАНКУ. 12 ноября 1938

12/XI 1938

La Favière

Дорогой Семен Людвигович.

Рад был получить Вашу открытку¹. У нас всё еще лето. Розы в полном цвету, а кое-где зацвели груши. Вычистили цистерну и ждем дождя, который ее наполнил бы. А его всё нет. Со времени ливней конца сентября стоит засуха. Занимаюсь обрезкой виноградника – занятие, которое люблю, ибо в нем много творчества. Другое занятие тоже меня интересует: мне удалось настоять, чтобы мои дети написали свои мемуары о революции и гражданской войне, а я их обрабатываю. Потом думаю напечатать «Семейную хронику революционных годов». Т. к. моя семья – величина статистическая, то переживания ее представляют некоторую типичность.

Большой ресурс – радио. Постоянно можно слушать хорошую музыку и отвратительную информацию. Отвратительную не по форме, а по существу. Такого торжества неправды и несправедливости на нашей памяти не бывало. Всё вспоминаю страницу из Островского, рассказывавшую о басурманских краях: «И что не судят, то всё неправедно. Так и в прошениях пишут: суди меня, судья неправедный»².

Надеюсь, что Ваш Виктор благополучно пережил берлинские погромы³. «Благополучно», конечно, относительно, ибо быть бес сильным свидетелем насилий ужасно. От своей невестки из Праги⁴ стали получать письма со штемпелем – «sensugovano». С ними произошла большая неприятность: коммуна, к которой они принадлежали, отошла к Германии, и они механически стали германскими гражданами⁵. Хлопочут о восстановлении чешского гражданства, но в успехе не уверены.

А знаете, если мы с Вами проживем еще года 1½ – 2, то возможно, что вернемся в Россию, точнее говоря в отделенную от России Украину. Такого отвратительного возвращения нельзя было предвидеть. Впрочем, вассальный Гитлеру гетман может нас с Вами и не впустить. Меня как «кацапа», а Вас как «жида»⁶.

* Автографы (рукопись): Bakhmeteff Archive of Russian and East European History and Culture, Rare Book & Manuscript Library, Columbia University, New York. S. L. Frank Papers. Box 2. Obolenskii, Vladimir Andreevich.

Привет Т. С.⁷ и Наташе⁸.

Ваш Оболенский.

P.S. Анекдот про Алёшу: Бетси⁹ в письме просила его сняться с бородой и с двумя щенятами. Он сейчас же положил щенят в мешок и понес в Лаванду снимать. Всё было хорошо, но оказалось, что фотограф берет или за ½ дюжины 45 фр. или за дюжину – 50 фр. Решил заказать дюжину. И вот увековеченье бороды со щенятами обойдется ему в 2 рабочих дня.

1. Франк с женой в это время находились в имении его друга В. Б. Ельяшевича «Вишневы сад» в Бюсси-ан-От. Ранее, 19 августа, в Ля Фавьере у Франка случился серьезный сердечный приступ. 31 августа он писал Л. Бинсвангеру: «Врачи (старый русский, очень дельный интернист и очень дельный французский врач) требуют от меня в будущем высшей осторожности и постоянного медицинского контроля. По крайней мере временно я проживу с женой в поместье своего друга, в очень удобной усадьбе в 2 часах езды от Парижа. Надеюсь, что врач позволит мне, начиная где-то с 10 сентября, совершать поездки. С этого времени мой адрес будет: Bussy en Othe (Yonne) chez Mr. Eliachevitch» (Переписка С. Л. Франка и Л. Бинсвангера (1934–1950). С. 339–340). Фактически Франки уехали в Бюсси в конце сентября.

2. «И суд творят они, милая девушка, надо всеми людьми, и, что ни судят они, всё неправильно. И не могут они, милая, ни одного дела рассудить праведно, такой уж им предел положен. У нас закон праведный, а у них, милая, неправедный; что по нашему закону так выходит, а по-ихнему всё напротив. И все судьи у них, в ихних странах, тоже все неправедные; так им, милая девушка, и в просьбах пишу: ‘Суди меня, судья неправедный!’» (Н. Островский. «Гроза»).

3. Имеется в виду т. н. «Хрустальная ночь» (Reichskristallnacht) 9–10 ноября 1938 г. Сын Франка Виктор (1909–1972) уехал из Берлина в Англию последним из семьи в феврале 1939 года.

4. Екатерина Владимировна Эйлер (1903–2006) – первая жена Сергея Владимировича Оболенского (1901–1992) и мать его двоих сыновей – Льва (род. 1926) и Владимира (род. 1932).

5. В результате Мюнхенского соглашения 30 сентября 1938 г. к Германии отошла Судетская область Чехословакии, которую немецкие войска и заняли уже к 10 октября. В дальнейшем эта территория была преобразована в административную единицу Третьего Рейха – Reichsgau Sudetenland.

6. Эти предвидения были навязаны, очевидно, последствиями Мюнхенского сговора. Так, уже в начале октября чехословацкое правительство под давлением Германии признало автономию Словакии (с премьер-министром Й. Тисо) и Подкарпатской Руси, премьер-министром которой 26 октября стал Августин Волошин, начавший политику активной украинизации. Позднее, 15 марта 1939 г., была провозглашена независимая Карпатская Украина, однако она сразу же была занята войсками венгерского режима М. Хорти, поддержанного Гитлером.

7. Здесь и далее – Татьяна Сергеевна Франк, урожд. Барцева (1886–1984), жена Франка.

8. Дочь Наталья (1912–1999) приезжала в Бюсси навестить родителей.

9. Бетти Скорер.

2. 10 августа 1945

10/VIII 45

St. Pierre

Дорогие С. Л. и Т. С.

Жаль мне с Вами расставаться, тем более что эта разлука, принимая во внимание мой возраст, почти наверное навсегда. Хотелось бы перед такой разлукой Вас повидать еще разик. Успею ли съездить для этого в Гренобль? Черкните открытку о том, когда уезжаете. Надеюсь, что это письмо вас еще застанет, т. к. выехать не так-то легко¹. Живу, как и вы, конечно, под впечатлением жуткого изобретения, уничтожающего население Японии². Похоже на то, что скоро наступит если не конец существования нашей планеты, то конец цивилизации. Ибо надеяться на то, что такое разрушительное средство повлияет на прекращение войн, нельзя. А если будет еще одна война, то она уничтожит целые народы со всей их культурой. Можно даже представить себе, что отколются целые куски земли и будут носиться вокруг нее в виде ее спутников. Часто говорят, что наступило новое средневековье. Как было бы хорошо, если бы так было! К сожалению то, что происходит, более похоже на царство Антихриста, чем на средневековье. А всё-таки в этом царстве приходится жить своей жизнью и интересоваться не только мировыми событиями, но и своей личной судьбой и судьбой своих близких. Надеюсь, что, попав в Лондон, вы иногда будете мне писать и сообщать сведения о вашей семье³.

В моей семье есть кое-что новое. Мика⁴ пишет, что нога Оли всё еще не заживает, и швейцарцы решили везти ее в Швейцарию к своим специалистам. На этих днях ее туда перевезут. Думаю, что это хорошо. Швейцарские врачи лучше и добросовестнее. Получил письмо от внука Лёвушки⁵ из Праги. Пишет, что он благополучен. Живет с бабушкой, а его мать с мужем и младшими моими внуками находится под [Вильзеном (?)] в зоне американской оккупации. Он собирается приехать во Францию, к нам, что вполне возможно, ибо по паспорту он французский гражданин. Отец его⁶ всё еще в Тегеране. Вероятно, оттуда не так-то легко попасть в Европу.

Итак, жду открытки.

А пока либо до свидания, либо прощайте.

Ваш В. Обол.

1. Франк с женой жили в Гренобле с октября 1944 года. В конце июля 1945 г. они получили известие о долгожданных визах в Англию, где жили дети Виктор и Наталья, а также лечился Алексей. Уже 12 августа они уехали из Гренобля в Париж. Этот переезд описала в воспоминаниях Татьяна Сергеевна: «Путешествие было фантастическое. Мы взяли билеты 1-го клас-

- са, но очень скоро убедились, что это фикция и что существовали классы только в нашем воображении, а на самом деле садились, кто куда хотел. Ехали мы с полдня до утра другого дня. Как мне удалось уберечь его, не знаю. Ночью я уложила Семенушку на диван, сама вышла в коридор, где каждому желавшему войти в купе говорила хладнокровно, что там лежит тяжело больной и заразный, этим я дала возможность поспать и отдохнуть ему» (Воспоминания Татьяны Сергеевны Франк. С. Л. Франк. Саратовский текст / Сост. А. А. Гапоненков, Е. П. Никитина. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2006. С. 219). Ежедневники Франка за 1944 и 1945 годы (ВА. S. L. Frank Papers. Box 15) содержат отметки о несохранившихся письмах Оболенского и письмах Франка к нему в этот период, о личных встречах (16 ноября 1944: «Вчера был В. А. Оболенский проездом из Парижа, рассказывал интересные новости о церкви в России») и о других контактах между семьями (переписка с Натальей Кельберин; 2 июня 1944: «Алеша уехал к Лёве Оболенск[ому]»; 16 февраля 1945: «Были Оболенские Ирина и Мика»).
2. Атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки были сброшены 6 и 9 августа 1945 года.
 3. Франки переехали из Парижа в Лондон 15 сентября 1945 года.
 4. Людмила Владимировна Грудинская, урожд. Оболенская (1908–2002). Ее муж, Борис Григорьевич Грудинский (1900–1941), окончил юнкерское училище в конце Первой мировой войны, воевал подпоручиком в Вооруженных силах Юга России (1919–1920), вместе с войсками эвакуировался в Галлиполи и затем оказался в Париже. Содержал единственную в Фавьере бакалейную лавочку, покончил с собой в 1940-м, оставив жену с тремя детьми на руках: Елена (род. 1930), Ольга (род. 1937) и Ирина (род. 1940).
 5. Лев Сергеевич Оболенский.
 6. Сергей Владимирович Оболенский.

3. 14 августа 1945

14/VIII 45
St. Pierre

Итак, прощайте, друзья мои.

Мы с вами, как щепки разбитого корабля, случайно были занесены волнами во Францию и полежали рядом несколько лет. А теперь нахлынула новая волна и вас уносит. Завидую вам в двух отношениях. Во-первых, что вы будете жить в одной из лучших стран Европы, а во-вторых, что будете жить с внуками¹. В старости это большое утешение. К сожалению, со счастливых времен Фавьера мне никак не удастся его иметь. Впрочем, изобретение атомической бомбы сильно уменьшает радость дедов от созерцания внуков, которая до сих пор связывалась с надеждой, что они доживут до лучших времен. Когда-то у нас была вера в эти лучшие времена, потом всё-таки оставалась хоть надежда. А теперь и надежда теряется. Для того, чтобы одно из величайших научных открытий послужило на благо человечества, нужно, чтобы человеческая мораль прогрессировала

параллельно с прогрессом науки и цивилизации. А сейчас мы находимся в периоде, когда эти два процесса идут в обратном друг другу направлении. Повторяется история Адама, вкусившего плодов от древа познания добра и зла. Его потянуло ко злу, а не к добру. И результат будет тот же. Вместо земного рая, к которому стремятся люди, на развалинах уничтожившей самую себя цивилизации снова одичавший человек будет «в поте лица» поддерживать свое существование. Возможно, конечно, что будущая «атомическая» война не будет иметь уж столь радикальных последствий, но что такая война через некоторое время произойдет и что последствия ее будут ужасными – в этом у меня нет сомнений. И, несмотря на мою природную любовь и приверженность к жизни, я искренне рад тому, что не доживу до того времени. Но радости от продолжения своего рода, как прежде, уже не ощущаю.

Нет и непосредственной радости от конца этой войны. Уж очень отвратительны все ее последствия. Теперь уже совершенно очевидно, что никакого «справедливого» и «прочного» мира уже не будет. Да и не может быть, т. к. он в основах своих покоится на лжи и ипокритстве. Россия, признаваемая демократией и требующая от Японии свободы печати, слова и собраний!² Воображаю, как Сталин со своими друзьями хохочет над дурацким положением союзников. Не много в этих пределах сами союзники что понимают. Но в требовании от замيرенных народов установления у себя демократических режимов я, скорее, объясняю себе какой-то англо-саксонской наивностью³. Боюсь, что она присуща даже умному Черчиллю, думающему, что демократию можно «создать» и что если японцы, сербы, греки или даже французы будут бросать в урны избирательные бюллетени, как делают англичане, то из этого получится демократический режим.

Получил сведения о том, что русский комитет в Америке (С. В. Панина и А. Л. Толстая)⁴ хлопочет о разрешении на переселение русских, находящихся в разных негостеприимных странах Европы, в Америку и изыскивают для этого необходимые средства. Если бы я был на 20 лет моложе, пожалуй, соблазнился бы такой перспективой.

Ваш В. Об.

1. Имеются в виду дети Натальи от брака с Полем Скорером, погибшим в 1943 г. – Михаил (род. 1939) и Петр (1942–2020).

2. Объявляя 9 августа войну Японии, Советский Союз заявил о присоединении к Потсдамской декларации США, Великобритании и Китая, в которой, в частности, содержалось требование, чтобы в Японии были установлены свобода слова, религии и мышления, а также уважение к основным человеческим правам.

3. Так в оригинале.

4. Речь идет о «Толстовском фонде», основанном А. Л. Толстой в апреле 1939 г. в Нью-Йорке как Комитет помощи всем нуждающимся русским вне России

(Committee to Aid All Russians in Need Outside Russia), вскоре переименованном в Tolstoy Foundation for Russian Welfare and Culture, с отделениями в Европе.

4. 5 ноября 1945

Chez M-me Kelberine
11^{ter}, ru du Congrès. Nice
5/XI 45
Ницца

Дорогие Франки.

Всё ждал от вас известий, но, не получая их, решил воздействовать этим письмом. Рад за вас, что вы наконец имеете всё ваше семейство с вами. Я уже третью неделю живу в Ницце у Натали¹. Кроме радости объединиться с ней после 2½ лет разлуки, мне приятно опять попасть на юг, к которому привык. Только уж очень много слышу страшных рассказов о немецких зверствах, которыми полно учреждение, в котором Наталя служит. По счастью, это уже прошлое, но и в современной жизни утешительного мало.

Вчера в здешнее еврейское бюро явились три молодых, довольно интеллигентных еврея, из которых двое из Польши, а один из Украины. Им удалось бежать через все промежуточные страны и «зюнь» и через Италию попасть в Ниццу. Все трое потеряли родных и близких, убитых немцами. Сами они спаслись, участвуя в партизанских отрядах. Но теперь они говорят, что остаться в Польше и на Украине не могли, что там идет партизанская война уже не против немцев, а против русских и против местных правительств. Теперешние партизаны – польские националисты и украинские самостоятели. И те, и другие – кровавые антисемиты, сплошь уничтожающие евреев, уцелевших от немцев. В Польше, где партизанское движение сильнее, чем на Украине, полная анархия, но и на Украине красная армия еще не водворила порядка. Как видите, там дело обстоит серьезнее, чем это кажется по газетным известиям, с трудом проникающим на запад через советские преграды².

Кельберины живут дружно и неплохо в материальном положении, т. к. оба имеют пока приличные заработки. Конечно, прочности в этом благополучии нет, но заглядывать в будущее не приходится.

Вова с женой³ сейчас в Париже, где не слишком успешно стараются пристроить Вовины скульптуры. В начале ноября собираются переселиться в Фавьер. Там дела Левиного семейства неважны⁴. Земля из-за засухи им ничего не дала, и Лева всё время приходится работать на стороне. Заработки большие, и они могли бы жить на них сносно, но из-за увеличившегося семейства ему приходится много

времени употреблять на домашнее хозяйство, с которым Лиза не справляется, и отрываться от заработков.

Маленькую Олю перевезли в Цюрих, где лучшие хирурги стараются починить ее ногу. Сведения оттуда приходят ободряющие. Она живет в детском госпитале, где ей и хорошо, и весело. Как хорошо, что существуют еще такие страны, как Швейцария. Если бы не швейцарский Красный Крест, Оля бы давно погибла.

Вот вам все существенные сведения о моем семействе. О том, как погибли родители Лёли и его младший брат – ничего не удалось узнать. А о Павле получились сведения. До 44 года он благополучно жил в лагере, т. к. немцы дали ему место в канцелярии, где и работа легче, и питание немного лучше. Но затем его послали на тяжелые работы. Там он заболел тифом и умер за полгода до освобождения⁵. А Валя, шикарно жившая в Борме во время немцев, теперь сидит в Марсельской тюрьме. Лидия⁶, оправданная военным судом, была снова арестована в административном порядке. Недавно ее выпустили из лагеря и теперь ей стараются добыть визу в Америку. Я получил прилагаемый адрес. Насколько понимаю, она более относится к вам, чем ко мне, а потому при сем его прилагаю. Когда же Алеша наконец выйдет из госпиталя⁷? Мы с Натальей часто его вспоминаем. Что это была за нелепая жизнь среди милейших итальянских солдат!

Шлю привет всему вашему семейству

Ваш В. Об.

-
1. Наталья Владимировна Кельберина, урожд. Оболенская (1910–2004) – младшая дочь В. А. Оболенского. Ее муж Лазарь Израилевич Кельберин (1907–1975) и дочери Екатерина (род. 1946) и Елизавета (род. 1950).
 2. Через две недели Франк писал Ельяшевичу: «В Сов[етской] России происходят явно какие-то сдвиги. Недавно мне писал Оболенский из Ниццы, со слов бежавших туда из Польши и Украины евреев, что там идут жестокие бои с повстанцами (к[ото]рые, конечно, кровавые антисемиты)» (Переписка С. Л. Франка с В. Б. Ельяшевичем и Ф. О. Ельяшевич (1922–1950). С. 165).
 3. Всеволод Владимирович Оболенский (1903–1966) и его жена Надежда Владимировна, урожд. Левандовская (1903–1982).
 4. Лев Владимирович Оболенский (1905–1987) и его жена Елизавета Георгиевна, урожд. Акубжанова (1908–1993), их дети: Михаил (род. 1935), Иван (род. 1942) и Алексей (род. 1945).
 5. Имеются в виду родители Лазаря (Лёли) Кельберина и его младший брат Павел, погибшие в фашистских концлагерях (старший брат Лёва, профессиональный пианист, уже был в США). Лёля, в начале войны воевавший во французской армии, после перемирия сумел добраться до Фавьера, где одно время работал тапёром в танцевальной школе, которую открыла в Лаванду Бетти Франк, а потом спасся от ареста, перейдя через Альпы в Швейцарию.
 6. Личности «Валя» и «Лидия» не установлены.
 7. Алексей Франк присоединился к американской армии в августе 1944 г. в Гренобле, а в конце октября получил тяжелое ранение, лишившись одного глаза.

5. 21 ноября 1945

21/XI 45

Ницца

Дорогой Семен Людвигович.

Получил оба Ваших письма. Не понимаю, почему первое путешествие враз и вперед. Все другие письма на St. Pierre попадают к Ирине¹, и она мне их пересылает.

То, что случилось в семействе Алеши, конечно, было неизбежно. Алеша может быть увлекательным любовником, нежным отцом, но в мужья не годится. Мне давно казалось, что Бетти любит его не как мужа, а как блудного сына. Уверен, что эти чувства она к нему питает и теперь. Остается ей только пожелать счастья с новым мужем. Жаль Алешу, но ничего не поделаешь.

Возможно, что в нашем семействе произойдет обратная история. До меня дошли слухи, что у моей бывшей невестки испортились отношения с ее новым мужем. А мой сын Сергей всегда был готов ради сохранения семьи соединиться с ней, предоставив свободу ее темпераменту. Не знаю, насколько возможно осуществление такого плана в настоящее время по соображениям политического свойства (ведь политика теперь крепко въедается в личную жизнь людей), ибо второй ее муж, по-видимому, лишил ее возможности жить там, где сын мой может работать. Едва ли ему даже удастся повидать свою бывшую жену и младшего сына, когда он прилетит в Европу. Я его жду этой зимой или весной. Недавно получил подробное письмо от его старшего сына, а моего внука. Ему уже 19 лет и он, судя по письмам, очень хороший мальчик. Он боялся, что его не примут в высш[ее] уч[ебное] заведение как кончившего в Праге немецкую гимназию. Но благодаря участию в восстании против немцев его все-таки приняли.

На этих днях видел Вову, только что вернувшегося с женой из Парижа, куда возил свои произведения искусства. Он видел целый ряд художников и, в том числе, Бенуа, который ему сказал, что у него большой талант и вполне зрелый. Его скульптуру приняли на какую-то частную выставку, а прикладные вещи выставлены в большом магазине около Madeleine. Успех пока моральный, а будет ли материальный – неизвестно. Это же в духе семейства.

В материальном отношении хуже всего сейчас в Лёвином семействе. На этих днях я получил от него тревожное письмо. Лиза всё не может поправиться после родов. Вызванный из Тулона акушер сказал, что больна она серьезно и что ей придется не менее года быть на положении больной, т. е. много лежать и совсем не утомляться. И поэтому Лёве пришлось отказаться от заработков и всецело заняться домашним хозяйством и уходом за детьми. Так, продавая кое-какие вещи, они

смогут прожить 3–4 месяца, а дальше что?.. Обсудив с Вовой и Натальей положение, придумали паллиатив: Вова возьмет на себя Ваньку, а Наталья – Мишу. С одним ребенком, может быть, им как-нибудь удастся наладить жизнь. Ждем от них ответ на такое предложение.

Вот какие у нас сложные семейные дела.

Ляля² мне прислал письмо Глеба³ в редакцию «Советской Пенкоснимательницы» – это щедринское выражение⁴ очень подходит к «Рус[ским] Нов[остям]»⁵. Очень его одобряю. Недавно мне попался номер «Социалистического вестника»⁶. Там со многим можно не согласиться, но по крайней мере в нем есть содержание, а главное – собственное достоинство. А русская печать во Франции вызывает ощущение тошноты. Вижу в киосках «Р[усские] Н[овости]» и «Сов[етский] Патр[иот]» и уже не покупаю. Читаю преимущественно швейцарские газеты и «Monde». В Ницце очень заметно волнение жителей по поводу происходящего правительственного кризиса⁷. Газеты расхватываются, как только появляются. Еще не ясно, чем этот кризис завершится. Если даже образуется правительство из трех партий, оно едва ли долго удержится. Коммунисты будут в этом правительстве чем-то вроде троянского коня и очень скоро приведут к разложению власти. Впрочем, судьбы мира в мире меньше всего зависят от того, что происходит во Франции. Всё зависит от России. А о том, что происходит в России, мы, в сущности, ничего не знаем. Вы пишете, что англичане начинают понимать, что собой представляет советский строй. Это, конечно, утешительно, как вообще всякое знание правды. Но едва ли это знание приведет к практическим результатам. Вопрос в том, смогут ли ангlosаксы парализовать сталинский империализм и воздействовать на изменение внутренней жизни России, не рискуя мировым конфликтом, или вынуждены будут для предотвращения этого конфликта идти на дальнейшие уступки, которые лишь его отдалят. Только внутренние перемены в России могут спасти создавшееся положение.

Т. С., Алеше и всем привет.

Ваш В. Об.

1. Ирина Владимировка Зандрок, урожд. Оболенская (1898–1987), ее муж Юрий Евгеньевич Зандрок (род. 1900). В браке детей не было.

2. Алексей Петрович Струве (1899–1976) – сын П. Б. Струве, библиограф, жил в Париже.

3. Глеб Петрович Струве (1898–1975) – сын П. Б. Струве, литературовед, в этот период преподавал историю русской литературы в Лондонском университете.

4. «Старейшей Всероссийской Пенкоснимательницей» М. Е. Салтыков-Щедрин называл газету «Санкт-Петербургские Ведомости» («Дневник провинциала в Петербурге»).

5. «Русские Новости» – парижская еженедельная просоветская газета, созданная в 1945 г. (выходила до 1970 г.).

6. Журнал партии меньшевиков в эмиграции, издавался с 1921-го по 1965 гг. в Берлине, потом в Париже и, наконец, в Нью-Йорке.

7. В результате выборов в Учредительное собрание 21 сентября 1945 г. относительное большинство получили коммунисты, и их лидер Морис Торез стал вице-премьером во Временном правительстве генерала де Голля. Неустойчивость правительства и разногласия относительно проекта новой Конституции привели к отставке де Голля в январе 1946 года.

6. 22 февраля 1946

Chez M-me Kelberine
11^{ter}, ru du Congrès. Nice
22/II 46
Ницца

Дорогие Франки.

Почему вы меня забыли и не отвечаете на письма? Всё ли у вас благополучно? Уже месяца три ничего о вас не знаю. Я всё еще на юге, где дожидаясь прилета сына из Персии. Прожил месяц в Фавьере, месяц в Каннах у Вовы, а теперь снова вернулся в Ниццу. Фавьер производит удручающее впечатление своими развалинами. С трудом узнаешь знакомые места. Уцелели только верхние дома – Когбетлянцевский¹, Богдановский², дом казака³ и Метальниковская⁴ гнилушка, разрушающаяся естественным путем. А внизу стоит нетронутым лишь большой дом Швецовых, вымазанный в серо-зеленую краску урод. Его видно издалека, т. к. лес кругом вырублен. А перед домом на прежнем месте стоит остов Борисова автомобиля⁵... Лаванду уцелело, но имеет вид обшарпанный. Между Лаванду и С. Рафаэлем, где происходила высадка союзников, довольно много разрушений, но такого сплошного разгрома, как в русском Фавьере, нигде нет. Семьи моих детей живут по-прежнему без прочного устройства. Никто не бедствует в буквальном смысле слова, но все висят на ниточках, легко могущих оборваться. Сейчас хуже всего положение семьи Лёвы из-за хронической женской болезни Лизы, мешающей ей работать по-настоящему даже в домашнем хозяйстве. Поэтому Лёва, постоянно ее заменяющий, не может иметь настоящих заработков. Не знаю, как им удастся выйти из создавшегося положения. Последнее время Лизе стало лучше, но все-таки ей приходится беречь свои силы.

А вообще Франция продолжает находиться в полном политическом, экономическом и моральном разложении. А впереди ничего в волнах не видно. В частности, после некоторого улучшения продовольственного положения оно снова стало быстро ухудшаться. Так, в феврале, который уже на исходе, мы до сих пор не получили ни жировых веществ, ни макарон, ни картошки, ни кофия. Даже черный рынок начинает оскудевать. Наше семейство спасается дарами американских друзей, обильно нас снабжающих продовольственными посылками, да от сына из Персии получаем рис, чай и сушеные фрук-

ты. Остро чувствую стыд за свою родину, читая отчеты о заседаниях O.N.U., где хулиганствует Вышинский⁶, которому следовало бы сидеть не в O.N.U., а на скамье подсудимым нюренбергского процесса⁷. А теперь еще этот скандал в Канаде⁸! И замечательно, что до сих пор западноевропейские политики не представляют себе всю степень цинизма советской политики, абсолютно лишенной всякой, даже самой условной морали.

Недавно приехала сюда в отпуск Мика и увезла с собой Мишу, которого швейцарцы приняли в свой приют. Это несколько облегчит положение его родителей. Оля в Швейцарии. Ее подлечили в госпитале, а теперь она живет в деревне у родителей своего доктора, который за ней следит. Она ходит при помощи какого-то аппарата, но еще не ясно, насколько восстановится подвижность ее ноги.

Шлю привет всем Франкам и Скорерам, известным мне и неизвестным. А специально обнимаю Алешу. Напишите о состоянии его здоровья.

Ваш В.Об.

1. Ерванд Геворгович Когбетлянц (1888–1974), математик, в 1933 году уехал преподавать в Тегеран. Его дача, одна из самых больших, сдавалась, и в середине 1930-х Ольга Владимировна Оболенская содержала тут свой летний пансион.

2. Богданов Николай Николаевич (1875–1930), депутат II Государственной Думы. Полковник артиллерии, с 1917 г. в Добровольческой армии, участник I-го Кубанского похода. Министр внутренних дел Крымского правительства (1919), эмигрировал через Югославию и Прагу в Париж. Именно благодаря Н. Н. Богданову семья Оболенских оказалась в Фавьере. Его жена София Павловна, урожд. Коробьина (1881–1974), вместе с дочерью Софьей Николаевной (1904–1989) в 1947 году вернулись в СССР. Оставленное во Франции имущество они поручили Льву Оболенскому, снявшему их дом и в течение многих лет выславшему в Симферополь, где поселились Богдановы, деньги за аренду.

3. «На помощь всей нашей братии полковник Белокопытов привез с собой изпод Парижа знакомого казака П. Г. Мосолова, который и начал строить нам наши дачи, а впоследствии выстроил и себе большой заправский дом на земле проф. Метальникова. Прекрасный хозяин и строитель, энергичный, он часто смотрел насмешливо своими быстрыми серыми глазами на наше неумение устраиваться.» (*Л. С. Врангель*. Воспоминания и стародавние времена. Изд. Victor Kamkin Inc., Вашингтон, 1964. С. 143-144)

4. Сергей Иванович Метальников (1870–1946) – зоолог, иммунолог, микробиолог.

5. «Насмерть раздавлены наши домики. Кое-где лежат красные плитки пола, а там, где был паркетный пол, буйно растет трава. Всё зелено кругом, в саду цветы, милые ласковые глицинии весело смотрят на синее небо, обнимают наши развалины, цепляясь ветвями за груды камней и лежат на винограднике. И как немой укор всей нашей прошлой буржуазной жизни – роскошная белая ванна с зияющей раной. Из моего окна горизонт широкий, лес вырублен всюду, все оголено...» (из письма А. А. Швецовой от 16 мая 1948). Здесь «Борис» –

- Борис Иннокентьевич Швецов (1917–2014), младший внук А. А. Швецовой.
6. Андрей Януарьевич Вышинский (1883–1954) в январе 1946 г. в качестве первого заместителя наркома иностранных дел СССР возглавлял советскую делегацию на первой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
7. Нюрнбергский процесс над военными преступниками нацистской Германии открылся 20 ноября 1945 года.
8. Имеется в виду шпионский скандал. Немного позже, в мае 1946 года, в Канаде начался судебный процесс над шпионами в пользу Советского Союза, который продолжался до 1948 года.

7. 21 марта 1946

21/III 46
La Favière

Дорогой Семен Людвигович.

Рады были наконец получить Ваше письмо, хотя и нерадостного содержания: и здоровье Ваше оставляет желать лучшего, и Т. С. устает от хозяйственных забот, и, если отвлечься от личной жизни, то ни одной светлой точки кругом не видно.

А в моей жизни произошло радостное событие: провел пять дней со своим сыном Сергеем, прилетевшим из Тегерана. Приехал он в Париж, оттуда ко мне в Ниццу, и затем мы вместе навестили Вову в Каннах и провели 2 дня в Фавьере. Вчера проводил его в Лаванду и усадил в Мишлину¹. К сожалению, ему пришлось сократить свое пребывание во Франции. Он должен срочно ехать в Прагу и оттуда лететь со своим патроном в Тегеран. Надеется в конце лета получить более продолжительный отпуск в Европу, на который имеет право после пяти лет работы без отпуска. За 12 лет отсутствия он очень изменился. Изрядно полысел, слегка поседел, но, главное, сильно потолстел. В сущности, у него просто плотная фигура, нормальная для человека 44 лет, но рядом с отощавшими от плохого питания братьями и сестрами он казался нам толстяком. Много рассказывал интересного о персидской жизни и о политике русского и английского влияний, которая на месте ощущается как привычное явление, с продолжающейся преемственностью, продолжающейся уже около 100 лет. Разница лишь та, что прежде местное население не принимало в ней участия, а сейчас в безразличии пребывают лишь персы, а азербайджанские татары, курды, армяне, ассирийцы вовлечены в политику двух конкурирующих держав. При этом курды пока симпатизируют Англии, а другие народы – России. Персидское население, кроме небольшого слоя буржуазии и землевладельцев, абсолютно пассивно. Дороговизна в Персии невероятная. Всё значительно дороже, чем на французском черном рынке, но всё есть, и торговля идет бойко. Мой сын получает кроме жалования в чешских кронах, кото-

рые получали в Праге члены его семьи, всё возрастающую прибавку на дороговизну. На французские деньги эта прибавка достигает 40,000 фр. в месяц. На эту сумму он живет, конечно, сносно, но весьма скромно. Пролетая через Бейрут, он констатировал, что там жизнь еще дороже, чем в Персии. И эта дороговизна не только относительная. За время войны она и в местной валюте чрезвычайно возросла.

В середине апреля я рассчитываю быть в Париже, а в мае снова забраться в St. Pierre. Но если буду жив, надеюсь зиму снова провести на Ривьере. Если будете мне писать, пишите до 10 апреля в Ниццу, с 10 апреля по май в Париж, по адресу Ляли², а затем в St. Pierre.

Получил от Мельгунова первый номер его «Свободный Голос»³. Должен сказать, что он меня порадовал лишь тем, что он свободный. Но содержание и тон слишком напоминают Бурцевское «Общее Дело»⁴. Я считаю, что русский заграничный орган должен приноравливаться не к настроениям вымиравшей старой эмиграции, а к советским людям, во множестве находящимся за границей (новые эмигранты, военные, участники разных делегаций и пр.). А для них восклицательные знаки не нужны, а нужна критика внешней и внутренней политики России с указанием совершенно конкретных необходимых изменений. В этом смысле я написал Мельгунову, но думаю, что он не примет в соображение моих замечаний. Я считаю его человеком самоуверенным и весьма ограниченным. А статьи Федотова в «Новом журнале» очень глубокие и интересные⁵. Вообще, русские журналы в Америке оказались на высоте. Даже «Соц[иалистический] Вестник», несмотря на свое с[оциал-]д[емократическое] направление сумел освободиться от марксистского трафарета. Увы, везде пишущая братия – старики, которые вымирают, не оставляя духовных наследников.

Условия жизни во Франции продолжают ухудшаться. Мясо мы получаем не чаще, чем один раз в месяц. Картошки давно не видим. Прочих овощей мало. Говорят, что они блокированы для Парижа. Морковь в Лаванду нельзя купить даже на черном рынке, и мой младший внук уже около месяца лишен полагающегося ему морковного сока. А политики занимаются провозглашением прав человека и гражданина, которые сами на каждом шагу нарушают. Что касается французской бюрократии, то вот вам анекдот из моей практики. В конце декабря я сдал в мэрию свою *carte d'identité* для обмена, заполнила бланки с ненужными вопросами. Через месяц префектура затребовала дополнительные сведения о датах и местах рождения моих родителей. Моему отцу теперь было бы 130 лет, а умер он, когда мне было 6 лет⁶. Знать дату и место его рождения я не могу. Пришлось все-таки их изобрести и ответить. Вчера, зайдя в мэрию, я узнал, что дело еще задержалось. Префектура вернула всё делопроизводство и требует представления медицинского свидетельства. Зачем, спрашивается? Ведь если я был бы болен, едва ли меня выслали бы из

Франции, в которой я прожил 25 лет. Очевидно, мед. свидетельство предполагалось требовать от новых иммигрантов. Но бюрократическая машина работает автоматически и в таких тонкостях не разбирается. Теперь мое дело остановилось, т. к. для медицинского свидетельства требуются особые бланки, которые мэрия еще не получила. Словом, всё по-старому. Была Третья республика, Петэн, Де Голль, рождается 4-я республика, а все остается по-старому и по-скверному. «Так было, так будет»⁷. Теперь, при национализации, бюрократический режим распространяется и на экономическую жизнь страны. Печальные результаты несомненны. В сущности, национализация во Франции производится в скромных размерах. В дореволюционной России существовали государственный, дворянский и крестьянский банки и земские кассы мелкого кредита. Электричество постепенно муниципализировалось, существовало земское страхование, успешно конкурировавшее с частными обществами, жел[езные] дороги в большинстве были казенными. Вероятно, в скором времени во всех этих областях хозяйства исчезли бы частные предприятия. Франция только теперь до этого доходит. Но увы, что русскому, немцу или англичанину – здорово, то французу – смерть.

Привет Вашим.

Ваш В.Об.

1. От фр. *Micheline* – дизельный автобус, передвигающийся по железнодорожным путям.

2. Алексей Струве.

3. Сергей Петрович Мельгунов (1879–1956) – историк и политический деятель, жил в Париже. С 1946 г. издавал сборники «Свободный голос», направленные против просоветских настроений в эмиграции. См. о нем: *Елена Кулен*. Миссия честного историка. «Новый Журнал». № 306-307, 2022.

4. Имеется в виду публицист Владимир Львович Бурцев (1862–1942), издавал газету «Общее дело» в 1917 г. в Петербурге, а затем, в 20-е –30-е годы, в Париже, в которой проклинал большевиков.

5. Георгий Петрович Федотов (1886–1951) – историк, философ, публицист.

6 марта 1946 г. Франк писал В. Б. Ельяшевичу: «Читаешь ли ты ‘Новый Журнал’? В нем ряд превосходных, прямо классических статей Федотова – ‘Рождение свободы’, ‘Россия и свобода’, ‘Европа и СССР’. Он созрел до первоклассного политического мыслителя» (Переписка С. Л. Франка с В.Б. Ельяшевичем и Ф. О. Ельяшевич (1922–1950). С. 183). Статьи Федотова вышли соответственно в VIII, X и XI («Запад и СССР») книгах «Нового Журнала» в 1944–1945 годах.

6. Андрей Васильевич Оболенский (1824–1875). «Своего отца, князя Андрея Васильевича Оболенского (1825–1875), я плохо помню. Умер он, когда мне было 6 лет... Окончив училище Правоведения, он поступил, как и все, на государственную службу... Отец мой был горячим сторонником освобождения крестьян и принимал близкое участие в освободительной реформе... По общим отзывам, он был прекрасным и очень добрым человеком, чрезвычайно религиозным, воспитанным в строго православном духе. Но был у него один корен-

ной недостаток: страсть к азартной карточной игре... [Отец] проиграл большую часть своего немалого состояния. Поэтому я уже воспитывался в семье небогатой, считавшейся даже 'бедной' среди богатых родственников» (В.А. Оболенский. Моя жизнь. Мои современники. Париж, YMCA Press, 1988. С. 17-18).

7. Слова министра внутренних дел и шефа жандармов Александра Александровича Макарова из выступления в Государственной Думе 11 апреля 1912 г. по поводу расстрела рабочих на Ленских золотых приисках («Ленский расстрел») – «Так было и так будет впредь» – получили широкий резонанс в российской прессе.

8. 21 июня 1946

21/VI 46

St. Pierre

Дорогой Семен Людвигович.

Проведя месяц в Париже и две недели на Луаре, вот я снова у Зандроков. Проведя несколько часов в Гренобле, проходил мимо Вашего бывшего жилища и вспоминал о Вас¹. В Париже неожиданно для себя встретился с Алешей. Очень рад был его повидать и провести с ним вечер. Откормили его американцы хорошо. А лицо, несмотря на черную повязку, сохраняет прежнюю красоту и привлекательность. Очевидно, недоразумения, возникшие у него в Гамбурге, закончились благополучно, и он улетел в Америку². Скоро ли вернется к Вам? Он, конечно, успел мне рассказать о своем новом романе. Одобряете ли Вы и Т. С. его выбор?

Здесь льют дожди, и пчеловодство Зандроков, которое они увеличили вдвое, находится под угрозой. Обидно, если столько лет трудов и лишений пропадет даром. В этом году они как раз рассчитывали достичь элементарного материального благополучия.

Мой сын Сергей снова пролетал через Францию из Чехии, и мне удалось опять повидать его в Париже на пролете. Это единственный из моих детей, выбившийся «в люди». И удивительно, что он как раз самый непрактичный из всех. В Праге он заново познакомился со своим сыном, которого покинул мальчиком 12 лет, а теперь ему 20-ый. Говорит, что юноша хороший и очень способный, но все-таки с психологией, сильно отличной от психологии родителей, а тем более – от прародителей. Оно и понятно. Если бы нас такими, как мы были в юности, поставили в условия нынешней жизни, мы, конечно, погибли бы. А младший его сын с матерью в Германии и, по-видимому, немецкий гражданин. Итак, из моих 8 внуков 6 французов, 1 чех и 1 немец. Совсем как в комедии Козьмы Пруtkова, где некий Иван Семенович говорит г-же Разорваки: «Скажу более, у вас есть внук и при том турецкого происхождения»³. Ваши внуки, все-таки, хотя и не русские, но все одной национальности.

А жить становится всё тошнее и тошнее. Помните, у Островского странница рассказывает о бусурманских странах: «А судьи там судят все несправедно. Так и в прошениях пишут: суди меня, судья несправедный»? Вот так теперь во всем мире. Только еще похуже, ибо все делают вид, что судьи праведные. И выхода никакого не видно. Предстоит еще длительный период «глады, труса, нашествия иноплеменных и междоусобных браней»⁴. Одно только мне кажется несомненным: современный «коммунизм», весьма отличающийся от теоретического, несмотря на видимые успехи, вступает в полосу кризиса. Ибо, сохраняя еще остатки интернациональной организации, коммунисты окрашены в национальные цвета. А это ведет к столкновениям между коммунистами разных национальностей. Пока возникло только два очага конфликтов – Италия и Рур. Но должны появиться и новые очаги. Характерно, что на выборах во Франции⁵ появилась еще незначительная партия Троцкистов, т. е. подлинных коммунистов. Собрали они мало голосов, но на вторых выборах всё же в 10 раз больше, чем на первых⁶. Возможно, что на следующих проведут хотя бы одного депутата. Желаю им успеха.

Ощущается ли в Англии возврат к нормальной жизни и надежда на лучшее будущее? Здесь нет ни того, ни другого. Сползаем всё ниже и ниже. Куда? – Никто этого не понимает.

На этих днях собираюсь съездить к Мике. Оля к ней вернулась. Ходит в специальном аппарате, который она, во избежание рецидива болезни, должна носить еще несколько лет. Плохо то, что аппарат, в связи с ростом ноги, придется постоянно отдавать в ремонт. А как это делать во Франции?! Между тем через ½ года швейцарские приюты во Франции закрываются.

Дела Лёвиного семейства плохи, т. е. Лиза всё еще больна. Сейчас она лечится в курорте на средства своего брата. Надеется излечиться. А как здоровье Ваше и Т. С.? Шлю ей свой привет.

Ваш В. Об.

1. С. Л. Франк с женой жили в Гренобле в 1944–1945 гг. по адресу: 1, rue Moidieu.

2. См. следующее письмо.

3. *Козьма Прутков*. «Опрометчивый турка, или приятно ли быть внуком?»

4. Прошение употребляется в нескольких молитвах, напр. в молитве к св. Апостолу Иоанну Богослову и в молитве к Божией Матери перед Ее иконой «Владимирская»: «...моли Сына Твоего, Христа Бога нашего, о еже избавитися нам от всякаго зла и сохранитися всякаму граду и всей стране нашей от глады, губительства, труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменных и междоусобных брани».

5. Парламентские выборы во Франции состоялись 2 июня 1946 года.

6. Речь идет о Международной Коммунистической партии (Parti Communiste Internationaliste) – французской секции Четвертого Интернационала, образо-

ванной в 1944 г. в результате слияния нескольких ранее существовавших троцкистских групп. На июньских выборах партия выставляла своих кандидатов в 11 регионах страны и набрала от 2 до 5% голосов.

9. 11 июля 1946

II/VII 46

St. Pierre

Дорогой Семен Людвигович.

Очевидно, у Алеши на роду написано переживать необыкновенные приключения. Сколько их было в его жизни! Хорошо еще, что он как-то сравнительно благополучно из них выплывает. Но что это за американская чепуха! Зачем понадобился сложный обман с прогулкой по Франции и Германии? Отчего ему в Англии не заявили, что, несмотря на обещание Эйзенгауера, ему отказывают в пенсии? Пока он, очевидно, сидит еще в Германии¹. Иначе мне Ляля написал бы о том, что он появился в Париже.

Мы живем под впечатлением оказанной нам «монаршей милости»². То, что она оказана только эмигрантам Франции, Болгарии и Югославии, а не всем, логически приводит к предположению, что произошло предварительное соглашение с правительствами этих стран. Тут зарыты какие-то неприятные нам собаки. Возможно, что нам предложат три выхода: сов[етское] гражданство, франц[узское] гражданство или «refoulement à la frontière»³. Но это в будущем. Но все-таки вопрос поставлен и нужно его решать. Думаю, что если бы тот же вопрос встал перед эмигрантами в Англии, едва ли много нашлось охотников обменивать свое право быть денационализированным «субъектом» на положение русского «объекта». Но во Франции «не удивлен что будет», и право оставаться «субъектом» недостаточно гарантировано. И все-таки, несмотря на подхалимные восторги русских газет, большинство эмигрантов, по-видимому, не воспользуется «монаршей милостью». В моем семействе, впрочем, Андрей с женой⁴ уже решили принимать сов. подданство. Думаю, что они единственные, хотя от других не получил еще ответов на мой вопрос по этому поводу. Наиболее сложное положение моей монахини⁵. Во-первых, она непосредственно связана с Патриаршей Церковью и, во-вторых, уж очень нелепо оставаться монахиней во Франции, лишившись последней надежды вернуться на родину. Ляля пишет, что сестра Иоанна⁶ решила получать сов[етский] паспорт.

Из Праги получены сведения о новых арестах русских эмигрантов. В числе их арестован мой друг Бобровский⁷. Меня мучает мысль, что моя переписка с ним могла ему навредить. Я вначале писал ему с большой осторожностью, но после двукратных его

настоящий стал писать откровенно, думая, что он лучше меня разбирается в чехословацкой политической атмосфере. А оказалось, что он жестоко ошибался. Как отвратительно всё, что происходит в мире! Судя по тому, что происходит на парижской конференции⁸, будущий мир, если он в конце концов будет заключен, будет несравненно хуже версальского. Тогда все-таки считались с какими-то принципами и старались принимать справедливые решения, хотя и подчиняя их часто интересам и аппетитам великих держав. А теперь кромсают Европу, считаясь только с этими аппетитами. Конечно, всё было бы иначе, если бы не цинизм требований Сов. России, подкрепленных миллионами штыков. Для меня непонятна уступчивость англосаксов. Неужели они не понимают, что лучше не заключать общего мирного договора, чем заключить такой, который неизбежно приведет к новой войне и в условиях, для них наименее выгодных?

Я составляю теперь очерк нашей жизни во Франции во время войны на основании своих дневников. Первые две главы, до итальянского периода, отправил в Америку. Не знаю, напечатают ли. Итальянский период написал. Пишу период «монастырский».

Постараюсь послушать Ваш голос⁹. Но будет ли он говорить на понятном мне языке?

Привет Т. С. и всему семейству.
Ваш В. Об.

P.S. Только что получил известие, что Маклаков выяснял у французских властей вопрос о дальнейшем положении русской эмиграции во Франции. Ему заявили, что сталинский указ был полной неожиданностью для французского правительства и что в положении русской эмиграции всё останется по-старому.

1. Когда Алексей Франк присоединился к американской армии, его статус не был оформлен, а при ранении были утрачены его документы. Весной 1945 г. его жена Бетти писала Дуайту Эйзенхауэру и через адъютанта получила ответ, что будет сделано всё возможное в смысле лечения и его будущего. Он лечился в госпиталях сначала во Франции, потом в Англии, однако вопрос с компенсацией за полученное увечье не решался, более того – его подозревали как немецкого шпиона. Описывая эту историю юристу А. А. Гольденвейзеру, Татьяна Сергеевна писала в апреле 1947 г.: «В мае прошлого года его экстренно увезли в Франкфурт якобы для отправки в Америку для лечения, а там ему в очень грубой форме заявили, что ему никто ничего не должен и он может отправляться к себе на родину. С помощью больших связей (Кульман) нам удалось вернуть его обратно. Мы писали дважды Рузвельт (Элеоноре. – Г.А., М.М.), от нее лично ответа не имели, но она переслала ответ Эйзенхауэру на ее письмо по поводу Алеши. Его ответ у нас среди бумаг. Он пишет, что законом такие случаи не предвидены, какую-то моральную ответственность они чувствуют, уплатить пенсию должна была Армия, а у ней не оказалось денег» (Т. С. Франк – А. А. Гольденвейзеру. 5 апр. 1947 / В.А. Alexis Goldenweiser Papers, 1900–1974. Series I: Cataloged Material. Box 1. Frank,

Tat'iana Sergeevna). В дальнейшем еще более десяти лет Татьяна Сергеевна предпринимала попытки добиться справедливой пенсии для сына, направляя письма Э. Рузвельту, президенту Г. Трумэну, сенаторам Франклину Д. Рузвельту (младшему) и Джеймсу Рузвельту, однако всё оказалось безрезультатно.

2. Имеется в виду серия Указов Президиума Верховного Совета СССР от 14 июня 1946 г. «О восстановлении в гражданстве СССР подданных бывшей Российской Империи, а также лиц, утративших советское гражданство...» в отношении лиц, проживающих на территории Франции, Болгарии, Югославии.

3. Здесь: «насильственное (административное) выдворение из страны», дословно «за границу» (*фр.*)

4. Андрей Владимирович Оболенский (1900–1975) и Анаида Кастаняна (1903–1976).

5. Александра Владимировна Оболенская (1897–1974), в постриге м. Бландина.

6. Монахиня Иоанна (Юлия Николаевна Рейтлингер, 1898–1988), иконописец. В 1955 г. вернулась в СССР.

7. Петр Семенович Бобровский (1880–1947) – земский деятель, в 1920 г. эмигрировал из Крыма в Турцию, жил в Сербии, Германии, Франции, Чехословакии. В 1946 г. арестован советскими спецслужбами, умер в Бутырской тюрьме.

8. Парижская мирная конференция между странами-победителями (Великобритания, Франция, СССР и США), с одной стороны, и Италией, Румынией, Венгрией, Болгарией и Финляндией, с другой, проходила с 29 июля по 15 октября 1946 и завершилась подписанием Парижских мирных договоров (Traité de Paris от 10 февраля 1947). Ее официальному открытию предшествовали две предварительные сессии коалиционного Совета министров иностранных дел, которые проходили в Париже в апреле – июне и на которых предметом разногласий были вопросы о границах Италии и ее колониях, о репарациях и др.

9. Франк провел цикл из четырех бесед на радио Би-би-си на немецком языке в июне – июле 1946 г. под общей темой «Россия и Европа».

10. 6 сентября 1946

*Chez M-me Kelberine
11^{ter}, ru du Congrès. Nice
6/IX 46
Ницца*

Дорогой Семен Людвигович.

Получил Ваше письмо в St. Pierre, а отвечаю из Ниццы, куда приехал на автокаре третьего дня. То, что Наталя так давно не писала Т. С. и Алеше, объясняется тем, что интересы ее отвлечены от иностранных дел делами внутренними. Ибо в конце декабря ожидает прибавления семейства. Если всё пойдет благополучно, буду очень за нее рад. Они давно мечтали иметь ребенка.

Что-то Вы себя совсем в старики записали! Не смущайтесь, что у Вас болят глаза. На десяток лет их все-таки хватит даже при Вашем нормальном образе жизни¹. У меня тоже болят глаза. Капаю в них

какие-то капли, которые совсем не помогают, в солнечные дни ношу синие очки, но образа жизни не меняю в уверенности, что умру раньше, чем ослепну. Прошу у Т. С. извинения за такое вольнодумство.

А вот мои кишки переживают вторую молодость благодаря пилюлям «Alophen»², которые получил из Америки, и черносливу из Персии. Это один из немногих благих результатов технического прогресса, облегчающего сношения с далекими странами.

Вообще же дела мира и мира плохи. Всё больше и больше выясняется, что Черчилль и Рузвельт, при всем их уме, проявили невероятную наивность в Тегеране, Ялте и Москве, предоставив Сталину занять всю восточную Европу³. Этим, вместо мира, положили основание будущей войны. Можно гадать относительно сроков, но никакого сомнения уже нет, что война будет. Предотвратить ее может лишь изменение режима в России, что весьма маловероятно. Если бы мы с Вами до нее дожили, то оказались бы в рядах «пораженцев»⁴. Как условны все-таки понятия! Год тому назад Адя Струве⁵ дал мне прочесть написанную им заметку о разговорах с ним П. Б. и назвал своего отца «националистом». Я на него напал, доказывая, что после того, что мир пережил во время войны, этот термин даже звучит как-то оскорбительно по отношению к памяти П. Б., хотя лет 20 тому назад его и можно было бы в некотором условном смысле так назвать. Ходом истории мы все (т. е. люди христианской морали) становимся «интернационалистами», а русские националисты сливаются с советскими «патриотами», в каковых превратились бывшие интернационалисты. Жизнь так быстро меняется, что язык за нею не поспевает. Старые, привычные нам слова перестают соответствовать понятиям, с ними связанным. Между тем это разобщение слов с понятиями оказывает огромное влияние на психологию народов, ибо старые, привычные слова продолжают вызывать прежние эмоции по отношению к явлениям, ничего общего с этими понятиями не имеющим. Меня сейчас интересует происходящий не только в России, но и на западе процесс эволюции коммунизма в фашизм, который для меня совершенно очевиден. Объясняю себе его отчасти общностью применяемого принципа – «цель оправдывает средства», который, в конце концов, ведет к смешению целей и средств. Уже сейчас трудно эту грань провести в иностранной политике России: является ли интернациональный коммунизм целью, а русский военный империализм средством, или наоборот. Сейчас Россия в этом отношении как будто на распутье, но т. к. можно считать доказанным, что национальные эмоции у всех народов пока сильнее интернациональных, то дальнейшая эволюция в сторону фашизма как будто уже наметилась. А началась она давно, еще до войны, когда Сталин, вопреки Марксу и Ленину, объявил «социализм в одной стране»⁶. С этого момента начался «советский патриотизм», и история С.С.С.Р. связалась с исто-

рией России. А законная генеалогия – Маркс–Ленин–Сталин – подменилась незаконной: Иван Грозный – Петр Великий – Сталин.

Здесь, в Антибе, сейчас находится приехавший из Америки Алданов⁷. Непременно хочу с ним повидаться. Я не слишком большой поклонник его таланта, но человек он умный и разговаривать с ним интересно.

Привет Т.С. и всему семейству.

Ваш В. Об.

1. 25 августа 1946 г. Франк писал Бинсвангеру: «Из-за моего глаза (о чем я писал Вам в прошлый раз) я по настоянию моих близких совершенно против своей воли пошел к окулисту на местный рынок врачебных услуг, Harley Street. Он не нашел ничего особенного, прописал мне новые очки и посоветовал давать отдых глазам после получасового чтения. Мне самому кажется, что сейчас мир так безутешен и многие личные заботы настолько невыносимы, что сделаться слепым (и глухим) было бы спасением. В любом случае хорошо, что теперь я буду меньше читать и поэтому больше думать» (Переписка С. Л. Франка и Л. Бинсвангера (1934–1950), С. 822).

2. Слабительное средство.

3. Имеются в виду конференции «большой тройки» – И. В. Сталина, Ф. Рузвельта и У. Черчилля – в Тегеране (ноябрь – декабрь 1943 г.), в Ялте (февраль 1945 г.) и Потсдаме (июль – август 1945 г.). «Москву» Оболенский, возможно, упомянул ошибочно, но возможно – это лишь подчеркивание, что третья конференция проходила в советской зоне оккупации. На Ялтинской и Потсдамской конференции принимались решения о разделе сфер влияния в Восточной Европе.

4. Политику поражения своего правительства в империалистической войне проводили большевики во время Первой мировой войны. В 1930-40-е годы русская эмиграция также разделилась на «пораженцев», желавших поражения Советской России в возможной войне с европейскими державами, а потом и в реальной войне с гитлеровской Германией, и «оборонцев», выступавших за защиту родины, независимо от политических разногласий с властью.

5. Аркадий Петрович Струве (1905–1951), младший сын П. Б. Струве.

6. Цель построения социализма в отдельно взятой стране была принята на XIV съезде ВКП(б) в 1925 году.

7. Марк Александрович Алданов (Ландау, 1886–1957) – писатель, один из основателей «Нового Журнала».

11. 18 сентября 1946

18/IX 46

Ницца

Дорогой Семен Людвигович.

Получили ли Вы последний номер «За Свободу»?¹ Эсеровские статьи в нем довольно бледные, но блестящая, как всегда, статья Федотова – «Ответ Бердяеву»! В ней, между прочим, уделено место и теме нашей с вами переписки об эволюции коммунизма в фашизм².

Хочу ответить Вам на последнее Ваше письмо и не столько Вам возразить, сколько уточнить свое понимание движущих пружин современной политики Сталина. Дух земли в Фаусте говорит о человеке: «Du gleichst dem Geist, den du begreifst»³. Дух земли был детерминистом. Но если этот афоризм неверен в применении к разным областям человеческого духа и человеческой мысли, то в области политики он правилен на 99%. В особенности в политике, базирующейся на принципе «цель оправдывает средства» и на беспредельном оппортунизме, при которой так легко цели и средства меняются местами. Для старых марксистов средством для «скачка из царства необходимости в царство свободы»⁴ была диктатура пролетариата. Ленин заменил ее диктатурой партии, а Сталин – своей личной диктатурой. С того момента она перестала быть средством, а стала самоцелью, т. е. неперменным условием дальнейшей эволюции. И тут начинается господство детерминизма. Вы правы, утверждая, что политика России сейчас тесно связана с законами эволюции всякой личной диктатуры и что Сталин «wird geschoben»⁵ своим положением диктатора, как Цезарь, Наполеон или Гитлер, в сторону международной агрессии. Но эта агрессия должна опираться на идейные и психологические основания. И вот тут, кроме линии фатальной эволюции диктатуры, появляются две линии обоснования ее эволюции – линия коммунистическая и фашистская. Первая была прежде целью, но последнее время сделалась средством для торжества диктатуры. Вторая была средством, готовым превратиться в цель. Сталин старается сохранить равновесие между этими линиями – интернациональной и националистической, принципиально друг друга исключаящими. Вот и сейчас, почуяв, что вторая стала одолевать первую, он усилил пресс коммунистической партии. Но думаю, что долго на этом тут ему не продержаться, ибо для поддержания духа агрессии необходима культура национализма, фактора эмоционально более сильного, чем абстрактный интернационализм. Это прорастание коммунизма национализмом в более слабой степени наблюдается и в западноевропейских коммунистических партиях. Процесс этот опасен постольку, поскольку в нем заключается фермент будущих международных конфликтов, но я не лишаю себя надежды на то, что вызванное им разложение коммунизма произойдет раньше, чем начнется атомная война. Надежда, сознаюсь, слабая, но единственная. Во Франции сейчас усиливается Троцкизм, т. е. коммунизм, освобожденный от внедрившегося в него фашизма. Целый ряд последних забастовок шли под руководством троцкистов. Не удивлюсь, если при будущих выборах 1-2 троцкиста попадут депутатами. Желаю им всяческого успеха.

Многое хотелось бы еще написать о том, что думаю, но в письме всего не скажешь.

У нас летняя жара. Берег моря усеян коричневыми телами.

Страшно самому хочется нырнуть в волну, но боюсь, что такое занятие неподходяще для 80-тилетних стариков.

Привет Вашим.
Ваш В. Об.

-
1. Издание Нью-Йоркской группы партии социалистов-революционеров, выходило в 1941–1948 годах.
 2. Федотов Г. П. Ответ Н. А. Бердяеву / «За Свободу». 1946. № 17. С. 57-69. Федотов резко критиковал просоветские настроения Бердяева. Он также писал о фашистском перерождении советского режима начиная с 30-х годов и о фашизме как одной из форм социальной революции.
 3. «...С тобою схож / Лишь дух, который сам ты познаёшь» (*Гёте И. В. Фауст* / Пер. Б. Л. Пастернака / Собр. соч. в 10 т. Т. 2. С. 25).
 4. Выражение Ф. Энгельса из книги «Анти-Дюринг» (1878).
 5. Подталкивается (*нем.*)

12. 30 декабря 1946

30/XII 46
La Favière

С Новым Годом, дорогие Франки.

Очередное письмо за вами, а не за мной, но решил не считаться визитами не столько ради нового года, сколько из потребности уведомить Вас о нашем семейном событии: 25 декабря у меня родилась внучка Катя. Пока я получил только одно письмо от Лёли¹, т. ч. не знаю, как здоровье Натали. Во всяком случае сами роды прошли благополучно и необыкновенно быстро для первородящей женщины 36 лет. Они приехали в клинику в 11 ч. утра, а в 1½ дня роды уже закончились. На этих днях собираюсь съездить познакомиться с новой внучкой.

Других событий в нашей семейной жизни нет, кроме одного постоянного и совершенно чудесного и необъяснимого: несмотря на скудость наших средств и невероятно растущую дороговизну жизни, все мы не только живы, но и сыты.

Кажется, писал вам, что Андрей с женой взяли советские паспорта. Ася долго колебалась, но в конце концов осталась эмигранткой и организует с несколькими «матерями» общежитие для выздоравливающих детей в имени Ильешевиича². Остальные мои дети были достаточно умны и с самого начала без колебаний предпочли продолжить эмигрантское житье.

Завтра будем крестить моего внука Алешу³. Выписали тулонского баюшку, который не у дел, т. к. прихожане под водительством Гали б. Швецово⁴, нацепившей себе на грудь серп и молот и занимающейся коммунистической агитацией, выгнали его за неподчинение Московской церкви. В результате Тулон остался без священника.

Часто прохожу мимо развалин нашего русского Фавьера. Хотя и не очень весело нам там жилось, но теперь это прошлое вспоминаешь с признательностью, как счастливые времена.

В этом году я чувствую, что стал заметно стареть. Оно и пора в 77 лет. Рад, что голова еще совсем свежа, и даже память мало мне изменяет. Но подвижность постепенно утрачиваю и гораздо легче устаю. А как вы себя чувствуете оба? Ясно, что с вами обоими мне уже не суждено свидеться. Но я надеюсь, что как-нибудь Алеша приедет в Фавьер для ликвидации своих развалин. Я отдал Алданову, которого видел в Ницце, свое описание нашей жизни во Франции во время войны, составленное на основании моих дневников. Может быть, напечатают в «Новом Журнале». Там и фавьерская жизнь, и жизнь в Асином монастыре. А мои большие мемуары так, очевидно, и не появятся в печати. Посылаю их на хранение в Америку.

Преклоняюсь перед подвигом старого Блюма и его социалистической экипой⁵. Это благородное самоубийство. Но Францию этим они не спасут.

Всего хорошего.

Ваш В.Об.

1. Л. И. Кельберин.

2. В 1946 г. В. Б. Ельяшевич, следуя предсмертному желанию своей жены Фаины, отдал имение «Вишневый сад» в Бюсси монашеской общине – был образован Покровский монастырь.

3. По свидетельству Алексея Львовича Оболенского, его называли так в честь Алексея Франка: «Алешу вся семья Оболенских очень любила, В.А. питал к нему нежные чувства. Мои родители дружили с Алешей и меня называли Алексеем в его честь».

4. Галина Семеновна (урожд. Родионова) – старшая дочь А. А. Швецовы. В первом браке – Швецова, во втором (1926) – Шерцер (отсюда «б. Швецова» – «бывшая Швецова»). Вернулась в СССР в 1947 году.

5. От франц. *équipe* – команда, отряд. Так называемое «третье» (переходное) правительство Леона Блюма с 16 декабря 1946 по 16 января 1947 года, когда был избран новый Президент Франции согласно принятой в октябре 1946 года новой конституции Четвертой Республики.

13. 14 февраля 1947

[Вверху первого листа рукой Франка дописано: отв. 5. III.]

14/II 47

La Favière

Дорогой Семен Людвигович.

Последний раз наши письма разошлись, и я не знаю, кто у кого в долгу. Беру долг на себя.

Вот и вы, подобно нам, оказались в угольном, электрическом и газовом кризисе. Это какой-то непонятный мне парадокс: как это английские копи, работая не полным ходом перед войной, выбрасывая сотни тысяч безработных, тем не менее удовлетворяли не только все нужды Англии, но и экспортировали антрацит. А теперь безработицы нет, экспорта нет, а Англия себя отопить не может? Достаточно нескольких дней плохой погоды, чтобы приостановить английскую промышленность. Я знаю, что во всех странах после войны понизилась производительность труда углекопов. Но не настолько же. Неужели так возросло промышленное производство? Во французских газетах я не нахожу объяснения. Нам грозит худшее – нехватка хлеба. Недавно правительство сделало открытие: благодаря искусственному понижению цен на пшеницу, она всё время была дешевле овса и ячменя. Поэтому животноводы кормили скот и птицу пшеницей. И вот обнаружилось, что запасов ее может не хватить до нового урожая. Но если этот год пройдет благополучно, то перспективы следующего очень тревожны: благодаря холодам значительная часть озимой пшеницы вымерзла. Сейчас заказаны в Англии и Америке семена яровой для пересева. Опоздают или нет? Из-за любой забастовки докеров или моряков нам грозит голод. Всё расхлябано во всех странах, и все мы живем, как говорится, «на честном слове», которое стало нечестным.

Как живете? Как Ваши старость и болезнь? Как семейство? Покончил ли Алеша с больницами и нашел ли постоянный заработок?

У нас всё по-старому. Вести о новой внучке хорошие. На этих днях ее окрестили. Здесь я думаю прожить еще с месяц, потом месяца 1½ рассчитываю провести в Каннах и в Ницце, а на лето опять в St. Pierre. Зовет меня и Ася в свой новый монастырь в имени Ильешевича.

Несмотря на опыт Блюма (а может быть, и благодаря ему), с удовольствием становится хуже. Вот уже около месяца, что исчезла картошка, которая была главным нашим питанием. Питаемся преимущественно мамалыгой. Испытываю и духовный голод: книги добывать трудно, а писать негде. Хорошо еще, что добрый Ляля меня снабжает книгами. Завел полемическую переписку с Маклаковым по поводу его книги о Второй Думе¹. Доказываю ему, что «детерминизм» в политике играет гораздо большую роль, чем в личной жизни, и что нельзя поэтому, как он это делает, переигрывать на шахматной доске давно проигранную партию. К тому же крушение старых богов происходит во всем мире, и русские «бесы» были лишь застрельщиками в этом мировом процессе. А процесс, по-видимому, затяжной. Боюсь, что не только наши дети, но и внуки не доживут до лучших времен. А пока живем как бы во времени всемирного потопа. Тонем, хватаемся за скалы, вылезаем, опять тонем и т. д. Это «неприятно», как, по незнанию русского языка, выражается мой внук, описывая, как в Праге возле баррикад, которые он строил, валялись трупы.

Привет всему семейству
Ваш В.Об.

1. Маклаков В. А. Вторая Государственная Дума. Воспоминания современника. Париж, [1940].

14. 19 марта 1947

19/III 47
La Favrière

На этих днях получил Ваше письмо, дорогой Семен Людвигович. Очень взволновало меня известие об Алешином эпилептическом припадке¹. Как он сам к этому относится? Не упал ли духом? При таких болезнях огромное значение имеет психология самого больного. Хорошо, что врачи поддерживают надежду на то, что это явление преходящее. Зачем ему еще нужна операция глаза? В эстетических целях? В конце концов, черная повязка, прикрывающая отсутствующий глаз, совсем его не безобразит, и он мог бы с ней прожить свой век.

Я всё еще в Фавьере. Сiju уже больше трех недель без газет, а т. к. радио испорчено, то совсем одичал, ничего не зная о том, что происходит в мире. Ведь мой сын², давно одичавший, не выписывает даже местной газеты. Без внешних впечатлений живу «собственными соками», предаваясь размышлениям частью логического, частью фантастического характера, но отнюдь не радужным. Вспоминая всё пережитое за последние 30-40 лет, я вижу, как все происходившие за это время события находились в противоречии не только с моими убеждениями и желаниями, но даже с так называемым «здравым смыслом». При этом я был не одинок. Люди моего поколения и в широком смысле – моего умонастроения, независимо от их ума или образования, пережили те же разочарования. Вероятно, так чувствовали себя всегда люди, запоздавшие родиться или вовремя не умершие на стыке двух исторических эпох. Так ощущал и Савонарола наступавшую эпоху Возрождения. Дело не в объективных качествах или недостатках той или иной эпохи, а в субъективном ощущении чего-то «чуждого», происходящего в жизни, и в невозможности с этим чуждым примириться.

В Вашем письме Вы видите главную причину английского экономического кризиса (помимо последствий войны) в предпринятой социалистическим правительством системе национализации³. Может быть, Вы правы. Но дело в том, что это лишь частный случай внедрения «тоталитаризма» в государственную жизнь, происходящего во всем мире и вызываемого не столько требованиями социалистических партий, сколько головокружительным развитием техники, приводящей

капиталистическое производство к анархии. Скоро начнет применяться атомная энергия. И, конечно, ни одно государство не предоставит ее в собственность частных лиц. А из обладания главными источниками энергии не может не развиваться государственный «тоталитаризм» с целым рядом весьма тягостных последствий. И приходится думать не столько об уничтожении тоталитаризма, сколько о смягчении вытекающих из него последствий, т. е. о том, чтобы люди не превратились в государственных рабов, как это имеет место в России.

Недели через две собираюсь переехать в Канны к Вове, т. к. у Натали, где сейчас живет Лёвин Мишка, мне места нет. А на лето перееду к «северным» детям. Хочу побывать и в Асином монастыре, в имении Ельяшевича, куда меня зовут «матери».

Привет семейству.

Ваш В.Об.

1. Франк писал об этом Бинсвангеру еще 25 января (см.: Переписка С.Л. Франка и Л. Бинсвангера (1934–1950). С. 835-836). Припадки изредка повторялись и в дальнейшем.

2. Лев Владимирович Оболенский.

3. Речь идет о лейбористском правительстве К. Эттли (1945–1951).

15. 2 июля 1947

2/VII 47

St. Pierre

Дорогой Семен Людвигович.

Благодарю Виктора за справку, которую передал по назначению. Сомневаюсь, чтобы моему знакомому удалось попасть в Англию, если даже Васе чинят препятствия с получением визы¹. Ужасно, что на каждом шагу «прерогативы», как выражался один с. д. рабочий в I-й Думе, представляя себе «прерогативы» чем-то вроде рогаток. Кстати, мы с Вами знаем, что такое рогатки, а наши дети, наверное, не знают.

Только что прочел книжку Кравченко². К сожалению, убедился, что местами он подвирает, но это заметно лишь для чуткого читателя. Это я обнаружил в той части, где он описывает свое детство до революции. Но общая картина современной русской жизни изображена, по-видимому, правдиво. На иностранцев эта книга должна производить огромное впечатление. А это главное. Думаю, что Бевин³ и Бидо⁴ ее прочли, и она должна оказывать косвенное влияние на их бесплодные разговоры с Молотовым. Очень важно было показать иностранцам, что самодержавие Сталина «само держится» благодаря дьявольской полицейской технике, а не благодаря сочувствию народа и его загадочной «*âme slave*»⁵. А это очень ярко изображено у Кравченко.

Хаос французской жизни увеличивается. Дороговизна растет. Едим хлеб канареечного цвета из кукурузы. Несмотря на его огромную тяжесть, немислимо съесть полагающиеся нам порции в 250 гр. Уж очень невкусно. К сплошным забастовкам еще прибавился какой-то опереточный заговор, который усиленно раздувается слева. Как бы не повторилась Корниловская история. Вообще, едва ли удастся избежать власть Тореза⁶. Т. к. красная армия еще далека от нас, то из этого ничего, кроме еще большего хаоса, не произойдет. Но барахтаться в этом хаосе становится всё труднее и труднее. У Зандроков еще есть надежда на хороший урожай меда, а прочим моим детям трудно приходится. А я что-то стал хуже себя чувствовать: от всякой ходьбы сердцебиение. Может быть, мне вредна высота, хотя в прошлом году я себя здесь отлично чувствовал, а может быть – просто старость дает себя чувствовать. Завтра хочу сделать опыт и на недельку спуститься в Гренобль. Если это поможет, придется отсюда куда-нибудь переехать. Вероятно, снова в Фавьер. Там Лёва открыл Микину лавочку в качестве ее gerant⁷. Это ему стало возможным только благодаря получению французского гражданства.

Я пишу иногда статьи в Мельгуновском журнальчике, каждый раз меняю свое название, т. к. «свобода печати» во Франции требует особого разрешения на периодические издания, какового ему не дают. А вот Лазаревскому, при помощи христианских синдикатов, удалось получить разрешение на еженедельную газету «Русская Мысль»⁸. Газета не ахти какая, но все-таки ведет себя прилично, за что подвергается доносам со стороны «Русс[ких] Нов[остей]».

Собирался в июле побывать в Париже, куда меня периодически выписывает Земгор⁹ для производства ревизии. Но, кажется, его отчет еще не готов, и поездку придется отложить.

А вот вам анекдот про священника Малолитеплова: во время обедни, вместо «благословение Господне на вас», он говорит «благословение Господне на верных сынов патриаршей Церкви». Этот анекдот мне рассказал его «единоверец» о. Шумлин.

Привет Т.С. и всему семейству.

Ваш В.Об.

1. Василий Франк (1920–1996) работал в Австрии в Международной организации по делам беженцев. Месяц спустя Франк сообщил сыну Виктору: «Витюшенька, только что пришло письмо от Васи <...>. Визы до сих пор еще нет, но он написал своему начальству, что должен по экстрен[ным] основаниям поехать в Англию, и, очевидно, как-то устроился без визы. <...> Формального отпуска он не получает – может его получить только после года службы за границей, <...> теперь берет отпуск, очевидно, короткий и без содержания жалованья» (С. Л. Франк – Вик. С. Франку. 2 авг. 1947 // В.А. S. L. Frank Papers. Box 5).

2. Речь идет о книге Виктора Кравченко «Я выбрал свободу» (1946).

3. Эрнест Бевин (Bevin, 1881–1951) – в этот период министр иностранных дел Великобритании.
4. Жорж-Огюстен Бидо (Bidault, 1899–1963) – в этот период министр иностранных дел Франции.
5. Славянская душа (*фр.*)
6. Французские коммунисты входили в правительство до мая 1947 г., их лидер Морис Торез был вице-премьером. В дальнейшем, однако, влияние компартии ослабло.
7. Управляющий (*фр.*)
8. Владимир Александрович Лазаревский (1897–1953) – журналист и переводчик, основатель газеты «Русская Мысль» в Париже в 1947 году.
9. Главный по снабжению армии комитет Всероссийских земского и городского союзов был создан в России в 1915 г., в эмиграции играл важную роль в распределении помощи русским беженцам, занимался культурно-просветительной и благотворительной работой.

16. 14 августа 1947

14/VIII 47

St. Pierre

Дорогой Семен Людвигович.

В этом письме хочу отвлечься от мировых событий, от Сталина, атомных бомб и пр. и посвятить его моим семейным делам, которыми Вы, Т. С. и Алеша, после нескольких лет тесной совместной жизни, вероятно, продолжаете интересоваться. Сейчас здесь, в St. Pierre, у нас семейный съезд: приехали Вова с женой, Мика с тремя дочками и Мишка (Лёвин). Очень приятно мне, старику, пожить в таком густом семейном соку.

Микино положение в Chambon¹ укрепились. Швейцарцы передали свои учреждения частью фр[анцузскому] кр[асному] кресту, частью международной протестантской организации, в которой главную роль играют шведы и их капиталы. Мике посчастливилось попасть к шведам, которые сохраняют весь прежний персонал. Таким образом, девочки могут спокойно продолжать свое образование. Все три девочки, каждая в своем роде, очень мне симпатичны.

Аленка по внешности совсем взрослая и имеет довольно могучую фигурку. Но внутренне совсем еще ребячлива. Учится средне, звезд с неба не хватает, но перешла во 2-й класс без переэкзаменования.

Оля замечательно красива. Учится блестяще, любит читать, вообще из всех трех наиболее «интеллигентного» склада. Но страшно застенчива и довольно молчалива. А глаза на мокром месте. Приехала к нам без своего аппарата, который был в починке, и все-таки уже может свободно ходить, слегка подволакивая большую ногу, которая в колене наполовину сгибается, ступня пока сгибается плохо.

Есть надежда, что улучшение будет продолжаться, но и в таком виде уже ее жизнь из-за ноги не будет в тягость.

Иришка тоже оказалась способной девочкой и очень неглупой, хотя с ленцой. А нравом идеальна: никогда не капризничает, веселая хохотунья и может занимать себя без всякой помощи взрослых.

Мишка под влиянием Ниццкого лица и жизни у Кельбериных очень дисциплинировался и возмужал. Самостоятельный настолько, что приехал сюда из Фавьера один. А в прошлом году родители его даже в Ниццу одного не пустили. Несмотря на то, что зимой он постоянно хворал, вид у него хороший и корпулентный. А ростом в родителей.

Лёва восстановил Мишину лавочку на фавьерском пляже. Несмотря на нескольких конкурентов, дела у него идут неплохо, хотя «цыпляют по осени считают».

Мои дети, как Вы знаете, страдают недостатком энергии и инициативы. Но они обладают свойством, присущим и Алеше. Моя мать² когда-то называла это свойство – «запах за ушами». Какой-то неопределенный «запах», внушающий симпатию посторонним людям. Вот и сейчас Лёве с Лизой было бы не под силу справиться с торговлей, имея двух малышей, требующих постоянного наблюдения. А нанимать служащих им не под силу. И вдруг в их семью влюбился какой-то проезжий англичанин и стал им помогать. Мишка говорит, что у Лёвы все время уходит на поиски продуктов, Лиза отвлекается детьми, кухней и стиркой, а торгует в лавочке англичанин. Совершенно необыкновенная комбинация!

Кельберины в полном финансовом кризисе. Ликвидировали квартиру в Ницце. Леся там остался пока, т. к. осенью собирается дать там концерт. Наталя с дочкой живет в Асином монастыре, где пасет какого-то маленького еврейского полудиотика (почему в православном монастыре?!), но скоро собирается перебраться в Париж, где ей обещают место иллюстратора в каком-то издательстве. После концерта и Леся должен переселиться в Париж. Что и как будет дальше – неизвестно.

У Зандроков дела плохи из-за необыкновенной жары и засухи. Пчелы, хорошо работавшие весной, сейчас пожирают весь собранный мед. А весной казалось, что они выбирают из хронической нужды.

Вова стал окончательно профессиональным скульптором. Все превозносят его талант, но слава пока не кормит.

Очень меня огорчает Андрей, взявший советский паспорт. Не помню, писал ли Вам о его новой оригинальной специальности: он шлифует горные породы для микроскопических препаратов. Научился этому у старика, работавшего при Сорбонне. Теперь старик умер, и Андрей стал единственным «спецом» во Франции. Боюсь, что эта специальность нужна и в России, и тогда он исчезнет с наших горизонтов навсегда.

Вот Вам полный отчет о моих семейных делах.

А где Вася? Впустили ли его, наконец, в Англию?

С грустью читаю об экономической катастрофе в Англии. Никогда там не был, но люблю и уважаю эту страну больше всех других. И ее-то сейчас выбрала судьба своим козлом отпущения, как в политике, так и в экономике. И всё это так на руку нашему «Антихристу»!

Не выдержал стиля своего письма и невольно заговорил о политике. Нужно кончать.

Привет всему семейству.

Ваш В. Об.

P.S. Забыл еще одну подробность о своих детях. Двое из них – Ася и Андрей – совсем седые. А Вова и Мика с большой проседью. Никогда не рассчитывал дожить до начала старости своих детей.

1. Шамбон-сюр-Линьон (Chambon-sur-Lignon) – коммуна во Франции в департаменте Верхняя Луара. Известна тем, что ее жители во время войны массово спасали евреев. В ежедневнике Франка за 1944 г. есть адрес, свидетельствующий о том, что семья Оболенских имела контакты с этой коммуной в годы войны: «Nathalie Kelberine ‘Les Sorbiers’ Chambon-sur-Lignon (Haute-Loire)». «Мика (Людмила) с трудом сводила концы с концами. Через Красный крест она нашла место кухарки в детском приюте, организованном Швейцарцами или на их средства в Chambon-sur-Lignon, в центральном горном массиве Франции, где после войны было легче с пропитанием, чем на юге или в больших городах. Главное преимущество этой работы заключалось в том, что ее три девочки могли быть при ней. Несколько месяцев в Chambon провел и мой брат Миша, где после полуголодного Фавьера удалось его откормить. Не помню, как звали директора приюта, но он известен тем, что у него во время оккупации скрывались еврейские дети.» (А.Л. Оболенский)

2. Княгиня Александра Алексеевна Оболенская, урожд. Дьякова (1831–1890), основательница частной женской гимназии в Санкт-Петербурге (1870). См. о ней: *В. А. Оболенский. Моя жизнь. Мои современники*. С. 18-24. Характерно такое воспоминание: «Правдолюбие и прямота моей матери, так же, как и ее оценка всех жизненных явлений прежде всего с точки зрения морали, оказали на меня огромное воспитательное влияние. <...> Внушенное мне моей матерью правдолюбие я воспринял и сохранил в течение всей своей жизни, и до сих пор мне трудно лгать даже в тех случаях, когда от меня требуют маленькую, так называемую ‘условную’ ложь, принятую в общежитии» (Там же. С. 23).

17. В. А. ОБОЛЕНСКИЙ – АЛЕКСЕЮ СЕМЕНОВИЧУ ФРАНКУ.

28 декабря 1947

Chez M-me Nekhorocheff
 50. B^d Exelmans Paris 16
 28/XII 47
 Париж

Очень рад был, дорогой Алеша, получить Ваше письмо. Наталя

тоже Ваше письмо получила. Поздравляю с новым годом Вас и всё семейство Франков, которое что-то совсем обо мне забыло.

Я перебрался на самые холодные месяцы в Париж. Хотя центральное отопление отсутствует, однако сами дома теплее и суше, чем в деревне, а дрова стоят приблизительно одинаково. А кроме того, и часть моих детей (Наталя и Вова) перебрались в Париж. Наталя работает в архитектурном бюро, а на этих днях появился и ее муж, получивший место на фабрике T.S.F.¹ Вова² устраивает выставку своих скульптур и надеется сделать на старости лет художественную карьеру. Моржуны³ в Фавьере изрядно голодали во время забастовки, которая на юге была полной. Да и деньги, заработанные летней торговлей, уже прожиты. А тут еще приходится платить за учение Миши в частном collège в Лаванду. Все-таки как-то живут. Бедствуют и Зандроки из-за полного неурожая меда. Ирина занялась выделыванием кроличьих шкурок и продает теплые туфли и сумочки. На ее счастье, товар ее пошел среди местных крестьян, и это помогает им прожить до лета. Материально процветает только мой сын Сергей, живущий в Тегеране в собственном доме, но ему приходится содержать не только вторую жену, но и первую, которая живет с младшим сыном в Швейцарии и поправляется от тяжелой болезни и операции. Да и меня он постоянно субсидирует. Мика благополучна. Швейцарцы передали ее учреждение международному протестантскому обществу, которое подписало с ней контракт на 5 лет. Таким образом существование ее с тремя девочками временно обеспечено. Вот вам краткий отчет о моем семействе, с которым вы несколько лет прожили общей жизнью. Хотя эта жизнь была черт знает какая, вспоминаю об ней с удовольствием. А вот теперь обстоятельства нас разлучили, очевидно, навсегда. Если бы у меня были деньги, я бы с удовольствием поехал бы с Наталей и с Вами в Италию в гости к нашим друзьям, итальянским солдатам. Уверен, что они нас бы приняли с распростертыми объятиями. Я послал в «Новый журнал» свои очерки о нашей жизни во время немецкой оккупации. Получил ответ, что полностью они их напечатать не могут, но хотели бы напечатать главу обо итальянском периоде. Я дал согласие и, вероятно, в следующей книжке вы прочтете о том, что мы с Вами пережили⁴. Обнимаю Вас и шлю привет родителям и всему семейству.

В. Об.

1. Transmission Sans Fil (*фр.*) – здесь «радио».

2. Всеволод Владимирович Оболенский.

3. Семейное прозвище семьи Льва Владимировича Оболенского. «Когда прорезались мои два первых зуба, меня прозвали Тюля – *тюлень*, а папа с мамой стали соответственно *моржун* и *моржа*» (свидетельство Алексея Львовича Оболенского).

4. См.: *Оболенский В. А.* Под итальянской оккупацией / «Новый Журнал». 1948. Кн. XVIII. С. 276-288.

18. В. А. ОБОЛЕНСКИЙ – ТАТЬЯНЕ СЕРГЕЕВНЕ ФРАНК.
3 марта 1948

3/III 48

Париж

Дорогая Татьяна Сергеевна.

Давно никто из Франков мне не пишет. И вдруг получил тюк вещей. Спасибо. Хотя пиджак не соответствует моей фигуре, но «всякое даяние – благо и всяк дар совершен»¹, и я найду ему применение среди своего потомства. Вова более меня узкогруд и более раздет. Вероятно, ему пригодится.

Заканчиваю свое пребывание в Париже, где для меня слишком дорого, и недели через две снова переберусь в монастырь. Париж покидаю без сожаления. Уж очень мало в нем осталось близких мне людей. Кажется, в Библии считается, что Бог даровал долголетие Мафусаилу за его добродетели. Теперь по собственному опыту сомневаюсь, что в этом можно усмотреть милость Божью. Впрочем, времена тогда были другие, и Мафусаил мог без тревоги смотреть на своих пра-пра-правнуков. А мы живем в постоянной тревоге за настоящее и будущее.

Сейчас меня волнуют чешские события. И не только в плане «мировом», но они вторгаются и в личную жизнь моей семьи, ибо грозит катастрофой единственному удачливому моему сыну, служащему в Персии в чешском предприятии, которое сейчас национализировано и либо будет ликвидировано, либо заполнено коммунистическими служащими. А ему, вероятно, придется стать чешским эмигрантом.

А здесь все мои дети находятся в полном кризисе. Особенно меня заботит судьба Мики, которая лишилась места в приюте и сейчас пытается как-то по-иному устроиться. Это почти неразрешимая задача для нее с тремя девочками.

А что у Вас? Как здоровье С. Л. и Алеши? Удалось ли Алеше где-нибудь прочно устроиться? От Богдановых, уехавших в Россию, до сих пор не получено известий. Ходят слухи, что они водворились в Симферополе, предварительно побывав в Москве и повидавшись там с Лид[ией] Карловной². Сейчас в Москве моя шведская племянница, муж которой назначен туда посланником. Изредка получаем от нее письма. Пишет, что чувствует себя как бы умершей, т. к. оказалась среди родной для нее русской жизни, но лишена возможности с нею общаться. Даже родных братьев не может навестить, дабы их не скомпрометировать.

Шлю всем Вам сердечный привет.

Ваш В. Об.

1. Иак. 1:17.

2. Лидия Карловна Белокопытова, невестка О. Н. Мечниковой.

19. В. А. ОБОЛЕНСКИЙ – С. Л. ФРАНКУ И Т. С. ФРАНК.
4 мая 1948

4/V 48

Bussy-en-Othe

Воистину Воскресе, дорогая Татьяна Сергеевна, и Христос Воскресе, Семен Людвигович и прочие Франки и Скореры. Письмо Ваше я получил месяца два тому назад и неужели не ответил? Это на меня не похоже, но на всякую старуху бывает проруха. Очевидно, память начинает ослабевать. Да оно и пора.

Считаю, что встретил в этом году бриллиантовую Пасху в сознательном возрасте, считая его с 3-х лет. Конечно, тогда для меня Пасха была, скорее, «паска» с куличем, украшенным бумажной розой, и с крашеными яйцами. Помню, что в дальнейший детский период, когда значение христианской Пасхи мне уже было понятно, я продолжал, в отличие от праздника Пасхи, называть творожные пасхи «пасками».

Эту Пасху встречали в монастырской обстановке с особой торжественностью. К сожалению, без дочери, которая серьезно больна в Париже. Ей сделали трудную операцию гнойной опухоли в костях верхней челюсти. Операция прошла благополучно, но начались всякие осложнения, связанные с двумя дополнительными операциями. И сейчас она еще не поправилась, живет у Катуаров¹ в Bourg-la-Reine и ездит в госпиталь, где ее перевязывают и колот шприцами.

Прочие члены моего семейства во Франции здоровы, но находятся в затажном финансовом кризисе, кроме Андрея, который, взяв советский паспорт, меня совсем забросил. Персидский сын пока благополучен, но предвидит, что скоро ему придется стать эмигрантом в квадрате – русским и чешским. Он беспокоится за судьбу своего старшего сына, находящегося в Праге за «железным занавесом». Как родившийся во Франции, он вовремя принял французское гражданство, но нет уверенности, что чехи его выпустят.

На лето думаю перебраться в St.-Pierre-de-Chartreuse, а дальше загадывать не приходится. Все мы во власти разных ожидаемых и неожиданных событий, а старикам, кроме того, неукоснительно угрожает естественная смерть. В Париже пробыл 4 месяца и постоянно ездил на панихиды по умершим сверстникам, которых уже совсем мало осталось в живых. Вымирает и следующее за мной поколение. Вот Маклаков еще бодро держится. Глух, как горшок, но голова по-прежнему свежая и умная.

Пишите же, не забывайте. Все члены Вашего семейства меня интересуют. В первую очередь, конечно, Алеша.

Ваш В. Об.

¹ Т. Семья Алексея Струве по девичьей фамилии его жены.

20. В. А. ОБОЛЕНСКИЙ – С. Л. ФРАНКУ. 22 августа 1948

22/VIII 48

St. Pierre

Дорогой Семен Людвигович.

Получил от дочери письмо с описанием свидания с Вашим семейством и захотелось побеседовать с Вами, хотя бы письменно. В какие жуткие времена заканчивается наша земная жизнь! Часто вспоминаю П. Б. Струве, с которым часто виделся перед его смертью¹. Тогда война еще была в полном разгаре, и мы по ночам просыпались от шума самолетов и разрывов бомб. Он страстно ненавидел Гитлера и столь же страстно верил в победу союзников. Но, убежденный в бессмысленности дальнейшего сопротивления Германии, ожидал внутреннего переворота и свержения Гитлера. И при каждом свидании брал меня за пуговицу и спрашивал: «Как вы думаете, это произойдет? Я еще не могу себе это представить»². А произошло это просто после полного разгрома Германии. Но оказалось, что ничего решающего не произошло. Только Гитлера заменил Сталин. И если бы П. Б. был жив, он с такой же страстностью верил бы в гибель Сталина и так же спрашивал бы: «А как вы думаете, это произойдет?» Но на этот вопрос еще труднее ответить. Нельзя же в самом деле ставить ставку на новую мировую войну, как это делают теперь многие эмигранты, особенно из «Ди.Пи.», которая (кто бы ни победил) приведет весь человеческий род к полной моральной и материальной катастрофе. А между тем логика событий к этому ведет. Правда, события не всегда логичны. Но в данном случае их логика подкрепляется психологией так называемого «коммунизма», перерождающегося в своеобразный советский империализм. И если в России не произойдет дворцового переворота, война в ближайшем времени (не позже, так лет через пять) начнется со всеми ее страшными последствиями. И вот всё больше и больше думаешь о том, возможно ли это и «как это произойдет»? Но, за отсутствием реальных данных, цепляешься за собственную интуицию, основанную на вере в существование в Божьем мире каких-то моральных законов, ведущих к неизбежной гибели тех, кто нас так долго попирает. Конечно, полный аморализм составляет временно огромную силу тоталитарной власти. Но он ведет и к внутреннему её разложению. Этот процесс разложения развивается медленно, но упорно, и сейчас уже близок к созреванию. Борьба между Сталиным и Тито, не имеющая никакого принципиального характера, является очень характерным показателем этого процесса разложения³. Тот же процесс, конечно, происходит и внутри русской компартии. А страх перед войной должен его усиливать. Если бы западные демократии не так пугались угроз Сталина, пока

еще не готового к войне, а сами его бы пугали, они этим усилили бы процесс внутреннего разложения коммунистической верхушки и тем могли бы предотвратить войну. Ибо, в сущности, сейчас весь вопрос в сроках: что произойдет раньше – переворот или война? Не знаю, может быть Вы, достигши, если не ошибаюсь, семидесятилетнего возраста, больше думаете на потусторонние темы. А я, несмотря на очень ясно мною ощущаемую близость конца моего земного существования, не в состоянии оторваться от интересов земной жизни, которую продолжаю любить, и не могу примириться с мыслью о неизбежности в ней торжества зла над добром. Вот и пишу Вам на политические темы, которые, в сущности, по своему значению переросли политику и ставят проблему общечеловеческой морали.

Доживаю в St. Pierre последние недели. Вероятно, скоро снова переселюсь в монастырь, где прижился, несмотря на свое «вольнодумство»⁴. Хотелось бы кончить свою жизнь в Фавьере, где и могила мне уготована на Бормском кладбище, среди чудной «равнодушной» природы⁵. Но пока это трудно осуществимо. А для «пока» мало осталось времени. Всем Вашим шлю привет. За эту зиму в Париже очень сдружился с милым семейством Ляли Струве. Его жена⁶ сейчас живет у нас, а он вернулся в Париж.

Ваш В. Об.

-
1. Петр Бернгардович Струве умер в Париже 26 февраля 1944 года.
 2. После отъезда Оболенского из Фавьера Франк писал Струве: «Из писем Вл. Андр. к его семье слышал кое-что о тебе, но мало – хотел бы знать побольше» (С. Л. Франк – П. Б. Струве. 5 авг. 1943 // НИА. Petr Bergardovich Struve papers. Box 6. Folder 1), – на что тот отвечал рассказом не только о себе, но и об общем друге: «Кн. Влад. Андр. Оболенского я видел два раза в Париже. Он живет у матери Бландины и имеет весьма бодрый вид. Мы с ним много беседовали и убедились, что в самом существенном мы единомысленны» (П. Б. Струве – С.Л. Франку. 27 авг. 1943 / ВА. S.L. Frank Papers. Box 3. Struve, Petr Bergardovich).
 3. В 1948 г. началось обострение советско-югославских отношений. Югославское руководство во главе с Иосипом Броз Тито было обвинено Сталиным в «буржуазном национализме» и «измене коммунистическому движению».
 4. Не будучи «воинствующим» атеистом, В. А. Оболенский не принадлежал к практикующим ортодоксальным христианам.
 5. Отсылка к стихотворению А. С. Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных»: «И пусть у гробового входа / Младая будет жизнь играть, / И равнодушная природа / Красою вечною сиять». См.: «В Ла-Фавьере, как говорил [В. А. Оболенский], он чувствовал себя почти как в Крыму, лучше, чем где-бы то ни было; говорил, что когда умрет, то душой всё так же будет витать в любимом Ла-Фавьере. Похороненный вначале на кладбище С.-Женевьев, он был перевезен, по выраженному им желанию, на наше Бормское кладбище и похоронен рядом с могилой своей жены, высоко в горах, откуда виден наш

Ла-Фавьер» (*Л. С. Врангель*. Воспоминания и стародавние времена. С. 151).
6. Екатерина Андреевна Струве (урожд. Катуар; 1896–1978) – жена Алексея Струве.

21. 21 сентября 1948

21/LX 48

Bussy-en-Othe

Дорогой Семен Людвигович.

Отвечаю на Ваше последнее письмо из Бюсси, куда перебрался третьего дня. Не знаю – надолго ли. Будущее всего мира и каждого отдельного человека неопределенно. У нас, стариков, оно все-таки определеннее, чем у молодежи, ибо мы точно знаем, что дошли до предела земной жизни. Я это особенно ясно ощущаю последнее время, т. к. за последний год окончательно перестал быть «не в меру прытким стариком», как меня называли мои дети, страдаю одышкой и в состоянии ходить только под гору или по ровному. Продолжаю любить жизнь и не тороплюсь умирать, но все-таки предпочитаю умереть, чем дожить до 90 лет, как несчастный М. М. Федоров¹, который живет в полудиотском состоянии в тягость всем своим близким, ибо все органы его пришли в расслабленное состояние, кроме сердца, продолжающего стучать с той же правильностью, как 90 лет тому назад.

Хочу ответить на мысли, высказанные Вами в Вашем письме. Вы, конечно, правы, что кризис человеческого духа в своей основе происходит от материалистической человеческой гордыни, отказавшейся от религиозного мирозерцания. Но теория эволюции тут, право же, не при чем. Эволюцию живых существ от амебы до человека невозможно объяснить механически, без участия промысла Божьего, и совершенно понятно, что первый создатель одной из эволюционных теорий – Дарвин – оставался человеком религиозным. Беда не в самой теории эволюции, а в ее интерпретации материалистами, пытавшимися обосновать нравственность по остроумной формуле Вл. Соловьева: «Человек произошел от обезьяны, а следовательно, будем добродетельны»². И понятно, что люди, отвергшие духовную жизнь человека, пришли к более логичному выводу: «а следовательно, будем обезьянами». Кто в этом виноват, если можно говорить о вине в историческом процессе? С одной стороны, конечно, проповедники материализма. Но виновата и Церковь, отказавшаяся от какой бы то ни было эволюции в своих религиозных представлениях, создавшихся тогда, когда считалось, что солнце ходит вокруг земли, что небо – это «твердь», на которой живет Бог, окруженный ангелами и святыми, что этот Бог творит всякие «чудеса» вопреки им же установленным законам природы, вылепил Адама из глины, а Еву создал из его ребра и

т. д. И когда народные массы, слегка прикоснувшись к научным истинам, узнали, что неба не существует, что земля существует сотни миллионов лет, а не несколько тысяч лет, в соответствии с учением Церкви, и пр., то пришли к выводу, что и Бога нет. Вывод, конечно, не более логичный, чем относительно «обезьяны», но более простительный для простого народа, чем для интеллигенции. Характерно, что в Европе безбожие привилось главным образом в странах католических и православных, а религиозность сохранилась среди большинства населения стран, затронутых реформацией, давшей большую свободу религиозных представлений. Не случайно также, что в нашей молодости невежественные народные массы были религиозны, а интеллигенция в своем большинстве отпадала от религии. Теперь же происходит обратный процесс. Интеллигенция, умеющая отличать дух религии от ее формы, возвращается к вере отцов, а массы, если они слегка затронуты цивилизацией, от нее отпадают. Между тем в наше время эволюции бытовой демократии слой полунинтеллигенции чрезвычайно численно увеличивается и оказывает всё большее влияние на общественную жизнь. Она (т. е. полунинтеллигенция) переросла старые формы религий, но с ними вместе отвергает и ее дух. По-видимому, тот же процесс происходит и в старых азиатских странах. И я думаю, что если человечество спасется из «царства Антихриста», в которое погружается, то только через обновленную религию «в Духе и Истине»³. Толстой весьма неудачно попытался создать такую религию, от которой не осталось следа. Но более удачливый пророк – Ганди – нашел широкий отклик в народных массах и оказывал на них огромное влияние, которое, вероятно, не исчезло с его смертью⁴. И хочется верить, что появятся новые пророки, за ученье которых уцепятся люди, еще не утерьявшие присущей им тяги к Добру и страдающие от собственного звериного облика. Старые религии такого оздоровляющего толчка души массового человека уже дать не могут. Конечно, Вы, как человек церковный, во многом со мной не согласитесь, хотя в течение нашей долгой жизни мы совершили духовную эволюцию в одном направлении: я – «от марксизма к идеализму»⁵, а Вы – к православию. Но в общем мы с Вами если не «единоверники»⁶, то во всяком случае единомышленники. Переходя от «желаемого» и «ожидаемого» к настоящему, должен сознаться, что оно малоутешительно. Особенно здесь, во Франции, совершенно разлагающейся и впадающей в состояние анархии. Французская демократия выродилась так же, как русское самодержавие, и идет такая же правительственная чехарда, как было перед крушением Николая II, каждый день кто-то бастует⁷. То рабочие, то чиновники и служащие. Мясники вздувают цены на мясо, а когда правительство выписывает дешевое мороженое мясо из южной Америки, оно не продается, т. к. рабочие, бастующие из-за низких

заработков, не хотят есть дешевое мороженое мясо и покупают дорогое свежее. Булочки в ряде департаментов самовольно уничтожили хлебные карточки и завели свободную торговлю. Это случилось и в Гренобле, где я провел один день. А жизнь всё неукоснительно дорожает. В этом хаосе мы все-таки как-то живем. Всё больше и больше говорят о необходимости диктатуры. А кандидат в диктаторы⁸ разъезжает по Франции и говорит речи, ожидая, что власть сама к нему придет, когда он еще раз два вместе с коммунистами свергнет очередную правительственную экипу⁹. Я съехался с ним в Гренобле, но не пошел его слушать. И хорошо сделал, ибо кое-кто из его слушателей поплатился жизнью или увечьем. Надеюсь на то, что и за железным занавесом идет процесс разложения, который может привести к крушению Сталина до начала следующей мировой войны, которая не за горами. Часто вспоминаю Алешу и нашу итальянскую пивную¹⁰. И вспоминаю, как сравнительно счастливый период своей жизни. Всё в мире относительно, кроме вечности. Всем Вашим привет.

Ваш В. Об.

Ну и расписался же я!

1. Михаил Михайлович Федоров (1858–1949) – общественный и культурный деятель, экономист, редактор ряда изданий. В эмиграции возглавлял т.н. «Федоровский комитет», оказывавший помощь русским студентам за границей (в том числе к нему обращался и Франк за помощью в обучении сына Виктора).

2. См.: «Подобным образом, когда приверженец нового катехизиса выступал с такого рода заявлением: ‘нет ничего, кроме материи и силы; борьба за существование произвела сначала птеродактилей, а потом плешивую обезьяну, из которой выродились и люди: итак, всякий да полагает душу свою за други своя’, то насчет строгой правильности этого последнего вывода также могли возникать справедливые сомнения» (*Соловьев В.С.* Письмо к редактору «Вопросов философии и психологии» Н.Я. Гроту / *Соловьев В.С.* Собр. соч. в 10 т. Т. 6. СПб.: Просвещение, 1914. С. 271). На эту шутку Соловьева часто ссылался Франк.

3. Ин. 4:23, 24.

4. Махатма Ганди (1869–1948) – лидер борьбы за независимость Индии, проповедовал философию ненасилия. В начале XX века переписывался с Л.Н. Толстым и признавал, что испытал влияние его идей.

5. Название сборника статей С. Н. Булгакова, вышедшего в 1903 г., ставшее нарицательным в отношении духовной эволюции многих интеллигентов начала XX века.

6. Так в оригинале.

7. В июле 1948 г. правительство Робера Шумана (Schuman) сменилось правительством Андре Мари (Marie), но оно просуществовало месяц, после чего вновь – но всего на два дня – к власти пришел Шуман, а 11 сентября было назначено правительство Анри Куэля (Queuille).

8. Имеется в виду генерал де Голль.

9. См. примеч. 5 к письму 12.

10. «И вот моя дочь в компании с нашим молодым приятелем А[лексеем] Ф[ранком] решила использовать патент, сохранившийся от времени, когда у старшей дочери была лавочка и при ней кафэ, и открыла пивную ‘распивочно и на вынос’ для итальянских солдат. <...> Так как мы находились в центре итальянского лагеря и к нам три раза в день приходили за едой толпы солдат, то от посетителей пивной отбоя не было. И мы стали ‘богатеть’ не по дням, а по часам.» (*Оболенский В. А. Под итальянской оккупацией / «Новый Журнал». 1948. Кн. XVIII. С. 284-285.*)

22. В. А. ОБОЛЕНСКИЙ – Т. С. ФРАНК
29 ноября 1948

29/XI 48
Bussy

Спасибо, дорогая Татьяна Сергеевна, за заботу обо мне. Ваши теплые носки великолепны. А в полученной м. Бландиной вчера открытке Вы еще сулите мне всякие бельевые блага. Очень тронут и благодарю. Мне было приятно увидеть свою старшую дочь совершенно поправившейся от ее несносной болезни. В Англии ее не только излечили, но и восстановили ее силы.

На этих днях приезжала ко мне Наталя с дочкой и прожила у меня три дня. Моя внучка очень славная, хотя лицом иногда очень напоминает своего отца. Это сходство ее не украшает. Он, наконец, получил место в международной организации по применению плана Маршалла к Европе. Поэтому Наталя избавлена от поисков работы. Только бы он удержался на этом месте! Мне сдается, что Наталя Вас до сих пор не поблагодарила за присылку вещей ее дочке. Извините ее за такое свинство и примите благодарность от меня.

В ближайшем будущем мой сын обещает прилететь из Тегерана. Но неожиданно возникло препятствие: французы отказывают в визах чешским гражданам, опасаясь иностранных коммунистов, когда и своих у них слишком много. Не знаю, удастся ли получить какую-либо протекцию для визы. А мой глупый сын Андрей, взявший советский паспорт, по-видимому, в Россию не поедет¹. А здесь ему могут грозить великие неприятности в довольно накаленной политической атмосфере.

Поздравляю Вас со свиданием с Васей. Наконец дождались. А как дела Алеши? Устроился ли он на какую-нибудь работу? Наталя видела его красивую дочку в Фавьере². Лёва с семьей переселился в Богдановский дом, откуда он ходит работать в Лаванду, Миша – в коллэж, а Ваня – в коммуналку³.

Привет всем Франкам.
Ваш В. Об.

1. «К счастью, дядя Андрей с женой свое решение не привели в исполнение –

списались с двоюродной сестрой, которая как-то сумела их вовремя остановить...» (А. Л. Оболенский).

2. Дочь Алексея и Бетти Скорер Маруся (род. 1940).

3. Коммунальная начальная школа в Bormes-les-Mimosas, к которому административно относился Фавьер.

23. В. А. ОБОЛЕНСКИЙ – С. Л. ФРАНКУ
26 апреля 1949

26/IV 49

Bussy

Христос Воскресе, дорогие Франки (родители, дети и внуки).

Давно от вас не имею известий. Надеюсь, что вы все здоровы и благополучны. После изнурительного поста и церковного стояния мои монахини понемногу отходят. Страстная неделя для них была особенно тяжела, т. к. приходилось и в огороде работать, и кормить съехавшихся богомолков, в числе которых была ваша знакомая М. И. Лот¹. Что касается меня, то я оказался внезапно окруженный детьми: на лето приехали Вова с женой, на месяц – Наталя с дочкой и на 10 дней Ирина. На этих днях поджидаю Лёву. Этот слет моих детей заменяет мне мои прежние поездки по Франции, от которых пришлось отказаться по инвалидности. Страдаю одышкой, которая мешает всяким передвижениям. Из трех ровесников – Маклакова, Струве и меня – первым сдал Струве, самый младший, теперь очередь доходит до меня, а самый старший – Маклаков, хоть и глух, но еще совсем бодр.

С удовольствием прочел в «Возрождении» статью С. Л. о Струве². Но что это за пошляк, который в том же номере гаерничает над покойным Бердяевым, приплетая к своему гаерничеству и покойного Струве! Вообще, статья С. Л. – единственное украшение этого неудачного номера «Возрождения». Вообще, эмигрантская пресса сильно оскудела после смерти ряда стариков, а пресса советская задушена коммунистическим трафаретом и зигзагами генеральной линии. Ляля Струве снабжает меня разными старыми русскими книгами. Сейчас читаю записки Болотова. Подряд их читать невозможно, но всё же почерпаю в них много ярких черт из русского быта 18-го века, а некоторые выражения выписываю. Вот например: «А дочери Розенфельда³ не таковы были дурны, чтобы никому не могли вперить к себе любовного пламени»⁴. Много там подобных перлов, которые должны понравиться Алеше.

Ну, пора кончать. Всего хорошего всем, всем, всем.

Ваш В. Об.

1. Мирра Ивановна Лот-Бородина (1882–1957) – историк, жила в Париже, с

1938 г. поддерживала дружеские отношения с семьей Франков. См. о ней: *Оболевиц Т.* Мирра Лот-Бородина. Историк, литератор, философ, богослов. СПб.: Нестор-История, 2020.

2. *Франк С. Л.* П. Б. Струве (Опыт характеристики) / «Возрождение». 1949. Тетрадь II. Март. С. 113-127.

3. Так в письме. У Болотова – Розенштрауха.

4. См.: Записки Андрея Тимофеевича Болотова. 1738–1795. Т. 1. 3-е изд. СПб., 1875. Стлб. 391. Андрей Тимофеевич Болотов (1738–1833) – писатель, ученый-ботаник.

24. 5 января 1950

5/1 50

Bussy

Дорогой Семен Людвигович.

Был рад Вашему письму. Поздравляю с Новым годом и Вас с женой и нисходящим потомством. Да, я дожил до 80-тилетнего возраста. Мои ровесники в русской эмиграции – Маклаков, Тыркова¹ и Кускова², с которыми обменялся приветствиями. К сожалению, не все безнаказанно становятся Мафусаилами. Вот и мое сердце сдрейфило: задыхаюсь от каждого движения. Недавно ездил в Париж на медицинский осмотр и почти никого из знакомых не видел, т. к. не в состоянии ездить в метро, точнее говоря – ходить по лестницам метро. Др. Чехов водил меня к какому-то специалисту, который сделал мою «кардиограмму», т. е. фотографию линии, которую проводит на экране пульсация сердца при помощи электричества, им самим испускаемого по проволокам, концы которых прикреплены к пациенту. Очень всё это было интересно (хотя и дорого), но довольно бесполезно, т. к. «кардиограмма» поведала мне истину, давно мне известную, что «семи смертей не бывать, а одной не миновать», т. е. что мне не грозит внезапная смерть от грудной жабы или закупорки артерий, но что сердечные мышцы слабы и жить мне нужно очень осторожно, чтобы длить свои дни. А жить «осторожно» не по моему темпераменту.

В моем семействе произошли некоторые перемены:

1) Зандроки на зиму переехали в Фавьер, т. к. Юра³ решил свой пчельник сделать передвижным и возить его зимой на юг, а летом – в Альпы. Но цены на мед пали катастрофически и, вероятно, у них не хватит денег на такие переезды.

2) Лёля Кельберин получил место в организации «Плана Маршалла», и Наталя этим воспользовалась, чтобы выписать Мику с девочками в Париж, где мой двоюродный внук Сережа Чехов оперировал Олину ногу. Операция прошла удачно, и нога, хоть и осталась короче своей пары, но приняла нормальное положение, т[ак] ч[то] будет лишь нуждаться в обуви с толстой подошвой. Всё это, конечно,

вывело их из бюджета, тем более, что за дачу, которую они вместе нанимают под Версалем, приходится платить в месяц по 15,000 фр. Не знаю, как им удастся выплыть. Мою внучку Алену Вы, вероятно, скоро увидите, т. к. она собирается съездить в Лондон из Манчестера, где сейчас находится. Кажется, она собирается выйти замуж по возвращении во Францию. С ее женихом я не познакомился. Кажется, что он хороший парень, только «никчемный». [Окончания письма нет]

1. Ариадна Владимировна Тыркова-Вильямс (1869–1962) – писательница, общественный деятель, в это время жила во Франции, позднее – в США.
2. Екатерина Дмитриевна Кускова (1869–1958) – общественно-политический деятель, публицист, жена С. Н. Прокоповича, в это время они жили в Женеве.
3. Юрий Евгеньевич Зандрок, муж дочери Оболенского Ирины.

ПРИЛОЖЕНИЕ
 МОНАХИНЯ БЛАНДИНА (АЛЕКСАНДРА ОБОЛЕНСКАЯ)
 К Т. С. ФРАНК

13 декабря 1950*

Bussy
 13-ХII-50

Дорогая Татьяна Сергеевна.

Сегодня папа получил открытку от Вашего сына с известием о смерти Семена Людвиговича. Мы уже давно ждем этого известия и всё спрашиваем себя – жив ли он. И вот всё равно это известие так поражает, как будто неожиданное. Я всю жизнь издали почитала и любила Семена Людвиговича и очень рада, что видела его еще сравнительно недавно, когда он был еще здоров. Какую тяжелую болезнь послал ему Бог, перед тем как призвать его к Себе. И какое это должно было быть испытание для Вас и для его детей и друзей. Но сейчас уже наступил мир и покой вечной жизни. Я уверена, что Вы живете в большом страдании, но и в большом свете, т. к. в смерти Семена Людвиговича и для Вас начинается вечная жизнь.

Если бы Вы могли потом когда-нибудь написать мне что-нибудь о его последних днях и о том, как его хоронили, – это всё ведь очень дорого знать, п. ч. это время жизни земной. Простите за мои низменные слова. Искренно от всей души Вам сочувствую и молюсь о нем и о Вас.

Ваша во Христе монахиня Бландина.

* Автограф (рукопись): Архив Дома Русского Зарубежья. Ф. 4. Оп. 4. Ед. хр. 11. Л. 4.

13 июня 1951*

Mrs. Frank
46, Corringham Rd.
London NW 11
Angleterre

Дорогая Татьяна Сергеевна.

Я виновата перед Вами – не служила панихиды по Сем. Людвиговиче¹, это были предсмертные дни папы. Он скончался вчера, 12 июня. Я ему читала Ваше письмо, думаю, что оно ему много дало. Похороны в пятницу, у меня много хлопот и писать некогда.

Преданная Вам и памяти С. Л.
м. Бландина.

* Автограф: ВА. S. L. Frank Papers. Вох 9. Почтовая карточка. Штемпель: Bussy-en-Othe. 13-6-1951.

1. Речь идет о панихиде на полугодие смерти – С. Л. Франк скончался 10 декабря 1950 года.

Публикация и комментарии – Г. Аляев, М. Макаров

БИБЛИОГРАФИЯ

А. И. Солженицын. Угодило зернышко меж двух жерновов. Очерки изгнания / М.: Время, 2021. – 880 с.

Сегодня, когда мы переживаем такие непростые времена, фигура Александра Исаевича Солженицына вырисовывается всё более и более мощно. Его удивительные прозрения о последствиях распада СССР, о взаимоотношениях России и Украины, о будущих событиях обжигают сегодня.

Конечно, огромное значение для формирования взглядов писателя имели годы эмиграции. Все двадцать лет, проведенные, в основном, в США (1974–1994), были до предела насыщенными работой и, в то же время, осмыслением своей новой жизни и осмыслением западного образа существования, в котором писатель-изгнанник также находил много недостатков.

Он никогда не переставал открыто говорить то, что думал, – ни во время жизни в СССР, ни в изгнании, когда часто выступления Солженицына вызывали оторопь у западных интеллектуалов. Это было очень непросто. Воспитывать детей на чужой земле и стараться, чтобы они оставались русскими. А, главное, продолжать свое дело, каждодневную, неостановимую работу над эпопеей «Красное колесо», которое должно было открыть правду о катастрофе 1917 года. Опыт Февраля буквально обжигал своей актуальностью. «И как я этого не видел сорок лет? Как же поддался заманчиво розовому облаку февральского тумана? Как же не разглядел, что не в Октябре всё решалось, а уже в Феврале?», – писал Александр Исаевич.

Писатель специально поселился в американской глуши, чтобы его меньше отвлекали. Его книга – прежде всего историческое исследование, требовавшее огромного труда по изучению источников, собиранию фактов. Солженицын получал материалы из архивов американских университетов, приобрел коллекцию микрофильмов из Гуверовского университета, старался встречаться или переписываться с теми представителями русской эмиграции, кто помнил роковые дни революции и Гражданской войны. «В моем случае величайшую подмогу оказали Старики – вот те старые эмигранты революционных лет. Они одарили меня и эпизодами, и самим духом времени, который только и передадут ‘неисторические’, рядовые люди», – писал он. Однако совсем уйти от суеты окружающей жизни писателю не удалось. Слишком велик был интерес к «вермонтскому отшельнику». Александра Исаевича всё время одолевали просьбами об интервью, о встречах. Кроме того, он просто не мог отмалчиваться и не комментировать происходящее в мире.

Как ни странно, но после СССР, где его сопровождала оголтелая

травля, Солженицын столкнулся с этим и на Западе. И поводом тому служили негативные оценки прошлого и будущего России. Многие, объясняя трагедию Российской империи в XX веке, находили истоки подвалов Лубянки во времена Московского царства. И Солженицын восставал против этого, доказывал, что революция разрушила подлинные национальные традиции России. «Когда Октябрь провалился в помойную яму – Россию проклинают за то, что она и есть Октябрь. И в глазах всего мира теперь присыхает, что коммунистическая зараза и есть русская зараза.»

Как шла эта напряженная жизнь, кто и как помогал писателю, как он воспитывал детей и в какие идеологические схватки ему приходилось вступать, как Александр Исаевич организовывал помощь соратникам, оставшимся на родной земле, – обо всем этом теперь можно узнать, взяв в руки огромный, почти в 900 страниц, том воспоминаний Солженицына «Угодило зернышко промеж двух жерновов». К записям он приступил еще в Америке, каждые четыре года отмечая, что было наиболее существенным в его жизни. После возвращения в Россию отрывки частично печатались в «Новом мире», но полностью «Угодило зернышко...» выходит впервые. Подготовила мемуары к изданию, со всеми необходимыми комментариями, Наталия Дмитриевна Солженицына. Нелишне отметить, что работу такого объема, как правило, выполняют коллективы больших научно-исследовательских институтов.

Поражаешься целеустремленности Солженицына. Яростно, с потрясающей искренностью он пишет обо всем, что с ним происходило, о том, что рождало те или иные его поступки. И главное – об ощущении своей миссии. Как и при создании «Архипелага ГУЛАГ», когда Александр Исаевич чувствовал себя ответственным за сотни тысяч безвинно замученных, так и здесь он понимал, что никто, кроме него, не расскажет полную правду о русской истории. О катастрофе, которая половиной человечества в XX веке отмечалась, как величайшее событие, как праздник. «Я чувствовал себя – мостом, перекинутым из России дореволюционной в Россию постсоветскую, будущую, – мостом, по которому через всю пропасть советских лет перетаскивается тяжело груженный обоз Истории, чтобы бесценная его поклажа не пропала для будущего», – писал он.

Эта книга очень нужна сегодня. Потому что история имеет свойство всё время повторяться, и наследие великих мыслителей, находивших закономерности в трагических событиях прошлого, более чем востребовано в наши дни.

Виктор Леонидов

Полина Брейтер. Исповедь счастливого человека. Письма из тюрьмы / ИД «Городец», 2021, 472 с.

Способность радоваться простым вещам: солнцу, небу, птицам. Дарить тепло и любовь. Видеть прекрасное в ростке, пробивающемся сквозь землю, и в женщине, осужденной за убийство. Учиться не судить и не клеймить. Стремиться к этому всегда, но обрести в полной мере лишь в тюрьме. Полина Брейтер, человек удивительной судьбы и большого сердца, знакома читателю по книгам «Уроки чтения», «Октава», «Бирюзовый дождь». Очень разные по замыслу и композиции, эти книги, тем не менее, имеют много общего: они о поиске своего пути. В основу представляемой книги легла личная история Полины Брейтер – педагога, переводчика, литератора, осужденной по делу о групповом мошенничестве в Claims Conference, организации, занимающейся оформлением компенсаций пострадавшим от Холокоста. В книге она рассказывает о том, чем для нее стало испытание тюрьмой.

Составленная на основе обработанных писем и дневниковых записей, по фактологическому материалу «Исповедь счастливого человека» во многом перекликается с вышедшими ранее мемуарами Пайпер Керман «Оранжевый – хит сезона». Описание быта и нравов американской женской тюрьмы, размышления о бессмысленности и неэффективности пенитенциарной системы, равнодушные и произвол надзирателей, колоссальная значимость поддержки друзей – всё это и многие другие детали формально объединяют два произведения. Однако смысловой каркас и основной посыл авторов существенно разнятся. У Пайпер Керман финальный аккорд звучит пощечиной американскому обществу, готового инвестировать огромные средства в «лечение болезни» вместо ее предотвращения. «Исповедь» Полины Брейтер – документ, свидетельствующий о невероятной исцеляющей силе ежедневной «работы души», работы, позволяющей преодолеть неожиданные удары судьбы.

Каковы ощущения человека, вынужденного признать себя виновным в том, что действовал по велению сердца? Чувствует ли он боль, обиду, несправедливость, уместные в такой ситуации? Что для него является более тяжелым: потеря привычных атрибутов материальной жизни или утрата достоинства? У каждого человека будут свои ответы на эти вопросы. Есть они и у Полины Брейтер.

В первые дни столкновения с тюремной системой Полина Брейтер исполнена благостным чувством отрешенности от происходящего: повседневная рутина в малой степени занимает ее, ужас неизвестного довольно быстро уступает место почти детскому любопытству, вынужденная аскеза не страшит вовсе. Плохое понимание разговорной речи ограждает ее от эмоционального шума, связанного

с нахождением в многоголосной, чуждой по культурологическому и социальному бэкграунду среде. Жизнь Полины распадается на две параллельные Вселенные – земную и космическую. В земной происходят проверки, вызовы к начальству, притирка к соседкам по камере, переписка с друзьями. В космической душа ее – поначалу робко, затем всё смелее и смелее – расправляет крылья и устремляется навстречу чему-то другому, большому, настоящему, частью которого она всегда себя ощущала. В тюрьме реализуется ее мечта о строительстве «внутреннего монастыря».

Полина считает, что начало этому строительству положили человеческая доброта и участие, совершенно не ожидаемые в том месте, где она оказалась. Доброта породила надежду. Надежда подарила свет. Свет принес уверенность в том, что душа не умрет. «Я могла бы сказать, что испытываю что-то очень похожее на счастье <...> во мне струится тихий свет, – пишет автор. – И все слова слишком грубы для этого. Это высоко. Это прекрасно. И я не знаю, кого благодарить за эту благодать, которой совсем не заслуживаю.»

История знает немало примеров духовного подъема в условиях заключения. Лишенный в тюрьме привычных материальных атрибутов жизни, человек оказывается один на один со своей имманентной сущностью, именно она определяет его способность справляться с трудностями. Люди высоких нравственных идеалов зачастую проявляют большую стойкость и сопротивляемость невзгодам, ибо для них всегда остается открытым путь к духовным богатствам. В Омском остроге оформился характер и миропонимание Достоевского, там он «познал себя и Бога». В одиночной камере Петропавловской крепости Чернышевским написан роман «Что делать?». Шаламов благодарил Бутырскую тюрьму за то, что помогла в поиске нужной формулы жизни. Годы, проведенные во Владимирской тюрьме, были невероятно плодотворными для Даниила Андреева. А сколько еще поэтических произведений и философских трактатов были задуманы и написаны в неволе! Вот и в случае с Полиной Брейтер жизнь – или Создатель? – проверяет на прочность и целостность ее внутренний нравственный стержень. Каждый день она открывает для себя новый мир, полный зла и несправедливости, боли и унижения, но также тепла, участия, любви и добра. Каждый день душа ее трудится, осмысливая и принимая происходящее.

Поначалу Полина Брейтер связывает свой эмоциональный подъем с большим объемом высвободившегося временного ресурса. Она даже задается риторическим вопросом об иллюзорности свободы за пределами тюремной решетки – там, где человек находится в плену различных финансовых обязательств и вынужден тратить огромное количество энергии и сил на обеспечение базовых потребностей в

еде и крове. Однако довольно скоро ей становится очевидно, что пенитенциарная система представляет собой лишь уродливую копию человеческого социума, где, развращенные праздностью и подавленные отсутствием перспектив на воле, гибнут человеческие души. Мысленно возражая Достоевскому, она утверждает, что за несколько месяцев пребывания в тюрьме не встретила никого, кто бы муками пытался возродить в себе человека. По окончании срока пребывания в тюрьме ее выводы становятся еще более категоричными. «Собственно говоря, извращение – уже сама идея, что одни люди могут держать под замком других людей, кормить их худо-бедно и заставлять трудиться бесплатно или за символическую плату. Идея, что одни люди могут решать, имеют ли право на жизнь других людей и можно ли их убить, то есть совершить то, что считается одним из самых тяжких преступлений. И ведь совершенно очевидно, что ни один человек не избавился от преступных наклонностей благодаря пребыванию в тюрьме. Это невозможно по определению», – заключает Полина Брейтер.

Осознавая неуместность параллелей между американской тюрьмой и сталинскими лагерями в том, что касается условий содержания и соблюдения прав заключенных, Полина Брейтер не склонна героизировать свой опыт. Тем не менее, она выделяет общие характеристики обеих систем: чувство унижения, зависимость от произвола надзирателей и уязвимость, возникающую вследствие этой зависимости. Оказавшись внутри совершенно чуждого ей мира, она придумывает защитный механизм, позволяющий ей вывести себя за пределы эмоционального поля восприятия ситуации и сохранить свое человеческое достоинство: «...унижение? Я его практически не чувствую, – говорит она. – Потому что надзиратель функционирует в одном мире – в своем, для него привычном и родном, а я стою, ожидая санкций, в другом – в своем, привычном и родном для меня. Между нами прозрачная невидимая перегородка, и от степени ее непроницаемости и зависит моя уязвимость».

Выстроить перегородку помогает, в том числе, музыка. В дневниках репрессированной и сосланной в Сибирь Ефросиньи Керсновской есть эпизод, в котором она рассказывает, как однажды музыка спасла ее от подписания абсурдных и клеветнических обвинений следователя. Измученная лагерным произволом и допросами, она почти утратила силы сопротивляться и вдруг услышала из репродуктора «Песню Сольвейг». Ее сознание мгновенно «проснулось» от морока бесчеловечного мира гулаговских лагерей, она вспомнила уютные вечера в кругу семьи, атмосферу любви и тепла, которой была окружена в детстве и юности, и решительно отвергла все обвинения. Безусловно, обстановка тюрьмы-больницы, в которой отбывала наказание Полина Брейтер, существенно отличалась от таковой в

лагерях ГУЛАГа, но ведь каждому отмеряется по силам. В книге автор описывает свое состояние, когда она, потерявшая на время доступ к музыке – не музыке вообще, но той, которой была окружена с детства, – наконец получает возможность вновь услышать звуки симфонического оркестра. «Словно дождь в пересохшую землю», – говорит она читателю. «Нам музыку подарили!» – делится она со своим Деревом-другом.

Дерево-друг, которому Полина Брейтер посвящает множество лирических страниц, встречает ее во время ежедневных прогулок во дворе тюрьмы; для Полины оно является проводником в тот, другой мир, бескрайний и безграничный. Дерево это понимает мысли, дарует силы, вселяет надежду, утешает в минуты слабости и свидетельствует... о глубоком внутреннем одиночестве автора, происходящем от осознания своей инакости. К слову сказать, образ дерева присутствует во всех произведениях Полины Брейтер, и символизм его не случаен: корни, уходящие в землю, как бы представляют собой земную жизнь, а ветви, устремляющиеся в небо, – жизнь духовную. Контакт с природой позволяет Полине осознать себя песчинкой космоса, частью Божьего замысла и полностью довериться ему. Громадная вселенная вливает в нее свои живительные силы, наполняя теплом и счастьем.

Важное место в духовных поисках автора во время тюремного заключения занимают дискуссии на религиозные темы, затрагивающие фундаментальные вопросы бытия: о своем месте в этом мире, о предопределенности событий, о существовании высшей воли и ее принятии. Наиболее горячие и непримиримые споры – с Раяей, румынской еврейкой, осужденной за убийство мужа.

– Думали ли вы когда-нибудь о том, для чего Бог послал вам – всем нам – тюрьму? Не судья, не прокурор, а Бог? – спрашивает Полина на одном из заседаний еврейской группы.

– Вы хотите сделать из Бога маленького менеджера, чтобы Он отвечал на ваши вопросы – зачем и почему? – возмущается Рая; она не видит Божьей воли в том, что оказалась в тюрьме.

Полине, для которой Бог есть любовь ко всему человечеству, смысл пребывания в тюрьме видится расширением горизонтов познания, а значит и горизонтов любви. Рая, убежденная в том, что находится в тюрьме вследствие ошибки, «ограничивает» смысл своего существования изучением Торы; «застрявшая» в рамках еврейского мира, распространяет свою любовь лишь на принадлежащих той же вере. Концептуальное противостояние двух русскоязычных обитателей Карлсвельской тюрьмы порой принимает не вполне цивилизованные формы, но всё же в глубине души они желают друг другу добра.

Расширение горизонтов познания для Полины Брейтер означает прежде всего познание собственного порога принятия допустимого –

не в себе, но в другом человеке, а именно – в тех, с кем оказывается по одну сторону решетки. В исходной точке своего восприятия она сознательно дистанцируется от людей, с которыми у нее нет и не может быть ничего общего: убийц, наркодиллеров, воров. В этом дистанцировании порой даже просматривается некоторый снобизм убежденного в высоте своих моральных ориентиров и невинности человека. Но Полина Брейтер соткана из любви, любовь является формой ее существования. «Я вспомнила свою теорию о том, что все плохие люди становятся такими от недолюбленности, – пишет она. – Потому что трудно быть добрым и хорошим, если тебя никто, ну решительно никто не любит.» Для нее очень важным представляется не только сохранить в себе человека, но и увидеть человека в том, чьи поступки ужасают и отталкивают ее. Полемизируя с собой и с друзьями, убеждающими ее в том, что зло должно быть наказано, она совершает ту самую «работу души», которая позволяет ей гармонизировать свое внутренне отношение к преступнику в соответствии с ее религиозно-философскими представлениями: не в понимании и прощении, а именно в любви состоит истинный смысл христианства. Ибо кто есть человек, чтобы прощать? Ведь прощая, ты берешь на себя роль судьи, а в любом судеистве присутствует как субъективизм судящего, так и субъективизм временных норм морали. Владимир Соловьев когда-то писал, что «коренной смысл любви <...> состоит в признании за другим существом безусловного значения». Полина Брейтер постигает этот смысл в полной мере.

«Совмещением несовместимого» называет автор время, проведенное в заключении, – и это, пожалуй, самое верное определение ее отношения к пережитому опыту. Смысл его не в том, что в людях, с которыми Полина столкнулась в тюрьме, легко уживались добродетели и пороки, и не в том, что несвобода тюремной жизни открывала возможности для свободы духовной. В этом определении – выстраданная Полиной Брейтер философия благодарного принятия всего, что происходит с человеком.

Было бы неправильным совсем не упомянуть о книгах – незримо присутствующих героях «Исповеди», ведь для Полины Брейтер прочитанные книги – это кирпичики, из которых она строит свой небесный храм. Книги умножают круг ее воображаемых собеседников, они есть необходимая составляющая ее земного существования, энциклопедия жизни, предмет дискуссий, ниточка, связывающая ее с нормальным миром. Книги ведут ее дорогой любви, дорогой счастья, дорогой Господа, и именно они соединяют в конечном результате ее земную и космическую жизни.

И в заключение – несколько слов о том главном, что помогало Полине Брейтер все долгие месяцы пребывания в тюрьме: об искренней и действенной поддержке друзей. Время, проведенное Полиной

в Карсвелле, стало испытанием и настоящей Школой любви, в том числе и для них. По большому счету, добрая половина того, что происходило с внутренним миром автора с момента попадания в «узлище» – это слаженная работа команды ее преданных друзей, фан-клуба «Как Полина». Флюиды любви, отправляемые Полиной во Вселенную на протяжении всей ее жизни, возвращались к ней заботой, питали, наполняли радостью и светом.

* * *

Владимир Гржонко. Время сурка. Роман, повести / М.: Время. 2022, 390 с.

Для Владимира Гржонко путь в литературу не был линейным. Он, как и многие эмигранты конца девяностых, ехал в никуда. Свой первый роман «The House» автор написал в 2001 году, взяв для этого творческий отпуск. В литературе это время поиска новых форм, способных показать многообразие явлений и их неоднозначность. Это отказ от крайностей и отсутствие ярлыков, уход от архетипов и внимание к деталям, приглашение читателя в пространство текста и открытые финалы, кратно увеличившаяся интертекстуальность и «матрешечность» произведений, оспаривание авторитетов и неизбежное цитирование, самоирония и отсутствие претензий автора на абсолютную истину.

Прозаик, публицист, дважды лауреат премии Марка Алданова, Владимир Гржонко представляет сегодня новую формацию русскоязычных писателей Зарубежья – с одной стороны, не утративших свои исторические корни, а с другой – обогащенных опытом осмысления своего культурного багажа в контексте иного времени и пространства. В авторский сборник «Время сурка» вошли роман «Время сурка» и две повести-лауреаты Алдановской премии «Повести Скворлина» и «Разочарованный странник».

«Время сурка» – это роман в романе, роман-рефлексия, роман-биография с элементами вымысла. Начинается он с почти булгаковской истории из жизни русскоязычных эмигрантов города Нью-Йорка. К главному герою Павлу, зарабатывающему на жизнь в качестве мозольного оператора, обращается некая Рита (Маргарита Мастерс) с предложением написать сценарий-провокацию. По заказу неназванных клиентов Рита с командой проводит «проверки на вшивость» – ставит объекты тестирования в ситуации, когда с человека сбрасывается цивилизационный налет норм и приличий и на первый план выступает его природная сущность. Павел, в прошлом журналист и писатель, берется за работу, не осознавая того, что сам стал объектом эксперимента.

Возникающие с первых страниц неизбежные аллюзии к культу-

вому роману М. Булгакова вызывают не только говорящее имя Маргариты Мастерс и род ее деятельности. Здесь и формальные зацепки вроде разбитого кувшина с розовым маслом, и наличие нескольких сюжетных уровней (бытового, мистического, исторического), и вмешательство «нечистой силы» и многое другое. Однако роман Гржонко о другом: «Время сурка» – и это роднит роман с фильмом Гарольда Рамиса – о времени пути человека к самому себе.

Композиционно произведение состоит из трех чередующихся по ходу повествования временных слоев: интерпретации библейской истории об Аврааме – безымянном Господине в романе; семейных преданий и личной истории нарратора. Стилистическая выверенность каждой из частей соответствует представляемым отрезкам времени. Так, канва повествования, отсылающая к Книге Бытия, – плавная, неспешная, оставляющая пространство для размышлений. История фамильная достаточно дискретна в силу малочисленности сохранившихся воспоминаний и не заданных вовремя вопросов, а пласт настоящего времени и вовсе состоит из полунамеков. Не менее выразительны в романе и жанровые отличия: в нем философский характер притчи сменяется горькой иронией семейных баск, а в приключениях главного героя переплетаются вымысел и реальность.

Все сюжетные линии связаны между собой системой зеркал, где прошлое отражается в каждом последующем витке поколений, порой почти в точности копируя библейские предания, а порой причудливо изгибаясь под неожиданными углами. И если в несостоявшемся жертвоприношении прадеда Вульфа легко считывается параллель с праотцом арамейских народов, а в судьбе двоюродной бабки Софы прослеживаются те же повороты судьбы, что привели Сару во дворец фараона, то система внутренних связей между главным героем Павлом и ветхозаветными персонажами лежит не в событийной, а, скорее, в философской плоскости.

Для Павла работа мозольным оператором – лишь способ заработка, на самом деле он пишет роман (еще одна аллюзия к Булгакову). Пытаясь разобраться в причинах повторяемости аналогичных поворотов судьбы в семейной истории, он обращается к далекому прошлому с вопросом: а что можно было бы изменить там, во времена становления этносов, чтобы избежать последующей многовековой вражды народов, вышедших из одного семени?

Обращение к собственной родословной и культурно-историческим корням является, пожалуй, одной из наиболее представленных тем в литературе русской эмиграции. Психологические корни этого явления вполне объяснимы: эмиграция, с одной стороны, обеспечивает контакты между различными культурами, с другой – побуждает к поиску собственной идентичности. Что привело меня на эту землю? Что отличает меня от оставшихся и что объединяет с теми,

кто стал частью моей новой жизни? В поисках ответов на эти и другие вопросы пишется частная история жизни, история рода, история *на-рода*.

Павел – проекция нарратора в настоящем – предлагает свою версию библейской легенды; ее ключевое отличие от канонической трактовки – акцентуация повествования на необходимости делать выбор. Момент выбора подчеркивается в нескольких определяющих поворотах в жизни Господина: выбор пути принятия Бога (Путь Любви и Путь Страха), выбор одного наследника с изгнанием другого («Господин колебался, ибо в нем, попеременно побеждая друг друга, уживались и Страх, и Любовь»), выбор идейного родства вместо кровного («Я не могу не исполнить волю Единого!») и, наконец, выбор *любимого* сына в качестве Великой жертвы («Сердце мое рвется между ними»).

Центр напряжения библейской линии в романе Гржонко – альтернативная развязка сюжета о жертвоприношении. Разлученный с братом из-за ревнивого противостояния матерей, повествователь воспринимает историю жертвоприношения и через призму собственной потери, в том числе. Психологическую травму отверженного сына хорошо чувствует Лутия – слуга Господина и проекция повествователя в прошлом, он отчаянно пытается сохранить жизнь обоим, найти третий путь; выход из тупика *tertium non datur*.

Образ Лутии – еще одна «поправка» к библейскому сюжету, в котором слуга Авраама упоминается лишь однажды. Гржонко наделяет Лутию чертами верного помощника из волшебных сказок, готового прийти на помощь своему хозяину. В то же время Лутия – носитель гуманистических ценностей, свойственных современной эпохе. Несмотря на благие намерения, ему не удастся осуществить свой замысел – отчасти потому, что в дело вмешиваются коварство и корысть, отчасти потому, что рассказчик отдает себе отчет в некоторой наивности собственных фантазий. Экзистенциальный вопрос-вызов о принципиальной ненужности служения Богу, брошенный в лицо Лутии, остается без ответа: верный спутник Господина укрывается в личине маленького человека, «не способного постичь законы мироздания».

Есть в легенде и место Дьяволу. В образе «плохого» слуги, преследующего исключительно личные интересы, он встает на пути возможного перелома событий ветхозаветной истории. «Погоди, Лутия! – нашептывает Нахор, антипод Лутии, – Сейчас я тебе объясню. Кого бы из своих сыновей ни выбрал господин, это будет означать, что оставшийся ему наследует. Но может ли стать великим народ, начавшийся от нелюбимого сына? А если господин принесет в жертву того, кого любит меньше, то он нарушит волю Единого, и тогда не величие, но бедствия ждут нас.» Очевидное отсутствие «логики» божественного

испытания смущает Лутию, лишает его изначально присутствовавшей воли и смелости, заставляет усомниться в правильности своих намерений. Дьявол торжествует.

В дне сегодняшнем герой романа утрачивает «веру в идеи, требующие крови»: история монотеистических культур не раз демонстрировала примеры нетерпимости по отношению к инакомыслящим, а идея избранности неоднократно приводила человечество к локальным войнам и глобальным катастрофам. И потому кульминация романа в плоскости настоящего времени состоит в том, что Павел разрушает написанный с большим трудом сценарий «проверки на вшивость». Он рискует потерять гонорар, но остаться в парадигме собственных ценностей – *безусловного приоритета человеческой жизни над любой идеей*.

Если «Время сурка» можно было бы назвать концептуальной переключкой с произведениями – маркерами эпохи, то «Повести Скворлина» следовало бы отнести к стилизационным эскизам писателя.

Известно, что пушкинские повести Белкина, написанные в жанре литературной пародии, вызвали у друзей поэта гомерический хохот. Современниками легко считывались множественные отсылки иронического характера к печатаемым в то время произведениям, а претензии на драматическую серьезность и подчеркнутую назидательность со стороны Белкина выглядели карикатурно. Со временем пародийный аспект повестей был не то, чтобы утрачен, но перестал быть легко узнаваемым без специальных разъяснений литературоведов, а фабулизованные анекдоты превратились в рассказы, где главной темой является образ маленького человека, сквозной для произведений русской литературы девятнадцатого века. Владимир Гржонко заимствует у Пушкина анекдотичную форму повествования, общую структуру, тему случая в судьбе, обыденность фона, стилистическую простоту и создает наброски к портрету маленького человека современной ему эпохи.

В повести «Выстрел» речь идет о циркаче, фокуснике, сотворившем однажды, в момент сильнейшего эмоционального потрясения, трюк, который никогда в последующей жизни он не смог повторить. С пушкинской историей рассказ объединяет идея некоего состоявшегося в прошлом события, наложившего отпечаток на дальнейшую судьбу человека. Однако, если в случае Сильвио мы в недоумениижимаем плечами по поводу надуманной драматичности интриги, то героя Гржонко читателю искренне жаль. Мы испытываем сочувствие к его скатившемуся в рутину взаимного раздражения брак, его несостоявшейся сольной карьере фокусника, к «имитации» культурной жизни в центре для иммигрантов-пенсионеров. Мотив мести, являющийся центральным у Пушкина, перемещается у Гржонко в

фигуральную плоскость: заурядная жизнь Петра Моисеевича является как бы отместкой судьбы за отсутствие веры человека в свои способности.

«Барышня-крестьянка» – пожалуй, самая экстравагантная, самая жесткая и самая горькая версия, если не сказать – инверсия, пушкинской повести, в которой главная героиня из бывшей детдомовской девочки с легко прогнозируемой убогостью жизни, превращается в валютчицу, легенду воровского мира. Куда там Лизоньке Муромской с ее шекспировскими трагедиями и маскарадными переодеваниями! Если в пушкинской истории преобразование внешнее никоим образом не затрагивает движение души, то настоящие американские доллары, неожиданно доставшиеся и надежно хранимые в интимном месте без малейшего шанса на использование, являют настоящее чудо внутреннего преобразования личности.

Повесть «Гробовщик» – эмоциональный центр цикла. Автор «врывается в рассказ по-чеховски, без стука», в нескольких штрихах обозначает контекст, рассказывает ряд забавных анекдотов и завершает свой кульбит фантазмагорическим сном в стиле Кустурицы. В этом сне повзрослевший ребенок ищет опору на новой земле – ему снится дедушка; возможно, подсознание подсказывает герою, что именно дед может помочь ему не растерять себя в разноголосице незнакомой жизни. Фрагментарная хронологическая структура текста не мешает читателю составить объемные портретные характеристики различных персонажей, а за ироничной формой изложения скрывается трагедия обезличивания человека в тоталитарном обществе, где значимость индивидуума определяется не через его деяния, но через причастность к смерти главного диктатора.

Метель, широко используемая в художественных произведениях в виде метафоры, служит у Гржонко внешней оболочкой рассказаматрешки: писатель задействует погодные катаклизмы в качестве безобидной завязки, повода скоротать время за чашкой чая со случайными попутчиками. Собственно же история обращается к канувшим в лету временам наивности подростков в пубертатном периоде и ханжестве взрослых; смятение чувств в ней присутствует на уровне физиологии и не претендует на напряжение пушкинской повести, где женитьба вслепую является метафорой жизни вслепую.

Наконец, «Станционный смотритель», заключительная повесть цикла, – это своего рода реинкарнация русских сказок, в отправной точке сюжета – невеста откуда свалившееся богатство, вслед за которым – неминуемое наказание за библейское «не укради». Ярко прописана народная беспечность и доверчивость героя, равно как и очерчено предсказуемое христианское принятие судьбы – «Бог дал Бог взял, не раз такое бывало». Фатализм, перекладывание ответственности, не самоуничтожение, как у Пушкина, но *позиция* маленького человека,

которому куда тягаться с высшими силами, управляющими порядком во Вселенной...

Подводя общую черту под «Повестями Скворлина», хотелось бы отметить, что от пушкинской карикатурности их отличает добрая ирония. Автор хорошо понимает обстоятельства жизни своих героев, а потому проявляет к ним сочувствие. Владимир Гржонко рассказывает историю, в которых нет морализаторства, но есть беспощадность зеркала и милосердие в него смотрящего.

Завершает представляемую книгу повесть «Разочарованный странник», действие которой переносит читателя во вторую половину девятнадцатого века, его исторический контекст и проблематику знаковых художественных произведений того времени. В ней автор с присущими ему легкостью и изяществом совмещает комичное и серьезное, прошлое и настоящее, правду и вымысел, приключенческий роман и философские пассажи.

Интрига и перипетийный каркас повести формально переключаются с таковыми в «Очарованном страннике» Лескова, где главный герой помимо своей воли оказывается втянут в круговорот событий, изменивший траекторию его жизни. Однако название явно указывает на пародийный характер повествования. Герой Владимира Гржонко – полная антитеза лесковского странника, это история антигероя, жалкого в своей неспособности противостоять чужой воле, брать на себя ответственность и принимать решения. В отличие от Ивана Флягина, испытания не формируют и не закаляют характер Александра Яковлевича: всякий раз, когда ему представляется возможность повлиять на ситуацию, «его воля слабеет», «растерянность превращается в страх», «ноги становятся ватными», и он словно погружается в «тягучий формалин гипнотических речей». Роман Лескова – это предопределенность судьбы, цепь испытаний, нравственное созревание и, в конечном счете, обретение Бога. Разочарованный Странник – о проделках Дьявола, о суевериях и невежестве, о пагубности веры в свою избранность, и потому в нем множество отсылок к Достоевскому.

Сюжетная линия повести развивается вокруг предотвращения предполагаемого государственного переворота. Исторический фон – калька современной России: в нем присутствует и заговор мнимых друзей из Северо-Американских штатов с целью разрушения экономики, и политическая полиция с ее изощренными методами провокаций и шантажа, и возрастная усталость государя, и многое другое. Губительная одержимость идеями, всерьез обсуждаемые магические способности людей с физическими изъянами, манипуляции сознанием, борьба с вольнодумием – грустная аналогия в контексте сегодняшних реалий.

Интертекстуальность и количество гиперссылок достигает в

«Разочарованном страннике» максимального градуса. Virtuозно вплетая в канву повествования литературные аллюзии и исторические параллели, автор создает новое произведение из фрагментов хорошо знакомых знаковых систем. Вот, например, подставной фармацевт Шмидт, сотрудник секретной полиции провоцирует героя рассуждениями о психологии бомбистов, скрепивших идейное братство кровавой жертвой: «...любому живому делу нужна смертная жертва. Причем, желательно невинная! Иисус Христос это хорошо понимал!» А вот пассажир в пенсне обсуждает женщину, бросившуюся под поезд: «Господа литераторы из обычного адюльтера уж непременно выведут такое, что и читать неприлично». Владимир Гржонко доводит идею внутреннего цитирования до крайней формы – и принимается жонглировать ссылками на свои собственные работы. Здесь главный герой, пытающийся подловить отца на отсутствии логики рассуждений, – знакомый нам Левушка из «Гробовщика», косоглазый извозчик с единственным прославившим его фокусом – Петр Моисеевич из «Выстрела», господин Шмидт, собирающийся взорвать бомбу на детском празднике – команда Риты Мастерс из «Времени Сурка», а главный герой, подобно Левиному папе, считает единственным значимым событием в своей жизни встречу с генерал-губернатором. Да и поиск третьего пути как отказ от паттерна двоичной системы тоже фигурирует в повести, правда, в карикатурном виде. Таким образом, пародийная форма изложения сглаживает трагедию временной петли, и в этом видится главное настроение этого произведения.

Но повествователь не умирает и не растворяется в бесконечном пространстве интертекстуальных игр. Размножившись в персонажах-проекциях, он не утрачивает выразительности своей позиции нарратора. А Владимир Гржонко в резко поляризующемся мире эпохи глобальных катаклизмов ищет свой путь, способный подарить надежду и свет. И в помощь читателю он предлагает веру в собственные силы при доброй доли самоиронии.

Юлия Баландина

Евгений Чигрин. Водяные деревья / Изд-во «Зебра-Е», 2022. 232 с.

За творчеством Евгения Чигрина давно пристально следят знатоки и любители отечественной поэзии. Поэт не перестает удивлять, всякий раз погружая читателей в свой самобытный поэтический мир, где привычное, преображаясь, предстает необычным, а самое невероятное, легко приручаясь, оказывается частью повседневного. Как удастся Евгению Чигрину совмещать бытовое и бытийное, обыденное и мистическое, земное и небесное, старинное и современное – невозможно понять логически. Наверное, и сам поэт не смог бы раз-

ложить по полочкам, пронумеровать части уникального поэтического мира. Он не «конструирует» свои поэтические строки – он их выдыхает. Кажется, что «в его словарь добавлен нейролептик» – мы дышим этой поэзией как особым веществом. При этом поэзия Чигрина отнюдь не грешит «абстрактной заумью», она не оторвана от реальности, от ежедневных ее событий и примет. Просто эта реальность чудесным образом поэтически преобразована и представлена как бы под иным градусом – «под индексом космических широт», в результате чего привычный, предсказуемый, до дыр засмотренный мир становится невероятно увлекательным, маняще многоликим. Мы начинаем оглядываться вокруг и видеть окружающее оком поэта. И вдруг замечаем, что «созвездия, как медная посуда, на кухне неба сложены не в ряд», за окном «золотой фонарь нацепил парик», под ним «стоит декабрь в распахнутом пальто», а в комнате – «желторотый свет» домашнего уюта, в бутылке на столе «вытянулась в янтарной кофте астра», «на стуле ночь сидит в подсветке колдовства», и вообще везде разбросаны «крошки волшебства» – только подбирай их вслед за «птицами метафор», а там глядишь – и «ящеры метаморфоз» появятся, а на них в обнимку – прошлое и настоящее, сон и явь. Разгонится «колесо аллегорий», и «воображение-возница» будет прокладывать новые маршруты толкований.

...Ты видишь, в сочинителе растет
 Магический кристалл и лунный камень,
 Нефритовый зверек, янтарный кот,
 А демон-кошка выдыхает пламень...
 Всё остальное – финиш, эпилог.
 Захочешь – нагадай, хоть на кофейной...
 За выдумкой пойдет хоть птичий бог,
 Хоть муравьи тропинкой нелинейной.

Чигрин категорически не желает оставаться в границах своего исторического времени. Он легко перелистывает эпохи, страны, традиции, верования и вольнодумства. Он рад свободному доступу к культурному наследию минувших эпох и свободно ориентируется в разных видах искусств, накапливая свой запас созвучий и узнаваний для последующих поэтических воплощений и перевоплощений. Так, например, в живописи Чигрину особенно близок мистический сюрреализм, выводящий на широкий простор воображения. Его частые собеседники – Босх, Брейгель, Дали. Некоторые стихотворения как будто продолжают живописные полотна этих мастеров – в новых, почти зримых, запоминающихся поэтических образах. Его стихи – интересный пример вкрапления в темы и сюжеты, навеянные культурой и мифологией прошлого, примет и языковых оборотов современности.

Чигрин не замыкается в капсуле своего времени, но и не отстает от него. Он следует за языком, каждый раз опережающимся по-новому в новых смысловых парадигмах. Поэтому, признавая, что «в Космосе тепло без 'Инстаграма'», поэт, тем не менее, может отправить «ангелам депешу на... angel.ru», погрузиться в «зимний ютуб» или отыскать что-то любопытное в «файлах памяти».

Летим с бродягой-ангелом на отдых
 К одной звезде в мерцании светил,
 С которой мы на связи по смартфону:
 Пишу в WhatsApp над грязною рекой,
 Под нами Стикс? – почтение Харону
 И тетке Смерти с пепельной косой.

Одна из десяти глав «Водяных деревьев» называется «Неуловимый алхимик» – точнее не скажешь и о самом авторе книги. Его поэзия преобразует бытие, превращая обыденность в редкий «драгоценный металл», из которого поэт-ювелир искусно создает новые образы и смыслы. Чигрин транслирует через свою поэзию некое экзистенциальное знание, являющееся нам в разных обликах и ликах и придающее «жизни ту остроту, которую не отыскать и лампой Диогена». Именно эта поэтическая алхимия, уводящая за пределы видимого, помогающая прозревать тайные смыслы явного, объединяет все книги Чигрина. Он всегда многовариантен и всегда неизменен – его ни с кем не спутаешь. Поэзию Чигрина нужно принимать как данность и понимать прежде всего не разумом, а сердцем, «что рас-судка глубже», а также всем своим бессознательным и интуитивным. Поэзия Чигрина – проводник в великое разнообразие земных миров и миров параллельных, окружающих нас. В его стихах-наитиях, стихах-пророчествах – ключ ко многим дверям, невидимым в примелькавшейся взору суетливой обыденности. Но то, что эти двери, потайные ходы, лазы скрыты от глаз, вовсе не означает, что их не существует. Они тут, рядом – стоит лишь прислушаться и приглядеться.

А в небе херувим с твоим лицом –
 Смешливый дух. Смешные духи возле...
 Какой из них пошепчет над стихом?
 И спрятанный в небесной папиросе
 Дым золотой колечками пойдет...
 А здесь ты или там в потустороннем?
 Для двери – видишь двери? – нужен код.
 Смотри, впускают, но с бельем казенным.

Откроешь книгу стихотворений, разгадаешь код – и попадешь в

чигринское Лукоморье «слововидений», в котором живут свои сказания и предания, действуют свои законы и расставлены свои опознавательные знаки. Там «пасется в небе красно-бурый скот», «луна шлет лесам янтарные шифровки» и сверкает «молния в карминовом пальто», там «сад с головой в рубиновом огне», там порой сгущаются «зловидения», но на помощь спешат «ангелы-хранители в шерстяных носках». Там растут «водяные деревья», на «сленге озерном» заговорщически переговариваются русалки, и «волны Леты бьются в дебаркадер Яндекс-ленты». Там безграничны «ландшафты сновидений» и бесконечен «кинотеатрик детства». Иди направо, иди налево – ничего не потеряешь, только приобретешь. И еще поймешь, что дороги в Лукоморье часто замысловато переплетаются друг с другом, но конца не имеют.

Чигрин хорошо разбирается во взаимосвязях земных противоречий, в диалектике сущего и потустороннего. Он направляет свой поэтический объектив не только на свет, но и на тьму, ибо знает – они нераздельны, как жизнь и смерть («Вздыхает смерть в хитоне жизни»), и неразлучны, как молодость и старость («Родишься стариком – умрешь мальчишкой»). Случается поэту и открывать «калитки локального ада», когда «на душе чернильная тоска», и наблюдать «весь в бабочках кровавый антимир». Часто подсознательное прорывается наружу в зловещих образах, и Чигрин ловит неведом рифм и эти видения. Он поэтически всеместителен, «не брезглив», он позволяет себе подсвечивать самые дальние углы существования. Он проникает во всё по праву поэтической вседозволенности. Поэт не боится быть бесстрашно откровенен и в рассказе о собственных провалах в темноту – скоротечных или затяжных, превращая самого себя в объект поэтического познания. У Чигрина «ателье в небесах» – но и в подземельях подсознания. Он берет книги в «библиотеке сумерек и страха» и зачитывает нам оттуда.

В квартире сфера из неуловимых
 Миров соткалась: адский филиал;
 В трельяже насмехается алхимик,
 Тряся башкой. Мозаика-кошмар
 Вдруг начинает надо мной вращаться,
 И в этом «вдруг» еще не Танат, но –
 Сигнал оттуда: нужно возвращаться,
 Такое вот аидово кино.

Мне показалось, что мистической сумеречности в новой книге Евгения Чигрина больше, чем в предыдущих. Возможно, причина в том, что поэт стал острее ощущать стремительность уходящего времени, ускоряющееся таяние жизни. Всё чаще звучит мотив невоз-

вратности прекрасных мгновений, которые остались в прошлом. «Вот и сносила рубаха» – так образно пишет поэт о скоротечности бытия. Поэт учится смиряться с тем, что однажды и на него «дохнет Бог старости», а потом душа и вовсе покинет временное телесное пристанище и отбудет. «Смерть стала ближе. Ботинки не жмут». И тема запретная – поэту тоже «не жмет». Да, всё смертно, всё преходящее, лишь поэтическое слово животворяще. Поэтический заговор – заговор! – против страха небытия и многих других страхов в творчестве Чигрина оказывает на читателей почти психотерапевтическое воздействие: становится легче жить и бороться с собственными демонами, на смену которым обязательно приходит нечто чудесное. А тяга к чуду, сказке, игре в каждом из нас заложена изначально – ведь «в пансионе сущего все мы дети». Поэтому у Чигрина много прекрасных стихов, «заглянувших в детство» – часто, впрочем, печальных, ведь «слишком поздно жаловаться маме».

Вечный ребенок в душе поэта, которому «одинок шар земной на пальчиках держать», не может смириться со своим экзистенциальным сиротством, но понимает, что жить приходится в однолинейном земном времени и в трехмерном пространстве заданной судьбы:

Чего теперь, когда случилось всё
И ничего не переделать, мама...
В календаре меняется число,
Последних листьев длится голограмма.

Но длится и «стихолента» чигринского поэтического наития. Чигрин неизменно напоминает: бытие – это прежде всего словотворчество и, значит, подвластно преобразующей силе поэзии. Пока «в сновидческой играют клавишины», а в поэтической строке «цветет нерукотворный сад» – всё еще не безнадежно. Поэт знает: «только в буквах-книжках волшебство» и мастерски надевает «на кончик стрелы ставшее кобальдом быстрое лето».

Прекрасно утро, солнце вышло жить,
Перевернулось, и давай ловить
Всё в объектив, как в жизни, ненасытно.

Нина Гейдэ, Копенгаген

Каринэ Арутюнова. Патараг / Київ: «Друкарський двір» Олега Федорова. 2022.

Впервые читающие прозу Каринэ Арутюновой открывают ее для себя как что-то совершенно неожиданное, – сразу и навсегда.

Необыкновенный язык и тонкий психологизм притягивают читателя, заставляя искать ответы на вопросы, которые очень тонко и глубоко ставит автор.

Особый срез времени. В одной фразе – целая жизнь. Завороженность созданными образами ведет читателя в неповторимый мир прозы Каринэ Арутюновой, в мир, где, причудливо переплетаясь, настоящее вмещает в себя и прошлое, и будущее. Скажем, «Дочь аптекаря Гольдберга». История начинается со смерти. «Некрасивая девочка, стоящая босыми ножками на цементном полу, явилась ему посреди белого дня и, падая, аптекарь Гольдберг успел содрогнуться от жалости». Автору удается найти удивительно точные слова. От строчки к строчке видишь и переживаешь сильнейший по своему психологизму текст, в котором фрагменты талантливой рукой художника собираются в целое. Сюжет новеллы выстроен так, что в нем не находится ничего второстепенного.

Отец умирает, а дочь, пройдя через все круги ада, – возвращается. Она возвращается в мир, который, тем не менее, для нее не стал своим. Порвана нить, самая главная нить ее жизни. Уже нет того, что давало ей силы выжить – нет самого отца. Даже самые теплые моменты настоящего вызывают тоску по утраченному. Боль героини показана с такой щемящей откровенностью, что кажется: для другого уже просто нет места. Но «за долгие годы Муся научилась держать удар» – и это дает ей силы начать жить заново. В полутонах возникают спасительные моменты просветления, героиня «примеривает» на себя эту новую жизнь.

Безмерна сложность вопросов, на которые ищет ответы автор книги. Может ли человек, которого ломали, но так и не сумели доломать, быть счастливым? «Как мог бы быть счастлив изголодавшийся и бездомный, которого посадили за стол и дали тарелку супа?» Как увидеть в этой тарелке «морковные звездочки» – то, что увидел автор? Ярким сравнением двух миров: мира сегодняшнего и мира утраченного, мира детства Муси, автор подсказывает нам ответ.

Судьба Муси схожа с судьбами ее соседок по квартире, по которым война прошла железным катком, примяв их души. Не удастся поддержать Мусю и ее мужа: «...она всё время уходила от него, хоть и была рядом». Его смерть становится еще одной потерей, которая по сути ничего не меняет. «Спрут» сидел внутри, его так и не удалось убить. Нельзя убежать от себя самой, таков глубинный смысл этой великолепной вещи. В этом беге всё возвращается к началу, возвращается на круги своя. К Мусе, в ее видениях, приходит отец; наступает момент долгожданного единения. История Муси Гольдберг заканчивается там, где и должна: на земле предков. «Так написано в Книге, которую никто никогда не видел».

Другая вещь – повесть «Блаженные» – приближает нас к разгад-

ке тайны этой необыкновенной прозы. Почему одна-единственная музыкальная фраза, прозвучавшая из окон соседней квартиры, способна разбудить спрятанные воспоминания? Кто играет ноктюрн Шопена? Можно забыть лицо, но нельзя забыть музыку... Суть вещей прорастает из воспоминаний и выстраивается в картину жизни, как будто вставленную в багетную раму.

Эти смутно забытые лица помнила героиня повести – маленькая Верочка, жившая в доме на Подоле: в квартире, в которой сплелось много судеб, – и эта картина останется в памяти девочки навсегда. Обычная послевоенная жизнь в коммуналке... У каждого из соседей – своя жизнь и судьба, и здешний мир – отнюдь не мирный: он разделен на своих и чужих. Есть Верочка и ее родители – и есть их соседи, Фира Наумовна и Марк Семенович – одинокие люди, прошедшие испытания войной. Свои. Повалюки – чужие; одной фразой автор сказал о них главное: «всё в их комнате будто с чужого плеча».

Первые страницы повести – смерть Сталина. Это событие не случайно взято автором за отправную точку: страшный момент, «казалось, выли сами стены, и дома раскачивались от страшного горя». Ушла эпоха. Эпоха горя и страданий – и мнилось: всё в прошлом.

Однако восприняли известие по-разному. Соседи Фира и Голубчик – с облегчением. А из комнаты Повалюков раздался «волчий вой». Главное же, что увиделось Верочке, – словно на старом облекшем стекле «очень красивое лицо матери и мокрое, совсем мальчишеское лицо отца». С того ли момента разворачивается подлинная история этой квартиры – или всё начиналось намного раньше?

Верочка растет, и растет ее внутренняя связь с отцом. Почему постепенно отдалялась от них мать Соня? Чувствуется, как трудно приоткрывает эту завесу автор. Еще одна трагическая судьба.

Автор переносит нас в задымленный Берлин 1945-го. Жизнь Сони словно замерла в той точке, когда она была врачом санитарного поезда, «еврейской иконой», как любовно ее называли больные. Только прошлая жизнь, на исходе войны, и была счастливой. Там она встретила отца Веры. Там осталась улыбка Сони. По возвращении в родной город она узнала о трагической гибели всех близких. И никому не удалось ее оцепеневшую душу растопить. Можно ли на таком прошлом построить счастье? У Сони не получилось. «Она смотрела вслед дочери и мужу, беспечно уходившим в их праздник для двоих».

Автор не дает ответа на вопрос, почему у Верочки с матерью не вышло то единение, которое, казалось бы, должно возникнуть между самыми родными людьми. Нам предлагают самим искать ответ.

В какой-то момент Верочка узнает, что в подвале их дома прятали в войну двух еврейских детей. А главное, что до войны эти «хлопчик и дивчина» жили в их квартире. Так в ее жизни появилось новое чувство – сострадание. Детство кончилось, все яснее стали проявлять-

ся в Верочке черты близких, ушедших туда, откуда нет возврата. Это, может быть, самые проникновенные строки повести: гимн памяти всем невинно убиенным. Сдавленной тоской наполняет автор образ Сони. Но и в Верочке преломляется та же тоска: никогда она не увидит кокетливой красоты тети Щпринцы, не удивится учености деда Эммануила. Страшное слово: никогда... И отец, связь с которым была нерасторжима, не может ответить на вопрос: «Что такое – выбранные богом?» Так говорила ее погибшая бабушка. Всё переплетено невидимыми нитями, и даст ли судьба шанс соединить их в одну судьбу?

К воспоминаниям детства всё время возвращается и Соня. Проходя мимо своего старого дома, она видит знакомую вывеску «Аптека Габбе». Здесь – переключка автора с другой повестью, которая так и называется – «Аптека Габбе», – и с другими героями, связанными нерасторжимыми узами и общей трагедией. О которой рассказывается спокойно – о горе надо говорить тихо.

А что же история Верочки? – Однажды на прогулке они с отцом встречают старика по прозвищу «Миша-Отдай-Калошу» и приводят его в свою квартиру. Соня, увидев старика, «терялась в мучительной попытке соединить несоединимое»... Вот она – та самая западающая клавиша, «прихрамывающее звучание инструмента, сиреневая си-бемоль. Так замыкается круг: Соня узнает себя в доме своего отца, Вера – в доме родителей. Возникают всполохи прошлого. И когда в проеме двери появляется Повалюк, Миша-настройщик узнает в нем предателя, погубившего тех самых детей – да и многих других.

Все запавшие клавиши восстановлены – и можно закончить историю звуками шопеновского ноктюрна. Или стихами, которые стоят эпиграфом к повести:

рано утром все ушли,
вечером вернулись,
лампы в комнатах зажгли,
выжить извернулись!
Молится, летая, моль
над роялем,
грустная, как си бемоль,
над лялялем...

*(Владимир Гандельсман, «Школьный вальс»)
Римма Нужденко*

Горлис-Горский Ю. Холодный Яр / Пер. с укр. и коммент. С.И. Лунина / СПб.: Алетейя, 2022. – 236 с., илл.

В середине XIX века классик украинской поэзии Тарас Шевченко написал стихотворение «Холодный Яр» – «Знайте: в свет-

лый день над вами / Разразится кара, / Снова запылает пламя / Холодного Яра». На русский язык переведены одноименные воспоминания Юрия Горлиса-Горского. Эпопея Холодноярской республики малоизвестна. Например, А. В. Посадский в своей масштабной работе «Зеленое движение», останавливаясь на изучении атамана Терпило-Зеленого, как бы отсекает остальных украинских повстанцев. «Украинские атаманы не были зелеными. Махновцы понимали себя как махновцы, григорьевцы – как григорьевцы»,¹ – резюмирует специалист. Прочие российские историки, отдавая должное маховскому движению, также обходят стороной украинские атаманские республики, несмотря на многочисленность последних. Пожалуй, иллюстрацией служит обобщающая статья журнала «Исторический вестник», номер которого был посвящен Украине². Любопытно, что, несмотря на ряд исследований, до недавнего времени и в украинской печати существовал только искаженный текст «Холодного Яра». Лишь в 2017 г. усилиями харьковского историка С. И. Лунина свет увидело академическое издание мемуаров³. Такой подход удивителен, тем более, что Холодный Яр стал позднее частью украинского национального мифа. «Холодный Яр» отсылает и к лихим действиям повстанцев 1919–1922 гг., и к 1768 году – времени знаменитой Колиивщины.

Юрий Юрьевич Горлис-Горский (настоящая фамилия Городянин-Лисовский, 1898–1946) родился на стыке веков. Как и многие сверстники, в молодом возрасте Юрий испытал на себе тяготы мировой и гражданских войн. А вместе с ними – допросы, тюрьмы, побег, изгнание. Этот жизненный период Ю. Горлис-Горский описал позднее в ряде эмигрантских публикаций. Воспоминания сделали Горлиса-Горского значимой фигурой украинского национализма, однако не уберегли от конфликта с бандеровцами и последующей гибели при невыясненных обстоятельствах.

Итак, в мемуарах «Холодный Яр» автор вспоминает о годе, проведенном среди повстанцев Чигиринщины, об особенностях их боевой организации, о взаимоотношениях с местным населением и, конечно, о борьбе против белых и красных. Война – отвратительное, жестокое явление, – Горлис-Горский лишь подтверждает это знание. В его воспоминаниях читатель ожидаемо узнает о красном терроре, о том, что делали враги повстанцев – чекисты и ЧОНовцы: грабежи, изнасилования, реквизиции и расстрелы. На собственном примере Горлис-Горский испытал «прелести» советской тюрьмы. Словом, мемуары полны свидетельств о «борьбе с бандитизмом». Но при этом автор приводит и примеры жестокости повстанцев. Так, пойманных при реквизиции продовольствия пленных ждала страшная смерть – утопление в болоте, раненых красноармейцев хлебоборобы добивают «кто штыком, кто пулей». Нельзя сказать, что проявление агрессии не беспокоит Горлиса-Горского. Он мрачно констатирует, что крестьяне

«лишь усвоили урок жестокости, который убедительно преподали им захватчики»: «Драться с большевиками честными средствами невозможно. Мы их будем бить их же оружием, которое прекрасно изучили в прошлом году.»

Конечно, рецензия на «Холодный Яр» была бы неполной, если бы в ней не зашла речь о значимости книги для украинского национального движения. Так, мемуарист нередко передает слова лидеров повстанцев о необходимости противостоять Москве, «соседам», зарящимся на чужие богатства, о способах борьбы, неоднократно Горлис-Горский транслирует призывы: «Вперед в последний поход! Готовьте оружие! Зажигайте огнем борьбы сердца односельчан!»

Сильной стороной мемуаров является безусловный литературный талант их автора. Позволим себе процитировать описание ночи перед боем. «Окрестные дебри шумят по-весеннему, над головой плывет звездное небо – и это настраивает едущих позади на лирический лад. Одна унылая, тягучая песня сменяет другую. Наша троица молчит – обдумываем завтрашний набег.» Или – изображение праздника Спаса в Матронинском монастыре: «Возле обоих храмов стоят те, кому не нашлось места внутри. Выставив на дорогах караулы, смешиваемся с толпой, здороваемся, обсуждаем новости. Приближается время крестного хода, и люди встают широким кругом у новой церкви. Трава пестрит корзинами и мисками с медом, фруктами, венками, букетами из колосьев и цветов». Привлечет читателя и описание трагической любовной связи с девушкой Галиной, поневоле ставшей предательницей. По законам войны она была казнена. Позднее автор признавался, что привел приговор в исполнение сам.

Книга снабжена научным комментарием Сергея Лунина. Он подробно разъясняет тот или иной эпизод, раскрывает псевдонимы, приводит исторические справки; его масштабная работа, на наш взгляд, украшает издание. При этом научный комментарий позволяет сделать вывод о высокой достоверности мемуаров. Добавим, что усилиями С. И. Лунина книга снабжена фотографиями Горлиса-Горского (из следственного дела) и других атаманов, протоколом допроса, протоколом о побеге и прочими документами.

Еще одна сильная сторона книги – предисловие А. В. Шубина. Он рассказал о сложной и переменчивой ситуации в Украине, описал основные события Гражданской войны в этом регионе. На наш взгляд, Шубин делает важное замечание, что в 1917–1922 гг. «открылись возможности для разнообразных идейно-политических альтернатив и стремлений, вызревших, но придавленных, в Российской империи». Также нельзя не согласиться с мнением, что свою роль в поражении белых в Гражданской войне сыграли повстанцы Украины, Сибири, Дальнего Востока, как и неумение Добровольческой армии договариваться с национальными окраинами.

Конечно, издание несвободно от недостатков. Так, отсутствие полноценной биографии Горлиса-Горского обедняет работу – он прожил яркую жизнь, о которой современному читателю мало что известно. Несмотря на это, российская публикация «Холодного Яра» будет полезна и тем, кто изучает повстанческое движение, и тем, кто интересуется идеологией украинского национализма и процессом формирования украинской нации.

А. Ю. Вовк

1. *Посадский А.В.* Зеленое движение в Гражданской войне в России. Крестьянский фронт между красными и белыми. 1918–1922 гг. / М.: Центрполиграф, 2018. – С. 230.
2. *Ланской Г.Н.* Гражданская война на Украине: сущность, развитие, акторы / Исторический вестник. Т. 37. 2021. – С. 90-133.
3. *Горлис-Горський Ю.* Холодний Яр: Академічне видання / Харків: КСД, 2017.

Русская история и культура в архивах Израиля. Книга 1. От Шолом-Алейхема до Ивана Бунина / Под редакцией Владимира Хазана. Иерусалим, 2022.

Архивы неисчерпаемы. И хотя рукописи всё же, увы, горят, архивы веками сохраняют их и дарят радость открытия. Хочу рассказать о книге по русской истории и культуре, сделанной по материалам израильских архивов. Подзаголовок книги «От Шолом-Алейхема до Ивана Бунина» предлагает нам повествовательную интонацию, в которой и выстроена книга.

Сборник открывается публикацией переписки Шолом-Алейхема (Соломона Наумовича Рабиновича) с Александром Валентиновичем Амфитеатровым (подготовка и комментарии Владимира Хазана и Ларисы Жуховицкой) – сюжет, который редакторы определили так: «Русско-еврейские литературные интеракции изобилуют множеством атрактивных историй, выходящих далеко за рамки конкретных писательских биографий и вплетающихся в эпохальные культурно-исторические хроники» (С. 16).

Данная публикация эго-материалов двух писателей – самая полная (1909–1911 годы), она включает все сохранившиеся в трех архивах письма, которые печатаются по автографам (материал занимает в книге 135 страниц). История их отношений начиналась просто: Амфитеатров прочитал рассказ Шолом-Алейхема в русском переводе и написал заметку о нем и о своем восхищении талантом неизвестно ему до тех пор еврейского прозаика (заметка была опубликована в «Одесских новостях»). Шолом-Алейхем ответил Амфитеатрову теплым письмом, в котором говорил о своем желании «выбраться в широкое море русской литературы» переводами своих произведений на русский язык. Одна из тем переписки – о проекте сборника прозы, в котором наряду с известными русскими писателями собирался уча-

ствовать и Шолом-Алейхем. Переписка отражает лишь небольшой фрагмент истории русско-еврейских писательских отношений, который важен и во многом типичен для целостной картины, а также заполняет ряд биографических пробелов. Комментарии публикаторов дополняют и расширяют контекст переписки многими интересными и неизвестными фактами и именами.

Представляя переписку Ивана Бунина с Залманом Шнеуром (1936-37, 1950-51 годы) публикаторы Владимир Хазан и Гиль Вайсблай отмечают: «...нисколько не преувеличивая, следует сказать, что ее ведут две крупнейшие звезды русской и еврейской литературы» (С. 584). Имя Шнеура, классика еврейской литературы (писал на иврите и идише), работавшего в жанрах поэзии и прозы, мало известно русскому читателю. Публикации предваряет обширная статья о Залмане Шнеуре. Кстати заметить, портрет З. Шнеура написал в 1923 году Леонид Пастернак. Портрет был заказан художнику издателем Файвелом Шапиро (в 1932 г. он подарил его открывшемуся тогда в Тель-Авиве Музею изобразительных искусств). Эпистолярный диалог двух писателей расширяет представление о еврейских деятелях культуры, составивших среду общения бунинского семейства, и вводит русского писателя в список литературных имен, повлиявших на Шнеура. Интересно также, что Шнеур, с началом Второй мировой войны переселившийся из Парижа в Нью-Йорк, заботился в Соединенных Штатах об издательских делах Бунина.

В разделе «Личные архивы» (а разделы книги сгруппированы по архивам) публикуется «Альбом Бориса Анрепа» из личного архива Романа Тименчика с его вступительной статьей и комментариями. «Борис Васильевич Анреп (1883–1969), ‘веселый человек с зелеными глазами, любимец девушек, наездник и игрок’ (Ахматова), отразившийся в многообразных зеркалах своих современников по XX веку с ног до кончика носа, прославившийся мозаикой не только на полу Национальной галереи, где распростерта Ахматова, но и на полу Банка Англии, где проходил Бонд, Джеймс Бонд. Остался он и отдельными сценами встреч-невстреч, свиданий-несвиданий, приездов и отъездов в уязвленной памяти Ахматовой, о чем она рассказывала П.Н. Лукницкому» (С. 608-609). Альбом Бориса Анрепа с его стихами находится в архиве Р. Тименчика уже полвека. В статье есть описание этой коллекции и прекрасные фоторепродукции материалов. В Альбоме представлены и тексты – поэмы «Создание мира», «Сотворение человека» и стихотворения. Как отмечает автор публикации, стихи Анрепа ставят вопрос об интертекстуальных связях с поэзией Ахматовой и, помимо этого, «...Стихи Бориса Анрепа покрывают одну из предпоследних недостатков в стиховом корпусе эпохи акмеизма» (С. 623).

В небольшой рецензии нет возможности рассказать подробно

обо всех материалах этого содержательного сборника в 690 страниц. Но назовем их. Это неизвестные воспоминания о Владимире Жаботинском Александра Митрофановича Федорова, известного писателя и журналиста (публикация В. Хазана). По материалам того же архива Жаботинского подготовлен очерк Анны Балестриери о деятельности и творчестве Михаила Берхина, русского и еврейского журналиста, сионистского лидера – сподвижника Жаботинского.

В книге публикуются интересные материалы, в основном письма, из архивного фонда Давида и Евсея Шоров, видных музыкантов, педагогов, деятелей культуры (Подготовка Надежды Подземской, Елены Соломинской, Владимира Хазана).

Четыре письма Алексея Ремизова к Виктору Александровичу Залкинду, «кавалеру и конкректору Обезвельволпала», публикуются Лазарем Флейшманом (точнее, это републикация – по просьбе редакторов – статьи ученого, который был знаком с Залкиндом). Как известно, «шутейный орден» Обезьянней Великой и Вольной Палаты был создан А. Ремизовым в Петербурге в 1908 году. Залкинд был принят в Орден в 1922 г. в Германии, где он и познакомился с писателем: их сблизил интерес к мистификациям. В 1923 г. инженер Залкинд переехал в Эрец Исраэль, где успешно работал в промышленности. Письма дополняет переписка В.А. Залкинда с супругами Александрой Николаевной и Борисом Юльевичем Прегелями, его американскими друзьями (публикация В. Хазана).

Все публикации сопровождаются комментариями, выполненными на высоком научном уровне; книга иллюстрирована редкими архивными фотографиями и репродукциями прекрасного качества. Эта книга открывает собой новую серию изданий «Русская история и культура в архивах Израиля». Презентация издания с успехом прошла в Иерусалимской русской библиотеке.

Валентина Брио

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

Памяти П. Н. Колтыпина-Валловского 1933–2023

5-го февраля 2023 года в Стратфорде, штат Коннектикут, США, скончался Петр Николаевич Колтыпин-Валловский, видный общественный деятель русской эмиграции.

Петр Николаевич родился 27 сентября 1933 года в Панчево в Королевстве Сербов Хорватов и Словенцев в семье эмигранта первой, белой, волны Николая Евгеньевича Колтыпина. Н.Е. Колтыпин участвовал в Белом Движении в составе 11-го Изюмского гусарского полка, был награжден Георгиевским крестом. В 1920 году был эвакуирован вместе с частями Белой Армии из Крыма в Галлиполи (Турция), откуда – в Королевство СХС. Он служил берейтором при дворе Короля Александра I Карагеоргиевича; был удостоен высших наград Королевства. Во время Второй мировой войны сражался в рядах Русского Охранного Корпуса, затем служил в Штабе начальника Резерва казачьих войск генерала А.Г. Шкуро, а в 1945 года был зачислен на 2-ую пехотную дивизию ВС КОНР под началом генерала А.А. Власова. После войны в 1951 году переехал с семьей в США, где продолжал антисоветскую деятельность.

Становится понятно, что Петр Николаевич был воспитан убежденным антикоммунистом и активистом. В юные годы он участвовал в движении российских скаутов в эмиграции. В США он стал членом Российского Имперского Союза-Ордена, ему было поручено издание журнала «Имперский Стяг».

В декабре 1953 года в Нью-Йорке состоялось собрание российских монархистов, на котором было образовано Постоянное совещание российских монархических деятелей – Колтыпин был избран в состав Секретариата. А в марте 1958 года на 1-ом Общемонархическом Съезде в Нью-Йорке был образован Общероссийский Монархический Фронт с координационным Исполнительным Бюро (Руководящий Центр) – и Петр Николаевич избирается его членом. Он был организатором многих международных антикоммунистических конференций и антисоветских акций эмиграции, массовых демонстраций в Нью-Йорке, в их числе – протеста против визита Хрущева в США в 1959 году, а в 1967 году, в 50-летнюю годовщину Октябрьского большевистского переворота, во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН – протестной акции с лозунгом: «Свобода России! Долой Советское рабство!». Колтыпин считал необходимым донести до свободного мира, что Россия является главной жертвой коммунистического террора.

Петр Николаевич занимал активную гражданскую позицию и

как американский гражданин. В те годы идея создания русского антикоммунистического лобби разделялась многими эмигрантами-активистами. Так, в 1972 году Колтыпин первым из американцев русского происхождения баллотировался в Палату представителей от штата Коннектикут.

В 1982 года Петр Николаевич принял участие в церемонии открытия в Лондоне памятника жертвам Ялтинского соглашения, по которому сталинскому режиму союзниками были выданы сотни тысяч бывших советских граждан – беженцев от коммунистического режима. В 1983 году по инициативе П.Н. Колтыпина Российский Имперский Союз, Канадская Монархическая Лига и Общество Святого Равноапостольного Царя Константина (американское монархическое общество) организовали международный монархический форум в здании университета штата Нью-Хемпшир.

В 1989 году Петр Николаевич возглавил Российскую зарубежную экспертную комиссию по расследованию судьбы останков членов Российского Императорского Дома, убитых большевиками в Екатеринбурге 17 июля 1918 года, – которая сыграла важную роль в изучении данного дела. В последний раз Колтыпин посетил Россию в 1995 году в составе делегации Зарубежной экспертной комиссии – вместе с кн. А.П. Щербатовым и Е.Л. Магеровским, видными представителями русского Белого Зарубежья. Сотрудничества не получилось, экспертные стороны не пришли к согласию.

Бескомпромиссное служение интересам эмиграции и Царскому Дому было отмечено награждением Колтыпина Знаком 1-й степени, с вензелевым изображением имени Великого Князя Владимира Кирилловича, и Императорским Орденом Св. Михаила Архангела.

В 2002 году, к 85-й годовщине Октябрьского переворота, по почину П.Н. Колтыпина было подготовлено «Воззвание ко всем русским людям», подписанное представителями Русского Зарубежья.

В 2011 году, в преддверии 400-летнего юбилея Дома Романовых, Колтыпин в числе инициативной группы подписал Меморандум по сбору подписей в поддержку придания официального статуса Российскому Императорскому Дому. В 2019 году стараниями Петра Николаевича в США на английском языке был издан сборник «Императорская Россия – помощь США и Миру».

В США П.Н. Колтыпин в течение 35 лет работал авиационным инженером, занимал руководящие должности в компании известного авиаконструктора, эмигранта первой волны, Игоря Сикорского «Avco Corporation. Lycoming».

Колтыпин не питал иллюзий относительно правящего режима в РФ и выступал против сближения с политической элитой современной России; он всегда указывал на принципиальное различие РФ в 2000-х с исторической Россией. Как прихожанин Русской

Православной Церкви за границей, созданной в 1920 году в Королевстве СХС как объединение эмигрантов, клириков и мирян, не признавших власть большевиков, Петр Николаевич был противником объединения с Московской Патриархией, видя в ней послушный инструмент режима. Колтыпин активно участвовал в церковной жизни Русского Зарубежья, был участником Всезарубежных Соборов, входил в правление Общества Ревнителей Памяти Блаженнейшего Митрополита Антония (Храповицкого).

Много лет Петр Николаевич был автором «Нового Журнала»; его перу принадлежат блестящие очерки по истории освободительного движения русской эмиграции. С его уходом исследовательская мысль по истории монархического движения в эмиграции, как и ее антикоммунистической деятельности, ощутила невосполнимую потерю. Эта страница истории белой эмиграции остается недописанной.

Некогда Имперский Орден сформулировал свое кредо в лозунгах: «Будет сделано только то, что ты сделаешь сам!» и «Право на отдых имеют только мертвые!». Эти слова формировали жизненный путь Петра Николаевича Колтыпина.

Панихида по усопшему прошла в Стратфорде 6 февраля 2023 года. П.Н. Колтыпин похоронен 8 февраля на местном кладбище Union Cemetery, Стратфорд.

Упокой, Господи, душу верного раба Твоего!

«Новый Журнал» выражает свои глубокие соболезнования семье покойного.

Корпорация, редакция «Нового Журнала»

ОБ АВТОРАХ

АЛЯЕВ Геннадий Евгеньевич (1958). Преподаватель, историк философии. Окончил Харьковский университет, исторический факультет. Доктор философских наук, профессор. Сфера научных интересов: история русской и украинской философии; приоритетное направление исследований – творческая биография и философия С.Л. Франка. Автор книги о С.Л. Франке в серии «Мыслители прошлого» (2017), сборника статей «Русская философия вокруг С.Л. Франка» (2020), а также ряда архивных публикаций. Один из редакторов издания Полного собрания сочинений С. Л. Франка (выходит с 2018). Живет в Полтаве (Украина).

БАЛАНДИНА Юлия (1969, Ташкент). Критик. Окончила МПГПУ, Университет Шербрука (Канада) по программе «Издательское и книжное дело». Занимается современной русской литературой.

БАРАШ Александр (1960, Москва). Поэт, прозаик, эссеист. В 1980-е годы – редактор (совместно с Н. Байтовым) независимого литературного альманаха «Эпсилон-салон» (Москва), куратор группы «Эпсилон» в Клубе «Поэзия». Один из создателей и автор многих текстов московской рок-группы «Мегаполис». Автор шести книг стихотворений, последняя – «Чистая радость» (2022), двух автобиографических романов – «Счастливое детство» и «Свое время». Составитель и переводчик двух антологий современной израильской поэзии и двух книг избранных стихотворений Йегуды Амихая. Лауреат Премии Тель-Авивского Фонда литературы и искусства (2002). С 1989 года живет в Иерусалиме.

БАТШЕВ Владимир (1947, Москва). Прозаик, поэт, издатель. В СССР был членом нелегальной группы СМОГ, приговорен к 5 годам ссылки. Участник диссидентского движения. Окончил ВГИК. 23 года публиковался под псевдонимом. Возглавлял московское представительство изд-ва «Посев» (1989–1991). В 1993 году организовал издательство «Мосты». В 1995 г. эмигрировал в Германию. Редактор журналов «Литературный европеец» и «Мосты». Автор 15 книг, в том числе романа «1948» (Часть 1, 2019). За 4-томное литературное исследование «Власов» удостоен международной премии «Veritas» (2005). Лауреат Литературной премии им. Марка Алданова (2007).

БРИО Валентина. Филолог, доктор наук, работает на кафедре русской и славянской филологии Еврейского университета (Иерусалим). Автор статей по истории русской и польской литератур и еврейской

культуры; книг «Руфь Зернова – четыре жизни», «Поэзия и поэтика города», «Польские музы на Святой земле. Армия Андерса. Место. Время. Культура». Живет в Израиле.

ВОВК Алексей (1984). Историк. Кандидат истор. наук, старший преподаватель РГГУ (Москва). Профессиональные интересы: история Гражданской войны, Белое движение, первая волна эмиграции.

КАЦОВ Геннадий (1956, Евпатория). Поэт, журналист. Окончил Николаевский кораблестроительный институт. С 1989 года живет в США. В 1989-91 гг. вел передачи по культуре в программе «Поверх барьеров» на Радио «Свобода». С 2010 г. – владелец и гл. редактор портала RUNYweb.com; также работает на телевидении RTN/WMNВ. Автор книг «Притяжение Дзэн», «Словосфера», «Меж потолком и полом», «25 лет с правом переписки», «Три 'Ц' и Верлибрий», «Нью-Йоркский букварь», «На Западном фронте. Стихи о войне 2020 года», «Открытый перелом» (2022) и др. Номинант на «Русскую премию» (2013, 2014), на премию «Московский счет» (2015–2019), лауреат премии «Асилмар-2022». Живет в Нью-Йорке.

КУЛИШОВА Инна (Тбилиси). Поэт, переводчик, эссеист, лингвист, канд. филолог. наук. Публиковалась как автор стихов, эссе, статей и переводов в антологиях Грузии, США, России, а также в периодике Израиля, Украины, Англии, Польши, Дании, Бельгии, Узбекистана и т.д. Стихи переводились на грузинский, английский (антология «Modern Poetry in Translation», Лондон, «Anthology of Contemporary Russian Women Poets», University of Iowa, USA). Автор поэтических сборников «На окраине слова» (2000) и «Фрески на воздухе» (2014). Участник международных научных конференций и поэтических фестивалей, в том числе в Украине, Израиле и Грузии. Член Грузинского ПЕН-Центра. Живет в Тбилиси.

ЛЕВИНЗОН Леонид (1958). Прозаик. Окончил мединститут в Ленинграде, с 1991 года в Израиле. С 1999 по 2008 гг. – ответственный секретарь «Иерусалимского журнала»; с 2016 года – член редколлегии «Иерусалимского журнала». Публикации в периодике: «Иерусалимский журнал», «Октябрь», «Волга», «Сибирские огни», «День и ночь», «22», «Зарубежные записки», «Новый Журнал». Автор книг прозы «Ленинград–Иерусалим», «Дети Пушкина». Лауреат «Русской премии» (2010), шорт лист премии имени Марка Алданова за повесть «Клоун» (2012), за повесть «Акакий Акакиевич» (2013), премия комитета Санкт-Петербурга по культуре за роман «Дети Пушкина» (2015) и др. Член СП Израила.

ЛЕОНИДОВ Виктор (1959, Москва). Критик, исследователь истории Русского Зарубежья. Окончил Историко-архивный институт, кандидат исторических наук. Автор-составитель нескольких книг поэтов Русского Зарубежья и многочисленных статей по проблемам наследия русской эмиграции. Один из организаторов Архива-библиотеки Российского ФК.

ЛВОВ Василий (1989, Москва). Поэт, филолог. Окончил ф-т журналистики МГУ; диссертация по русскому формализму. Преподает в Columbia University и Hunter College (Нью-Йорк). Автор научных статей, опубликованных в США, России, Англии и Новой Зеландии, а также публикации в ж. «Звезда», «Новый мир», «Интерпоэзия», «Gastarbajter»; поэтических переводов в ж. «Inventory» (Принстон) и на ресурсе «National Translation Month». Живет в Нью-Йорке.

МАКАРОВ Максим (1962, Новокузнецк). Окончил Новосибирский университет, физик, к ф.-м. наук; инженер-эксперт автомобильной компании «Рено». Историей русской эмиграции занимается последние двадцать лет, автор книг «Времена и судьбы – мои сибиряки», «Русский холм», редактор-составитель комментированного переиздания книги И.Ф. Шильникова «1-ая Забайкальская казачья дивизия в Великой европейской войне 1914–1918 гг.», переводчик и редактор мемуаров Татьяны Майяр-Парэн «Франция-Россия. Расставания и встречи» (2020), автор статей и очерков, опубликованных в журналах «Рейтар», «Slavica Occitania», «Новый мир», «Золотая палитра» и др. с 1996 г. Живет и работает во Франции.

МЕТЕЛЬСКИЙ Игорь (1987, Чарджоу). Поэт. Окончил факультет теоретической ядерной физики МИФИ, в 2017 году – аспирантуру Физического института (ФИАН). Работает научным сотрудником в Центре фундаментальных и прикладных исследований (РОСАТОМ) и ФИАН. Живет в Подмосковье.

МУСАЯН Ара (1946). Переводчик, прозаик. Вместе с родителями в 1947 году переехал из Франции в Советскую Армению, с 1948 по 1952 гг. семья жила в Абхазии. В 1964 г. вернулся во Францию, учился на философском факультете Сорбонны. Публиковался в журнале «Орти» в 1979–1984 гг. Пишет по-французски и по-русски. Живет в Париже.

НУЖДЕНКО Раиса (Санкт-Петербург). Критик. Печаталась в журналах: «Дегуста.ру», «Новый Свет», «Новый Континент», «Литетга» и др. Живет в г. Нью-Йорке.

ЛИХТЕНФЕЛЬД Борис (1950). Поэт. Публиковался в журналах «Часы», «Обводный канал», «Арион», «Волга», «Звезда», «Крещатик», «Нева», «Дети Ра», «Слово/Word», «Новый Журнал», «Семь искусств», «Артикль», «Чайка» и др., во многих антологиях и альманахах. Автор книг «Путешествие из Петербурга в Москву в изложении Бориса Лихтенфельда» (2000), «Метазой» (2011), «Одно и то же» (2017). Живет в С.-Петербурге.

САДХИН Георгий (Сумы). Поэт. Окончил инженерно-физический факультет ЛИТМО. Публиковался в журналах «Крещатик» (Германия), «Литературный европеец» (Германия), «Новый Журнал» (США), «День и Ночь» (Красноярск), «Изыщная Словесность» (Санкт-Петербург) и др., в литературных альманахах, а также в «Сетевая Словесность», «45-я Параллель». Книги: «4», «Цикорий звезд», «Джейк и Кейт». Лауреат нескольких литературных конкурсов. С 1994 года живет в Филадельфии (США).

СЕДОВ Вадим (1961). Поэт. По образованию – инженер-механик. Пишет с середины 1980-х годов. Стихи публиковались в журналах и альманахах «Номо legens», «Аврора», «Новая реальность», «Сетевая словесность», «Восток-Запад» (Казахстан), «Гостиная» (США), «Стороны света» (США). Автор книги «33 стихотворения и одна маленькая поэма» (2021). Живет в Москве.

СКОБЛО Валерий (1947, Ленинград). Поэт, прозаик, публицист. Окончил матмех ЛГУ. Автор сборников стихов «Взгляд в темноту», «Записки вашего современника», «О воде и воле», «За тайной печатью», «Отплытие» (2022). Член СП Санкт-Петербурга. Публиковался в российской и зарубежной литературной периодике, в том числе в журналах «Арион», «День и ночь», «Иерусалимский журнал», «Звезда», «Интерпоэзия», «Крещатик», «Нева», «Новый мир», «Новый свет», в «Антология русской поэзии начала XXI века» (УМСА-Press) и др. Лауреат премии им. Анны Ахматовой (2012), финалист международных конкурсов стихотворного перевода «С севера на восток» (Хельсинки, 2013, 2016), лауреат международной премии им. Э.Хемингуэя (Торонто, 2020) и др. Живет в Санкт-Петербурге.

СОКОЛ Хаим (1973, Архангельск). Поэт, художник, преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ, член редакционного совета «Художественного журнала». Окончил Еврейский университет в Иерусалиме и Институт проблем современного искусства в Москве. В 1991 году эмигрировал в Израиль, с 2007 по 2022 гг. жил и работал в Москве. Персональные выставки прошли в Государственной Третьяковской галерее, в Московском Музее современного искусства, ЦТИ

«Фабрика», Stella Art Foundation, в галереях М&Ю Гельман, «Триумф», Anna Nova. Участник II Киевской биеннале (2015), I Индийской биеннале в Кочи-Музирис (2012), Mediations biennale (Познань, 2010), II Биеннале современного искусства в Салониках (2009) и др. Работы находятся в Третьяковской галерее, ММОМА, в Мультимедиа Арт-Музее, Музее PERMM, в Stella Art Foundation, Collection of Loushy: Arts & Projects, Тель-Авив, и др.

ФАБРИКАНТ Борис (1947, Львов). Поэт. Окончил Политехнический институт. Публикации в ж. «Эмигрантская Лира», «Литературный европеец», «Этажи», «Литературный Иерусалим», «Крещатик», др.; в альманахах «Кочевье», «Роза ветров», «Культурное безбрежье», «Рукопись». Автор поэтических сборников «Стихотворения», «Сгоревший сад», «Крылья напрокат», «Еврейская книга» (2021). Первое место в номинации интернет-конкурса «Эмигрантская Лира», второе место на Всемирном фестивале «Эмигрантская Лира» (2018), второе место на фестивале «Пушкин в Британии» (2018). Член СРП. С 2014 г. живет в Англии.

ХАНАН Владимир (1945). Поэт, прозаик, принадлежал питерскому андеграунду. По образованию историк. Автор 14 книг поэзии и прозы и нескольких сотен статей в периодике Израиля и США. Репатриировался в 1996 году. Живет в Иерусалиме.

ЧЕРЕШНЯ Валерий (1948, Одесса). Поэт, эссеист. Окончил Ленинградский электротехнический институт связи. Автор шести поэтических сборников, в их числе «Узнавание», «Оттиск» (2022); книги эссе «Вид из себя», и публикаций в ж. «Новый мир», «Звезда», «Знамя», «Октябрь», «Новый берег», «Волга» и др. Переводил англоязычных поэтов Луизу Глик, Роберта Фроста, Шеймаса Хини, Джеймса Мерилла.

ШЕРОН Жорж (1952, Калифорния). Американский славист, исследователь литературы Русского Зарубежья. Автор многочисленных книг и публикаций, в их числе «Россия и Запад» (коллект. сборник статей); публикуется в американских и российских журналах и альманахах.

ЯСЬКОВ Владимир (1957, Винницкая обл., Украина). Поэт, прозаик. Окончил Харьковский университет. Пишет на русском и украинском языках. Публиковался в ж. «Волга», «Звезда», «Новый берег», «Интерпоэзия» и др., в антологиях и сборниках. Живет в Харькове.

The New Review / Novyi Zhurnal is the oldest continuously published Russian-language literary quarterly

The New Review Inc. gratefully acknowledges the support of our loyal friends:

Patrons: Association of Russian-American Scholars in the USA; Russian Nobility Association in America; The Tchernepine Society; Prince Nikita D. Lobanov-Rostovsky;

Benefactors: Eli & Ludmila Flam Living Trust; Mrs. Larisa Vulfina & Mr. Yan Vulfin;

Sponsors: American-Russian Aid Association “Otrada”; Mr. A. Neratov;

Fellows: Mr. A. Nemirovsky; Mr. Ara Moussaian; Mr. & Mrs. S. Pinkhasov; Mr. B. Lvoff;

Friends: Ms. C. Raeff; Mr. P. Khlebnikov; Mr. G. Cheron; Mr. S. Kirjanov. The complete list of Fellows & Friends see at: <https://newreviewinc.com/fundraising-2022>

It requires the support of loyal friends for year 2023:

Patron – \$ 5,000 and up

Benefactor – \$ 2,000 and up

Sponsor – \$ 1,000 and up

Fellow – \$ 500 and up

Friend – \$ 100 and up

The Internal Revenue Service has determined that The NEW REVIEW, Inc. is a tax-exempt organization and a «public charity» pursuant to the provisions of the Internal Revenue code 501 (c) (3). Contributions to The NEW REVIEW, Inc. are tax-deductible under the provisions of section 170 of the code.

Checks must be made payable to

THE NEW REVIEW
1216 Broadway, 2nd floor
New York, NY 10001

НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Москва, Россия: Андрей Красильников – 111024 Москва, а/я 61

Санкт-Петербург, Россия: Евгений Голлербах – тел.: 7-921-940-0421

Париж, Франция: Виталий Амурский: vitaly.amoursky@gmail.com

Израиль: Марина Кособок-Полонски: Polonskybooks@gmail.com

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ» в 2023 году можно купить в магазинах:

Librairie du Globe: 67, Bd. Beaumarchais 75003 Paris, France

Polonsky Books: Haifa, Huri Street, 2, Migdal ha Nevi'im, Israel; +972 55 968 24 16

На сайте журнала через PayPal (кнопка: Подписка)

Вы можете оформить электронную подписку на журнал. Подробности на сайте: www.newreviewinc.com (кнопка: Подписка)

Новый Журнал THE NEW REVIEW

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ на 2023

Подписная цена (4 книги, включая пересылку):

для университетов и организаций
в США – \$ 150.00, за границу – \$ 200.00
(10% скидка для подписных агентств)

Индивидуальная подписка
(4 книги, включая пересылку):
в США – \$ 80.00, за границу – \$ 120.00

Цена отдельного номера – \$ 16.00
дополнительно за пересылку:
в США – \$ 7.00, за границу – \$ 25.00

E-access на год – \$ 185.00

Комбинированная подписка на год
(E-access и 4 журнала)
в США – \$ 320.00
за границу – \$ 360.00
(10% скидка для подписных агентств)

Все подробности о подписке на сайте
www.newreviewinc.com (Подписка)

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В РЕДАКЦИЮ:

The New Review
1216 Broadway, 2nd floor, New York, NY 10001

Телефон и факс редакции: (212) 353-1478
www.newreviewinc.com
newreview@msn.com
